# Кролик вернулся

# Джон Апдайк

Благие порывы, жестокосердие, внешние обстоятельства.

Паскаль. Мысли, 507.

## 1

## ПАПА, МАМА, ЛУНА

Подполковник Владимир А. Шаталов:

Движусь прямо к стыку.

Подполковник Б.В. Волынов, командир корабля «Союз-5»:

Полегче, не так резко.

Подполковник Шаталов:

Я не сразу нашел вас, но теперь зацепил.

Мужчины выходят из маленькой типографии ровно в четыре — бледные, как призраки, они секунду щурятся от яркого дневного света, пока он не пересилит свет помещения, дотоле окружавший их. Зимой в этот час дня Сосновая улица тонет в темноте — темнота рано наползает с горы, нависающей над тихим, как болото, городком Бруэр, но сейчас, летом, гранитные поребрики поблескивают вкраплениями слюды, и домишки, отличающиеся друг от друга лишь облупившейся дощатой обшивкой да жалкими крылечками с крестовидными боковинами и серыми ящиками для молочных бутылок, и китайские деревца гинкго, покрытые угольной пылью, и пропеченные солнцем машины у края тротуаров — все словно замерло, вздрогнув после ослепительной вспышки взрыва. Город в попытке оживить умирающий центр снес целые кварталы для создания автомобильных стоянок, превратив некогда застроенные улицы в голые, заросшие сорняками и заваленные мусором пустыри, обнажив фасады церквей, которых прежде издали не было видно, и открыв для обозрения какие-то задворки и тупички, а главное — впустив на этот унылый простор немилосердно яркий свет. Небо безоблачно, но и бесцветно, белесая пелена сырости, как бывает летом в Пенсильвании, и польза от нее разве что для зелени, которая и растет не по дням, а по часам. А люди даже не загорают — только желтеют под пленкой пота.

Среди типографских рабочих, окончивших смену, отец и сын — Эрл Энгстром и Гарри. Отцу скоро на пенсию — он тощий, с изможденным, изъеденным заботами и каким-то запавшим лицом и выступающими вперед, плохо пригнанными вставными зубами. Сын на пять дюймов выше и плотнее; он, что называется, в расцвете сил, но расцвет этот какой-то вялый, бледный и унылый, как манная каша. Маленький нос и слегка приподнятая верхняя губа, из-за которой он когда-то получил прозвище Кролик, теперь в сочетании с располневшей талией и сутуловатостью, приобретенными за десять лет сидения за линотипом, говорят о слабости — слабости, за которой наступает полная обезличенность. Хотя благодаря росту, внушительной фигуре и остаткам былой живости, с какой он поворачивает голову, он все еще выделяется среди уличной толпы, его уже давным-давно никто не называет Кроликом.

— Гарри, как насчет того, чтоб опрокинуть по одной? — спрашивает отец.

У перекрестка, где их улица пересекает Уайзер-стрит, — автобусная остановка, и возле нее бар «Феникс» с голой неоновой девчонкой в ковбойских сапогах снаружи и кактусами, намалеванными на грязноватых стенах, внутри. От остановки отец и сын разъезжаются в разных направлениях: старик садится на автобус 16-А и, огибая гору, едет в поселок Маунт-Джадж, а Гарри садится на номер 12 и едет в противоположном направлении в Пенн-Виллас, район новой застройки на южной окраине города — типовые одноэтажные домики — «ранчо» с лужайками в четверть акра, очерченными бульдозерами, да кленовые прутики, притянутые веревками к колышкам в земле, прилипшие к земле, словно того и гляди улетят. Гарри перебрался туда с Дженис и Нельсоном три года тому назад. Его отец до сих пор считает, что Гарри переехал из Маунт-Джаджа, желая отделиться, и потому теперь они всегда выпивают в конце дня, чтобы смягчить расставание. Совместная работа в течение десяти лет возродила любовь, которая существовала бы между ними, когда Гарри был мальчиком, если бы не встревала мать.

— Налей-ка мне кружечку «Шлица», — говорит Эрл бармену.

— А мне дайкири, — говорит Гарри.

Кондиционер включен на полную мощность, так что Гарри опускает засученные рукава рубашки и застегивает манжеты. На работу он всегда надевает белую рубашку, да и после работы тоже, не желая примириться со всепроникающей силой типографской краски. По обыкновению, он спрашивает отца, как там мать.

Но отец отвечает не так, как обычно. Как правило, он говорит: «Да все хорошо, насколько может быть хорошо». Сегодня он придвигается поближе и произносит:

— Не так хорошо, как могло бы быть, Гарри.

Она уже много лет страдает болезнью Паркинсона. Гарри мысленно представляет себе мать в ее нынешнем состоянии: узловатые трясущиеся руки, шаркающая походка — ходит как сомнамбула, смотрит удивленным отсутствующим взглядом, хотя доктор говорит, что с мозгами у нее все в порядке, и рот сам собою открывается и закрывается лишь тогда, когда начинает течь слюна.

— Ты хочешь сказать — по ночам? — Самим этим вопросом Гарри как бы задвигает ее в темноту.

И снова старик блокирует желание Кролика прошмыгнуть мимо.

— Нет, ночи сейчас спокойнее. Ей прописали новые таблетки, и она говорит, что теперь спит лучше. А вот по части головы дело худо.

— Как это, папа?

— Мы об этом не говорим, Гарри, это не в ее характере, о таких вещах мы никогда не разговаривали. Мы с твоей матерью просто помалкиваем, так уж нас воспитали. Может, оно было бы лучше, если б мы об этом говорили, — не знаю. Я сейчас о том, что ей вбивают в голову.

— Кто вбивает?

Гарри тяжко вздыхает, уткнувшись носом в свой дайкири, и думает: «Он тоже уже того, оба они того. Ни от матери, ни от отца толку не добьешься». Отец придвигается к нему, чтобы объяснить, и сразу становится одним из тех тощих, вечно хнычущих придурков, которые сотнями топчутся по всему городу, — тех, что шестьдесят лет глотали каменную пыль, высушившую их.

— Да те, что приходят проведать ее, — она теперь по полдня проводит в постели. К примеру, Мейми Келлог. И еще Джулия Арндт. Страсть как мне неохота морочить тебе этим голову, Гарри, но мать бог знает что несет, и на Мим надежды нету — она вон где, на Западном побережье. Только ты и можешь помочь мне все прояснить. Очень мне неохота волновать тебя, да только мать уже до того договорилась, что не ровен час сама позвонит Дженис.

— Дженис?! С какой стати ей звонить Дженис?

— Видишь ли... — Глоток «Шлица». Костлявая рука проводит по мокрой верхней губе — пальцы скрючены в хватательном жесте, как обычно у стариков. Протез обнажается в виноватой гримасе-улыбке. — Видишь ли, все их разговоры-то о ней, о Дженис!

— О моей Дженис?

— Вот что, Гарри, только не кипятись. Не вини того, кто приносит дурные вести. Я ведь передаю тебе, что другие говорят, а не свое мнение высказываю.

— Да я просто удивляюсь — о чем тут говорить! Я сам почти не вижу ее теперь — она ведь все время на пятачке Спрингера.

— Вот то-то и оно. В этом, может, твоя ошибка, Гарри. Ты считал, что Дженис теперь уже никуда не денется... после того. — После того как он бросил ее. После того как умер ребенок. После того как она снова приняла его. — С тех пор прошло ведь десять лет, — безо всякой надобности добавил отец.

В этом холодном баре, где на полочках под зеркалами стоят кактусы в пластмассовых горшках и маленький вертящийся кран, сверкая хромом, снова и снова вычерчивая параболу, разливает «Шлиц», Гарри вдруг почувствовал, что мир стронулся с места. В нем разрастается холод предчувствия, сжимает под манжетами запястья. А ведь еще не все новости выложены, и новая комбинация может вот-вот взорвать его затхлый покой.

— Гарри, злоба людская выше человеческого понимания, как я замечал, и у бедняжки нет от нее защиты — она лежит и слушает, что ей остается? Десять лет назад разве она не разобрала бы все по косточкам? Не срезала бы их, с ее-то язычком? А они ей все уши прожужжали, будто Дженис загуляла. С одним мужиком, Гарри. Не то чтобы она пошла по рукам, нет.

От запястий холод бежит вверх, к плечам Кролика, а оттуда спускается по венам вниз, в желудок.

— А имя у этого мужика есть?

— Я не слыхал, Гарри. Да откуда им взять имя — ведь скорей всего никакого мужика нет!

— Ну, раз придумали ситуацию, могут придумать и имя.

В баре работает телевизор, но звук выключен. В двадцатый раз за этот день стартует ракета, идет обратный отсчет десятыми долями секунды быстрее, чем может уловить глаз, и вот наконец ноль: под высоким чайником клубится белый пар, агрегат медленно поднимается вверх, так и кажется, сейчас упадет, но нет, он быстро уменьшается, превращаясь в точку, в мерцающую звезду. Мужчины, темными силуэтами сидящие вдоль стойки бара, тихо переговариваются. Их не унесло ввысь, они остались где сидели. Пытаясь добраться до истины, отец шепчет ему:

— Тебе не показалось, Гарри, что Дженис в последнее время как-то изменилась? Слушай, я знаю, скорей всего это, как теперь говорят, кусок дерьма, но, может, она все-таки казалась тебе в последнее время — ну, ты понимаешь — какой-то не такой?

Кролику неприятно слышать крепкие слова из уст отца; он демонстративно задирает голову вверх, делая вид, будто поглощен происходящим на экране телевизора, а там идет телеигра, когда публика должна отгадать, какой приз спрятан за занавесью, и люди принимаются прыгать, кричать, целоваться, узнав, что там стоит восьмифутовый морозильник. Кролик мог и ошибиться, но на секунду ему показалось, что молодая мать семейства, целуя ведущего, вдруг открыла рот, давая ему почувствовать свой язычок. Так или иначе, поцелуй затянулся. Ведущий умоляюще смотрит в камеру, и оператор включает рекламу. На экране безмолвно мелькают то спагетти, то какой-то оперный певец.

— Да не знаю, — говорит Кролик. — Она, бывает, крепко прикладывается к бутылке, но ведь и я тоже выпить не дурак.

— Брось, — говорит старик, — ты не пьешь, Гарри. Видал я на своем веку пьяниц вроде Буни из граверной, вот это пьяница — до смерти себя доведет, и ведь сам знает, а остановиться не может, даже если б ему сказали, что завтра умрет. А ты что, ну выпьешь за вечер порцию-другую виски — так ты ведь уже не мальчик, но это не называется пить. — Он прячет расползшиеся губы в пиво, а Гарри стучит по стойке, требуя еще один дайкири. Старик придвигается ближе. — Знаешь, Гарри, извини, что спрашиваю, может, ты не хочешь об этом говорить, но как обстоят дела в постели? Тут у вас все в порядке, да?

— Нет, — медленно произносит Кролик, решив не обращать внимания на въедливость отца. — Я бы не сказал, что все в порядке. Расскажи мне лучше про маму. Были у нее в последнее время приступы удушья?

— Нет, она меня по такому поводу ни разу не будила. С новыми зелеными таблетками она спит как младенец. Это новое лекарство просто чудо, должен признать: через десять лет отправить нас на тот свет можно будет только с помощью газа — Гитлер правильно удумал. Знаешь, теперь больше уже нет чокнутых — давай им утром и вечером по таблетке, и они все соображают, прямо как Эйнштейн. Значит, говоришь, не все у вас о'кей — я верно понял? Так ты сказал?

— Ну, если честно, у нас по этой части всегда было не ах, пап. Она больше не падает? Я про маму.

— Может, за день и кувыркнется раз-другой, да только мне не говорит. Я твержу ей, твержу — лежи в постели и смотри, что показывают в ящике. А у нее своя теория: чем дольше она сможет сама что-то делать, тем дольше сможет продержаться. Я-то считаю, надо ей себя поберечь, затихнуть на время и обождать, а через год-другой они там наверняка изобретут какую-нибудь таблетку, и люди будут вылечиваться от этой напасти так же просто, как от простуды. Ну, ты знаешь, есть уже эти самые кортизоны, вот только доктор говорит, неизвестно, какие они могут дать побочные явления, а то можно и навредить. Сам понимаешь, чего все боятся. Я так считаю: положись на случай — ведь с раком уже того и гляди расправятся и такие делают пересадки органов, что всю внутренность могут тебе заменить. — Старик чувствует, что слишком разболтался, и, ссутулясь, уставляется в пустую пивную кружку, по стенкам которой медленно сползает вниз пена, но не выдерживает и добавляет: — Страшная штука рак! — И поскольку Гарри молчит, добавляет еще: — Господи, до чего же ей тяжело ничего не делать!

Дайкири, вернее, ром начинает оказывать свое действие. Кролик перестал чувствовать холод, и настроение у него улучшается. Воздух кажется ему уже не таким спертым, глаза привыкают к темноте.

— А как все-таки у нее с головой? — спрашивает он. — Ты не считаешь, что им следовало бы начать давать ей психтаблетки?

— Скажу тебе как на духу, Гарри, зачем мне тебя обманывать, голова у нее ясная, вот только язык не всегда слушается. И, как я уже говорил, в последнее время она зациклилась на Дженис. Очень бы помогло, — Господи, до чего же мне неохота тебе докучать, но это правда, — очень бы помогло, если б вы с Дженис нашли время и заглянули к нам сегодня вечером. Когда мать долго тебя не видит, у нее разыгрывается воображение. Я знаю, ты обещал зайти в воскресенье, в день ее рождения, но подумай вот о чем: когда лежишь в постели и вокруг никого — только этот идиотский ящик да злобные сплетницы, — неделя покажется тебе годом. Если бы ты мог заскочить как-нибудь вечерком до уик-энда и прихватить с собой Дженис, чтоб Мэри могла с нею повидаться...

— Да я бы с радостью, пап. Ты же знаешь.

— Знаю, Господи, знаю. Я ведь понимаю куда больше, чем ты думаешь. В твоем возрасте тебе уже пора догадаться, что твой старик не такой болван, за какого ты привык меня держать.

— Беда в том, что Дженис все время работает до десяти-одиннадцати, а я не хочу оставлять парня одного. Собственно, мне и сейчас надо бы двигать домой на всякий случай.

— Вдруг дом сгорел. Или вдруг какой-нибудь сумасшедший туда влез. В газетах то и дело читаешь о таком.

Кролик видит по лицу отца — по тому, как многозначительно поджались его губы, как затуманились выцветшие глаза, — что старик получил подтверждение своим подозрениям. Кролик вскипает. Вечно лезет, куда не просят, старый проныра. Дженис... Да кому нужна эта дура? У нее одна любовь — ее папаша, и больше для нее никто не существует. Радуется, как школьница, что вышла на работу: этим летом добрую половину вечеров домой приходит ближе к ночи, когда он уже отужинал: разогрев в микроволновой печи готовые «ужины для телезрителей», уложил Нельсона в постель, а сам ждет, когда она явится, раскрасневшаяся, возбужденная: никогда еще она не была так занята собой, и его это даже радует. Кролику неприятно, что отец пытается уязвить его, используя Дженис, и он наносит ответный удар с помощью самого действенного оружия — мамы:

— А этот доктор, который к вам ходит, он никогда не предлагает сдать ее в приют?

Старик не сразу соображает, что разговор переключился снова на его жену. У Гарри мелькает мысль — словно искра, вспыхнувшая под колесами трамвая на стыке рельсов. А мама никогда не поступала так с папой? Никогда не пудрила ему мозги? Все эти расспросы насчет постели наводят на мысль о том, что такое могло быть. Хотя трудно представить себе — не только с кем, но и когда: насколько он помнит, мама всегда была дома, никто никогда к ним не заходил, кроме маляра и свидетеля Иеговы, однако эта неожиданная мысль будоражит Кролика, тогда как сплетня, которой огорошил его отец, леденит душу, пугает неизвестными последствиями. А отец тем временем продолжает:

— ...в самом начале. Мы хотим подождать по крайней мере до тех пор, когда она уже не сможет вставать с постели. Если наступит такой момент, когда она не сможет заботиться о себе, а я еще не буду на пенсии и не смогу сидеть с ней весь день, тогда, возможно, нам придется принять такое решение. Но мне бы этого не хотелось. Ей-богу, не хотелось бы.

— Эй, пап...

— Вот мои сорок центов. Плюс десять на чай.

То, как старик с трудом выпускает из рук четвертаки, показывает, что для него это чистое серебро, а не медяшки, которые даже и не звенят, когда их бросают на стойку бара. Старые ценности. Времен Великой депрессии, когда деньги были деньгами. Теперь они уже никогда больше не станут святыней — даже десятицентовики и те не серебряные. Изображение лица Кеннеди сгубило полдоллара, изъяло его из обращения — так они и не вернулись. Металл идет теперь на исследования Луны. Нудная процедура расплаты по счету вынуждает Кролика оттянуть вопрос про маму, пока они с отцом не выходят на улицу, а тогда Кролик понимает, что не может его задать: не настолько знает он своего отца. Здесь, на ярком свете, отец вдруг перестал быть близким человеком — перед Кроликом стоит просто старик: под глазами коричневые печеночные пятна, на крыльях носа лопнувшие вены, волосы неопределенного, как картон, цвета.

— Ты о чем хотел меня спросить?

— Забыл, — говорит Гарри и чихает. Когда он выходит на жару из помещения с кондиционером, между глаз у него словно что-то взрывается и из носа течет. — Нет, вспомнил. Приют для престарелых. Откуда мы возьмем деньги на оплату содержания? Пятьдесят монет в день, а то и больше. Эдак мы без штанов останемся.

Отец разражается смехом, и почти сразу раздается щелчок, — спохватившись, он закрывает рот, чтобы протез не выпал, и слегка пританцовывает прямо на раскаленном тротуаре, под красно-белым знаком автобусной остановки с надписью ПОСАДКА, которую частично соскоблили и поверх губной помадой исправили: ПОДСАДКА.

— Господь по-своему милостив, Гарри, к нам с матерью. Веришь или нет, а есть в наше время свои преимущества в том, чтобы жить так долго. В это воскресенье Мэри исполнится шестьдесят пять, и она получит право пользоваться медицинской страховкой по возрасту. Я делал взносы с шестьдесят шестого года, и теперь у меня будто гора с плеч свалилась. Никакие расходы на медицину теперь нам не страшны. Как только не обзывали Линдона Джонсона, но, поверь, он много сделал хорошего для маленьких людей. А все, что он сделал не так, — из-за доброго сердца, подвело оно его. Взять хотя бы этих молодцов, которые летают сейчас в космосе, — всю славу за это заберет себе Никсон, а ведь запустили-то их туда демократы, эта история повторяется с тех пор, как я себя помню, еще со времен президента Вильсона: республиканцы ничего не делают для маленького человека.

— Правильно, — говорит Гарри безучастно. Подходит его автобус. — Скажи ей, что мы приедем в воскресенье.

Он проталкивается в конец автобуса, где посвободнее, и, взявшись за поручень вверху, смотрит на улицу, где стоит его отец, один из тех самых «маленьких людей». Отец стоит словно обструганный ярким американским светом, щурясь от манны, какою осыпает его правительство, нервно переступая с ноги на ногу от радости, что рабочий день позади, что в животе булькает пиво, что высоко над ним летает Армстронг[[1]](#footnote-1), что США — венец и чудо из чудес всей истории человечества. Подобно малой песчинке на стартовой площадке для запуска космических ракет, он свое предназначение выполнил. И все-таки он еще держится, — ну кто бы мог подумать, что мама сдаст первой? Перед мысленным взором Кролика под скрип тормозов в подскакивающем и покачивающемся автобусе возникает образ матери, который он хранит как страшную реликвию: седые, некогда черные, волосы, по-мужски очерченный рот женщины, слишком умной для своей жизни, ромбовидные ноздри, — когда он был маленький, ему всегда казалось, что там у нее какой-то прыщик или нарыв, — глаза, цвета которых он никогда не смел разглядеть, прикрытые теперь набрякшими веками, вытянутое лицо, слегка блестящее, словно от пота, неподвижно замершее на подушке. Ему невыносимо видеть ее такой — и в этом, а вовсе не в Дженис причина того, что он так редко ее навещает. Видеть, как та, что дала ему жизнь, лежит пластом и смотрит на него, мучительно силясь вымолвить какие-то слова, чтобы поздороваться с ним. А этот еле уловимый ржавый запах болезни, который стоит не только в ее комнате, но и встречает их, когда они входят, внизу, в передней, среди зонтов, и следует за ними на кухню, где бедный папка разогревает себе с мамой еду. Запах этот как утечка газа, которой она так опасалась, когда они с Мим были маленькими. Кролик склоняет голову и произносит короткую молитву: «Прости меня, прости нас, облегчи ее страдания. Аминь». Молится он всегда только в автобусах. Сейчас в этом автобусе он чувствует тот самый запах.

В автобусе слишком много негров. Кролик все больше и больше начинает их замечать. Они всегда тут были — он помнит, как мальчишкой ходил по некоторым улицам Бруэра, затаив дыхание, хотя они никого не трогали, просто смотрели; теперь они стали гораздо более шумными. И головы у них не гладко выбритые, а с густой шапкой волос. Но это-то как раз нормально, это у них от природы, а природы вокруг становится все меньше. Двое ребят в типографии — негры, Фарнсуорт и Бьюкенен, и через какое-то время перестаешь даже замечать их; по крайней мере они хоть не разучились смеяться. А ведь невесело это — быть негром: вечно им недоплачивают, да и глаза у них не как у нас — налитые кровью, темно-карие и влажные, так и кажется, что из них сейчас вот-вот закапает. Читал где-то, что какой-то антрополог считает негров не примитивнее нас, а наоборот: последним словом творения, самыми новыми человеческими экземплярами. В чем-то более грубыми и выносливыми, а в чем-то более ранимыми. Безусловно, более тупыми, но что, собственно, дала человечеству прыткость ума — атомную бомбу и алюминиевую банку для пива. И потом, кого-кого, а Билла Косби[[2]](#footnote-2) дураком не назовешь.

Но этой великодушной просвещенной терпимости противостоит определенный страх: Кролик не понимает, почему неграм надо быть такими шумными. Эта четверка, что сидит как раз под ним, — как они подталкивают друг друга, как громко, серебристо взвизгивают, они же прекрасно понимают, что раздражают толстых пенсильванских немок, возвращающихся домой с сумками, полными покупок для всей семьи. Правда, так ведут себя ребята любого цвета кожи, и все равно странно. Странный они народ. Не только по цвету кожи, но и по тому, как они скроены, грациозные, как львы, и голова у них устроена совсем по-другому, точно мысли складываются иначе и наружу выходят с каким-то вывертом, даже когда они не замышляют ничего дурного. Точно и эти густые шевелюры, в стиле «афро», и золотые серьги, и взвизги в автобусах произросли из семян некоего тропического растения, занесенных птицами, которые пролетали над садом. Его садом. Кролик знает, это его сад, и потому на заднем стекле его «форда-фэлкона» красуется переводная картинка с изображением американского флага, хотя Дженис и говорит, что это пошло и отдает фашистским душком. В газетах пишут о нескольких случаях в Коннектикуте, когда родители уезжают на Багамы, а детки устраивают такие вечеринки, что разносят родительский дом в щепы. И такое творится по всей стране, с каждым днем все больше и больше. Можно подумать, все само собой вырастает, как будто люди не положили жизнь, чтобы на этом месте что-то построить.

Автобус едет вниз по Уайзер, переезжает реку Скачущая Лошадь и начинает не столько подбирать, сколько высаживать пассажиров. Мимо мелькает город с его выдохшимися магазинами-центовками (которые в свое время казались страной чудес, где маленький Кролик носом упирался в высокий прилавок и книжки-картинки пахли Рождеством), и универсальный магазин Кролла (где он одно время работал — разбивал упаковочные рамы в подсобке позади мебельного отдела), и обсаженная цветами площадь, где трамваи, громыхая на стыках, делают разворот, а потом пустые грязные витрины магазинчиков, вытесненных загородными супермаркетами, и унылые тесные лавчонки с громкими названиями «Суперстиль» или «Бутик», и похоронные конторы с выставленными в витринах портретами на каменных плитах под гранит, и склады, и мастерская по ремонту обуви, где продают жареный арахис и газеты для негров с крикливыми заголовками («Мбоа мученик»), которые печатают в Филадельфии, и цветочный магазин, где устраивают подпольные лотереи, и мелочная лавка рядом с оптовой продажей одежды, что рядом с забегаловкой на углу, именуемой «Гостеприимный уголок Джимбо», — конец города, упирающийся в мост, здесь после водной глади, которая в дни юности Кролика была изгажена сваливаемым углем (однажды какой-то человек попытался совершить самоубийство, спрыгнув с моста, и лишь увяз по бедра, так что полиции пришлось его оттуда извлекать), а теперь очищена и испещрена стоящими на якоре прогулочными катерами и яхтами, — здесь Бруэр уступает место Западному Бруэру, псевдогороду, с тоненькими, как кости домино, красными кирпичными домиками, перемежающимися автостоянками, бензоколонками с навесами, на которых изображены эмблемы бензиновых компаний, и автостоянкой супермаркета, целым озером машин с блестящими на солнце бамперами. Раскачиваясь и подскакивая, автобус, став полегче, избавившись от негров, движется к вымечтанным просторам, мимо крепостей-резиденций, окруженных со всех четырех сторон орошаемыми лужайками с подрезанными кустами гортензий, возвышающимися над недавно возведенными подпорными стенками, мимо музея с вечно цветущими садами, где лебеди едят хлеб, который бросают им школьники; затем мелькают солнцеотражающие, оранжевые, как тыква, окна высокого нового крыла окружной психиатрической больницы. А ближе стоит химчистка Западного Бруэра, магазин игрушек, именуемый «Хобби-рай», кинотеатр «Риалто» с куцей маркизой, на которой значится: «2001: Одиссея»[[3]](#footnote-3). Уайзер-стрит заворачивает, переходит в шоссе, которое бежит среди зеленых пригородов, где маленькие промышленные князьки построили в двадцатые годы чудо-домики, наполовину деревянные, наполовину из известняка с гравийным вкраплением и клинкерного кирпича, штукатурка на них слоится, как корочка на пироге, — сказочные домики из карамели и затвердевшего печенья с гаражами на две машины и дугой подъездной аллеи. В округе Бруэр, если не считать нескольких поместий крупных промышленных баронов, окруженных чугунными решетками и лужайкой площадью в несколько миль, эти дома — самые престижные, такой могут купить наиболее преуспевающие дантисты, наиболее настырные страховые агенты, наиболее обходительные офтальмологи. У этой части города даже другое название: она именуется не Западный Бруэр, а Пенн-Парк. Название это с надеждой эхом подхватывает район Пенн-Виллас — хотя и не является частью респектабельного пригорода, зато граничит с поселком Фэрнейс. Фэрнейс, где некогда в питаемых углем печах плавили сталь для мушкетов — оружия американской революции, теперь полностью стал сельским — несколько снегоуборочных машин и единственный шериф с трудом поддерживают порядок в этой деревушке, состоящей из домов-«ранчо» с раскисшими лужайками, где асфальт весь в выбоинах и не достроены очистные сооружения.

Кролик выходит на остановке в Пенн-Парке и идет по Эмберли-авеню, застроенной домиками в псевдотюдоровском стиле, в конец городка, туда, где Эмберли-авеню становится проездом Эмберли в Пенн-Виллас. Он живет на Виста-креснт, в третьем от конца доме. Когда-то отсюда, возможно, и открывался прекрасный вид на покатую долину, испещренную красными сараями и фермами из местного камня, но Пенн-Виллас разросся, и теперь из какого окна ни погляди, ты видишь, словно в треснувшем зеркале, такие же, как у тебя, дома, телефонные провода и телевизионные антенны. Дом Кролика под номером 26 обшит яблочно-зелеными алюминиевыми щитами. Кролик поднимается на каменное крыльцо и открывает дверь с тремя окошечками, которые образуют лесенку из трех ступенек, как бы перекликаясь с музыкальным звонком на три тона.

— Эй, пап, — кричит ему сын из гостиной, просторной комнаты справа, с камином, которым они никогда не пользуются, — они вышли за пределы земной орбиты! До них от нас сорок три тысячи миль.

— Рад за них, — говорит Кролик. — Мама дома?

— Нет. В школе нас всех собрали, чтобы смотреть запуск.

— Она звонила?

— Нет, при мне не звонила. А я пришел совсем недавно.

Нельсону сейчас почти тринадцать, он ниже среднего роста, смуглый в мать, с тонкими чертами лица и настороженным взглядом, — по всей вероятности, это у него от Энгстромов. Длинные ресницы непонятно от кого, а волосы до плеч — это его собственная идея. Кролику кажется, что будь мальчишка повыше, волосы не выглядели бы такими уж длинными. А так он до ужаса смахивает на девчонку.

— Что ты весь день делал?

По телевизору идет все та же программа — людям задают вопросы, они наугад отвечают, попадают в точку, вскрикивают, целуют ведущего.

— Да так, ничего.

— Ходил на спортплощадку?

— Поболтался там немного.

— А потом где был?

— Да так, сходил в Западный Бруэр, посидел в квартире у Билли. Эй?

— Да?

— Отец купил ему ко дню рождения мини-мотоцикл. Классная штука. Передняя часть как у настоящего, длинная такая, руки надо поднять и вытянуть, чтобы взяться за руль.

— Ты на нем катался?

— Билли разрешил мне только разок прокатиться. Мотоцикл весь такой блестящий — ни пятнышка краски, только металл и белое седло.

— Билли ведь старше тебя, верно?

— На два месяца. Всего-то. Ровно через два месяца мне тоже будет тринадцать, пап.

— И где же он катается? На улицах ведь запрещено, верно?

— Возле их дома большая площадка для машин — он и ездит по ней. Никто ничего ему не говорит. А стоит такой мотоцикл всего сто восемьдесят долларов, пап.

— Я тебя слушаю — только пива возьму.

Домик-то маленький, так что отец на кухне вполне может слышать сына, правда, к голосу его примешиваются всплески веселья из телевизора и сочное чмоканье дверцы холодильника, когда Кролик открывает и закрывает ее.

— Эй, пап, я чего-то не понимаю.

— Выкладывай.

— Я думал, Фоснахты развелись.

— Разъехались.

— Так почему же отец Билли продолжает покупать ему такие штуки? Ты бы видел его стерео — стоит у Билли в комнате, ему даже не надо ни с кем делиться. Четыре динамика, пап, и наушники. Наушники совершенно потрясные. Точно ты сидишь внутри «Крошки» Тима[[4]](#footnote-4).

— Самое подходящее место, — говорит Кролик, входя в гостиную. — Хочешь глотнуть?

Мальчишка прикладывается к банке, оставляя кружок пены на нежном пушке над верхней губой, и корчит гримасу — горько. А Кролик поясняет:

— Когда люди разводятся, отец не перестает любить детей — просто не может больше жить с ними. Вот Фоснахт и покупает Билли все эти дорогие штуки, наверное, чувствует себя виноватым, что бросил его.

— А почему они разъехались, пап, ты знаешь?

— Понятия не имею. А вот зачем они вообще поженились — это и правда загадка.

Кролик знал Пегги Фоснахт, когда еще ее звали Пегги Гринг и она была толстозадой косоглазой девчонкой, которая сидела в школе в среднем ряду и вечно тянула руку, считая, что знает ответ на заданный вопрос. Фоснахта Кролик знает хуже: маленький, худенький, вечно пожимающий плечами, он играл на саксофоне на школьных вечерах, а сейчас совладелец музыкального магазина в верхнем конце Уайзер-стрит, который назывался «Струны и диски» и торговал грампластинками, а теперь называется «Чистый звук» и торгует музыкальной аппаратурой. При скидке, которую наверняка получил Фоснахт, стерео, подаренное Билли, должно быть, почти ничего не стоило. Все равно что эти призы в телеигре, которые достаются молодым крикунам. Девчонка, одарившая ведущего французским поцелуем, исчезла с экрана, сейчас очередь отгадывать перешла к какой-то цветной паре. Довольно светлокожие, но явно цветные. Что ж, это-то как раз нормально, пусть себе угадывают, выигрывают и орут вместе со всеми нами. Все лучше, чем стрелять с крыш. И все-таки интересно, каково это — чернокожая жена. Губы большие, толстые — так и захватит ими тебя всего без остатка, а мужики неторопливые, как Господи Иисусе, и хлыст у них вон какой длинный, пока такой поднимешь, зато вкалывать могут целую вечность, потому белым женщинам и подавай их, свои-то белые — те управляются по-быстрому: некогда им, надо дело делать, добывать Америке величие и славу. Кролик любит смотреть шоу «Давай посмеемся», где Тереза исполняет свой суперномер в дискотеке — на коже ее белым намалеваны разные слова. Дженис и Нельсон всякий раз спрашивают его, что на ней написано: он печатник и умеет моментально прочесть любую надпись — хоть вверх ногами, хоть в зеркальном отражении, — у него всегда был быстрый, цепкий глаз: Тотеро, желая его похвалить, бывало, говорил, что он увидит любой мяч — не глазами, так ушами. Великий был хитрец и угодник Тотеро. А теперь его нет — умер. Да и игра стала другой — все дело в том, чтобы повыше прыгнуть, эти здоровенные, длинноногие, голодные черные подпрыгивают, на секунду зависают в воздухе и отправляют мяч розовой ладонью, длинной, как все твое предплечье. Кролик спрашивает Нельсона:

— Почему ты не задерживаешься на спортплощадке подольше? Когда мне было столько лет, сколько тебе, я целыми днями играл там в «минус пять».

— Ну да, тебе хорошо. Ты же высокий.

Раньше Нельсон был без ума от спорта. «Малая лига», соревнования для закрытых помещений. Но теперь интерес у него пропал. Кролик винит во всем дневник его, Кролика, достижений, который вела его собственная мать, когда он играл в баскетбол в конце сороковых и установил несколько рекордов округа: прошлой зимой всякий раз, как они ездили в Маунт-Джадж, Нельсон просил дать ему эту тетрадь с записями и вырезками, ложился с ней на пол и с головой уходил в эти старые, высохшие, пожелтевшие страницы, которые потрескивают от пересохшего клея, когда их переворачивают, — «Команда из Маунт-Джаджа одержала победу над школой «Иволга» из Ориола, Энгстром набирает 37 очков в личном зачете», и мальчик видит звезду, которая сияла двадцать лет тому назад.

— Я стал высоким, — говорит ему Кролик. — В твоем возрасте я был немногим выше тебя.

Вранье, но не совсем. Разница в несколько дюймов. В мире, где каждый дюйм имеет значение. Спорт. Секс. Космос. Рост Нельсона огорчает Кролика. Собственный рост ничего хорошего ему не дал, и если бы можно было отнять у себя пяток дюймов и отдать их Нельсону, он бы отдал. Если только это не больно.

— Да ладно, пап, спорт теперь не в моде. Никто им не занимается.

— А что в моде? Заглатывать таблетки и увертываться от армии. Да еще волосы отращивать, чтоб лезли в глаза. Где, черт бы ее подрал, твоя мать? Сейчас позвоню ей. Убавь хоть раз в жизни звук этого дурацкого телевизора.

Телеигра окончилась, и на экране Дэвид Фрост со своим ток-шоу, так что Нельсон вообще выключает приемник. Гарри сожалеет, что из-за него на лице парня промелькнул испуг, — такое выражение появилось и у его отца, когда он чихнул на улице. Господи, неужто уж и чихнуть нельзя, чтобы их не переполошить. И сын, и отец у него такие слабаки — тоска, да и только. Плохо то, что когда тебе кто-то очень дорог, ты начинаешь уж слишком трястись над ним. И начинаешь сам задыхаться как в тисках.

Телефон стоит на нижней из полок открытого стеллажа, теоретически отделяющего гостиную от ниши, которую они называют «закутком для завтрака». На полках стоит несколько книг по кулинарии, но Дженис, насколько известно Кролику, никогда в них не заглядывает — просто подает изо дня в день все ту же жареную курицу, безвкусный бифштекс с горошком и жареный картофель. Гарри набирает знакомый номер, и знакомый голос отвечает:

— «Спрингер-моторс». Мистер Ставрос у телефона.

— Чарли, привет. Эй, там нет поблизости Дженис?

— Конечно, есть, Гарри. Как живется-можется? — Ставрос, заправский торговец, всегда считает своим долгом обменяться с собеседником парой фраз.

— Ни шатко ни валко, — отвечает Кролик.

— Секунду терпения, дружище. Твоя благоверная тут как тут. — Слышно, как он кричит: — Возьми трубку. Твой звонит.

Поднимают другую трубку. В наступившей на миг тишине Кролик видит контору: сверкающие машины в демонстрационном зале; дверь с матовым стеклом, ведущая в кабинет Спрингера, закрыта; прилавок с зеленой столешницей, и за ним три стальных стола — за одним Ставрос, за другим Дженис, а между ними вот уже тридцать лет сидит Милдред Крауст, бухгалтерша, правда, большую часть времени она отсутствует по болезни: у нее уже в почтенном возрасте возникли какие-то нелады по женской части, так что стол ее пуст, если не считать проволочных корзин для бумаг, штыря для накалывания квитанций и пресс-папье. Кролик видит также прошлогодний календарь со щенками, висящий на стене, и вырезанный из картона макет «тойоты-универсала» на старом, кофейного цвета сейфе, что стоит за елкой. В последний раз Кролик заглядывал в магазин Спрингера на Рождество. Кстати, Спрингер так радовался, что наконец получил лицензию на продажу новых «тойот» после того, как столько лет торговал подержанными, — он сам говорил Гарри, что чувствует себя, «будто ребенок, у которого что ни день сочельник, и так круглый год».

— Гарри, милый, — произносит Дженис, и голос ее звучит как-то необычно, словно она куда-то спешила и слегка задыхается, какой-то отзвук песни, которую он прервал. — Ты будешь меня ругать, да?

— Нет, просто мы тут на пару размышляли, получим ли мы и если получим, то когда, черт подери, нормальную домашнюю еду.

— Ох, я понимаю, — нараспев говорит она, — мне это тоже не нравится, вот только Милдред так часто отсутствует, что нам приходится вникать в ее книги, а у нее нет никакой системы ведения дел — по нулям. — «По нулям» — это уже с чужого голоса. — По правде говоря, — продолжает петь Дженис, — никто из нас не удивится, если выяснится, что она нагрела папу на миллионы.

— М-да. Слушай, Дженис. Похоже, ты там развлекаешься вовсю...

— Развлекаюсь? Да я работаю, родненький.

— Ну конечно. Может, расскажешь, что все-таки происходит, черт тебя дери?

— В каком смысле — что происходит? Ничего не происходит, кроме того, что твоя жена старается принести домой лишний кусок хлеба.

— Хлеба?

— Что происходит! В самом деле — что? Ты, может, думаешь, семь долларов, или сколько ты там получаешь в час за то, что сидишь в потемках и ковыряешься со своей дурацкой машиной, — это хорошие деньги, а на самом деле, Гарри, на сто долларов ничего теперь не купишь — они просто уплывают.

— Господи, на кой мне твоя лекция по инфляции? Я хочу только знать, почему моей жены никогда нет дома и она не готовит мне и своему треклятому сыну растреклятый ужин.

— Гарри, тебе кто-нибудь что-то про меня наплел?

— Наплел? Да кто? Дженис, просто скажи, ставить мне два «ужина для телезрителей» в микроволновку или нет?

Молчание. И он вдруг видит, как крылья ее сложились и прервалась ее песнь, и он в воображении взмывает ввысь, ни к чему не привязанный, свободный. Давнее предчаяние, что-то смутное. Дженис говорит, взвешивая слова, и Кролик чувствует себя как ребенок, наблюдающий за матерью, которая кладет столовой ложкой сахар в сбивалку.

— Ты мог бы это сделать, родненький? Только сегодня? Мы тут застряли с одной небольшой проблемой, никак не справимся, правда. Объяснять слишком сложно, но нам надо разобраться в некоторых цифрах, иначе мы не сможем выдать завтра жалованье.

— Кто это «мы»? Твой отец там?

— Ну конечно.

— Можно мне его на пару слов?

— А что такое? Он сейчас вышел на площадку.

— Я хочу узнать, достал ли он билеты на бейсбол, на игру «Взрывных». Малец до смерти хочет пойти.

— Ну, вообще я что-то его не вижу. Он, наверно, поехал домой ужинать.

— Значит, вы там вдвоем с Чарли.

— Есть и другие — заходят, уходят. Мы отчаянно пытаемся разобраться в этой каше, которую заварила Милдред. Это последний вечер, Гарри, обещаю. Я буду дома часов в восемь-девять, а завтра вечером давайте все вместе пойдем в кино. В Западном Бруэре все еще идет этот фильм про космос — я заметила сегодня утром, когда проезжала мимо.

Кролик вдруг устал от этого разговора, от всего вообще. Вокруг кипит какая-то непонятная энергия, и он не в силах в этом разобраться. Человеческие аппетиты сокращаются, а аппетиты мира — никогда.

— О'кей, приезжай домой, когда сможешь. Но нам надо поговорить.

— Поговорим, Гарри, с удовольствием! — Тон у нее такой, будто предлагает ему не поговорить, а потрахаться, хотя он-то имел в виду именно поговорить. Она кладет трубку — нетерпеливо и с явным удовлетворением — так ему слышится этот щелчок.

Кролик открывает еще одну банку пива. Язычок отламывается, так что ему приходится искать заржавевшую старую открывалку, лежащую на самом дне ящика для ключей. Он разогревает два бифштексовых ужина «Солсбери» и, пока печь раскаляется до 400 градусов, читает указанный на пакете состав: вода, говядина, горошек, обезвоженная картофельная стружка, панировочные сухари, грибы, мука, масло, маргарин, соль, мальто-декстрин, томатная паста, кукурузный крахмал, вустерширский соус, гидролизованный овощной протеин, глутамин, обезжиренное сухое молоко, сушеный лук, приправы, сахар, карамельный краситель, специи, цистеин и тиамин гидрохлорид, гуммиарабик. Из картинки на фольге нельзя понять, как все это смешивается. Кролик всегда считал, что гуммиарабик существует для того, чтобы стирать карандаш. Ему тридцать шесть лет, а знает он меньше, чем знал раньше. Разница лишь в том, что теперь он знает, как много он не узнает уже никогда. Не узнает, как говорить по-китайски или каково это — лечь в постель с африканской принцессой. В шестичасовых новостях речь идет только про космос, только про пустоту — какой-то лысый дядька, манипулируя модельками, показывает стыковку и расстыковку, а потом комментатор толкует, какое значение это будет иметь в ближайшие пятьсот лет. Они все вспоминают Колумба, но, насколько понимает Кролик, сейчас происходит все как раз наоборот: Колумб плыл вслепую и неожиданно наткнулся на нечто, а тут ребята точно знают, куда они летят — в большую круглую пустоту. Бифштекс «Солсбери» отдает консервантами, и Нельсон проглатывает лишь несколько кусочков. Кролик пытается подзадорить его шуткой:

— «Ужин для телезрителей» без телевизора не идет в горло.

Они прокручивают каналы, пытаясь найти что-нибудь интересное, но нет ничего, лишь после девяти в «Шоу Кэрол Бэрнетт» появляется Кэрол, и она с Гомером Пайлом разыгрывает по-настоящему смешную пародийную сценку на тему Одинокого Рейнджера[[5]](#footnote-5). Это уводит Кролика в ту пору, когда он слушал радио на Джексон-роуд, сидя в кресле, ручки которого были все в темных жирных пятнах от крекеров с арахисовым маслом, — он раскладывал крекеры на ручках, сидел и слушал. Маму от этого всякий раз чуть кондрашка не хватала. Каждый понедельник, среду и пятницу программа начиналась в семь тридцать вечера; летом ты прибегал домой, погоняв по улице банки или поиграв в пятнашки; на задних дворах все затихало, а потом в восемь хлопали двери и снова начинались игры, стояли щедрые летние дни, когда темнота наступает только на время сна, и война шла за морями-океанами, чтобы каждый его день был наполнен таким счастьем, чтобы он мог безмятежно расти. И лопать хлопья.

В сегодняшней пародии у Одинокого Рейнджера есть жена. Она сердито топает взад-вперед по хижине и все жалуется, как ей опостылела домашняя работа, вся ее одинокая жизнь. «Тебя и дома-то не бывает, — говорит она, — не успеешь глазом моргнуть, как ты уже умчался, только пыль столбом. Знай себе горланит: «Эге-гей, Сильвер!». Зрители за кадром смеются, смеется и Кролик. А Нельсон не видит тут ничего смешного. Кролик говорит:

— С этого всегда раньше начиналась программа.

Мальчишка раздраженно бросает: «Да знаю, пап», и Кролик что-то пропускает в развитии сюжета, там была какая-то шутка, которой он не услышал — уловил лишь замирающий смех.

Теперь жена Одинокого Рейнджера сетует на то, что Дэниел Бун[[6]](#footnote-6) привозит жене красивые меха. «А я что от тебя имею? Серебряную пулю». Она открывает какую-то дверь, и оттуда на пол высыпается целый бушель серебряных пуль. И дальше на протяжении всей сценки Кэрол Бэрнетт, Гомер Пайл и тот, кто исполняет роль Тонто[[7]](#footnote-7) (не Сэмми Дэвис-младший, а какой-то другой теленегр), без конца наступают на эти пули, поскальзываются, грохочут ими — явно не по замыслу сценариста и режиссера. Кролик думает о том, сколько миллионов телезрителей смотрит это, какие миллионы платят за это спонсоры, и никто не потрудился подумать, к чему это приведет — если под ногами у актеров окажется россыпь серебряных пуль.

Тонто говорит Одинокому Рейнджеру: «В другой раз лучше вложи пулю в ружье».

Жена перекидывается теперь на Тонто: «Нашел дружка! Почему мы все время должны кормить его ужином? Он-то нас к себе небось никогда не зовет».

Тонто говорит, что, приди она к нему в вигвам, ее тут же умыкнут семь или восемь сорвиголов. А она вместо того, чтобы испугаться, проявляет интерес. Она вращает своими большими глазами и говорит: «Поехали к тебе, que mas sabe[[8]](#footnote-8)».

— Пап, что значит «que mas sabe»? — спрашивает его Нельсон.

Кролик, к своему удивлению, вынужден признаться:

— Не знаю. Что-то вроде «дружище» или «шеф», наверно.

Вообще-то он совсем не понимает, кто такой Тонто. Одинокий Рейнджер — он белый, так что стоит за закон и порядок на подвластной ему территории, а Тонто? Иуда, предатель своего народа, ни в чем не заинтересованный одиночка, абстрактная добродетель. Когда получил он положенные денежки? Почему он так предан чужаку в маске? В дни войны никто таких вопросов не задавал. Просто Тонто был «на стороне правильно мыслящих». Тогда казалась реальной такая мечта — красные и белые будут жить вместе, красные полюбят белых и сольются воедино, как красные и белые полосы американского флага. Куда же подевались «правильно мыслящие»? Отвечая Нельсону, Кролик пропустил несколько шуток. Сцена приближается к кульминации. Жена говорит Одинокому Рейнджеру: «Выбирай между им и мной». Стоит и смотрит злющим взглядом, скрестив руки на груди.

Одинокий Рейнджер раздумывает недолго. «Седлай лошадей, Тонто», — говорит он. Ставит на проигрыватель пластинку с увертюрой из «Вильгельма Телля», и оба уезжают. Жена на цыпочках — наступив-таки на пулю — пробирается к проигрывателю и меняет пластинку — ставит «Индейскую песнь любви». Тонто входит с другой стороны экрана. Они обнимаются и целуются. «Я всегда ратовала, — признается телезрителям Кэрол Бэрнетт, и лицо ее занимает весь экран, — за более тесную связь с индейцами».

Взрыв смеха невидимых зрителей — даже Кролик, сидя в кресле у себя дома, смеется, но, несмотря на смех, эта шутка кажется плоской — возможно, потому, что все привыкли считать Тонто чистым и благородным, выше всех вокруг, как Иисус или Армстронг.

— Пора спать, а? — говорит Кролик. Он выключает приемник, где показывают длинный перечень всех, кому создатели программы приносят свою благодарность. Звездочка вспыхивает и гаснет.

Нельсон говорит:

— Ребята в школе говорят, у мистера Фоснахта была связь с другой женщиной, поэтому он и разошелся с женой.

— А может, потому, что ему надоело гадать, которым глазом она смотрит на него.

— Пап, а что значит «связь»?

— Ну, это когда двое встречаются, хотя оба состоят в браке с кем-то другим.

— А у тебя или у мамы когда-нибудь так было?

— Не сказал бы. Я однажды устроил себе отпуск — не очень надолго. Тебе тогда еще не было трех лет. Ты не помнишь.

— А вот помню. Помню, мама много плакала, и все гнались за тобой на похоронах малышки, а еще я помню, как стоял в комнате на Уилбер-стрит, и, кроме тебя, в комнате никого больше не было, и я смотрел на город из окна и знал, что мама в больнице.

— М-да. Скверные это были дни. В субботу, если дедушка Спрингер добудет билеты, как обещал, мы с тобой пойдем на бейсбол.

— Знаю, — бросает мальчишка безо всякого энтузиазма и направляется к лестнице.

Когда раз-другой в день боковым зрением Гарри вдруг видит в доме какую-то женщину, но эта женщина не Дженис, а всего лишь его длинноволосый сын, это выбивает его из колеи.

Еще пива. Кролик сбрасывает недоеденный ужин Нельсона в кухонный «перемалыватель» отходов, от которого иногда несет какой-то сладкой гадостью, потому что в Пенн-Виллас канализационные трубы положены кое-как. Кролик идет по нижнему этажу, собирая посуду для посудомойки: Дженис любит оставлять чашки с недопитым кофе и блюдца, полные окурков, а также рюмки с потеками от вермута на первой подвернувшейся плоскости — на крышке телевизора, на подоконнике. Ну где ей разобраться в каше, которую якобы заварила Милдред? Возможно, вне дома она чудо эффективности. Резва, как конь: «Э-гей, Сильвер!» Тесная связь с индейцами. Бедный папка с его слухами. Бедная мама — лежит там, беспомощная жертва злых языков и кошмаров. Мозги у них обоих высохли как сено, и по ним шныряют крысы. Кролик старается не думать об этом. Он смотрит в окно и видит в сумерках черный силуэт телевизионной антенны, алюминиевый стояк с вешалками, баскетбольное кольцо на далеком гараже. Как заинтересовать мальчишку спортом? Если он не вышел ростом для баскетбола, пусть будет бейсбол. Только не пустота. Только бы он узнал этот переполняющий душу восторг, который дает силы жить дальше. А если он сейчас ничем не заполнит пустоту внутри себя, долго он не продержится, потому что чем дальше мы живем, тем пустоты в нас все больше. Кролик отворачивается от окна и видит на всем в своем доме недолговечный дешевый лоск — попользоваться и выбросить. Синтетическая обивка дивана и кресла в гостиной, искусственная вычурность лампы, которую купила Дженис, — основанием ей служит перевитый проволокой утяжеленный кусок дерева-плавника, какое-то ненатуральное на вид натуральное дерево полок, на которых ничего нет, кроме двух-трех пепельниц, громко возвещающих, что это — сувениры с ярмарки; блестящая стальная мойка и кухонный линолеум с его безумными разводами, будто пятна масла на воде, одно с другим, как известно, не смешивается. Окошко над мойкой черное и матовое, такие же окошки в сумасшедших домах, только там они закрашены оранжевым. Кролик видит в стекле отражение своих мокрых рук под слоем воды в мойке. Он сплющивает алюминиевую банку из-под пива, которую он сам не заметил, как осушил. Ее содержимое в желудке отзывает металлом — от пива один вред здоровью и вес набираешь. Что-то с чем-то там не смешивается. Должно быть, от усталости он не может додумать ни одной мысли и сделать какой-то вывод. Кролик заставляет себя подняться по лестнице, машинально проделывает все необходимые движения — раздевается, чистит зубы и опускается на кровать, не потрудившись выключить внизу и в ванной свет. По монотонному приглушенному звуку радио он понимает, что Нельсон еще не спит. У Кролика мелькает мысль, что надо бы встать и пожелать ему спокойной ночи, благословить мальчика, но невероятная тяжесть придавливает его к кровати, а свет в спальне сына продолжает гореть, и оттуда слышится постукивание, открываются и закрываются двери — парень ищет, чем бы заняться. С самого младенчества Кролик лучше всего спит, когда другие на ногах — прямые, как гвозди, скрепляющие мир, как уличные фонари, столбы с указателями улиц, стебли одуванчика, паутина...

Что-то большое проскальзывает к нему в постель. Дженис. Светящиеся часы на комоде показывают без пяти одиннадцать — обе стрелки слились воедино. Дженис такая теплая в своей ночной рубашке. Кожа теплее простыней. А ему снилось, что он мчится по параболе, пытаясь с нее не сорваться, хотя то, чем он правит, не слушается, сопротивляется, как поломанные сани.

— Ну как — разобрались? — спрашивает он.

— Почти. Извини меня, Гарри. Папа вернулся, и невозможно было улизнуть.

— Вы у него пашете, как негры на плантации, — с трудом ворочая языком, произносит Кролик.

— А как вы с Нельсоном провели вечер?

— Да никак.

— Кто звонил?

— Никто.

Кролик чувствует, что хоть и поздно, она оживлена, возбуждена и хочет поговорить, извиниться, помириться с ним. Ее присутствие в постели все меняет — из неприветливого плота, на котором он пытается плыть по извилистому курсу, постель превратилась в уютное гнездышко, в выложенную мягким впадину. Рука Дженис протягивается к нему, и Кролик отработанным, инстинктивным жестом спортсмена, привыкшего защищать это место, отбрасывает ее. Дженис тотчас поворачивается к нему спиной. Он с этим мирится. Просто придвигается к ней. Ее талия, где под кожей нет костей, образует провал — словно нырнула вниз птица. Когда Кролик женился на ней, он боялся, что она располнеет, как мать, но с возрастом в ней все больше и больше проявляется ее папаша — тощий, шустрый проныра. Рука Кролика покидает выемку и движется к животу жены, слегка, приятно дряблому — ведь она дважды рожала. Какое все мягонькое, как щенячий загривок. Может, надо было позволить ей завести еще одного вместо умершей малышки? Возможно, это его ошибка. Тогда он словно стоял на краю бездонной ямы — ее утроба и могила, секс и смерть, и он кинулся наутек от ее причинного места, словно спасаясь от разверстой пасти тигра. Пальцы его движутся ниже, касаются завитушек, передвигаются еще ниже, обнаруживают там уже образовавшуюся влажность. Он успевает подумать о клавишах линотипа у него под рукой, о том, что завтра на работу, — и вот он уже там.

«Верити пресс» существует, печатая бланки заказов, билеты на благотворительные балы, политические плакаты осенью, школьные памятные ежегодники весной, рекламные листки для супермаркетов, объявления о распродажах, рассылаемые по почте. На ротационном станке они печатают еженедельную «Бруэр вэт», которая специализируется на городских скандалах, поскольку все «серьезные» местные новости и новости по стране печатают две ежедневные газеты. Когда-то они печатали также журнал «Шокельштуль» на немецком языке — он издавался с 1830 года. Уже при Кролике ему дали умереть: тираж его упал до считанных тысяч экземпляров, которые раскупались фермерами в дальних уголках округа и в округах по соседству. Кролик помнит об этом, потому что с прекращением выпуска журнала связан уход из типографии старика Курта Шрака, смуглого, насупленного немца с баками, которые кажутся вытатуированными на коже, а не растущими из нее, чтобы при желании их можно было бы сбрить. Волосы у него были черные, а челюсть словно из свинца, он сидел, нахмурясь, в своем персональном углу и получал жалованье лишь за то, что вычитывал статьи на пенсильванском немецком и сам вручную набирал газету простым черным шрифтом, и к литерам никому больше не разрешалось прикасаться. Узорные рамки и большие рисованные буквицы на внутренних страницах были вырезаны на дереве, почерневшем за столетие от черной краски. Шрак так уходил в работу, что в обеденный перерыв поднимет, бывало, голову и заговорит по-немецки с поляком мастером Пайясеком, или с одним из двух работающих в типографии негров, или с одним из Энгстромов.

Шрака любили за то, что он скрупулезно делал то, чего другие не могли делать вовсе. Затем в один из понедельников его рассчитали, а его угол скоро отгородили для граверов.

«Шокельштуль» перестал существовать, да и «Вэт» грозит переметнуться в Филадельфию, на одно из крупных офсетных предприятий. Там все просто: выклеиваешь оригинал — рекламу, фотографии, текст, и даешь в печать. Над «Верити пресс» угрожающе нависло будущее, которое принадлежит холодной обработке материала — фотоофсету, затем фотонабору и компьютерному теленабору, который может запечатлеть тысячи букв в секунду на пленке, близко не касавшейся металла, и запрограммирован даже делать переносы и перегонку строк; но офсетная машина стоит больше тридцати тысяч долларов, так что покуда плоскопечатная машина остается самым доступным способом изготовлять билеты и плакаты. А «Вэт» не сегодня-завтра может закрыться. Большой нужды в этой газетенке никто не испытывает.

«ОБОРУДОВАНИЕ, СОЗДАННОЕ НА БРУЭРСКОМ ЗАВОДЕ, ЛЕТИТ К ЛУНЕ» — так озаглавили материал на первой полосе газеты, главное событие недели. Кролик набирает статью в две колонки, белые пальцы его так и летают, использованные матрицы со стуком падают в каналы своих магазинов у него над головой, точно дождь барабанит по железной крыше.

Когда жители Бруэра будут в это воскресенье смотреть на Луну, она может показаться им немного другой.

Почему?

Да потому, что маленькая частица Бруэра находится

Нехорошо. Строка повиснет. Кролик пытается втиснуть еще одно слово, но ничего не выходит — что ж, пусть висит.

там.

В компании «Зигзагэлектроникс продактс, инк.», что на углу Седьмой и улицы Акаций,

Оп-ля.

углу Седьмой и улицы Акаций, корреспондентам «Вэт» сообщили на этой неделе, что электронные переключатели, имеющие жизненно важное значение и необходимые для наведения курса корабля и напифационного компьютера и навигационного компьютера, были произведены здесь у них, в обычном кирпичном здании, где в свое время находилась судочная фабрика, где в свое время находилась чулочная фабрика, мимо которой ежедневно проходят тысячи жителей Бруэра, не подозревая о том, что там производят.

Если печатные схемы в их переключателях, — а они величиной с половину почтовой марки и весят меньше семечка подсолнуха, — выйдут из строя, космонавты Армстронг, Олдрин и Коллинз пролетят мимо Луны и погибнут в бесконечном вакууме, именуемом «бездонный космос».

Но подобная опасность абсолютно исключена, заверил главный управляющий «Зигзаг электроникс» Лерой Ленгел

Двадцать три строки набрано. Переходим на одноколонный.

корреспондента «Вэт» в своем предельно современном светло-зеленом кабинете.

«Для нас это была просто очередная работа, — сказал он. — Мы каждую неделю сотню таких работ делаем.

Естественно, — добавил он, — все мы в «Зигзаге» чрезвычайно горды тем, что участвуем в таком деле. Мы пустились в плавание по новым морям».

Машина высится над Кроликом, теплая, по-матерински заботливая, что-то бормочущая, пережиток золотой эры механизации, состоящий из тысячи разных деталей. Справа от Кролика шпационная коробка, слева — матрицы и приемный столик для отлитых строк, на уровне глаз — лампочка под зеленым абажуром. Над этим солнцем плечи машины грозовою тучей уходят во мрак, лениво крутится вал разборочного аппарата, и все эти шуршащие, вздыхающие тонны сложно запрограммированного металла ждут, когда он по воле разума слегка коснется клавишей. За отливным аппаратом — расплавленный свинец; иной раз, когда машину заедает, свинец горячими брызгами вырывается наружу — Гарри получал ожоги. Но машина — она как ребенок: требует немногого, хоть и неуклонно, и как только ее требования удовлетворены, начинает слушаться беспрекословно. В ее верности можно не сомневаться. Выполняй ее требования, и она выполнит твои. К тому же Гарри любит здешний свет. Он как бальзам для глаз, этот ровный голубоватый свет, который не отбрасывает теней, — свет такой ровный и яркий, что одним взглядом можно охватить и прочесть задом наперед сверкающие буквы. Вот дома у Кролика свет совсем другой: когда он стоит на кухне у мойки, от него падает тень, и вся посуда кажется грязной, а когда он сидит в гостиной, приходится шуриться из-за яркого света лампы, которую зажигает Дженис, чтобы читать журналы, и на лестнице все время включены лампочки, и мальчишка жалуется, что они отражаются в экране телевизора, — ему подавай полную темноту. А в большом цехе «Верити пресс», где под потолком висят флуоресцентные трубки, кажется, что передвигаются не люди, а духи — у них нет теней.

Во время перерыва на кофе в половине одиннадцатого к Кролику подходит отец и спрашивает:

— Как думаешь, вы сможете приехать к нам сегодня вечером?

— Не знаю. Дженис вчера вечером говорила, что собирается сводить мальчишку в кино. А как мама?

— Да все хорошо, насколько может быть хорошо.

— Она снова упоминала про Дженис?

— Вчера вечером нет, Гарри. Разве только походя.

Старик придвигается поближе, крепко вцепившись в бумажный стаканчик с кофе, точно там у него драгоценности.

— А ты что-нибудь говорил Дженис? — спрашивает он. — Не пытался ее прощупать?

— Зачем же ее прощупывать — она что, подсудимая? Я ее почти не видел. Она допоздна сидела у Спрингера. — Кролик весь съеживается, увидев при идеальном свете, как многозначительно поджал губы старик, как метнулся в сторону его взгляд. И добавляет: — Старик Спрингер заставил ее до одиннадцати разбираться в бумагах — превратился в настоящего эксплуататора с тех пор, как стал продавать эти японские машины.

Зрачки у папки на волосок расширяются, брови взлетают на цицеро[[9]](#footnote-9).

— А я считал, что он со своей хозяюшкой отправился в Поконы.

— Спрингеры? Кто это тебе сказал?

— По-моему, твоя мать, забыл, кто ей сказал, — может, Джулия Арндт. А может, это было на прошлой неделе. Говорят, ноги у миссис Спрингер не выносят жары — распухают. Я и сказать тебе не могу, каково это — старость, Гарри: все становится не таким, каким было.

— В Поконы, значит.

— Да, наверняка они говорили про прошлую неделю. Мать огорчится, если ты не сможешь сегодня приехать, — что сказать-то ей?

Звонок — окончание перерыва; мимо, шаркая, проходит Бьюкенен, вытирая с губ остатки утренней порции виски, и подмигивает.

— Папашка — он все лучше знает, — шутит он. Этакий гладкий черный морж.

Гарри говорит:

— Скажи ей, что мы постараемся заехать после ужина. Но мы обещали парнишке сводить его в кино, так что скорей всего не приедем. Может, в пятницу наведаемся. — Увидев огорченное и не осуждающее лицо отца, он взрывается: — Черт побери, пап, у меня же своя семья! Не могу я быть и тут, и там.

Он благодарен машине за то, что может к ней вернуться. И она выполняет свою миссию — урчит, помогая ему прогнать из мыслей слово «Поконы», барабанит дождем, когда его пальцы начинают бегать по клавишам, и радуется, что он снова с ней.

Дженис уже дома, когда он возвращается. «Фэлкон» стоит в гараже. В домике висит дымовая завеса от ее сигарет, полупустая рюмка вермута стоит на телевизоре, другая — на одной из полок, отделяющих закуток для завтрака от гостиной. Кролик кричит:

— Дженис!

Хотя дом совсем маленький и гулкий, так что всюду слышно, когда щелкает кнопка телевизора, откупоривают бутылку или поскрипывают пружины матраса Нельсона, Дженис не откликается на призыв Кролика. Он слышит грохот воды, поднимается по лестнице. Ванная на верхнем этаже полна пара. Поразительно, какой горячей водой моются женщины.

— Гарри, ты столько холода впустил!

Она бреет ноги, сидя в ванне, и из нескольких мелких порезов сочатся блестящие капельки крови. Хотя Дженис никогда не была красоткой при таком хмуром, маленьком, зажатом личике, да к тому же и ростом не вышла по меркам Голливуда, целое десятилетие запускавшим крупных самок, у нее всегда были красивые ноги — такими они и остались. Стройные ноги с костистыми коленками — они всегда нравились Кролику: ему нравится, когда у человека виден костяк. Его жена словно напоказ подняла вверх намыленную ногу, и он видит сквозь пелену пара, как серая, мыльная вода плещется, приоткрывая ее треугольник, живот, ягодицы, когда она, сгибаясь, дотягивается бритвой до лодыжки, — сколько раз за тринадцать лет их брака он стоял так наверху лестницы и слышал, как она принимает ванну или видел ее в ванне! Ему нетрудно сосчитать, сколько лет они женаты, потому что поженились они за семь месяцев до рождения сына.

— А где Нельсон? — спрашивает Кролик.

— Он уехал с Билли Фоснахтом в Бруэр посмотреть его мини-мотоцикл.

— Я не хочу, чтобы он смотрел мини-мотоциклы. Еще убьется.

Другой ребенок, его дочь, погиб же. Мир — он как зыбучие пески. Найди прямую дорогу и держись ее.

— Ну, Гарри, какой от этого вред, если он только посмотрит. У Билли есть же мотоцикл — он все время на нем ездит.

— Мне это не по карману.

— Нельсон обещал сам заработать половину нужной суммы. А если у тебя так туго с деньгами, я дам ему вторую половину из своих. — Свои деньги — это акции, которые много лет тому назад подарил ей отец. Да она и сама теперь зарабатывает. Нужен ли он ей вообще? Она спрашивает: — Ты уверен, что закрыл дверь? Откуда-то вдруг потянуло сквозняком. В этом доме и уединиться нельзя, верно?

— О Господи, какое еще уединение, по-твоему, я должен тебе создать?

— Ну, хотя бы не стой тут и не смотри на меня — ты не раз видел, как я моюсь.

— Я уже не помню, когда я в последний раз видел тебя без одежды. Ты еще вполне ничего.

— Я обычная сучка, Гарри. Таких, как я, миллиарды.

Два-три года тому назад она ни за что не сказала бы «сучка». Это возбуждает Кролика, словно он почувствовал на своем члене ее дыхание. Лодыжка, которую она обрабатывает, вдруг покрывается яркой кровью — он в ужасе.

— Господи, до чего же ты безрукая, — говорит он ей.

— Я нервничаю оттого, что ты стоишь тут и пялишься.

— С чего это ты решила принимать ванну сейчас?

— Мы же едем ужинать, разве забыл? Если мы собираемся попасть в кино на восьмичасовой, нам надо выехать в шесть. Тебе тоже надо помыться — типографскую краску отмыть. Оставить тебе мою воду?

— Она вся в крови и волосках.

— Прекрати, Гарри. Тоже мне цаца, раньше ты не был таким.

Вот и еще одно — «цаца». Не ее слово, не ее, она говорит с чужого голоса.

А Дженис продолжает:

— Колонка еще не успела нагреться для новой ванны.

— Ладно. Воспользуюсь твоей водой.

Его жена вылезает из ванны, вода стекает с тела на коврик, ноги и ягодицы у нее порозовели от пара. Когда она приподнимает волосы с шеи, груди из солидарности тоже приподнимаются.

— Не вытрешь мне спину?

Кролик уже и не помнит, когда она в последний раз просила его об этом. Он вытирает ее, и ее маленькое тело кажется большим, как у всех голых женщин. Линия талии переходит в покрытое жирком бедро. Кролик приседает, чтобы вытереть ей ягодицы, красные, покрытые гусиной кожей. Ляжки, отдельные черные волоски, влажный мох.

— Так, хватит, — произносит она и делает шаг, выходя из его рук.

Кролик выпрямляется, чтобы вытереть досуха выемку ее шеи под приподнятыми волосами. У природы столько гнездышек.

— Где ты хочешь ужинать? — спрашивает она.

— Да где угодно. Мальчику нравится «Бургер-мечта» на Уайзер.

— А я подумала о новом греческом ресторанчике у моста на той стороне — мне б хотелось его испробовать. Чарли Ставрос на днях говорил мне о нем.

— Угу. Да, кстати...

— Говорит, у них замечательные такие штуки, завернутые в виноградные листья, и шиш-кебаб — Нельсону это понравится. Если мы не будем знакомить его с чем-то новым, он всю жизнь будет есть в «Бургер-мечте».

— Фильм, как ты знаешь, начинается в половине восьмого.

— Знаю, — говорит она, — потому я и приняла сейчас ванну. — И новая Дженис, по-прежнему стоя к нему спиной, приподнимается на цыпочки и, выгнув спину, трется ягодицами о его ширинку, оставляя на его брюках два мокрых пятна. В голове у него размягчается, в штанах твердеет. — И вообще, — продолжает Дженис, опускаясь и приподнимаясь на цыпочках словно ребенок, нараспев декламирующий детский стишок, — кино ведь не только для Нельсона, для меня тоже — я всю неделю так много работала.

Кролик ведь собирался ее о чем-то спросить, но она своей лаской напрочь стерла вопрос из памяти. А Дженис выпрямляется и говорит:

— Быстрей же, Гарри. А то вода совсем остынет.

На его светло-коричневых брюках спереди два мокрых пятна. В душной ванной он совсем очумел — Дженис открывает дверь в спальню, Кролик сразу коченеет от холодного воздуха и чихает. Тем не менее, пока раздеваясь, он оставляет дверь открытой, чтобы видеть, как одевается она. Получается у нее это быстро и споро; мгновенно, как змея, влезает она в черные колготки. Делает бросок к шкафу за юбкой, к комоду за блузкой — надевает серебряную с оборочками, он-то думал, что Дженис бережет ее для особых случаев. Попробовав ногой воду в ванне (слишком горячая), он вспоминает:

— Эй, Дженис. Кто-то мне сегодня сказал, что твои родители в Поконах. А ты вчера вечером говорила, что отец на работе.

Она замирает посреди спальни, уставясь в сторону ванной. Черные глаза становятся еще темнее — она видит крупное белое тело мужа, расползшуюся талию, толстое брюхо, необрезанный член, свисающий, как петушиный гребешок, из-под белокурой поросли. Видит не прежнего, легко взмывающего ввысь спортсмена, а человека вполне заземленного, к тому же обманутого ею. Дородного белого мужчину, которого можно разрезать на кусочки, как сало. Поистине ангельский холод решимости, с какой он ушел от нее, и его жалкое возвращение, цепляние за нее — чего-то тут она не может простить, что-то ее оправдывает. Ее взгляд, должно быть, обжег его, так как он поворачивается к ней спиной и влезает в воду — ягодицы у него совсем как у ее любовника. Какими же все мужчины кажутся невинными и беззащитными в ванне, думает она, будто снова становятся детьми. Твердым голосом она произносит:

— Они были в Поконах, но почти сразу вернулись. Маме всегда кажется, что на этих курортах на нее смотрят сверху вниз. — И, не дожидаясь реакции на свою ложь, бежит вниз по лестнице.

Отмокая в воде, к которой подмешаны ее волоски и ее кровь, Кролик слышит, что пришел Нельсон. Сквозь потолок проникают приглушенные голоса.

— До чего же паршивый этот мини-мотоцикл, — заявляет сын. — Уже каюкнулся.

Дженис говорит:

— Значит, ты рад, что он не твой?

— Угу, но есть подороже, вот тот классный — «Джоконда», дед мог бы приобрести его для нас со скидкой, и он обошелся бы почти как дешевый.

— Мы с отцом оба считаем, что двести долларов — слишком много для игрушки.

— Это не игрушка, мам, я научился бы разбираться в моторах. К тому же на него можно получить водительские права, да и папа мог бы иногда ездить на нем на работу вместо того, чтобы трястись на автобусе.

— Папе нравится ездить на автобусах.

— Да я их терпеть не могу! — кричит Кролик. — В них воняет неграми.

Но снизу, из кухни, не доносится никакого отклика.

На протяжении всего вечера Кролика не покидает чувство, что никто его не слышит, что он говорит как в вату, поэтому он все громче и со все большим нажимом произносит слова. Ведя машину (хотя на «фэлконе» наклеено изображение флага, ему кажется, что это не его машина, а Дженис — она теперь так часто ею пользуется) по Эмберли-авеню в направлении Уайзер-стрит, мимо кинотеатра и через мост, Кролик буркает:

— Черт побери, не понимаю, почему надо возвращаться в Бруэр, чтобы поесть, — я и так весь день потел в Бруэре.

— Нельсон согласен со мной, — говорит Дженис. — Это будет интересно для разнообразия. Я сказала ему, что там уйма всякой всячины — еда не приторная, как у китайцев.

— Мы опоздаем в кино — как пить дать.

— Пегги Фоснахт говорит... — начала было Дженис.

— Эта дурища, — прерывает ее Кролик.

— Пегги Фоснахт говорит, начало такое нудное. Куча звезд и какая-то там симфония. В любом случае там сперва показывают короткометражки или что-то такое, от чего хочется выйти в фойе и накупить конфет.

Нельсон говорит:

— А я слышал, начало классное. Показывают пещерных людей, которые едят сырое мясо, по-настоящему сырое, одного парня чуть не вырвало, а потом какой-то пещерник не справился с костью и помер. Они забрасывают кость в воздух, и она превращается в космический корабль.

— Благодарю вас, мистер Все Испортил, — говорит Дженис. — У меня теперь такое чувство, будто я уже посмотрела фильм. Может, вы вдвоем пойдете в кино, а я поеду домой и лягу?

— Черта с два, — говорит Кролик. — Ты останешься с нами и разок пострадаешь.

Уступая, Дженис говорит:

— Женщины ведь не слишком петрят в научной фантастике.

Гарри нравится это — пугать ее, предлагая встретиться лицом к лицу с неведомым, которое, он теперь чувствует, присутствует в их жизни, находится среди них как четвертый член семьи. Умершая дочка? Однако хотя горе Дженис поначалу было велико и казалось, она под его гнетом сломается как тростинка, сейчас, много лет спустя, он один несет в себе это горе. Поскольку он не пожелал дать ей забеременеть снова, вся вина за гибель девочки легла на него. Сначала он пытался объяснить, что секс с ней стал для него слишком безрадостным, слишком серьезным актом, сродни смерти, и он боится плодов такого секса. Потом он перестал объяснять, и она, казалось, об этом забыла — так кошка день-два обнюхивает все углы и мяучит, оплакивая утопленных котят, а потом снова принимается лакать молоко и спит в корзине для белья. Женщины и природа забывчивы. При одной мысли о малышке, при воспоминании о том, как он услышал по автомату в аптеке известие о ее смерти, в груди Кролика возникает ком — ком, который он почему-то связывает с Богом. Он помнит, что молился, когда ехал назад на автобусе.

Дженис подсказывает ему свернуть с моста вправо к «Гостеприимному уголку Джимбо», и через несколько кварталов он останавливает «фэлкон» на Сливовой улице. Они выходят, и он запирает машину.

— Типично трущобный район, — недовольно бурчит он. — Последнее время тут немало было изнасилований.

— О, — отзывается Дженис, — «Вэт» только и печатает про изнасилования. Ты хоть знаешь, что такое изнасилование? Это когда женщина потом передумала.

— Следи за тем, что ты говоришь при ребенке.

— Да он теперь про все больше тебя знает. Я вовсе не хочу тебя обидеть, Гарри, просто это факт. Люди стали куда больше понимать, чем когда ты был мальчишкой.

— А как оно было, когда ты была девчонкой?

— Признаюсь: я была очень тупая и наивная.

— А теперь что?

— А теперь — ничего.

— Я думал, ты скажешь, какая ты теперь стала умная.

— Никакая я не умная — просто стараюсь держать глаза и уши открытыми.

Нельсон, который идет немного впереди, но в любом случае излишне много слышит, показывает на большие часы — рекламу пива «Подсолнух» на Уайзер-сквер, которые видны поверх шиферных крыш и развороченного квартала, на месте которого строят очередную автостоянку.

— Уже двадцать минут седьмого, — говорит Нельсон. И добавляет, не будучи уверен, что его поняли: — В «Бургер-мечте» вас мигом обслуживают, там чисто, а бургеры подогревают в большущей печи, которая светится фиолетовым.

— Никакой «Бургер-мечты», малыш, — говорит Гарри. — Пошли в «Рай пиццы».

— Не будьте невеждами, — говорит Дженис, — пицца — это еда для итальянцев. — И, обращаясь к Нельсону, добавляет: — У нас полно времени, к тому же так рано в ресторане никого не будет.

— А где это? — спрашивает он.

— Да вот здесь, — говорит Дженис; она привела их прямо к порогу.

Заведение находится в кирпичном доме — кирпичная стена в бруэровском стиле покрыта краской цвета бычьей крови. Небольшая неоновая вывеска возвещает: «Таверна». Они поднимаются по каменным ступеням, за дверью их встречает усатая матрона и проводит в бывшую гостиную, расширенную за счет соседней комнаты, а дальше — за дверью, открывающейся в обе стороны, — кухня. Посередине несколько столиков. Вдоль двух стен — кабинки. Стены белые, голые, если не считать изображения женщины с желтым продолговатым лицом, которая держит на руках младенца, перед ними мерцает свеча. Дженис проскальзывает на скамью по одну сторону кабинки, Нельсон садится на другую, и Гарри, вынужденный сделать выбор, садится рядом с Нельсоном, чтобы помочь сыну разобраться в меню, подыскать что-то, похожее на гамбургер. Скатерть красная, клетчатая, в голубой стеклянной вазе живые маргаритки, Гарри потрогал их — нежные. Дженис была права. Здесь действительно мило. Единственный источник музыки — радио, играющее на кухне; единственные посетители, помимо них, — пара, столь оживленно что-то обсуждающая, что они то и дело трогают друг друга за руки, словно не доверяя глазам, — мужчина багрово-красный, точно его сейчас хватит удар, женщина мертвенно-бледная. Они явно из Пенн-Парка, и им, судя по всему, не жарко в их бежевой и асфальтово-серой одежде, безусловно, подходящей для выхода, но малоподходящей для этой душной речной впадины в знойном июле. Лица говорят о достатке — лбы не испещрены морщинами, как у шамкающих, плохо соображающих бедняков. Хотя Гарри никогда уже не стать таким, как они, ему нравится сидеть с этой парой в одном зале, до того целомудренном, что в этом есть свой шик. Может, Бруэр еще кое-как держится на ногах.

Меню написаны от руки и потом размножены на гектографе. Нельсон мрачнеет, взяв меню в руки.

— У них тут нет сандвичей, — говорит он.

— Нельсон, — говорит Дженис, — если ты начнешь капризничать, я никогда больше никуда тебя не поведу. Ты же большой мальчик.

— Тут одна сплошная тарабарщина.

Она поясняет:

— Здесь все блюда так или иначе из баранины. Кебаб — это когда на вертеле. Мусака — баранина с баклажанами.

— Терпеть не могу баклажаны.

— Откуда ты все это знаешь? — спрашивает Кролик жену.

— Любой человек это знает, Гарри, не все же такие провинциалы, как ты. Сели рядышком папа с сыном и решили страдать. Мерзкие америкашки.

— Ты тоже на китаянку не похожа, — говорит Гарри, — хоть и вырядилась в блузку с кружевным воротничком. — Он опускает взгляд на руки и видит на пальце желтое пятнышко — это оттого, что он трогал маргаритки.

Нельсон спрашивает:

— А что такое каламария?

— Не знаю, — говорит Дженис.

— Хочу это.

— Ты сам не знаешь, чего ты хочешь. Возьми сувлакию — это самая простая еда. Кусочки мяса, хорошо прожаренные на вертеле и проложенные колечками сладкого перца и лука.

— Я терпеть не могу перец.

Кролик поясняет:

— Это не тот перец, от которого чихают, а зеленый, похожий на вылощенный помидор.

— Да знаю я, — говорит Нельсон. — Терпеть его не могу. Фу ты черт, я же знаю, что такое перец, папа.

— Не выражайся. Когда ты его ел?

— В перечном гамбургере.

— Может, ты отвезешь его в «Бургер-мечту», а меня оставишь тут, — предлагает Дженис.

— А что ты будешь заказывать, коли ты, черт бы тебя подрал, такая всезнайка? — спрашивает Кролик.

— Папа, не выражайся.

— Тише вы оба, — говорит Дженис. — Тут есть симпатичный пирог с курицей, я только забыла, как он называется.

— Значит, ты здесь уже бывала, — говорит Кролик.

— Я хочу мелопету, — говорит Нельсон.

Кролик видит, куда тычет коротенький палец мальчишки (мама никогда не упускала случая заметить, что у него маленькие спрингеровские ручки), и говорит:

— Дурачок, это же десерт.

Громкие возгласы в дверях возвещают о появлении большого семейства — все черноволосые, все улыбающиеся; официант по-сыновьи приветствует их и приставляет к кабинке столик, чтобы они могли рассесться. А они лопочут на своем языке, хихикают, воркуют, радуются. Скрипят стулья, детишки, тихие, большеглазые, сидят, уставясь, под зонтом шума, устроенного взрослыми. Кролик чувствует себя голым в жалких обносках своей малочисленной семьи. Пара из Пенн-Парка медленно оборачивается, не выныривая на поверхность, — теперь уже она краснеет, а он сидит бледный, — и контакт возобновляется, рука ищет руку, пробираясь по скатерти между ножек бокалов и рюмок. Компания греков затихает, рассевшись по насестам, но какой-то мужчина, должно быть, вошедший последним, все еще стоит в дверях. Кролик узнает его. А Дженис сидит, не поворачивая головы, упорно глядя в меню, но глаза застыли и явно не видят, что там написано. Кролик шепотом произносит для ее сведения:

— Чарли Ставрос объявился.

— О, в самом деле? — произносит она, но по-прежнему не поворачивает головы.

Зато Нельсон поворачивает голову и громко кричит:

— Эй, Чарли!

Летом мальчишка много времени проводит на «пятачке» Спрингера.

Ставрос — у него такие слабые и чувствительные глаза, что он носит очки с лиловыми стеклами, — наконец обнаруживает их. На лице его появляется улыбка, какою обычно он завершает сделку о покупке, — один уголок его рта лукаво приподнимается, образуя ямочку на щеке. В нем есть этакая квадратность, в этом Ставросе, он на несколько дюймов ниже Гарри, на несколько лет моложе, но с природным запасом серьезности, что придает ему вид человека старше своего возраста. Линия волос у него отступает, обнажая лоб. Брови словно вычерчены по линейке. Передвигается он осторожно, словно боится что-то в себе разбить, — в своей клетчатой бумажной рубашке, прямоугольных очках в толстой роговой оправе, со своими квадратными густыми бачками он шагает по миру с таким видом, точно сознательно выбрал именно такую жизнь. То, что он не женат, хотя ему уже за тридцать, лишь усиливает впечатление человека, свободного в своем выборе. Увидев его, Кролик всегда чувствует к нему большее расположение, чем до встречи. Ставрос напоминает ему крепких, медлительных и никогда не выходящих из себя ребят, которые делали игру в команде. Когда Ставрос, подумав, преодолевает препятствие в виде своей недолгой нерешительности и приближается к их кабинке, именно Гарри говорит: «Присоединяйся к нам», хотя Дженис, потупясь, уже пододвинулась на скамье.

Чарли, обращаясь к Дженис:

— Все семейство в сборе. Красота!

Она произносит:

— Эти двое ведут себя просто ужасно.

Кролик говорит:

— Мы не можем разобраться в меню.

Нельсон говорит:

— Чарли, что такое каламария? Я хочу попробовать.

— Нет, не стоит. Там нечего есть — что-то вроде осьминогов, сваренных в собственном соку.

— Гадость, — говорит Нельсон.

— Нельсон! — резко одергивает его Дженис.

Кролик говорит:

— Присаживайся, Чарли.

— Не хочу вам навязываться.

— Ты окажешь нам честь. А, черт!

— Папа сегодня в плохом настроении, — поясняет Нельсон. Дженис нетерпеливо похлопывает по скамье рядом с собой; Чарли садится и спрашивает:

— А что все-таки любит малый?

— Гамбургеры, — театрально вздыхает Дженис. Она вдруг стала актрисой: каждый жест, каждая интонация подчеркивают ее отъединенность от остальных.

Чарли склоняет квадратную голову над меню.

— Давайте закажем ему кефтедес. О'кей, Нельсон? Мясные тефтели.

— Только чтоб не было на них этой томатной слизи.

— Никакой слизи, одно мясо. Немножко мяты. Как в леденцах. Годится?

— Годится.

— Тебе понравится.

Но у Кролика такое чувство, что парнишке продали никудышную машину. А еще у него такое чувство, что с появлением широкоплечего Ставроса рядом с Дженис и его рук — на каждой по массивному золотому кольцу — ужин свернул на дорогу, которой Кролик не выбирал. К тому же они с Нельсоном очутились на заднем сиденье.

А Дженис говорит Ставросу:

— Чарли, почему бы тебе не заказать для всех нас? Мы ведь в этом не разбираемся.

Кролик произносит:

— Я знаю, чего я хочу. Я сам закажу. Я хочу... — и читает первое попавшееся в меню, — пайдакию.

— Пайдакию, — повторяет Ставрос. — Не думаю. Это маринованная баранина. Ее заказывают за день и не меньше, чем на шестерых.

Нельсон говорит:

— Пап, через сорок минут начинается фильм.

Дженис поясняет:

— Мы хотим посмотреть этот дурацкий фильм про космос.

Ставрос кивает с таким видом, будто знает, о чем речь. Уши Кролика улавливают какое-то странное эхо. Словно все, что говорят между собой Дженис и Ставрос, уже неживое, вторичного, так сказать, употребления. Ничего удивительного: они ведь целый день работают вместе.

— Фильм плохой, — говорит им Ставрос.

— Чем же он плохой? — раздраженно спрашивает Нельсон. На лице его появляется такое выражение, какое бывало в младенческом возрасте, когда в бутылочке не оставалось молока: губы расквашиваются, глаза западают в глубь глазниц.

— Тебе, Нелли, фильм понравится, — уступает Ставрос. — Сплошные игрушки. А мне подавай сексуальность. Наверное, в технике я не вижу ничего сексуального.

— Неужели все должно быть сексуальным? — спрашивает Дженис.

— Не должно быть, но должно стремиться быть, — говорит Ставрос. И, обращаясь к Кролику, предлагает: — Закажи сувлакию. Тебе понравится, и это быстро готовят. — И удивительно лаконичным жестом — одно движение кисти, ладонью наружу, как будто он только что щелкнул пальцами, локоть на столе даже не дрогнул — подзывает матрону, которая тотчас со всех ног спешит к ним.

Ставрос заказывает, говоря с ней по-гречески, а Кролик изучает Дженис — она вся как-то странно светится. Время к ней милостиво. Словно жалеет ее. Недоброе выражение, которое в юности придавал ее лицу поджатый рот, смягчило появление мелких морщинок, а редкие волосы, так раздражавшие Кролика как еще одно свидетельство его обделенности, теперь расчесаны на прямой пробор и двумя мягкими крылами ниспадают на уши. Она не красит губы, и при определенном освещении лицо ее выглядит суровым лицом цыганки, горделивым, как на фотографиях партизанок-бойцов. Схожесть с цыганкой она унаследовала от матери, а горделивость ей придали шестидесятые, избавившие ее от необходимости носить рюши и оборки. В заурядности достаточно красоты. А сейчас Дженис так и источает радость, ерзает на своих округлых ягодицах, и руки танцуют, возбужденно мелькая белыми птицами в свете свечей. Она говорит Ставросу:

— Если б ты не появился, мы бы умерли с голоду.

— Да нет, — говорит он ободряюще, как трезвый реалист. — О вас позаботились бы. Люди тут славные.

— Эти двое, — говорит Дженис, — типичные американцы, от них никакого проку.

— Кстати, — обращается Ставрос к Кролику, — я вижу, ты налепил на старого «фэлкона» флажок.

— Я сказала Чарли, — говорит Кролику Дженис, — что это, уж конечно, не я наклеила.

— А что тут плохого? — спрашивает Кролик, обращаясь к обоим. — Это же наш флаг, верно?

— Безусловно, это чей-то флаг, — говорит Ставрос. Ему совсем не нравится такой поворот разговора, и, сведя ладони, он слегка постукивает кончиками пальцев прямо под своими защищенными очками слабыми глазами.

— Но не твой, а?

— Когда речь заходит о флаге, Гарри становится настоящим фанатиком, — предупреждает Дженис.

— Никакой я не фанатик, просто меня огорчает, что есть люди, которые заявляются сюда набить кошелек...

— Я родился здесь, — перебивает его Ставрос. — И мой отец тоже.

— ...а потом плюют на чертов государственный флаг, — продолжает Кролик, — как будто это клочок туалетной бумаги.

— Флаг — это флаг. Клочок материи.

— Для меня это больше, чем клочок материи.

— И что же он для тебя?

— Это...

— Это королева рек Миссисипи.

— Это гарантия того, что другие не будут все время за меня договаривать.

— Только через раз.

— Это уже лучше, чем все время, — как в Китае.

— Слушай. Миссисипи, спору нет, река полноводная. Скалистые горы действительно впечатляют. Просто я не могу радоваться, когда полицейские бьют хиппи по голове, а Пентагон играет в ковбоев и индейцев по всему земному шарику. И твоя картиночка именно это для меня и значит. Она означает: долой черных, пусть ЦРУ разберется в Греции[[10]](#footnote-10).

— Если мы там не разберемся, другие за нас разберутся — как пить дать: греки, похоже, ни на что не способны.

— Не делай из себя посмешище, Гарри: ведь это они придумали цивилизацию, — говорит Дженис. И, обращаясь к Ставросу, добавляет: — Видишь, какой у него становится маленький злой ротик, когда он ударяется в политику.

— Вовсе я не ударяюсь в политику, — говорит Кролик. — Это одно из моих бесценных, черт возьми, американских прав — не думать о политике. Я просто не понимаю, почему мы должны идти по улице со связанными за спиной руками и позволять любому прощелыге бить нас дубинкой с криком, что он творит революцию. У меня начинает гореть внутри, когда я слышу, как зазнавшиеся торговцы дерьмовыми автомобилями, пропахшие «Виталисом», поносят, сидя на отъевшемся заду, ту самую страну, которая с рождения кормит их добротной снедью.

Чарли приподнимается.

— Я, пожалуй, пойду. Это уже слишком.

— Не уходи, — просит Дженис. — Он сам не знает, что говорит. Он на этом совсем рехнулся.

— Ага, не уходи, Чарли, оставайся, ублажи психа.

Чарли снова опускается на скамью и размеренно произносит:

— Я хочу понять твои рассуждения. Расскажи-ка про то, какой снедью мы кормили Вьетнам.

— Господи, об этом и речь. Да мы превратили бы эту страну во вторую Японию, если б они нам позволили. Только этого мы и хотели — сделать их страну счастливой, богатой, проложить шоссейные дороги, построить бензоколонки. Бедный старина Джонсон выступал по телевидению, как Христос, со слезами на глазах — неужто ты не слышал? Он же чуть ли не предлагал превратить Северный Вьетнам в наш пятьдесят первый чертов штат — только бы они перестали бросать бомбы. Мы просим их провести выборы, любые выборы, а они бросают бомбы. Ну что тут можно поделать? Мы готовы жертвовать собой — такова наша внешняя политика — ради этих маленьких желтых людишек, мы хотим сделать их счастливыми, а ребята вроде тебя сидят в ресторанах и ноют: «Господи, до чего же мы прогнили».

— Я считал, что это не они, а мы бросаем бомбы.

— Мы прекратили, прекратили — вы же, либералы, устраивали тут марши, и чего мы этим добились? — Кролик пригибается и отчетливо произносит: — Ни ши-ша!

Перешептывающаяся парочка в другом конце зала с удивлением посмотрела на них; семейство, сидящее на расстоянии двух кабинок, перестало шуметь и слушает. Нельсон отчаянно покраснел; печальные, пылающие глаза запали.

— Ни шиша, — уже тише повторяет Гарри. И пригибается к скатерти так, что голова оказывается совсем рядом с подрагивающими маргаритками. — Теперь ты, очевидно, скажешь «напалм». Ей-ей, магическое словцо. Это ничего, что они там уже двадцать лет кряду заживо хоронят деревенских старейшин и палят из минометов по больницам, — и благодаря напалму они стали теперь кандидатами на премию мира, как Альберт Швейцер. Чтоб их всех! — Кролик снова заговорил громко: он становится непримирим при мысли о предательстве и неблагодарности, марающих флаг, пачкающих его самого.

— Гарри, ты добьешься того, что нас отсюда выставят, — произносит Дженис, но Кролик видит, что она по-прежнему окружена кольцами счастья, словно булочка жаром печи.

— Я начинаю его понимать, — говорит ей Ставрос. — Если я правильно усек, — обращается он к Кролику, — мы выступаем в роли мамаши, которая пытается заставить непослушного ребенка принять лекарство, от которого он поправится.

— Правильно. До тебя дошло. Мы именно такая мама. И большинство хочет принять лекарство, до смерти хочет, а несколько психов в черных пижамах готовы скорее заживо всех похоронить. А твоя какая теория? Что, мы ринулись туда за рисом? В угоду дядюшке Бену[[11]](#footnote-11). Бедный старый дядюшка Бен.

— Нет, — говорит Ставрос, кладя руки на клетчатую скатерть и вперив взгляд во впадинку у горла Гарри (осторожничает — с чего бы это?), — по моей теории, это напрасная игра мускулами. Дело не в том, что мы хотим отобрать у них рис, — мы не хотим, чтобы у *них* был рис. Или магний. Или береговая линия. Мы так долго играли в шахматы с русскими, что и не заметили, как сошли с доски. Белые лица в странах желтой расы больше не срабатывают. Советники Кеннеди, считавшие, что могут управлять миром из кабинета, нажали кнопку, и — ничего не произошло. Затем Освальд посадил в президентское кресло Джонсона, который оказался настолько туп, что думал, будто достаточно иметь побольше палец, и кнопка сработает. Машина перегрелась, и вот результат: инфляция и обвальный рынок, с одной стороны, и студенческие бунты с другой, а посредине сорок тысяч парней, рожденных от американских матерей и убитых бамбуковой палкой, вымазанной в дерьме. Людям больше не нравится, что их сынков убивают в джунглях. Наверно, им это никогда не нравилось, но в свое время они считали это необходимостью.

— А это не так?

Ставрос моргает.

— Ясно. Ты считаешь, война неизбежна.

— Угу, и лучше там, чем здесь. Лучше малая война, чем большая.

Уперев ребро руки в стол, точно собирается одним ударом отрезать ломоть, Ставрос говорит:

— Но тебе это нравится. — И бьет ребром по столу. — Ты считаешь правильным жечь узкоглазых детишек — вот к чему ты пришел, приятель. — Слово «приятель» звучит неубедительно.

Кролик спрашивает:

— Ты служил в армии?

Ставрос передергивает плечами, потом распрямляет их.

— У меня был белый билет. Мотор барахлит. А ты, я слышал, корейскую войну просидел в Техасе.

— Я был там, куда меня послали. Я и теперь поеду, куда меня пошлют.

— Этакий отличник. Благодаря таким, как ты, Америка и стала великой державой. Боец-молодец.

— Он молчаливое большинство, — заметила Дженис, — но шуму от него много. — И посмотрела на Ставроса в надежде, что он подхватит ее остроту. Боже, какая дурища, хотя задница у нее с годами стала хоть куда.

— Он нормальный продукт своего времени, — говорит Ставрос. — Добренький расист-империалист.

По тому, как это произнесено — спокойно, ровным тоном, с этакой улыбочкой, какую выдают по завершении сделки по продаже машины, Кролик понимает, что с ним заигрывают, предлагают — таково его смутное чувство — союз. Но он интуитивно чувствует, что Америка не зря «играет мускулами». Америку прельщает не власть, она действует, исходя из мечты, по Божьему наитию. Где Америка, там свобода, а где Америки нет, там безумие правит с помощью цепей, мракобесие удушает миллионы. Под ее терпеливо выжидающими бомбардировщиками может расцвести рай.

— Я не исповедую этой расистской брехни, — парирует он. — Но нельзя включить телевизор, чтобы тебя не оплевала черная морда. А все, начиная с Никсона, ночами не спят — только и думают, как бы сделать их всех богатыми, не утруждая никакой работой. — Язык его не знает удержу, но он защищает нечто бесконечно дорогое, звезду, зажегшуюся вместе с его рождением. — Они говорят о геноциде, а ведь они сами разжигают его, они — негры плюс детки из богатых семей — хотят все разрушить, а как только какой-нибудь бедняга полицейский не так посмотрит на них, сразу с воплями несутся к адвокату. Я такого мнения, что вьетнамская война... кому-нибудь интересно мое мнение?..

— Гарри, — говорит Дженис, — ты портишь Нельсону вечер.

— Мое мнение, что время от времени воевать надо — пусть все знают, что мы готовы сражаться, и не важно, где идет война. Беда не в том, что мы воюем, — беда в нашей стране. Мы сейчас не стали бы сражаться в Корее. Господи, мы сейчас не стали бы сражаться с Гитлером. Наша страна настолько одурманена собственными наркотиками, так глубоко увязла в собственном жире, болтовне и грязи, — потребовалось бы сбросить по водородной бомбе на каждый город от Детройта до Атланты, чтоб мы очнулись, да и тогда, наверное, мы решили бы, что это небо поцеловало нас.

— Гарри, — спрашивает Дженис, — ты что, хочешь, чтобы Нельсон погиб во Вьетнаме? Ну скажи же ему, что ты этого хочешь.

Гарри поворачивается к сыну и говорит:

— Я не хочу, малыш, чтобы ты погиб, нигде и никогда. Это твоя мамаша умеет доводить всех до гибели.

Он даже сам понимает, как это жестоко, и благодарен Дженис за то, что она не хлопается в обморок, а вместо этого вскипает.

— О-о, — вырывается у нее. — Вот оно что! А ты скажи ему, Гарри, почему у него нет ни братьев, ни сестер. Скажи, кто не желает иметь больше детей.

— Это уж слишком, — говорит Ставрос.

— Я рада, что ты это заметил, — говорит ему Дженис. Глаза у нее совсем ввалились — Нельсон это от нее унаследовал.

По счастью, приносят еду. Обнаружив, что тефтели плавают в подливке, Нельсон отставляет тарелку. Он смотрит на тарелку Кролика, где лежат аккуратно нарезанные кусочки баранины, и говорит:

— Я хочу такого.

— Ну давай поменяемся. Заткнись и ешь, — говорит Кролик. Он бросает взгляд через стол и видит, что Дженис и Ставрос едят одно и то же, нечто вроде белого пирога. По его представлениям типографа, они сидят слишком близко: у каждого с другой стороны много свободного места. Чтобы заставить их «выровнять пробелы», он произносит: — Все-таки отличная у нас страна.

Ставрос продолжает молча жевать, а Дженис хватает наживку:

— Да ты же нигде больше и не был, Гарри.

— Никогда не имел желания куда-либо поехать, — говорит, обращаясь к Ставросу, Гарри. — Я вижу другие страны по телевизору, все они вовсю стараются походить на нас и поджигают наши посольства, потому что быстро у них это не получается. А в каких других странах ты бывал?

Ставрос перестает жевать и буркает:

— На Ямайке.

— Ого, — произносит Кролик. — Да ты настоящий следопыт. Три часа на реактивном лайнере — и ты в холле очередного «Хилтона».

— Они там нас терпеть не могут.

— Ты хочешь сказать, терпеть не могут тебя. А меня они никогда не видели, я туда не езжу. Почему все-таки они нас терпеть не могут?

— Да по той же причине, что и везде. За эксплуатацию. Мы крадем их бокситы.

— В таком случае пусть продают их русским за картошку. За картошку и ракетные установки.

— А наши ракеты стоят в Турции, — произносит Ставрос: ему явно надоел этот разговор.

— Мы сбросили две атомные бомбы, а русские ни одной, — пытается прийти ему на помощь Дженис.

— У них тогда ни одной и не было, иначе бы сбросили. Япошки тогда все до одного готовы были сделать себе харакири, а мы их от этого спасли — взгляните на них теперь: на седьмом небе от радости и до того обнаглели — выжимают из нас все, что могут. Мы вместо них воюем, а вы, пацифисты хреновы, продаете нам их жестянки.

Ставрос прикладывает ко рту аккуратным квадратом сложенную салфетку и вновь обретает аппетит к спору.

— Дженис хотела сказать, что мы не завязли бы в этой вьетнамской каше, живи там белые. Мы бы туда не полезли. Мы ведь считали, что достаточно будет шукнуть как следует и побряцать оружием. Мы считали, что имеем дело с чем-то вроде восстания индейцев чероки. Но вся беда в том, что все «чероки» нынче многочисленнее нас.

— Ох уж эти чертовы несчастные индейцы, — говорит Гарри. — Как же нам следовало поступать — отдать им весь континент под лагерные костры? — Прости, друг Тонто.

— Если б мы так поступили, страна была бы куда лучше, чем сейчас.

— А мы сидели бы в дерьме. Они мешали нам.

— Правильно, — говорит Ставрос. — А теперь ты мешаешь им. — И добавляет: — Бледнолицый.

— Пусть явятся сюда, — произносит Кролик и в эту минуту выглядит действительно как неприступный бастион. Голубой огонек, тлевший в его глазах, превращается в ледяное пламя. Он опускает их вниз. Опускает на Дженис — она сидит напряженная, смуглая, как индианка. Смерть краснокожей собаке!

Тут сын произносит голосом, сдавленным от еле сдерживаемых слез:

— Пап, мы же опоздаем на фильм!

Кролик бросает взгляд на часы и видит, что до начала осталось четыре минуты. Малыш прав.

Ставрос пытается помочь, говорит по-отечески заботливо, как человек, который никогда не был отцом и считает, что детей легко обмануть в главном:

— Начало — самое скучное. А из того, что происходит в космосе, ты ничего не пропустишь, Нелли. Тебе еще надо съесть баклаву на десерт.

— Я же пропущу про пещерных людей, — говорит Нельсон чуть не плача.

— По-моему, надо ехать, — говорит Кролик, обращаясь к взрослым.

— Это невежливо по отношению к Чарли, — возражает Дженис. — Право, невежливо. Я, во всяком случае, непременно засну до конца фильма, если не выпью кофе. — И Нельсону: — Баклава такое чудо — пальчики оближешь. Это тончайшая слойка с медом — сухая, как ты любишь. Посчитайся же с нами, Нельсон: твои родители так редко едят в ресторане.

Разрываясь между ними двоими, Кролик произносит:

— Или попробуй то блюдо, которое ты хотел заказать на горячее, — что-то из теста.

Слезы брызнули, лицо мальчишки искажается.

— Вы же обещали, — рыдает он и утыкается лицом в голую белую стену.

— Нельсон, ты меня огорчаешь, — говорит Дженис.

А Ставрос — вновь сама деловитость — говорит Кролику:

— Если хотите, поезжайте сейчас, а Дженис пусть выпьет кофе, и я доставлю ее в кино через десять минут.

— Это выход из положения, — медленно произносит Дженис, и лицо ее расцветает унылым цветком.

Кролик говорит Ставросу:

— О'кей, отлично. Спасибо. Очень мило с твоей стороны. И мило, что ты нас вытерпел, извини, если я перебрал в выражениях. Просто не выдерживаю, когда слышу, как поносят Штаты, — это действует мне на психику. Дженис, у тебя есть деньги? Чарли, скажешь ей, сколько с нас приходится.

Ставрос повторяет свой лаконичный жест — ладонью наружу:

— С вас ничего — по нулям. Я угощаю.

С этим не поспоришь. Поспешно вставая, чтобы не прозевать пещерных людей (сырое мясо? кость, превращающаяся в космический корабль?), Кролик чувствует, как, глядя на них в этом ресторанчике, где пара из Пенн-Парка, расплачиваясь по счету, выкладывает деньги, словно укладывает в постель младенца, его затопляет теплое чувство: это его семья, и он говорит Дженис, чтобы еще больше порадовать Нельсона:

— Напомни мне завтра позвонить твоему отцу про эти билеты на бейсбол.

Опережая Дженис, Ставрос услужливо произносит:

— Он же в Поконах.

Когда Чарли назвал Гарри «бледнолицым», Дженис подумала, что это конец, — Гарри так посмотрел на нее, глаза у него стали страшные, голубые-голубые, как ледышки, потом, когда Чарли проговорился насчет ее отца, она поняла, что — все, но каким-то образом обошлось. Возможно, они отупели от фильма. Он такой длинный, и еще этот бред, когда герой приземляется на планете и вскоре становится маленьким старичком в белом парике, — у нее даже голова разболелась, тем не менее она едет домой с твердым решением объясниться, признаться, и пусть он снова уходит, он ведь только и может что бегать наутек, и пусть, может, оно и к лучшему; она выпивает рюмку вермута на кухне, готовясь к разговору, — наверху Нельсон закрывает дверь к себе в спальню, а Гарри уходит в ванную; когда же она сама выходит из ванной, чувствуя во рту вкус зубной пасты, заглушившей вкус вермута, Гарри лежит в постели, и из-под одеяла торчит лишь его макушка. Дженис укладывается рядом и прислушивается. Он дышит ровно, как во сне. А она бодрствует, как луна.

За те десять, превратившиеся в двадцать, минут, что они пили кофе, Дженис сказала Чарли, что не следовало ему приходить в ресторан: он ведь знал, что она ведет туда свою семью, а он сказал, изображая оскорбленное достоинство, — губы у него при этом слегка выпячиваются, словно он держит во рту леденец, а плечи приподнимаются, делая его похожим на гангстера, — что, как он понял, именно этого она и хотела, потому и сказала ему, что собирается уговорить свое семейство туда пойти. А Дженис тем временем думает: не понимает он влюбленных женщин — просто пойти в ресторан, куда он ходит, съесть то, что он ест, это уже проявление любви, и не надо было ему являться туда и все осложнять. Это даже как-то грубо. Потому что стоило ему там появиться, как вся осторожность ее испарилась, и если бы он вместо кофе предложил ей пойти к нему, она бы пошла, — она даже мысленно сочиняла уже, что скажет Гарри: ей-де вдруг стало плохо. Но, по счастью, Ставрос этого не предложил, он допил кофе, расплатился по счету и высадил ее, как обещал, под маркизой-огрызком. Мужчины в таких вопросах строго держат обещания, данные друг другу, с женщинами никто не считается — это собственность. Занимаясь с ней любовью, Чарли, словно соблазняя ее купить ее же товар, шепотом перечисляет интимные части ее тела, называет их словами, какие Гарри употребляет разве что в сердцах; ее сначала это коробило, а потом она сдалась, поняв, что таков у Чарли язык любви, способ возбудить себя, продавая ей ее же сокровенное местечко. Она не паникует, как с Гарри, зная, что тот долго не продержится, — Чарли может оттягивать кульминацию до бесконечности, этакий толстый сладкий игрун, с которым она может что угодно делать, ее мишка-медведь. Поначалу вызывала у нее неприязнь, даже оторопь, шерсть у него на плечах сзади, но в конце концов это ведь не уродство. Пещерные люди. Пещерные медведи. Дженис улыбается в темноте.

В темноте машины, когда они ехали по мосту в направлении Уайзер-стрит, Ставрос спросил ее, догадывается ли Гарри. Она сказала — по-видимому, нет. Хотя последние пару дней что-то его раздражает — по всей вероятности, то, что она допоздна задерживается на работе.

— Может, надо нам немного притормозить.

— Да пусть покипит. Он ведь раньше считал меня никчемной и сначала был счастлив, когда я устроилась на работу. А теперь считает, что я мало внимания уделяю Нельсону. Я сказала ему: «Дай мальчику немного больше свободы — ему ведь уже тринадцать, а ты давишь на него хуже, чем твоя мать на тебя». Гарри даже не разрешает купить ему мини-мотоцикл, потому что это, видите ли, слишком опасно.

— Он был сегодня явно настроен ко мне враждебно, — говорит Чарли.

— Да нет. Когда речь заходит о Вьетнаме, он со всеми такой. Он в самом деле так думает.

— Как он может думать такую чушь? Тут мы — там они, Америка — превыше всего. Это все мертвечина.

Дженис пытается представить себе, как он может. Приятно, что с появлением любовника начинаешь осмысливать все заново. Всю свою жизнь до этого ты видишь словно в кино — она представляется тебе плоской и даже смешной.

— Он видит тут что-то вполне реальное, не знаю только, что именно, — произносит она наконец. Ей это трудно дается, так как, лишь только она начинает думать, язык словно сковывает и в голове туман, и ей хорошо с Чарли Ставросом потому, что он дает ей выговориться. Он открыл ей не только ее тело, но и голос. — Возможно, он вернулся ко мне, к Нельсону и ко мне, по каким-то старомодным причинам и хочет жить по-старомодному, но никто так больше не живет, и он это чувствует. Он подчинил свою жизнь определенным правилам и сейчас чувствует, как эти правила рассыпаются. Я хочу сказать, он понимает, что упускает что-то, и все время читает газеты и смотрит «Новости» по телевидению.

Чарли смеется. Голубой отсвет фонарей на мосту мелькает на его руках, лежащих параллельно на руле.

— Дошло. Ты для него вроде исполнения воинского долга на далеких берегах.

Она тоже смеется, но все же это жестоко с его стороны так говорить, превращать в шутку брак, в котором ведь и она участвует. Иногда Чарли не все выслушивает до конца. Вот такой же у нее отец — кровь быстро-быстро бежит по венам, ветер свистит в ушах. Когда так спешишь, не замечаешь того, что видят люди медлительные.

Ставрос почувствовал, что слегка ранил ее, и постарался залечить ранку, потрепав Дженис по ляжке, когда они подъехали к кинотеатру.

— Космическая одиссея, — говорит он. — Для меня космическая одиссея — залезть под одеяло с твоей задницей и неделю тебя наяривать.

И прямо тут, при свете, падающем в машину из-под маркизы, на виду у припозднившихся зрителей, спешащих купить билеты, он проводит своей лапой по ее груди и вдавливает большой палец в промежность, прямо через юбку. Распаленная его прикосновением, чувствуя себя виноватой за опоздание, Дженис влетает в кинотеатр с его сливовым ковром, противоестественным холодом, стойкой со сластями и обнаруживает Нельсона и Гарри, которые по ее милости сидят впереди, так как она задержала их, чтобы насладиться угощением своего любовника, и теперь огромный экран грохочет прямо над ними, их волосы словно в огне, уши на просвет выглядят красными. Вид их затылков, таких схожих, вызвал в ней прилив любви, острый, как в момент соития, и жалость, толкнувшую ее сквозь поджатые ноги незнакомцев к креслу, которое приберегли для нее муж и сын.

На улице заворачивает за угол машина. По потолку пробегают круги света. Холодильник внизу сам с собой разговаривает, сбрасывает собственный лед в собственный лоток. Тело Дженис напряжено, как струны арфы, она жаждет ласки. Она гладит себя — почти никогда этого не делала девчонкой, а когда вышла замуж за Гарри, это, казалось бы, и вовсе ни к чему — достаточно ведь повернуться к тому, кто лежит рядом, и все будет в порядке. До чего же грустно получилось с Гарри, они стали друг для друга как запертые комнаты: каждый слышит, как плачет другой, но не может войти, — и плачет не только по малышке, хотя то, что с ней случилось, страшно, страшнее ничего не может быть, но даже и это горе потускнело, рана затянулась, так что теперь кажется, будто не она, Дженис, была в той комнате, было только ее отражение, и она была не одна, с ней был какой-то мужчина, он и теперь с ней, не Чарли, но в нем есть частица Чарли, и что бы ты ни делала, ты делаешь в присутствии этого человека, и до чего же хорошо, что он теперь во плоти. Дженис представляется, что эта плоть в ней, точно она проглотила ее. Только это что-то большое-большое. И тает медленно-медленно, как сахар. Хотя теперь, проделав это с ним столько раз, она умеет быстро кончать — иной раз даже просит его подналечь и, к собственному удивлению, кончает, помогая себе сама, — так странно, что приходится учиться этой игре: ведь ей все говорили — и учитель гимнастики, и священник епископальной церкви, и даже как-то раз мама, ужасно смутившая ее, — что нельзя устраивать игры со своим телом, хотя оно как раз для того и существует; интересно, думает Дженис, слыша, как скрипят пружины на кровати Нельсона, — интересно, что Нельсон подумал бы, что он думает, бедный мальчик, совсем еще маленький, без волос в паху, такой одинокий, сидя один у телевизора, когда она приходит домой, грезит о своем мини-мотоцикле — вот она и упустила момент. Хоть она и убыстряет темп — момент упущен, желание прошло. Вот глупо. До чего же все глупо. Мы рождаемся, и нас кормят, и меняют нам подгузники, и любят, и у нас появляются грудки, и начинаются менструации, и мы сходим с ума по мальчишкам, и наконец один-другой из них отваживаются нас потискать, и нам не терпится поскорее выйти замуж и нарожать детей, потом деторождение прекращается, и мы начинаем с ума сходить по мужчинам, даже не отдавая себе в этом отчета, пока не запутываемся: с возрастом плоть обретает более громкий голос, а потом этот период вдруг кончается, и мы, нацепив шляпу в цветах, начинаем раскатывать в машине то в Тусон, то в Нью-Хэмпшир посмотреть на золотую осень, и навещаем наших внуков, потом укладываемся в постель, как бедная миссис Энгстром, — Гарри без конца пристает к ней: надо навестить мать, но Дженис, право, не понимает, почему она должна навещать его мать, которая ни разу доброго слова ей не сказала, пока была здорова, а сейчас тщетно подыскивает слова, брызгая слюной и тараща глаза, так что они чуть не вылезают из орбит от усилий, каких ей стоит сказать что-нибудь ехидное, а ведь существуют для таких приюты или больницы, и какие же там несчастные старики — Дженис помнит, как они с отцом ездили в такое место к его старшей сестре, по всему коридору грохотал телевизор, а линолеум был усыпан иголками от рождественской елки, — а потом мы умираем, и что бы изменилось, если бы мы не родились вообще. И все время где-то идут войны, и происходят бунты, и творится история, но все это не так важно, как пишут в газетах, если тебя это впрямую не касается. Дженис считает, что Гарри на этот счет прав: Вьетнам, или Корея, или Филиппины — кому до них дело, а вот ведь приходится — так надо! — умирать за них мальчикам, которые еще и бриться-то не научились, и на стороне противника сражаются тоже мальчики возраста Нельсона. Как странно, что Чарли так ярится, точно он из национальных меньшинств, а впрочем, конечно же, так оно и есть, ее отец говорил про драки между ребятами, когда учился в школе: мы против них; Спрингер — английская фамилия, папа очень гордится этим, тогда почему же, спрашивала себя Дженис, когда училась в школе, — почему она такая смуглая, с оливковой кожей, которая никогда не загорает, и волосы у нее курчавятся, никогда не лежат гладкими прядями — только недавно она додумалась отрастить их спереди и закалывать назад, его беспутная мадонна, так Чарли называет ее, богохульничает, а у самого в спальне висит икона; в школе она была чистый заморыш, но теперь она не держит зла на то время, понимая, что все эти годы менялась, формировалась, приближалась к Чарли. Его дырка. Богатая дырка, хотя Спрингеры никогда не были богатыми — не богатые, но респектабельные люди. Папа дал ей немного акций отложить на черный день в ту пору, когда Гарри вел себя так безответственно, чеки с дивидендами поступали в конвертах с окошечком, ей не хотелось, чтобы Гарри их видел: они делали его работу такой малозначительной. Дженис хочется плакать при мысли, как тяжело работал Гарри эти годы. Его мать любила говорить, как он выкладывался, занимаясь баскетболом, как отрабатывал дриблинг, броски; а вот у Нельсона, ядовито замечала она, ни к чему таланта нет. Глупости все это. Такие мысли заводят в тупик, а надо думать о завтрашнем дне, надо выяснить отношения с Гарри, а Чарли только пожимает плечами, когда она спрашивает, как быть; в обед, если папа не вернется с гор, они могут поехать к Чарли на квартиру, раньше ее смущал свет, а теперь ей больше всего нравится заниматься любовью днем — все видно, задницы у мужчин такие невинные, даже маленькая дырочка, как в неплотно затянутом кисете волосня — как темный пушок, а сколько им приходится сидеть, мир перестал быть для них естественной средой — глупости все это. Решив все же завести себя, Дженис возвращает руку на прежнее место и открывает глаза — Гарри спит рядом, свернувшись клубком, до чего же глупо с его стороны все эти годы не давать раскрыться ее сексуальности, сам виноват, во всем виноват сам, секс дремал в ней, и обязанность Гарри была вызвать его к жизни, она ведь все для Чарли делает, потому что он просит, и это как священнодействие, она не задумывается, это жизнь, ты появилась на свет и должна жить, и сотворена ты для одного-единственного, женщины нынче это отрицают, сжигают бюстгальтеры, но все-таки рождена ты только для одного, ты словно падаешь, падаешь в пустоту и раскрывается глубина, она поглощает тебя, Гарри никогда этого не познает, он не смеет над этим задуматься, все куда-то бежит, слишком он разборчивый, да и секс в общем-то ненавидит, она ведь все время была тут, да и сейчас тут, — о нет, не вполне. Дженис знает, что он знает, она открывает глаза, видит, что он лежит на краю кровати, на краю пропасти, они оба на краю пропасти — вот-вот упадут, Дженис закрывает глаза, она сейчас полетит вниз. О-о-о... Застонали пружины.

Дженис расслабляется. Говорят — она где-то об этом читала, — есть доктора, которые меряют тебе кровяное давление, когда ты этим занимаешься, — к голове прикрепляют такие штуки, как тут можно сосредоточиться, лучше всего, когда ты сам себе доставляешь удовольствие. Кровать затряслась, и Гарри очнулся от глубокого сна, тяжело перекатился на другой бок и обхватил рукой ее талию, — крупный, бледный, набирающий вес мужчина. Она поглаживает его запястье пальцами — теми же пальцами. Сам виноват. Он — призрак, белый, мягкий. Пытался засунуть ее в ящик, подобный тому, в какой положили Ребекку, когда малышка умерла. Как она тогда прижимала малышку, уже мертвую, всю в мыльной воде, к своей груди и выла с такою силой, словно хотела пробить дыру, через которую снова вошла бы в ее ребенка жизнь. Она видит это точно на экране, большое колесо вращается на черном бархатном фоне под звуки дивной симфонии, которые захватили ее, несмотря на все ее смятение, в котором она пребывала, когда шла в кино. А теперь она перелетает как балерина с одной планеты своей жизни на другую, — папа, Гарри, Нельсон, Чарли; ей кажется, что она предала любовника, испытав наслаждение без него, и тихонько подносит к губам кончики пальцев, приятно пахнущие болотцем, и целует их, думая: «Это тебе».

На другой день, в пятницу, газеты и телевидение полны сообщений о волнениях цветных на юге Пенсильвании в Йорке: снайперы стреляют по ни в чем не повинным пожарным, по простым прохожим на улице... и куда катится мир? Астронавты приближаются к гравитационному полю Луны. В конце дня над Бруэром внезапно проносится гроза, загоняя обратно в магазины покупателей и тех, кто направляется с работы домой, — белая рубашка Гарри промокает насквозь, прежде чем они с отцом успевают нырнуть в бар «Феникс».

— Нам вчера тебя не хватало, — говорит Эрл Энгстром.

— Пап, я же говорил, что мы не сможем приехать: мы водили мальчишку в ресторан, а потом в кино.

— Ладно, ладно, не злись. Я вчера так понял, что вы, может, заглянете, ну да не важно, забудем об этом, не смогли — значит, не смогли.

— Я сказал «постараемся» — только и всего. Она что, была очень разочарована?

— Она и виду не показала. Ты же знаешь, не в характере твоей матери что-то показывать. Она знает, что у тебя свои проблемы.

— Какие проблемы?

— Как кино, Гарри?

— Мальчишке понравилось, а мне показалось бессмысленным, правда, мне что-то нездоровилось: видно, не то съел. Как только мы приехали домой, я уснул как мертвый.

— А Дженис фильм понравился? Она хорошо провела время?

— Черт побери, откуда я знаю! Кто в ее возрасте хорошо проводит время?

— Надеюсь, я на днях не слишком совал свой нос в то, что меня не касается.

— Мама все еще этим бредит?

— Немного. Послушай, мать, говорю я ей, послушай, мать, Гарри уже взрослый, Гарри — ответственный гражданин.

— Угу, — произносит Гарри, — может, в этом моя проблема.

И вздрагивает. В мокрой рубашке отчаянно холодно. Он знаком дает понять, чтобы ему подали еще один дайкири. На экране телевизора с убранным звуком показывают кадры — полицейские в Йорке по трое, по четверо патрулируют улицы; потом показывают патруль во Вьетнаме, парней с лицами, искаженными страхом и усталостью, и Гарри не по себе, что он не там, не с ними. Затем телевизор переключается на жаждущего популярности норвежца, отказавшегося от попытки пересечь Атлантику на бумажной лодке. Даже если бы звук в телевизоре был включен на полную мощность, его слов все равно не было бы слышно из-за шума в баре — все возбуждены из-за грозы и из-за того, что сегодня пятница.

— Как думаешь, ты смог бы заглянуть к нам сегодня вечером? — спрашивает отец. — Тебе вовсе не надо сидеть долго — минут пятнадцать, не больше. Это так много значило бы для матери — ведь Мим как в воду канула, даже открытки не напишет.

— Я поговорю с ней об этом, — говорит Гарри, имея в виду Дженис, хотя думает о Мим, которая пустилась во все тяжкие на Западном побережье, Мим, которую он катал на санках по Джексон-роуд, — темный капор весь в снежинках. Он представляет ее себе посреди шумного веселья, как она сидит в ожидании с восковым лицом или лежит у бассейна, намазавшись маслом, а под зонтом рядом с ней — потный гангстер с сигарой, торчащей в центре лица словно второй член, он вытаскивает ее изо рта и ржет.

— Но не слишком ее обнадеживай, — добавляет Гарри, имея в виду мать. — Мы наверняка приедем в воскресенье. А сейчас мне надо бежать.

Гроза окончилась. Из прорезей в облаках выглядывает солнце, быстро высушивая тротуары. Пятна сырости похожи на карту — раскисший «клинекс» кажется островком посреди мокрой лужицы. Из укрытия в заброшенном обувном магазине появляются могучие грузчики и тощие лоботрясы-негры. Обшарпанный знак автобусной остановки, урна с крышкой, похожей на летающую тарелку, с надписью «Поддержим чистоту в Бруэре» и валяющиеся вокруг обертки, асфальт, весь в ямках и щербинах, сверкает, промытый дождем. Разметанные по небу носовые платки и лошадиные хвосты черной грозовой тучи уносятся на восток, за хребет горы Джадж, и небо снова становится унылым, однотонным, характерным для влажного климата Пенсильвании. И у Кролика снова копится нервозность, ищущая выход в злости.

Когда он приезжает домой, Дженис там нет. Как и Нельсона. Шагая по дорожке к дому, он видит, что их освеженная дождем лужайка заросла ползучим сорняком, ощетинилась подорожником. Кролик дает сыну полтора доллара, в частности за то, чтобы он подстригал лужайку, а она не стрижена с июня. Маломощная косилка, которой они пользовались, унаследовав ее от Спрингеров, пока не купили такую, на которой можно ездить, стоит в гараже с банкой горючего возле колеса. Кролик смазывает ее, заливает бензин — янтарный в банке и бесцветный в воронке — и с четвертой попытки заводит мотор. Косилка начинает выбрасывать клейкие охапки мокрой травы, двигаясь взад и вперед по двум квадратам, образующим лужайку перед домом. За домом — большая лужайка, там стоит сушилка для белья, и там они с Нельсоном играют иногда с футбольным мячом, протертым до основы. Заднюю лужайку тоже следовало бы подстричь, но Кролик хочет, чтобы Дженис увидела его за работой перед домом и почувствовала себя немного виноватой.

К тому времени, когда она возвращается домой, сворачивая на Виста-креснт так, что из-под колес летит не закатанный в асфальт гравий, и, как всегда, вызывая в нем тихое бешенство, ставит «фэлкон» в гараж недостаточно глубоко, так что бампер выступает ровно настолько, чтобы нельзя было закрыть дверь, — длинные тени от травинок сливаются со срезанными верхушками, и Кролик стоит у их единственного деревца, тощего клена, притянутого проволокой к колышкам, и ладонь у него саднит от секатора, которым он подрезал кусты вдоль дорожки.

— Гарри, — вырывается у Дженис, — ты на улице? Как это на тебя не похоже!

И в самом деле: в Парк-Вилласе с его образцовыми участками в четверть акра и непременными трубами от садовых грилей обитателей не выманишь на улицу, даже детишек летом, а в районе стоящих впритык кирпичных домов, где прошло детство Кролика, дети всегда на улице, прячутся в жиденьких кустах, устраивают потасовки на гравиевых дорожках, играют в безопасности неподалеку от окон, откуда кто-нибудь из взрослых непременно следит за ними. Здесь же — уныние прерии, голое небо, исчерченное тонкими вешалками антенн. Небо, отравленное радиоволнами. И запах запустения, словно исходящий из-под земли.

— Какого черта, где ты была?

— На работе, естественно. Папа всегда говорил — нельзя подстригать траву после дождя: она вся прибита к земле.

— Значит, на работе — естественно! И что ж в этом естественного?

— Гарри, ты такой странный. Папа вернулся сегодня с гор и задержал меня после шести, чтобы разобраться в путанице, которую устроила Милдред.

— А я считал, что он вернулся с гор несколько дней тому назад. Значит, ты тогда солгала. Зачем?

Дженис идет к нему по скошенной траве, и они стоят рядом — он, она и дерево, тощий клен, который никак не вырастет, — стоят, словно ослепленные ярким режущим светом. До них доносится запах керосина — кто-то решил устроить в пятницу вечером пикник с грилем. Своих соседей по Пенн-Вилласу они не знают, это жильцы временные — бухгалтеры, торговцы, инспекторы, монтажники, чьи жизни мелькают мимо в проезжающих машинах да проявляются в криках невидимых детей. Лицо Дженис заливается краской. Тело принимает вызывающий изгиб.

— Забыла, это была глупая ложь, ты был такой злой по телефону — надо же было мне что-то сказать. И мне показалось это самым простым — сказать, что папа там, ты же знаешь, какая я. Знаешь, как я теряюсь, все путаю.

— И сколько еще лжи ты на меня вывалишь?

— Нисколько. По-моему, это все. Может, забыла какую-то ерунду — сколько что стоит, словом, то, о чем лгут все женщины. Женщины, Гарри, любят приврать — без этого скучно. — И кокетливо, что совсем на нее не похоже, она высовывает кончик языка и упирает его в верхнюю губу — точно пружинка в капкане.

Она делает шажок к деревцу и гладит его. Кролик спрашивает:

— А где Нельсон?

— Я договорилась с Пегги, что он заночует у Билли.

— Опять с этими тупицами! Они ему только голову забивают невесть чем.

— У Нельсона в его возрасте голова, хочешь не хочешь, будет чем-то забита.

— Я почти твердо обещал папе, что мы сегодня приедем к ним, навестим маму.

— Не понимаю, почему мы должны ее навещать. Она никогда меня не любила, все делала, чтобы отравить наш брак.

— Еще один вопрос.

— Да?

— Ты трахаешь Ставроса?

— Я считала, что трахают только женщин.

Дженис поворачивается и вприпрыжку бежит в дом, вверх по трем ступенькам — в дом, обшитый яблочно-зелеными алюминиевыми щитами. Кролик убирает косилку в гараж и входит в дом сбоку, через кухню. Дженис уже там — грохочет кастрюлями, готовя ужин. Кролик спрашивает:

— Не пойти ли нам для разнообразия куда-нибудь поужинать? Я знаю отличный греческий ресторанчик недалеко от Сливовой улицы.

— Он чисто случайно там появился. Признаю, рекомендовал этот ресторан Чарли, — а что в этом плохого? Ты ему открыто грубил. Ты вел себя возмутительно.

— Вовсе я не грубил, у нас была политическая дискуссия. Я люблю Чарли. Он парень что надо, если учесть, кто он такой — сочувствующий левым, уклончивый, хитрый иммигрантик.

— Право же, последнее время ты стал очень странный, Гарри. Видно, болезнь матушки так на тебя действует.

— У меня такое впечатление, что в ресторане ты отлично разбиралась в меню. Ты уверена, что Ставрос не водит тебя туда обедать? Или ужинать, когда ты задерживаешься допоздна? Ты просидела на работе уйму вечеров, и непохоже, чтобы много сделала.

— Ты же понятия не имеешь, что надо было сделать.

— Я знаю, что твой старик и Милдред Крауст отлично со всем этим справлялись безо всяких переработок.

— С лицензией на продажу «тойот» дело приобретает совсем другой размах. Счета так и сыплются — транспортные накладные, налоговые квитанции, таможенный сбор. — Слова, нужные для защиты, так и всплывают в памяти Дженис — вот так же в детстве она сооружала снежные дамбы в канаве. — Так или иначе, у Чарли куча девчонок, он в любой момент может подцепить любую незамужнюю, моложе меня. Они теперь все сами запрыгивают в постель, даже без приглашения, — само собой разумеется, все сидят на противозачаточных. — Вот эту фразу можно было не произносить.

— Тебе-то откуда это известно?

— Он мне рассказывает.

— Значит, вы очень сдружились.

— Не очень. Просто время от времени он приунывает или ему хочется немножко материнского внимания.

— Ну да, может, его пугают эти жаркие молодые груди, может, ему нравятся женщины постарше — mamma mia[[12]](#footnote-12) и тому подобное. Этим прилизанным средиземноморцам нужна мамочка.

Ее завораживает то, как он ходит вокруг и около, и она подавляет в себе инстинктивное желание прийти ему на помощь, помочь найти правду, которая занимает такое большое место в ее мыслях, что она с трудом подбирает слова, чтобы обойти ее.

— Но зато, — продолжает Кролик, — все эти девицы — не дочки босса.

Да, именно такая мысль должна была прийти ему в голову, так думала и она вначале, когда Ставрос впервые похлопал ее по заду, а она стояла, не зная, как распутать клубок цифр, в которых ничего не понимала; так думала и она, когда Ставрос предложил ей вместе перекусить сандвичами, воспользовавшись тем, что папа вышел на площадку, или когда они впервые в пять вечера пошли в бар «Атлас», что рядом с магазином, выпить виски, или когда начали целоваться в машине, причем всякий раз брали с площадки другую, и пахло новой машиной, пахло лаком, словно их касания прожигали лаковое покрытие. Так думала и она, пока Ставрос не убедил ее, что именно она ему нужна, смешная, немолодая, нелепая Дженис Энгстром, урожденная Спрингер, вновь вернувшаяся в бутонную стадию, вновь ставшая девчонкой Спрингер; это ее кожу он лизал как мороженое, ее время крал, спрессовывая его в твердый бриллиант, ее нервы закручивал в тугую часовую пружину наслаждения, которая стремительно сжималась и разжималась, пока не убаюкивала в лихорадочном забытьи, — она находилась во власти столь сильного гипноза, что потом, лежа в своей постели, вообще не могла заснуть, точно проспала весь день. Его квартира, как они обнаружили, была всего в двенадцати минутах от работы, если ехать через старый рынок, от которого теперь остался лишь ряд пустых лотков под жестяными крышами.

— Какая ему выгода от того, что я — дочка босса?

— Это может создать у него впечатление, что он лезет вверх по социальной лесенке. Все эти греки, поляки и прочие только о том и думают.

— Никогда не представляла себе, Гарри, что в тебе столько расовых предрассудков.

— Так да или нет насчет тебя и Ставроса?

— Нет. — Но, солгав, она почувствовала — как чувствовала ребенком, наблюдая за своей тающей снежной дамбой, — что правда прорвется: слишком то, что происходит, огромно, слишком постоянно; ей страшно, и она готова закричать, но придется пройти через это, признаться, как признаются малыши. От сознания этого она почувствовала такую гордость!

— Ах ты, тупица, сука, — произносит Кролик. И ударяет ее — не по лицу, а в плечо — так толкают просевшую дверь.

Она отвечает ему ударом — бьет неуклюже, в шею, куда дотягивается рука. Гарри это доставляет мгновенное удовольствие — словно луч солнца осветил тоннель. Он наносит ей три, четыре, пять ударов, не в силах остановиться, устремляясь к солнечному лучу, — бьет не так сильно, как мог бы, но достаточно сильно: Дженис начинает всхлипывать; она сгибается, так что теперь он бьет словно молотом по ее спине, по шее под таким углом, что видит лишь белый как мел пробор, белый, как свеча, затылок, лямку бюстгальтера, просвечивающую сквозь материю блузки. Ее приглушенные всхлипывания становятся громче, и, пораженный красотой ее унижения, скрюченной позой и выражением лица, он останавливается. Дженис чувствует, что больше он ее не ударит. Она перестает скрючиваться, хлопается на бок и принимается громко плакать, пронзительно подвывая, издавая страшноватые звуки, прерываемые судорожными вздохами. Лицо у нее красное, сморщенное, как у новорожденной, — в приступе любопытства Кролик падает на колени, чтобы рассмотреть ее. Черные глаза Дженис вспыхивают, и она плюет вверх, ему в лицо, но просчитывается, и слюна падает на лицо ей самой. До Кролика же долетают лишь брызги. Разъярившись оттого, что оплевала сама себя, Дженис кричит:

— Я сплю, да, да, я сплю с Чарли!

— Вот дерьмо, — тихо произносит Кролик, — конечно, спишь. — И прижимает голову к ее груди, чтобы защитить лицо от ее ногтей; он стискивает ей бока, вернее, обхватывает ее, пытаясь приподнять с пола.

— Я люблю его. Черт бы тебя подрал, Гарри. Мы только и делаем, что занимаемся любовью.

— Вот и хорошо, — стоном вырывается у него: так жаль, что этот свет, затоплявший его, гаснет, уходит исступление, с каким он бил ее и заставил раскрыться. Теперь одной больной станет больше, еще одна забота на его голову. — Хорошо для тебя.

— Наша связь продолжается уже месяцы, — продолжает раскрываться она, изворачиваясь и пытаясь высвободиться, чтобы еще раз в него плюнуть от бешенства из-за его реакции. А Кролик крепко прижимает ее руки к бокам и еще сильнее сдавливает. Она глядит на него в упор. Лицо у нее безумное, застывшее, замороженное. Она старается найти, чем бы его больнее уязвить. — Ему я такое делаю, — говорит она, — чего тебе никогда не делала.

— Конечно, делаешь, — бормочет он, жалея, что нет свободной руки, чтобы погладить ее по лбу, вновь привлечь к себе.

Он видит ее блестящий лоб, видит блестящий линолеум на полу в кухне. Ее волосы разметались завитками, сливаясь с завитками линолеума с разводами под мрамор, протертого у мойки. Из забитого водостока мойки поднимается противный сладковатый запах. Дженис безудержно плачет, размякает, и Кролик без труда поднимает ее и переносит в гостиную на диван. У него появилась сила зомби, колени дрожат, ладонь, натертая секатором, превратилась в затвердевший полумесяц.

Дженис погружается в мягкое сиденье дивана.

Стараясь поддержать поток ее откровений, подобно врачу, прикладывающему влажный тампон к нарыву, Кролик подсказывает ей:

— В постели он лучше меня.

Дженис прикусывает язык, пытаясь продумать ход, озирая развалины своего брака в поисках спасения. Смешанные желания — спасти свою шкуру, быть доброй, быть точной — замутняют ее первоначальный страх и злость.

— Он другой, — говорит она. — Я возбуждаю его больше, чем тебя. Уверена, это потому, что мы не муж и жена.

— И где же вы этим занимаетесь?

Мимо проносятся миры, затуманивая ее глаза: сиденья в машинах, чехлы, изнанка крон деревьев вверху — сквозь ветровое стекло, серовато-бежевое ковровое покрытие на узком пространстве между тремя зелеными стальными столами и сейфом с картонным макетом «тойоты», номера в мотелях с картонной обшивкой на стенах и скрипучими кроватями, неприветливая холостяцкая квартира Чарли, обставленная тяжелой мебелью, с подцвеченными фотографиями родственников в серебряных рамках.

— В разных местах.

— Намереваешься выйти за него замуж?

— Нет. Нет.

Почему она так говорит? Сама возможность подобного решения открывает пропасть. Она этого не знала. Дверь, которая в ее представлении вела в сад, на самом деле открывалась в пустоту. Она делает попытку придвинуться к Гарри, притянуть его к себе; она лежит на диване в одной туфле, чувствуя, как начинают саднить ушибы, он же, как принес ее сюда и положил, так и стоит на ковре на коленях. Она пытается притянуть его к себе, но он застыл точно мертвый: она убила его.

— Неужели я так плохо с тобой обращался? — спрашивает он.

— Нет, милый, нет. Ты чудесно со мной обращался. Ты вернулся ко мне. Ты вкалываешь на такой грязной работе. Я сама не знаю, что на меня нашло, Гарри, право, не знаю.

— Что бы это ни было, оно не прошло, — говорит он ей.

Он сейчас так похож на Нельсона — недовольный, обиженный, озадаченный, что сам вдруг что-то вскрыл, извлек на свет божий. Дженис понимает, что придется заняться с ним любовью. В ней борются противоречивые чувства — желание, вспыхнувшее к этому незнакомцу с бледным, безволосым телом, возмущение этим желанием, удивление тем, сколь многослойно предательство.

Он делает попытку не потерять ее — отодвигается от дивана, но продолжает сидеть на полу и выражает готовность поговорить, установить равновесие.

— Ты помнишь Рут?

— Это та шлюха, с которой ты жил, когда ушел от меня.

— Она была не совсем шлюха.

— Не важно, так что с ней?

— Года два назад я снова ее встретил.

— И переспал с ней?

— О Господи, нет. Она стала очень праведная. Вот так-то. Мы встретились на Уайзер-стрит, она делала закупки. Ее так разнесло, я даже не узнал ее, она, по-моему, узнала меня первой — вижу, какая-то женщина пристально посмотрела на меня, и я вдруг понял: Рут. У нее все такая же копна волос. Пока до меня дошло, что это Рут, она уже прошла мимо, и я какое-то время шел за ней, а она вдруг нырнула в «Кролл». Я решил — пусть судьба распорядится, и стал ждать у бокового выхода: если она выйдет отсюда, я скажу «здравствуй», а если выйдет из какой-нибудь другой двери, — что ж, не судьба. Я решил подождать пять минут. В общем-то не так уж я и стремился с ней встретиться. — Но, произнося это, Кролик почувствовал, что сердце у него, как тогда, заколотилось быстрее. — Я уже собрался уходить, как она появилась с двумя тяжеленными сумками, посмотрела на меня и выпалила: «Оставь меня в покое».

— Она любила тебя, — поясняет Дженис.

— И да, и нет, — говорит он, и от этого самодовольного тона у нее пропадает всякое сочувствие к нему. — Я предложил угостить ее стаканчиком, но она разрешила мне лишь проводить ее до автостоянки, на месте прежнего, старенького магазина «Акме». Живет Рут, как она мне сказала, в направлении Гэлили. Муж ее — фермер, держит несколько школьных автобусов — у меня такое впечатление, что он старше ее и что у него прежде была семья. Она сказала, что у них трое детей — девочка и двое мальчиков. Рут показала мне их фото, которое она хранит в бумажнике. Я спросил, как часто она приезжает в город, и она ответила: «Для тебя — никогда».

— Бедненький Гарри, — говорит Дженис. — Не очень приятно услышать такое.

— Что ж, да, и все же. Она погрузнела, как я сказал, будто спряталась внутри этой толстухи — такая же, как все: толстая хозяйка, навьюченная сумками, и все-таки это была она.

— Приятно. Значит, ты все еще любишь ее, — говорит Дженис.

— Нет, я не любил ее и не люблю. Ты, значит, не слышала самого худшего, что она сделала.

— Ни за что не поверю, что ты не пытался связаться с ней после того, как вернулся ко мне. Хотя бы чтоб узнать, как она поступила со своей... беременностью.

— Я считал, что не должен этого делать.

Но он видит сейчас в черных глазах жены осуждение — значит, правила тут более сложные, и по этим правилам он должен был поступить иначе. Помимо правил, которые лежат на поверхности, существуют еще другие, и ими тоже нельзя пренебрегать. Дженис следовало объяснить ему это, когда она принимала его назад.

— Что же было самое худшее? — спрашивает Дженис.

— Не знаю, следует ли мне говорить тебе об этом.

— Скажи. Давай расскажем друг другу все, а потом разденемся.

Голос ее звучит устало. Должно быть, сказывается шок оттого, что она все ему выложила. Кролик говорит, чтобы отвлечь ее, — так принимаются шутить, чтобы отвлечь проигравшего в покер.

— Ты уже все сама сказала. Про ребенка. Я подумал об этом и спросил у Рут, сколько лет ее старшей дочке. Она мне не сказала. Я попросил ее еще раз показать мне фотографию, чтобы посмотреть — ну, понимаешь, нет ли сходства. Она не стала мне показывать. Принялась надо мной смеяться. Вообще вела себя препротивно. И сказала еще одну очень странную вещь.

— Что же?

— Я забыл, как именно она выразилась. Окинула меня взглядом и сказала, что я потолстел. Услышать такое от нее! Потом сказала: «Беги мимо, Кролик. Твое время хрумкать капусту прошло». Что-то в этом роде. Меня давным-давно никто не называет Кроликом — я просто обалдел. Произошло это два года тому назад. По-моему, осенью. С тех пор я ее не видел.

— А теперь скажи мне правду. За эти десять лет неужели у тебя не было другой женщины?

Он возвращается мыслью назад, натыкается на несколько темных мест: комната в Польско-Американском клубе, где «Верити» устроила очередную ежегодную попойку, тощая плоскогрудая простуженная девчонка, так и не снявшая ни свитера, ни бюстгальтера; а потом этот жуткий эпизод на побережье в Нью-Джерси: Дженис и Нельсон отправились тогда в увеселительный парк, а он вернулся с пляжа и был в одних трусах, когда раздался стук в дверь их домика и на пороге появилась приземистая цветная девица в сопровождении двух тощих мальчишек и предложила ему себя за пять или за семь долларов — в зависимости оттого, что он пожелает. Он не сразу понял и заставил ее повторить — она произнесла, опустив глаза, под хихиканье мальчишек: «по-обычному» или «в рот». В испуге он быстро закрыл перед их носом хлипкую дверь, запер ее, чтобы насильники до него не добрались, и разрядился, уткнувшись лицом в стену; от стены пахло сыростью и солью. И он говорит Дженис:

— Понимаешь, после случая с Бекки меня что-то не очень тянет на секс. Вроде и желание возникает, хочется, а потом будто меня выключают.

— Дай-ка мне подняться.

Дженис встает перед телевизором, экран — зеленоватый пепел. Она ловко раздевается. Груди с темными сосками свисают и подрагивают, когда она снимает колготки. Линия загара проходит под горлом. Раньше летом, в иные воскресенья, они ездили в бассейн Западного Бруэра, но мальчик стал слишком взрослым, чтобы ездить с родителями, так что теперь они больше туда не ездят. А на Побережье они не были с тех пор, как Спрингеры обнаружили Поконы — кишащие микробами бурые озера, зажатые темной зеленью. Кролик эти места терпеть не может и никогда туда не ездит, вообще никуда не ездит, проводит отпуск дома. В свое время он мечтал поехать на юг — во Флориду или в Алабаму, увидеть хлопковые поля и крокодилов, но это были мальчишеские мечты, и они умерли вместе с малышкой. Однажды он был в Техасе — ну и достаточно. Высунув кончик языка, Дженис, голая, расстегивает ему рубашку, подолгу возится с каждой пуговицей. Он в каком-то отупении перехватывает у нее инициативу, завершает начатое. Брюки, наконец — ботинки. Носки. Воздух ласкает его, — воздух еще не погасшего дня, летний воздух щекочет кожу, которая никогда не видит света. Они с Дженис уже много лет не занимались любовью при свете. Она вдруг спрашивает его в самый разгар:

— Тебе нравится все видеть? Я раньше так стеснялась.

В сумерках они садятся поесть, по-прежнему голые, — едят сандвичи с колбасой-салями, которые приготовила Дженис, и пьют виски. Дом у них стоит темный, хотя во всех остальных домах вокруг загорается свет. Свет от соседей и от машин, проносящихся по Виста-креснт, бросает в комнату мягкий косой отсвет, рождая свидетелей: ребра полок открытого стеллажа мелькают параллельными шпагами, лампа с основанием из дерева-плавника отбрасывает носорожью тень, Нельсон улыбается с подцвеченной школьной фотографии, что стоит в картонной рамке на камине. Дженис, чтобы было видно в темноте, включает телевизор без звука, и при голубоватом мелькании кадров — модель модуля в полете, оцепление, выставленное перед разгромленным супермаркетом, весельная лодка, пересекшая Атлантику и причалившая во Флориде, кадры из разных комедийных сериалов и мелодраматичных вестернов, сменяющие друг друга серые лица во весь экран, неустойчивые, как ртуть, — они снова занимаются любовью: тело ее словно из мелкого шелковистого песка, рот — черная дыра, глаза — провалы с искрами огня, а его тело — как голая равнина, освещаемая бомбардировками, беззвучно взрывающимися картинами, мелькающими так же тихо, как игривые ласки Дженис, которые током пронзают его, но не ранят. Она выворачивается наизнанку и осыпает его дарами познаний, приобретенных за последние месяцы, — ее аппетиты пугают Кролика, он понимает, что ему их не удовлетворить, как невозможно удовлетворить аппетиты Земли, когда речь идет о смерти. Чувство вины рождает в ней любовь, а любовь рождает буйство. В первый раз все кончилось слишком быстро, во второй было сладко — в это был вложен и труд и пот, в третий раз — до боли сладко: тут работал почти исключительно дух, а в четвертый раз, поскольку четвертого раза не получилось, — было грустно: она сидела верхом на его бедрах, при мерцающем тусклом свете телевизора видно было ее разверстое влагалище, сидела опустив голову, так что волосы щекотали ему живот, и холодные слезы капали на обмякшую плоть, не оправдавшую ее ожиданий.

— Боже! — восклицает он. — Совсем забыл. Мы же должны были сегодня поехать к маме!

Ему снится, что он едет на север с Чарли Ставросом в маленькой малиновой «тойоте». Рычаг переключения скоростей тоненький, как карандашик, и Кролик боится его сломать. А кроме того, он в туфлях для гольфа, с шипами на подошвах, что затрудняет пользование педалями. Ставрос сидит с ним рядом и что-то настойчиво бубнит, властно жестикулируя квадратными руками в кольцах, — излагает ему свою проблему: Линдон Джонсон предложил ему пост вице-президента. Им там нужен грек. Ставросу хотелось бы принять это предложение, но он не желает покидать Бруэр. Так что они ведут переговоры о том, чтобы переместить, по крайней мере на лето, Белый дом в Бруэр. Здесь полно пустующих участков, на которых можно построить здание, поясняет Чарли. А Кролик думает, может, в таком случае представится шанс расстаться с типографией и заделаться «белым воротничком». Будущее за сферой обслуживания и компьютерами. Он говорит Ставросу в надежде приобщиться к делу: «Я мог бы лизать почтовые марки». И показывает ему язык. Они на сверхскоростном шоссе, мчатся на север, в опустевшие угольные районы, и дальше — необжитые земли северной Пенсильвании. И вдруг среди лесов и озер, возле шоссе, появляется странный белый город — холм за холмом, до самого горизонта, высятся дома, белые, как простыни, огромный город, и, как ни странно, похоже, у него нет названия. Они останавливаются на окраине, у аптеки, и Ставрос дает Кролику карту — тот с трудом определяет на ней их местонахождение. Город, помеченный кружочком, называется просто: Подъем.

Подъем, Подъем... Сон до того противный, что Кролик просыпается — с головной болью и вставшим членом. По ощущению член — тонкий, как сосулька, его саднит от упражнений с Дженис. Кровать рядом с ним пуста. Кролик припоминает, что они легли в постель после двух, когда на экране замелькали полосы и включился зуммер. Снизу до него доносится гудение пылесоса. Значит, Дженис уже на ногах.

Он надевает субботнюю одежду — залатанные хлопчатобумажные брюки и абрикосовую трикотажную рубашку-поло — и спускается вниз. Дженис пылесосит в гостиной, толкая перед собой туда-сюда серебристую палку. Она бросает на него взгляд — выглядит она постаревшей. Священники похожи на мальчишек, старые девы не седеют до пятидесяти с лишним. А нас, остальных, сжирает демон. Дженис говорит:

— Там на столе апельсиновый сок и яйцо в кастрюльке. Дай мне докончить комнату.

Усевшись за стол, Кролик обозревает свой дом. Ему видны отсюда с одной стороны кухня, с другой — гостиная. Обстановка, среди которой он проводит жизнь, выглядит в утреннем свете марсианской: кресло, обтянутое синтетической материей с серебряной нитью, диван с квадратными подушками из поролона, низкий столик — имитация старинной сапожной скамьи, лампа с основанием из дерева-плавника — все не слишком пригодное для той цели, какой должно служить, вещи, которые не стоит чинить, вещи, к которым человек не приложил живую руку, обстановка, среди которой он жил, но к которой так и не привык, созданная из непонятных материалов, выцветшая, как выцветает мебель в витрине универмага, состарившаяся, так и не усладив его тела. Апельсиновый сок — кислятина, это даже и не замороженный апельсиновый сок, а какая-то химия оранжевого цвета.

Кролик разбивает яйцо на сковородку, уменьшает огонь, вспоминает про мать и чувствует себя виноватым. Дженис выключает пылесос, приходит на кухню, наливает себе кофе, садится напротив Кролика. Под глазами у нее лиловые тени.

— Ты ему скажешь? — спрашивает Кролик.

— Наверное, должна сказать.

— Зачем? Разве тебе не хочется удержать его?

— Что ты такое говоришь, Гарри?

— Держи его при себе, если он делает тебя счастливой. У меня это, видимо, не получается, так что продолжай в том же духе, пока не насытишься.

— А что, если я никогда не смогу насытиться?

— Тогда, наверное, тебе надо выходить за него замуж.

— Чарли никогда ни на ком не женится.

— Кто это говорит?

— Он как-то сказал. Я спросила его почему, но он не сказал. Возможно, из-за сердца. Мы разговаривали об этом один-единственный раз.

— А о чем же вы с ним разговариваете? Кроме того, каким способом в следующий раз трахаться.

Она могла бы попасться на удочку и ответить, но молчит. Сегодня утром она очень спокойная, очень честная, очень сдержанная, и это ему нравится. Такой серьезной он не привык ее видеть. Есть в нас струны, которые должен задеть кто-то со стороны.

— Мы вообще мало разговариваем. Говорим о всяких смешных мелочах — о том, что увидели из его окна, что вытворяли детьми. Он любит слушать меня: мальчиком он жил в самой паршивой части Бруэра, так что Маунт-Джадж казался ему седьмым чудом света. Он называет меня богатой сучкой.

— Еще бы — дочка босса.

— Не надо, Гарри. Ты это уже говорил вчера вечером. Тебе не понять. То, о чем мы говорим, покажется тебе глупостью. А у Чарли есть дар — все делать интересным: вкус еды, цвет неба, заглядывающих к нам покупателей. Когда ты проникнешь сквозь его оборонительные заграждения, сквозь эту скорлупу «крепкого» орешка, перед тобой окажется очень чуткий малый, которому нравится все, что он видит. Вчера вечером, после того как ты ушел, он ужасно переживал, что вынудил тебя сказать лишнее, то, чего тебе говорить не хотелось. Он ненавидит препираться. Любит жизнь. Правда, Гарри. Он любит жизнь.

— Мы все ее любим.

— Да нет. По-моему, нашему поколению — так уж мы воспитаны — трудно любить жизнь. А Чарли любит. Как любит дневной свет. Хочешь, я тебе что-то скажу?

— Конечно, — соглашается он, хотя знает, что это причинит ему боль.

— Любовь при дневном свете — ничего лучше быть не может.

— О'кей. Успокойся. Я ведь сказал: держи при себе своего сукиного сына.

— Я тебе не верю.

— Только одно условие. Постарайся, чтобы мальчик ничего не знал. Моя мать, например, уже знает — к ней приходят друзья и рассказывают. Весь город говорит об этом. Это к слову о дневном свете.

— Ну и пусть, — бросает Дженис. И встает. — Черт бы побрал твою мать, Гарри. Она только и делала, что отравляла наш брак. А теперь сама тонет в собственной отраве. Подыхает, и я этому рада.

— Господи, не говори так.

— А почему? Она бы так сказала, если б на ее месте была я. На ком она хотела, чтобы ты женился? Скажи мне, кто был бы для тебя достаточно хорош? Кто?

— Моя сестра, — предполагает он.

— Разреши сказать тебе еще кое-что. В начале наших встреч с Чарли всякий раз, как я чувствовала себя виноватой и никак не могла расслабиться, мне достаточно было подумать о твоей матери, об ее отношении не только ко мне, но и к Нельсону, к собственному внуку, и я говорила про себя: о'кей, давай наяривай, и у меня все шло как по маслу.

— О'кей, о'кей, избавь меня от подробностей мелким шрифтом.

— Я устала, устала щадить тебя. Сколько было дней... — Дженис так грустно в этом признаваться, что лицо ее будто стягивает сеткой, и оно становится уродливым, — когда я жалела, что ты вернулся. Ты был когда-то красивым беспечным малым, и мне предстояло день за днем наблюдать, как этот малый умирает.

— Но ведь вчера вечером было не так уж и плохо, верно?

— Нет. Было так хорошо, что я даже разозлилась. Я теперь уже ничего не понимаю.

— Ты сроду ничего не понимала, детка. — И добавляет: — Если я и умирал, то ты мне в этом очень помогала.

А сам снова хочет трахать ее, хочет, чтобы она снова вывернулась наизнанку. Прошлой ночью она в какой-то момент всю себя вложила в язык, и его рот склеился с ее ртом словно эмбрион, в котором еще не произошло разделения клеток.

Звонит телефон. Дженис снимает трубку со стены на кухне и говорит:

— Привет, пап. Как было в Поконах? Нет, я знаю, что вы вернулись уже несколько дней тому назад, я спросила просто так. Конечно, он здесь. Даю. — И протягивает трубку Кролику: — Тебя.

Старик Спрингер произносит своим хрипловатым голосом, в котором звучат примирительные, уважительные нотки:

— Как дела, Гарри?

— Недурно.

— Тебя все еще интересует игра? Дженис упомянула, что ты спрашивал про билеты на сегодняшний матч. Они у меня в руках — три билета прямо позади первой базы. Менеджер команды уже двадцать лет как мой клиент.

— Угу, отлично. Нельсон ночевал у Фоснахтов, но я его привезу. Встретимся у стадиона?

— Давай я заеду за вами, Гарри. Я буду рад подвезти вас на моей машине. А Дженис мы оставим твою.

В голосе его появилась нотка, которой раньше не было, — какая-то мягкость, еле уловимая вкрадчивость, будто он обращается к калеке. Он тоже знает. Весь мир знает. На будущей неделе это уже появится в «Вэте»: «Жена линотиписта спит с местным торговцем. Грек занимает ярко выраженную позицию против вьетнамской войны».

— Скажи, Гарри, — продолжает Спрингер все тем же вкрадчивым тоном, — как здоровье матушки? Мы с Ребеккой очень этим обеспокоены. Очень обеспокоены.

— Отец говорит, примерно так же, без изменений. Это, видите ли, медленный процесс. Теперь изобрели лекарства, которые замедляют его еще больше. Я собирался на этой неделе съездить в Маунт-Джадж навестить ее, но не получается.

— Когда поедешь, Гарри, передай ей от нас привет. Передай привет.

Все повторяет дважды — наверное, и лицензию на продажу «тойот» получил, потому что японцы со второго раза поняли его.

— О'кей, конечно. Хотите еще поговорить с Дженис?

— Нет, Гарри, оставь ее себе. — Шутка. — Я буду у вас в двенадцать двадцать — двенадцать тридцать.

И вешает трубку. Дженис ушла из кухни. Кролик обнаруживает ее в гостиной — она плачет. Он подходит к ней, опускается возле дивана на колени и обхватывает жену руками, но все жесты у него деревянные, словно он на сцене выполняет указания режиссера. На блузке у Дженис не хватает пуговицы, и он видит изгиб ее смуглой груди в бюстгальтере, а ухо обжигает ее горячее дыхание. Она говорит:

— Ты не можешь понять, какой он был хороший. Не сексуальный, не забавный, просто хороший.

— Отчего же, могу. Я знавал хороших людей. От общения с ними ты и сам становишься хорошим.

— От общения с ними начинаешь думать, что и ты хороший, и поступки твои хорошие. Чарли никогда не говорил мне, что я тупица, как ты это делаешь что ни час, хотя он куда умнее, чем тебе кажется. Он окончил бы колледж, если б не был греком.

— Вот как. Теперь что же, греков не принимают в колледж? Слишком большая квота отведена для ниггеров?

— Ты просто больной, Гарри!

— Это потому, что никто не говорит мне, какой я хороший, — парирует он и поднимается с колен.

Ее затылок сверху кажется таким незащищенным. Достаточно хорошего удара карате — и все.

Слышен хруст гравия на подъездной дорожке — что-то рановато для Спрингера. Кролик подходит к окну. Голубой «крайслер фьюри». Передняя дверца открывается, и вылезает Нельсон. С другой стороны появляется Пегги Гринг в солнечных очках и мини-юбке, из-под которой торчат ее толстые ляжки, как большие пальцы банкомета. Несчастье — ее ведь бросил муж — сделало Пегги собранной, деловитой, резкой. Она едва здоровается с Кроликом, а очки скрывают глаза, по которым — он это знает еще со школы — все равно ничего не прочтешь. Женщины уходят на кухню. Кролик слышит, как хлюпает носом Дженис, и понимает, что происходит исповедь. Он выходит во двор, чтобы закончить начатую вчера вечером работу. Вокруг, до самого горизонта Пенн-Вилласа, на задних дворах Виста-креснт с их трубами от печек-гриль и алюминиевыми сушилками для белья, работают другие мужчины — от дома к дому эхом разносится звук косилок, движения Кролика — наклон, толчок — повторяются, словно в осколках зеркала, свисающего с жаркого белесого неба. Эти его соседи — они приезжают с мебелью в фургонах и так же в фургонах уезжают. Они собираются все вместе, чтобы подписать бесполезные требования об улучшении работы водопровода и канализации и противопожарной безопасности, но больше ни по какому поводу не общаются. Нельсон выходит из дома и спрашивает:

— Что с мамой?

Кролик выключает косилку.

— А в чем дело?

— Она сидит за столом с миссис Фоснахт и ужасно плачет.

— До сих пор? Не знаю, малыш, чем-то она расстроена. Одно запомни про женщин: они иначе устроены, чем мы, — легче плачут.

— Мамуля почти никогда не плачет.

— Тогда, может, ей и полезно выплакаться. Ты хорошо вчера выспался?

— Не очень. Мы смотрели старый фильм про торпедоносцев.

— На «Взрывных»-то пойти хочешь?

— Конечно.

— Но не слишком, да?

— Я не так люблю спорт, как ты, пап. Их всех только и волнует, кто кого победит.

— Так это и есть жизнь. Человек человеку волк.

— Ты так считаешь? Почему нельзя обо всем договориться по-хорошему? Всем всего хватило бы, можно ведь и поделиться.

— Думаешь, что можно? Тогда почему бы не поделить лужайку и не подстричь ее вдвоем? Потолкал бы немного косилку.

— Ты задолжал мне мои денежки. — Кролик протягивает ему доллар и два четвертака, и Нельсон говорит: — Я коплю на мини-мотоцикл.

— Желаю успеха.

— И потом, пап...

— Да?

— Я считаю, что должен получать доллар двадцать пять за час работы. Это все равно меньше минимальной платы, установленной правительством для рабочих.

— Вот видишь! — говорит ему Кролик. — Человек человеку волк.

Он идет в дом, моет руки, счищает травинки с манжет рубашки, накладывает пластырь на подушечку большого пальца (очень нежное место: в школе говорили, если у девчонки это место пухлое, значит, она сексуальная), в это время в ванную входит Дженис, закрывает дверь за собой и говорит:

— Я решила сказать ему. Пока вы будете на матче, я ему скажу.

Лицо у нее напряженное, но сухое — пятнышки сырости поблескивают лишь возле носа. Ее шмыганье звучит громче среди кафельных стен. Снаружи доносится рев «фьюри», на котором уезжает Пегги Гринг.

— Скажешь что и кому?

— Скажу Чарли. Что все кончено. Что ты знаешь.

— Я уже говорил: держи его при себе. Ничего не предпринимай — по крайней мере сегодня. Успокойся. Выпей. Сходи в кино. Посмотри снова тот фильм про космос — ты тогда проспала самое интересное.

— Это будет трусостью. Нет. Мы с ним всегда были честны друг с другом: я должна сказать ему правду.

— По-моему, ты просто ищешь предлог, чтобы повидаться с ним, пока я буду на стадионе.

— Только так ты и можешь думать.

— А что, если он предложит тебе переспать с ним?

— Не предложит.

— А если все-таки предложит — по случаю окончания учебы?

Она смело смотрит ему в глаза — черный взгляд прокален в горниле предательства. До него доходит: в развитии самосознания заложено предательство. Иного пути нет. Нельзя к чему-то прийти, не оставив чего-то позади.

— Я приму предложение, — говорит она.

— Где же ты его найдешь?

— На «пятачке». Летом по субботам он задерживается там до шести.

— И чем же ты ему это объяснишь? Что решила порвать с ним.

— Да тем, что ты знаешь.

— А что, если он спросит, почему ты мне рассказала?

— Ясно почему. Потому что я твоя жена.

Слезы вспучиваются меж ее век, и лицо разъезжается, как у Нельсона, когда он признается в затаенной причине своих страданий — что получил двойку, или стащил что-то по мелочи, или голова опять болит. Гарри сдерживает импульсивное желание обнять жену — не хочет он отупеть и одеревенеть. Она рыдает и чуть не теряет равновесие, сидя на краю ванны, и пластиковая занавеска, закрывающая душ, шуршит, задетая ее плечом.

— Неужели ты мне позволишь? — произносит она наконец.

— Позволю — что?

— Встретиться с ним!

Получив столь щедрый дар в виде демонстрации ее неприкрытого горя, он теперь может позволить себе жестокость. И холодно говорит:

— Встречайся, если хочешь, лишь бы мне не встречаться с этим мерзавцем.

И, избегая смотреть на ее лицо, он видит в зеркале подвесного шкафчика себя: крупный бледный мужчина с розовой кожей и наметившимся вторым подбородком, с маленьким узкогубым ртом, скривившимся в подобии улыбки.

Снаружи снова раздается хруст гравия. Из окна ванной Кролик видит серовато-бежевую крышу новой «тойоты-универсала» Спрингера. Он кричит Нельсону:

— Дед прибыл. Еде-ем. — И шепотом говорит Дженис: — Выжди, детка. Ничего не предпринимай. — А садясь рядом с тестем, протискиваясь в хитросплетения нейлоновых ремней, произносит нараспев: — Купи мне оре-ешков и кре-е-керов...

Стадион находится на южной стороне Бруэра — минуешь дорожную развязку в виде клеверного листа, проезжаешь кирпичные громады двух старых чулочных фабрик и выбираешься на трехполосное шоссе, на обочине которого в последние годы появилось несколько ресторанов «пенсильванской немецкой кухни» с огромными гипсовыми фигурами амишей[[13]](#footnote-13) у входа и неоновыми гексафусами[[14]](#footnote-14): настоящая «немецкая» кухня. Пенсильванско-немецкий шведский стол. Пытаются торговать тем, что в старые времена было неизбежным атрибутом жизни. Завлекают туристов жирной жареной пищей и выпечкой всех сортов — такая диета, что у свиньи и то прыщи пойдут по телу. Кролик со Спрингером проезжают место, где каждый сентябрь устраивают деревенские ярмарки: цыгане расставляют свои потрепанные палатки, и фермеры привозят свою вонючую животину, и Серафина, Египетская Чаровница, готова снять с себя всю одежду для тех мужланов, кто даст лишний доллар. Серафина или ее мать была первой обнаженной женщиной, которую увидел Кролик. Она была на высоких каблуках и в черной маске и, перегнувшись назад, раздвинув ноги, ритмично покачиваясь, передвигалась по мысленно намеченному полукругу, так что любой зритель, вытянув шею (по счастью, Кролик уже тогда был высоким), мог увидеть возбуждающую складку кожи, кое-как замаскированную жидким клочком волос, которые казались ему наклеенными. Протерлись они у нее, что ли? Кролик не знал. Не мог себе этого представить.

Спрингер, покачивая головой, говорит про бунты в Йорке.

— Четыре вечера подряд снайперы ведут огонь, Гарри. Куда катится мир? Мы до того беззащитны — вот что меня поражает, — до того беззащитны против горстки распоясавшихся молодчиков. Ведь все наши институты основаны на доверии.

— А эти люди только так и могут добиться справедливости, дедушка, — тоненьким голоском пищит Нельсон. — Наши законы защищают собственность, а не людей.

— Они наносят урон собственным целям, Нелли. Многие белые люди доброй воли вроде меня настраиваются против черных. Медленно, но неуклонно настраиваются против. Хамфри[[15]](#footnote-15) провалился на выборах не из-за Вьетнама, а из-за того, что на улицах у нас царит беззаконие. Порядок — вот за что голосуют простые люди. Я прав или нет, Гарри? Я такой старый придурок, что уже не доверяю собственному мнению.

Один старый маразматик, стоявший сбоку у маленького помоста, вспоминает Гарри, вытянул руку и с криком «Ага!» приложился пятерней к причинному месту Египетской Чаровницы. Она застыла и уставилась на него сквозь прорези маски. В палатке воцарилась тишина, а у маразматика хватило крови, чтобы покраснеть. «Ага!» Этот победоносный возглас, прозвучавший так, словно он поймал ценного зверька, продолжал звучать в ушах Гарри. «Ага!» Он пригибается и говорит Спрингеру:

— Все стало паршивым. Еда стала паршивая, люди стали паршивыми, может, и вся страна становится паршивой. Черные сейчас имеют больше, чем когда-либо, а считают, видно, что имеют меньше. Всех нас так воспитали, что мы вечно чего-то хотим, и, возможно, мир недостаточно велик, чтобы удовлетворить все наши желания. Не знаю. Вообще ничего не знаю.

Старик Спрингер смеется, он фыркает и скалится, так что его седые, маленькие, как клякса, усики сливаются с волосками, торчащими из носа.

— Ты слышал сегодня утром про Тедди Кеннеди?[[16]](#footnote-16)

— А что там про него говорили? Нет.

— Заткни уши, Нелли. Я забыл, что ты в машине, а то не стал бы об этом говорить.

— О чем, дед? Что он сделал? Кто-то его пристрелил?

— Говорят, Гарри... — Спрингер произносит это, скривив рот, словно устраивая заграждение для Нельсона, однако так четко, что мальчику все слышно, — Тедди Кеннеди сбросил какую-то девицу, родом из Пенсильвании, в одну из массачусетских рек. Убийство — ясно как божий день.

Лицо Спрингера сбоку кажется словно вырезанным из розовой кости, с малиновыми пятнами там, где выпирают скулы, и красной шишкой в виде носа. Жесткое лицо, прорезанное, как у индейцев, морщинами от присущей торговцу вечной улыбки. По крайней мере одно можно сказать в пользу профессии наборщика: не так уж много задниц приходится целовать.

— Его сцапали? Он в тюрьме, дед?

— Ах, Нельсон, Кеннеди никогда не посадят в тюрьму. Подмажут кого следует. Ликвидируют доказательства. Я это называю вопиющим позором.

Кролик спрашивает:

— Что значит — сбросил девицу в реку?

— Ее обнаружили в перевернутой машине в реке, возле какого-то моста — забыл название, — на одном из тех островов, какие у них там есть. Произошло это вчера вечером, и Кеннеди не оповестил полицию, пока они сами до него не добрались. И это называется демократией, Гарри, вот где ирония!

— А как вы бы это назвали?

— Я бы это назвал полицейским государством, которым заправляют Кеннеди, — вот как я бы это назвал. Эта семейка скупала страну с тех пор, как бостонские брамины показали старику Джо Кеннеди[[17]](#footnote-17), что не желают иметь с ним дело. Он потом пошел на сделку с Гитлером, когда Рузвельт отправил его послом в Лондон. А теперь они выдают молодую вдову[[18]](#footnote-18) за богатого грека на случай, если у них кончатся американские денежки. Правда, не такая уж она добренькая да хорошая, как расписывают газеты, эта парочка друг друга стоила. Как ты считаешь, Гарри? Я, может, что-то не то говорю? Я нынче до того отстал, что ни в чем не уверен.

— Ага! — По-моему, вы все правильно толкуете, — говорит Гарри. — Осталось только бомбу купить и присоединиться к ребятам на улице.

Спрингер отрывает взгляд от дороги (мимо мелькают желтые параболы «Макдональдса»; блестящие вертушки заправочной станции «Мобил» дробят лучи полуденного солнца), проверяя, не пересолил ли он. До чего же робки люди, которые живут за счет других людей. По крайней мере в этом Эрл Энгстром прав: лучше иметь дело с вещами. А Спрингер говорит, криво улыбаясь, показывая фарфоровые зубы под седой кляксой усов:

— Все-таки надо отдать должное Кеннеди: у меня от них холка дыбом не встает, как от Рузвельта. Вот кто был чокнутый[[19]](#footnote-19), Гарри, оттого и помер. Да, надо отдать должное Кеннеди: они не пытались перевернуть экономику с ног на голову в угоду беднякам, они держались той системы, какая им была дана.

Нельсон произносит:

— Билли Фоснахт говорит, когда мы вырастем, мы разрушим систему.

Его слова не доходят до Спрингера, погруженного в созерцание безумия и коррупции власти.

— А тот пытался поставить систему с ног на голову в угоду черным да еще белой голытьбе, восемь лет добивался, а когда не вышло, подстроил так, чтобы япошки напали на Перл-Харбор и он мог начать войну, которая помогла ему вылезти из Депрессии. Хочешь верь — хочешь нет, потому мы и ведем эти войны, чтобы помочь демократам с их бредовой экономикой как-то выпутаться. Возьми Джонсона: как только он получил свою гарантию на четыре года, тут же полез во Вьетнам, где никто нас не ждал с распростертыми объятиями, а все для того, чтобы снова вовлечь побольше цветных в экономический процесс. Джонсон — он был человеком Рузвельта. То же самое Трумэн в Корее. История всякий раз подтверждает мою правоту, можешь, если хочешь, назвать меня старым придурком. А ты, Нельсон, какой держишься точки зрения?

— Вчера вечером, — говорит мальчишка, — мы смотрели по телевизору старый фильм о войне с япошками на Тихом океане, один кораблик затонул, и капитан, или кто он там был, не одну милю плыл со сломанной спиной, таща другого парня.

— Джон Кеннеди, — говорит Спрингер. — Чистая пропаганда. Картину только потому и сняли, что старику Джо принадлежала куча киностудий. Он вкладывал деньги в фильмы в такое время, когда все честные бизнесмены, благодаря которым наша страна существует на карте мира, теряли последнюю рубашку. Джо был тесно связан — так я слышал — с голливудскими евреями-коммунистами.

Кролик говорит Нельсону:

— Там как раз находится сейчас твоя тетя Мим — в логове у коммунистов.

— Она такая красивая, — говорит Нельсон, обращаясь к деду. — Ты когда-нибудь видел мою тетю Мим?

— Не так часто, как хотелось бы, Нелли. Но она действительно потрясающая, тут ты прав. И прав, что гордишься ею. Гарри, мне как-то не по себе от твоего молчания. Как-то не по себе от твоего молчания. Может, я здорово ошибаюсь. Здорово ошибаюсь. Скажи, что ты думаешь о положении в стране. Когда всюду бунты да еще эта история с бедной польской девушкой — она из-под Уильямспорта у нас в Пенсильвании, — которую использовали и утопили во время увеселительной поездки будущего президента. Не удивлюсь, если она беременна. Нелли, тебе не следовало бы все это слушать.

Гарри потягивается — у него все тело одеревенело от сидения в машине, да к тому же он не выспался. Они уже подъезжают к стадиону, и цветной мальчишка указывает, где поставить машину на стоянке.

— Я считаю, — говорит Гарри, — что Америка по-прежнему единственное стоящее место на свете.

Но что-то не так. Игра какая-то скучная. Танец, который исполняют на огромном ромбе мужчины в белом, не захватывает, смысл их спорадических передвижений остается их собственной тайной. Хотя любимым видом спорта Кролика был баскетбол, — он помнит ширь великолепного травяного покрова, волнение и страх, когда высокий мяч летит в твою сторону, шмяканье мяча, пойманного в кожаную перчатку-ловушку, нарочитое безразличие, с каким, опустив голову, топаешь к скамье, традиционное пожатие плечами и нервозный обмен любезностями возле игрока с битой. Это более красивая игра, чем баскетбол, где игроки налетают друг на друга, — а здесь красота деревенских пастбищ, игра одиночек, ждешь, ждешь, когда подающий отведет взгляд от первой лунки и молниеносно ударит по мячу, это игра, в которой все — и плевки, и пыль, и трава, и пот, и запах кожи, и солнце, — все Америка. Сидя позади первой базы между сыном и тестем, чувствуя, как солнце тяжелой доской лежит у него на коленях, держа в руке, точно дубинку, свернутую программку, Кролик ждет, когда в нем проснется это ощущение красоты от криков зрителей и ритма периодов игры, традиционная национальная магия, отзывающая юностью, но что-то не так. Зрителей немного: толкучка у внутреннего поля, а потом — группки мальчишек, расположившихся на зеленых сиденьях, расставленных по откосу, поднимающемуся вверх от внешнего поля. Немногочисленные, шумные, грубые — одни только пьяницы, букмекеры, психи, маразматики и хулиганье приходят в субботу днем посмотреть на игру в мяч. И выкрики у них хриплые, недобрые: «Вгони ему в глотку, Скорый!», «Вмажь черномазому!» Кролик жаждет защитить игру от толпы — поэзия пространства и бездействия между бросками слишком хороша, а для них все разворачивается слишком уж медленно. Да и сами игроки действуют вроде бы неплохо, но как-то машинально, каждый мечтая лишь о том, чтобы самому пробиться когда-нибудь в большую лигу, к большим деньгам — таким, которые позволят иметь собственный кегельбан; они словно отрабатывают положенное, а не играют, как играют мужчины, потому что в игре мужчины становятся мальчишками, пытающимися перехитрить время. Они перестали считать игру доблестью, сломали хрупкое равновесие. Лишь вспыхивающие оранжевым нашивки на форме под надписью «Взрывные» напоминают об отошедшей в прошлое верности местной геральдике. Бруэр против Хэзлтона — кого это интересует? Не Спрингера — он смотрит на игру, а губы его беззвучно двигаются, словно он сортирует старые счета. Не Нельсона — экран реальной жизни слишком велик для его восприятия, ему не хватает сопутствующего телевизионного комментария, нагло врывающейся в передачу рекламы. Его невысказанное из вежливости разочарование давит на Кролика, мешает игре заполнить пугающую пустоту, образовавшуюся от признания Дженис. Лиги его юности, по восемь команд в каждой, исчезли вместе с сорокавосьмизвездным флагом. Игра затягивается скучными стратегическими ходами, неумелыми ударами и нарочито замедленными проходами. Хэзлтон побеждает: 7—3. Старик Спрингер со вздохом поднимается, словно очнувшись от сна в неловком положении. Смахивает капельки пива с усов.

— Боюсь, наши ребята не оправдали твоих надежд, Нелли, — говорит он.

— Все в порядке, дед. Они играли как надо.

Спрингер говорит Гарри, считая нужным хоть что-то сказать:

— Однако у этого молодого Трекслера есть будущее.

А Кролик зол и очумел от двух банок пива, выпитых на солнце. Он не приглашает Спрингера зайти — просто благодарит за все. В доме царит тишина, как в космосе. На кухонном столе — запечатанный конверт, адресованный «Гарри». Письмо, написанное несформировавшимся почерком Дженис, неровными косыми буквами, почти без пробелов между словами, гласит:

Гарри, милый,

Мне нужно несколько дней побыть одной, чтобы все обдумать. Пожалуйста, не пытайся искать меня или ехать за мной. Пожалуйста! Очень важно, чтобы мы все уважали друг друга и доверяли друг другу. Меня потрясло твое предложение «держать при себе» любовника: я не считаю, что это было бы честно, и я подумала, да значу ли я для тебя вообще что-нибудь. Скажи Нельсону, что я уехала с бабушкой в Поконы. Не забудь дать ему денег для завтраков на спортплошадке.

Целую,

Джен.

«Джен» — так ее звали, когда она работала у Кролла — продавала соленые орешки в халатике, на кармашке которого было вышито «Джен». В те дни они иногда отправлялись на квартиру к ее подруге на Восьмой улице. Горизонтальные розовые лучи солнца, садящегося за большим серым газгольдером. Незабываемые ощущения — она позволяла ему раздевать ее, всю. Особое значение приобретает тогда нижнее белье: резинки, которые надо отстегнуть, — на коже остаются отпечатки от них. Джен. Это имя не упоминалось их совместные все пятнадцать лет; записки, которые она оставляла ему в доме, были неизменно подписаны «Дж».

— А где мама? — спрашивает Нельсон.

— Уехала в Поконы, — отвечает Кролик, прижимая к груди записку, чтобы мальчик не прочитал ее. — Отправилась туда с бабулей: у нее от жары ноги совсем распухли. Я знаю, тебе это покажется странным, но так в жизни порой бывает. Мы с тобой сегодня вечером можем поесть в «Бургер-мечте».

На лице мальчишки — веснушчатом, обрамленном закрывающими уши волосами, с пухлыми, собранными в куриную гузку губами, с запавшими глазами, в которых застыл страх совершить ошибку, — появляется настороженное выражение: он словно к чему-то прислушивается, как в ту пору, когда ему было три годика и над его головой шелестели слова «побег» и «смерть». Возможно, тогдашний опыт формирует его мысли сейчас. Он решительно заявляет отцу:

— Она вернется.

Воскресное утро — теплое и влажное. В семичасовых новостях сообщают, что прошлым вечером в Йорке, а также в западной части штата опять была стрельба. Шеф полиции Эдгартауна Доминик Арина, как ожидается, выступит сегодня с официальным обвинением сенатора Кеннеди в том, что он уехал с места происшествия. «Аполлон-11» вышел на лунную орбиту, и «американский орел»[[20]](#footnote-20) готовится к исторической высадке на Луну. Кролик спал плохо, он выключает ящик и отправляется походить босиком по лужайке, чтобы прогнать головную боль. В домах Пенн-Вилласа ничто не шевелится — лишь машина какого-нибудь католика с ревом промчится к мессе. Нельсон спускается около девяти, и Гарри, приготовив ему завтрак, снова ложится в постель с кружкой кофе и воскресным номером бруэрского «Триумфа». Песик Снупи на первой полосе юмористических страничек, замечтавшись, дремлет на крыше своей собачьей будки, и Кролик тоже засыпает. У мальчишки вид испуганный. Лицо мальчишки кричит, и изо рта выскакивает беззвучный пузырь, как в комиксах. Проснувшись, Кролик видит на электрических часах — без пяти одиннадцать. Секундная стрелка бежит и бежит вокруг — просто удивительно, как механизм не сотрется. Кролик одевается — свежая белая рубашка из уважения к воскресенью — и во второй раз спускается вниз, по-прежнему босиком, ковер щекочет ему подошвы, он чувствует себя холостяком. Дом кажется огромным и весь в его распоряжении. Он берет телефонную книгу и ищет:

Ставрос Чарльз — Эйзенхауэр-авеню, 1204

Он не набирает номер — просто смотрит на имя и номер дома, точно видит между буквами свою жену размером меньше карандашной точки. Он набирает другой номер, который знает наизусть.

— Да? — отвечает его отец. Голос звучит настороженно: в нем чувствуется готовность сразу повесить трубку, если окажется, что это звонит какой-нибудь сумасшедший или торговец.

— Па, привет, надеюсь, вчера ты не прождал нас весь вечер — мы не смогли приехать, и я даже не мог добраться до телефона, чтобы тебе позвонить.

Маленькая пауза — недолгая, недостаточная, чтобы Кролик понял: они огорчены.

— Нет, мы решили, что-то произошло, и в обычное время отправились в постель. Ты же знаешь, твоя мать не растрачивает себя на жалобы.

— Верно. Вот что. А как насчет сегодня?

Голос отца звучит хрипло, шепотом:

— Гарри, ты должен сегодня приехать. Ты разобьешь ей сердце, если не явишься.

— Приеду, приеду, только...

Старик поднес трубку к самому рту и, прикрыв рот рукой, хрипло произнес:

— Понимаешь, это ведь может быть ее последний день рождения.

— Мы приедем, пап. То есть не все. Дженис пришлось уехать.

— Что значит — уехать?

— Так уж вышло — что-то неладно у ее матери с ногами и надо ехать в Поконы. Дженис решила вчера вечером, что должна поехать туда, в общем, не знаю. Но тревожиться не о чем. Все в порядке, просто Дженис нет дома. А малыш тут. — И в подтверждение кричит: — Нельсон!

Никакого отклика.

— Должно быть, катается на велосипеде, пап. Он все утро был тут. Когда ты хочешь, чтоб мы приехали?

— Когда тебе удобно, Гарри. Днем, к вечеру. Лучше приезжай как можешь раньше. Угостим вас ростбифом. Твоя мать хотела испечь торт, но доктор считает, что это было бы для нее тяжеловато. Я купил очень симпатичный в «Полбуханке». С глазурью — ты ведь, кажется, раньше любил?

— Это же мамин день рождения, а не мой. Что мне привезти ей в подарок?

— Твое присутствие, Гарри, — лучшего подарка она не желает.

— Угу, о'кей. Что-нибудь придумаю. Сообщи ей, что Дженис не приедет.

— Как говорил — Господи, упокой его душу — мой отец: жаль, но ничего не поделаешь.

Стоит папе сесть на этого конька, как он уже не слезет. Кролик вешает трубку. Велосипеда Нельсона — заржавевшего «швинна» (Кролик все собирается купить ему новый: оба щитка чиркают по резине) — в гараже нет. Как нет и «фэлкона». Только стоят банки с маслом, канистра с бензином, косилка, скрученный шланг для поливки (должно быть, Дженис последней пользовалась им), грабли со сломанными зубьями да зимние шины для «фэлкона». Добрый час Кролик как в тумане бродит вокруг дома, не зная, кому позвонить, не имея машины, не желая идти в дом и сидеть перед телевизором. Он пропалывает бордюр вдоль дорожки, где в первое волнующее лето жизни в собственном доме Дженис посадила цветочные луковицы, рассаду и кусты. С тех пор они этим больше не занимались — просто смотрели, как погибают азалии и на их месте появляются нарциссы и ирисы, а потом начинают сражаться друг с другом флоксы и сорняки — так одно лето сменяло другое, природа брала свое. Он выпалывает сорняки, пока сам не кажется себе сорняком, а его рука с некрасивыми большими лунками на ногтях не становится рукою Бога, делающего свой выбор и убивающего; затем Кролик идет в дом, заглядывает в холодильник и съедает сырую морковку. Он заглядывает в телефонную книгу в поисках фамилии «Фоснахт» — там их уйма, и Кролик не сразу соображает, что полное имя Пегги — Маргарет и, значит, ему нужен инициал «М».

— Пегги, привет, это Гарри Энгстром. — Он не без гордости произносит свою фамилию: они ведь учились вместе в школе, и она помнит его той поры, когда он кое-что представлял собой. — Я просто хочу узнать, не играет ли Нельсон у вас с Билли? Он уехал куда-то на велосипеде, и я не знаю куда.

Пегги говорит:

— Его нет у нас, Гарри. Извини. — Тон у нее ледяной из-за того, что она все знает: Дженис вчера уже все нашептала ей в ухо. Затем более теплым тоном Пегги спрашивает: — А как вообще все?

Кролик понимает, что она ставит между ними знак равенства: Олли-де ушел от меня, а Дженис ушла от тебя, так что привет.

Он поспешно произносит:

— Отлично. Эй, если Нельсон появится, скажи ему, что он мне нужен. Мы должны поехать к его бабушке.

Когда она прощается, голос ее становится более холодным — она сливается с огромным, вылупившим глаза ледяным лицом всех, кто знает. Похоже, Нельсон — единственный в целом округе, кто пока не знает, и потому он становится еще дороже Кролику. Однако, вернувшись — красный, со взмокшими волосами, видно, здорово жал на педали, — Нельсон говорит отцу:

— Я был у Фоснахтов.

Кролик растерянно моргает и говорит:

— О'кей. Но впредь давай не терять друг друга из виду. На данное время я твой отец и твоя мать.

Они едят бутерброды с колбасой и черствым ржаным хлебом. Потом шагают пешком по Эмберли до Уайзер и там садятся на автобус 12, идущий на восток, в Бруэр. Поскольку день воскресный, им приходится дожидаться автобуса двадцать минут, стоя под безоблачным бесцветным небом. У больницы входит целая толпа посетителей, еще не пришедших в себя после исполнения своего долга, — они везут засохшие цветы и прочитанные книги. На черной реке под мостом пролетают моторки, жужжа и зарываясь белым носом в зыбь. Цветной мальчишка вытягивает ногу в проход, когда Кролик, поднявшись с сиденья, хочет выйти; Кролик перешагивает через ногу.

— Видал, какие ножищи! — говорит мальчишка соседу.

— На свои губищи посмотри, — говорит Нельсон, следуя за отцом.

Они ищут магазин, который был бы открыт в воскресенье. Покупать подарки матери всегда было трудно. Другие дети дарили матерям веселые пустячки: бижутерию из магазинов дешевых товаров или попросту «центовок», флакон туалетной воды, коробку конфет, шарфик. А для его мамы все было либо чересчур, либо недостаточно. Мим всегда дарила ей что-нибудь собственного изготовления: плетеное кашпо, расписанный от руки календарь. А Кролик ничего не умел мастерить и потому дарил ей себя, свои трофеи, газетные заметки о себе. Маму, казалось, это вполне устраивало: она предпочитала жизнь вещам. Ну, а теперь? Чего может желать умирающая? Разные жуткие протезы — руки, ноги, сердца на батарейках — приходят в голову Кролику, пока они с Нельсоном шагают по залитому слепящим солнцем воскресному пустынному центру Бруэра. Около пересечения Девятой с Уайзер они обнаруживают открытую аптеку, где попутно продают всякие мелочи: термосы, солнечные очки, лосьон для бритья, пленка «Кодак», пластиковые штанишки для малышей — ничего для мамы. Кролик хочет купить ей что-то большое, яркое, что-то такое, что пришлось бы ей по душе. Жидкий тональный крем «Рилгерл», жидкость для снятия лака, «Ньюдит» для удаления волос на ногах. Стойка с красящими шампунями для волос — на каждой упаковке улыбающаяся сучка, и все разные: «Снежная королева», «Датская пшеница», «Ирландский рыжик», «Парижская приправа», «Испанское черное вино». Нельсон дергает его за рукав белой рубашки и ведет туда, где в ярких коробках стоят рядышком электроножницы для стрижки волос и электрощетка для чистки обуви.

— Но она не носит больше туфель, — говорит Кролик, — только шлепанцы, и ни разу на моей памяти не стригла волосы. Они были у нее до талии.

Тут его внимание привлекает увлажнитель воздуха за 12,95 доллара. Судя по картинке на коробке, он похож на толстую летающую тарелку. И даже если мать совсем перестанет двигаться, он будет ей служить. Правда, в окрестностях Бруэра лето влажное, как нигде, но, пожалуй, зимой, когда центральное отопление высушивает дом и обои начинают отставать, а кожа трескается, увлажнитель и пригодится. Он будет при ней день и ночь, тогда как его, Кролика, не будет. Кролик переходит к стойке с грелками и лупами для чтения и отвергает и то и другое — слишком напоминает о болезни. Его начинает подташнивать. В мире столько боли — она как кратер, который не заполнить всеми микстурами и пилюлями этой аптеки, даже если бы их здесь было в тысячу раз больше. Он подходит к электромассажеру с насадкой для массажа головы. На коробке — силуэты нагих женщин, грациозно поглаживающих друг другу плечи: какие-то лесбиянки, ласкающие себе загривок (а что еще — предоставляется вам самим вообразить) подобием щетки для волос на гибком проводе. Цена — 11,95. Вот это может пригодиться. Это может вызвать у мамы смех — щекочет, жужжит, это жизнь. Жизнь — это массаж. И стоит на доллар дешевле, чем увлажнитель. Нельсон дергает отца за рукав: он хочет ореховое мороженое с кленовым сиропом и содовой водой. Пока сын ест, Кролик покупает открытку с поздравлением ко дню рождения, которую он вложит в массажер. На ней кричит петух и восходит красное солнце, а зеленые буквы возвещают: «Хорошо встать утром рано...» — и на обороте: «Поскорей поздравить маму — с днем рождения!» Господи, сколько же в мире изобретают чепухи. Тем не менее Кролик покупает открытку, потому что петух на ней ярко-оранжевый и такой веселый — это мама разглядит. Правда, вовсе не обязательно, чтобы она плохо видела, но раз у нее язык не слушается, может, и глаза отказывают. Так что лучше перестраховаться.

Снаружи все голо и залито ярким светом. Отец с сыном — Кролик с большой коробкой в руках — вдруг остро ощущают свое одиночество. Куда все подевались? Да есть ли вообще жизнь на Земле? Пройдя три квартала по пустынной улице с размякшим асфальтом, они видят часы — сердцевину гигантского цветка, эмблемы пива «Подсолнух», — стрелки приближаются к четырем. Отец и сын останавливаются на том же углу напротив бара «Феникс», где отец Гарри обычно ждет автобуса 16-А, идущего в Маунт-Джадж. Кролик с Нельсоном — единственные пассажиры; шофер таинственно объясняет им:

— Все подались в город.

Автобус везет их вверх, огибая гору, через городской парк, мимо танка на постаменте в память о Второй мировой войне, мимо открытой эстрады с раковиной для оркестра, мимо теннисного корта. По одну сторону дороги — заправочные станции и зеленая гора, по другую — пропасть, а вдалеке виадук. Сын смотрит из окна на очередной гребень, и Кролик спрашивает его:

— Куда ты утром ездил? Скажи мне правду.

После долгого молчания мальчишка произносит:

— На Эйзенхауэр-авеню.

— Чтобы проверить, там ли мамина машина?

— Наверно.

— И она там?

— Угу.

— Ты туда заходил?

— Не-а. Только какое-то время постоял и посмотрел на окна.

— А ты знал номер дома, на который надо смотреть?

— Один — два — ноль — четыре.

— Точно. Похоже, ты сказал правду.

Они выходят у Центральной, возле гранитной баптистской церкви, и идут по Джексон-роуд к дому родителей Кролика. За время его жизни улицы не изменились. Дома были построены слишком близко друг к другу, так что незанятых участков между ними не оставалось, и были они слишком прочные, чтобы их сносить, из красного кирпича с лиловатыми прожилками, притом щербатого, словно растрескавшегося, совсем как, думалось маленькому Кролику, его губы зимой. Клены и конские каштаны затеняют лужайки перед домами, обрамленные баррикадами из барбариса и самшита, оплетенными проволокой. Дома сдвоенные, массивные, под шиферными крышами, с кирпичными верандами, а над каждой дубовой дверью — веерообразное окошко из темных, как в церкви, цветных стекол. Ребенком Кролик думал, что этот витраж — родной сын витражей над алтарем лютеранской церкви и, следовательно, сын Божий, лиловый с золотом часовой, поставленный над дверью, в которую по десять раз на дню входят и из которой выходят папа, мама и Мим. Сейчас, войдя уже со своим сыном — хотя и сам здесь чувствует себя сыном, — Кролик замечает, какой в доме спертый воздух. Часы на серванте в гостиной показывают только 4.20, но в комнате темно — темные ковры, толстые задернутые портьеры, тусклые обои, растения в горшках, заслоняющие окна. Мама в свое время сетовала на то, что они занимают «темную» половину угловатого дома, но когда их соседи Болджеры умерли и их половина дома была выставлена на продажу, родители Кролика даже не поинтересовались насчет цены, и эту половину купила молодая пара из Скрантона, жена ходила беременная и босая, а муж работал на одном из новых электронных заводов, что на шоссе 422; Энгстромы же так и остались жить в темной половине. Так оно лучше. А то от солнца все выцветает. Они отослали его, Гарри, в большой мир, чтобы он там блистал, сами же обеими руками держались за собственные тени. В соседнем с другой стороны доме, отделенном от дома родителей двумя цементными дорожками с полоской травы между ними, жил старик методист, с которым мама сражалась из-за того, кто должен подстригать газон, а теперь там уже год стоит щит «ПРОДАЕТСЯ». Люди нынче хотят иметь больше воздуха и больше земли, чем в этих скученных кварталах на склоне горы. Кролику мнится, что в доме пахнет как в кладовке — запахи накладываются друг на друга от наслоения времен, пахнет воском, и аэрозолем, и смертью — надежностью.

Из кухни появляется силуэт, тень. Кролик ожидает увидеть отца, а видит мать в халате, которая еле передвигает ноги, но держится прямо и все же сама идет. Она без улыбки приближает к нему лицо для поцелуя. Сморщенная кожа щеки — теплая, а рука, опершаяся на его запястье, — холодная и узловатая.

— С днем рождения, мам.

Кролик прижимает к груди массажер: еще не время его дарить. Мать смотрит на коробку так, словно это щит, которым он прикрылся от нее.

— Мне шестьдесят пять, — говорит она, стараясь построить фразу и тем не менее доводя ее только до половины. — Когда мне было двадцать. Я сказала приятелю: хочу, чтоб меня пристрелили. Когда мне будет тридцать.

Кролика пугает не столько то, как странно дрожат ее губы, пытаясь оформить мысль в слова, сколько сопутствующий этому взгляд, немигающий взгляд, устремленный в пространство, отчего ее глаза лишаются всякого выражения, и ему кажется, что вот-вот наступит полная слепота и все они будут стерты с доски.

— Ты это говорила папе?

— Не твоему папе. Другому. Твоего папу я встретила позже. А тот другой — я рада. Что его уже нет и он не видит меня.

— На мой взгляд, ты хорошо выглядишь, — говорит ей Кролик. — Я не думал, что ты встаешь.

— Нельсон. Как я выгляжу? Как тебе кажется?

Значит, она заметила парня. Вечно она его проверяет, заставляет обороняться. Она так и не простила Нельсону, что он не похож на Гарри, что в нем столько от Дженис. «Ох уж эти его маленькие спрингеровские ручки». Ее собственные руки, которые она сложила перед поясом халата и забыла разнять, все время беспомощно трясутся.

— Вполне, — произносит Нельсон.

Он насторожен. По опыту знает, что наилучшая оборона — быстрый и краткий ответ.

— А надо ли тебе вставать? — спрашивает Кролик, чтобы отвлечь внимание матери от мальца.

Она смеется удивительным беззвучным смехом, вскидывает голову, кончик ее крупного носа блестит снизу, рука перестает трястись.

— Я знаю, что говорит Эрл. Хочет, чтоб я лежала в постели, точно я уже преставилась. А доктор. Хочет, чтоб я поднималась. Мне же надо испечь торт. Эрл хотел. Купил в «Полбуханке» их безвкусную мякину. Где Дженис?

— Да, насчет Дженис. Она ужасно сожалеет, что не могла приехать. Ей пришлось отправиться с матерью в Поконы — для всех нас это было неожиданностью.

— Случаются. Неожиданности.

Сверху еле слышно доносится взволнованный голос Эрла Энгстрома с явно одолженными победными нотками:

— Они сели! «Орел» прилунился! Мы на Луне, ребята! Дядя Сэм на Луне!

— Там ему самое место, — произносит мама и резким движением заводит к уху деформированную руку, чтобы поправить прядь волос, выбившуюся из пучка, который она по-прежнему скручивает на затылке.

Как ни странно, волосы, седея, становятся более упрямыми. Говорят, они продолжают расти даже в могиле. Вскроешь гроб женщины и обнаружишь, что он весь забит ими как матрас. Лобковые волосы тоже растут? Как ни странно, их никогда не надо подстригать. У Серафины Египетской их почти не было, лобок был какой-то лысоватый.

Когда Кролик берет мать под руку, чтобы помочь ей подняться по лестнице посмотреть на Луну, ее мышцы над локтем приводят его в ужас — они отстают от кости, как у переваренной курицы.

Телевизор стоит в спальне мамы, выходящей окнами на фасад дома. В ней пахнет так, как пахло в подвале, когда у них были две кошки. Кролик пытается вспомнить, как их звали. Пэнси и Вилли. Кот Вилли перебывал в стольких драках, что у него на животе образовалась незаживающая рана, и его пришлось отвезти в пункт «скорой помощи» для животных. На экране нет изображения Луны — лишь трескучие голоса и вырезанные из картона макетики, демонстрирующие то, что сейчас происходит, да бегущая строка, поясняющая, кому принадлежит тот или иной трескучий голос.

«...Вокруг буквально тысячи маленьких кратеров величиной в один-два фута, — слышен голос мужчины, который много лет назад уговаривал попробовать сухие завтраки «Ролстон» с отрубями, вклиниваясь между эпизодами старого вестерна с Томом Миксом в главной роли. — Прямо перед нами в нескольких сотнях футов какие-то угловатые глыбы — по всей вероятности, величиной в два фута, с острыми краями. Впереди, прямо по курсу, виден холм. Трудно вычислить, но примерно на расстоянии полумили или мили от нас».

Раздается, как сообщают, голос из Хьюстона[[21]](#footnote-21):

«Есть, Спокойствие[[22]](#footnote-22). Снимаем. Конец связи».

В голосе звучит техасская властность. Точно слова, все слова, выдуманы техасцами — так любовно они произносятся. Когда Кролик в 1953 году был расквартирован в Форт-Худе Техас был для него все равно что Луна — необозримые просторы, поросшие бурой травой до колен, лиловый горизонт, небо до того безграничное и безоблачное, что просто не верится, — он тогда в первый и последний раз уехал от своих влажных зеленых холмов. Голоса там у всех были такие приятные, чуть надтреснутые, ласковые, даже у девчонок в борделе: «Милый, ты ведь только за один раз заплатил».

Голос, поименованный Колумбией[[23]](#footnote-23), произносит: «Сегодня намного лучше, чем вчера. Солнце находилось под таким низким углом, что поверхность казалась бугристой — похожа на стержень кукурузного початка».

Точно — что? Бегущая строка уточняет: ГОВОРИТ МАЙК КОЛЛИНЗ С КОМАНДНОГО ПОСТА МОДУЛЯ, ОБЛЕТАЮЩЕГО ЛУНУ.

Спокойствие говорит: «А она и в самом деле бугристая, Майк, в районе, намеченном для прилунения. Очень неровная — кратеры и скопления камней, многие размером, пожалуй, более пяти — десяти футов».

В маминой комнате кружевные, пожелтевшие от возраста занавеси на окнах, собранные вбок с помощью жестяных маргариток, которые маленькому ребенку казались волшебными, обои с цветками шиповника отстают от стены над тем местом, где из предохранительного узла радиатора вырывается пар, обитое плюшем кресло собирает пыль. Когда Кролик был маленьким, это кресло стояло внизу, и он колотил по нему, поднимая в воздух тучи пылинок, которые плясали в лучах предвечернего солнца; эти танцующие пылинки казались ему мирами — каждая была Землей, и на одной из них был он, немыслимо, невыносимо маленький. В конце дня немного солнца проникало в дом, просачиваясь меж кленами. А теперь те же клены напрочь заслонили солнце, комната стала мрачной, как погреб. На столике у кровати — маленькая компания из пузырьков с пилюлями и Библии. На стенах — подцвеченные школьные фотографии его и Мим, Кролик помнит, как их снимал назойливый коротышка с синими выбритыми щеками, именовавшийся Фотостудией и каждую весну втиравшийся в школу; он заставлял их выстраиваться в классе, расчесывать смоченные водой волосы, а через две недели родителям ничего не оставалось, как давать им деньги для приобретения общей фотографии 8x10 дюймов и отдельных снимков каждого размером с бумажник, — теперь этот пройдоха благодаря кульбиту времени стал единственным источником, напоминающим им, какие они были: голова Кролика под тонкими светлыми волосами кажется розовой, уши отстают от нее на целый дюйм, глаза, как камешки, неправдоподобно голубые, нижние веки по-детски мясистые, а у Мириам лицо пухлое, обрамленное блестящими после шампуня волосами до плеч, подогнутыми, как у Риты Хейуорт[[24]](#footnote-24), малиновые губы словно наклеены на белом лице. Оба они улыбаются, глядя в пространство сквозь захватанные линзы пройдохи из пропахшего потом, звенящего от хихиканья гимнастического зала на мать, которая однажды сляжет тут.

Колумбия шутит: «Не уверен, не садись».

Спокойствие произносит: «Уже сели».

Влезает Хьюстон: «Спокойствие, это Хьюстон. У нас уточнение по корректировке двадцать два, если вы готовы сейчас принять. Конец связи».

Колумбия снова шутит: «К вашим услугам, сэр».

Хьюстон, держась все того же серьезного тона, — город компьютеров, работающий без сна и отдыха, — откликается: «Порядок, Майк. Один ноль четыре тридцать два восемнадцать; два один ноль четыре тридцать семь двадцать восемь, это четыре мили к югу. Расчет произведен с учетом запланированного места прилунения. Конец связи».

Колумбия повторяет цифры.

Спокойствие говорит: «Наш таймер показывает сейчас девять ноль четыре тридцать четыре сорок семь и статика».

«Понял, снимаю. Ваш таймер сейчас показывает... повторите, повторите цифры».

«Девять ноль четыре тридцать четыре сорок семь».

«Понял, снимаю, Спокойствие. Номограмма силы притяжения выглядит хорошей. Мы видим, что вы перестраиваетесь».

«Да нет. Я пытался поставить на шестнадцать-шестьдесят пять, а почему-то получилось шесть-двадцать два. Я хочу зарегистрировать здесь время, а потом мне было бы важно знать, хотите ли вы, чтобы я обошел углы или же вернулся и снова вышел перед тем, как их обходить. Конец связи».

«Понял, свяжусь. Не отключайтесь».

Нельсон и его дед слушают эти переговоры как завороженные; Мэри Энгстром резко поворачивается — не оттого ли, что каждое движение дается ей с трудом, они кажутся такими резкими? — и, волоча ноги, выходит на лестницу, затем снова спускается вниз. Кролик, чувствуя, как обрывается сердце, следует за ней. Она без посторонней помощи спускается по ступенькам. Остановившись посреди безвкусно яркой кухни, она спрашивает:

— Где, ты сказал, Дженис?

— В Поконах, со своей матерью.

— А почему я должна этому верить?

— А почему не должна?

Она, пошатнувшись, нагибается, открывает духовку и заглядывает — ее спутанные волосы кажутся сеточкой на свету. Тяжело вздохнув, она выпрямляется и заявляет:

— Дженис. Старается не попадаться мне на глаза. Последнее время.

В своем напуганном, загипнотизированном состоянии Кролик, кажется, только и может задавать вопросы.

— Зачем ей это?

Мать неподвижно смотрит в пространство — только мелькание языка между губ указывает на то, что она пытается заговорить.

— Слишком много я знаю, — наконец выдавливает она из себя, — про нее.

Кролик говорит:

— Ты знаешь лишь то, что тебе про нее рассказывают жалкие старые сплетницы. И перестань приставать с этим к отцу — он является на работу и пристает ко мне. — Поскольку мать не вступает в схватку, Кролик склонен продолжить: — При том, что Мим по десять раз на дню откалывает всякие номера в Лас-Вегасе, у тебя, по-моему, должно быть куда больше поводов для волнений, чем личная жизнь бедняжки Дженис.

— Она всегда была, — заявляет мать, — балованная.

— Да, и Нельсон, я полагаю, тоже избалован. А я? Только вчера я сидел на игре «Взрывных» и думал о том, как я ничего не смог достигнуть в бейсболе. Давай посмотрим правде в глаза. Как человек я тяну на тройку с минусом. Как муж вообще по нулям. Если «Верити» накроется, накроюсь и я и вынужден буду жить на пособие. Ну и житуха будет. Спасибо, мам.

— Замолчи, — безжизненно произносит она, — ты выплывешь. Торт сейчас опадет. — И, словно заржавевший перочинный нож, она с трудом заставляет себя согнуться и заглянуть в духовку.

— Извини, мам, но, Господи, до чего же я последнее время устал.

— Будет лучше. Когда доживешь до моих лет.

Торжество получается очень удачным. Они сидят за кухонным столом с фарфоровой столешницей — эмаль за многие годы протерлась в четырех местах. Все как прежде, если не считать того, что мама сидит в халате, а вместо Мим — Нельсон. Папа нарезает ростбиф, а потом мамину порцию разрезает на мелкие кусочки: правой рукой она может держать вилку, но не может пользоваться ножом. Щелкнув соскользнувшей челюстью, отец предлагает выпить нью-йоркского вина «за мою Мэри, моего ангела в горе и в радости», — Кролик недоумевает: в какой такой радости? Возможно, он о таких минутах, как сейчас. Мама разворачивает немногочисленные подарки и, увидев массажер, смеется.

— Это чтоб я. Запрыгала? — говорит она, а ее муж вставляет вилку в розетку и проводит работающим массажером по голове Нельсона. Парня нужно подбодрить.

А Гарри вдруг остро ощущает отсутствие Дженис. Торт разрезан, и малыш съедает только половину своего куска, так что Кролику приходится доедать, чтобы не обидеть маму. Сгущаются сумерки — где-то там, в Западном Бруэре, окна окружной психиатрической больницы вспыхивают оранжевым светом, а на этом склоне горы тени, словно воры, пробираются в узкий проход между их домом и тем, что продается. Сквозь обклеенные обоями стены из половины дома, где живет молодая босоногая пара, проникает низкий нудный грохот рок-группы, — от этого ритма звенят пустые банки (для печенья, сахара, муки, кофе) на маминой полке. В гостиной подрагивает стекло на серванте красного дерева. Глаза у Нельсона начинают западать, а губы купидона приоткрываются в извиняющейся улыбке, и он внезапно утыкается головой в холодную эмалированную поверхность стола. А старшие вспоминают, как они жили тут раньше, кто тут был в тридцатые и сороковые годы — люди, полные жизни, которых ты видел каждый день, и тебе в голову не приходило их сфотографировать. Старик методист, отказывавшийся подстригать газон между двумя цементными дорожками. А до него там жили Зимы с хорошенькой дочкой — мать кричала на нее за каждым завтраком и ужином. А дальше по улице жил мужчина, который ночами работал на фабрике по производству соленых крекеров и однажды на заре застрелился, — выстрел слышали лишь лошади, развозившие молоко. Тогда развозили молоко по домам. Улицы были покрыты слоем мягкой пыли. Нельсон сражается со сном.

Кролик спрашивает:

— Хочешь, поедем домой?

— Ответ отрицательный, пап. — И сонно улыбается собственной остроте.

Кролик продолжает в том же духе:

— Время — двадцать один час. Нам пора на стыковку с нашим космическим кораблем.

Но их космический корабль пуст — длинная пустая коробка медленно вращается в черной пустоте Пенн-Вилласа, окаймленная недовыполотыми цветочными бордюрами. Мальчишка страшится возвращения домой. Кролик тоже. Они сидят в темноте на кровати мамы и смотрят телевизор. Им сообщают, что в большом металлическом пауке, стоящем на Луне, астронавты не могут заснуть, поэтому выход на Луну передвинут вперед на несколько часов. Люди, сидящие в студиях, раздраженные и уставшие от безделья, показывают на макетах в натуральную величину, что должно произойти; на некоторых каналах мужчины в космических костюмах разгуливают, раскладывают подносы из фольги, словно собираются устраивать пикник. Наконец происходит нечто. Действительно происходит. Или, может быть, нет? Включается телевизионная камера на ноге модуля — на экране появляется абстрактная картинка. Комментатор объявляет, что чернота наверху экрана — это лунная ночь, чернота в нижнем левом углу — тень от космического корабля вместе с трапом, а белое — это поверхность Луны. Нельсон спит, положив голову на ляжку отца, — как странно, что во сне голова у детей потеет. Как лампочки под землей. Ноги мамы прикрыты одеялом, она сидит позади Кролика, опершись на подушки. Папа спит в кресле, — дыхание его подобно отдаленному печальному плеску моря, волны накатывают на берег и откатывают, накатывают и откатывают, старый насос продолжает работать; свет от уличного фонаря проникает сквозь щель в ставнях и падает на его макушку, жидкие волосы слиплись, словно тощие перья. А в ярко светящемся ящике что-то происходит. Нечто змееподобное сползает из верхнего левого угла — человеческая нога. Появляется другая нога и заслоняет яркое пятно, то бишь поверхность Луны. Перекрывая абстрактный рисунок теней и бликов света, возникает нелепая фигура человека. Он что-то произносит насчет «шагов»[[25]](#footnote-25), но из-за треска Кролик не понимает. Убегающая вбок строка уточняет: ЧЕЛОВЕК НА ЛУНЕ. Трескучий голос сообщает Хьюстону, что поверхность покрыта мягким порошкообразным слоем, астронавт может подцепить его носком ботинка, он прилипает к подошве, как угольная пыль, ноги астронавта погружаются в эту пыль лишь на какую-то долю дюйма, вообще здесь легче передвигаться, чем на имитационном тренировочном стенде на Земле. Кролик чувствует, как сзади рука матери с трудом дотягивается до него, касается его затылка и замирает там, потом неуклюже начинает массировать, как бы прогоняя тревожные мысли, которые — она знает — осаждают его.

— Не знаю, мам, — внезапно признается он. — То есть я знаю, что это случилось, но пока ничего не чувствую.

## 2

## ДЖИЛЛ

Все здесь другое, но очень красиво.

Нил Армстронг. 20 июля 1969 г.

Дни, светлые отрезки между ночами, сливаются в, хотя и не в точности схожие, слайды, столь мало подцвеченные, что только наложенные один на другой они густеют, приобретая фатальную окраску. Однажды в августе, в субботу, Бьюкенен подходит к Кролику во время перерыва на кофе. Они работают в одной смене полдня — отсюда и близость в отношениях. Негр вытирает с губ влагу от виски, опрокинутого с утречка на пригретой солнышком погрузочной платформе, и спрашивает:

— Как к тебе относятся, Гарри?

— Кто?

Гарри не один год знает Бьюкенена в лицо и по имени, и все равно ему как-то неуютно разговаривать с черным: такое впечатление, что у того на уме все время какая-нибудь шуточка, которую ему, Кролику, до конца не понять.

— Мир, парень.

— Неплохо.

Бьюкенен стоит перед ним, моргает, изучающе смотрит, пританцовывая то на одной ноге, то на другой. Трудно сказать, сколько черному лет. Может быть и тридцать пять, и шестьдесят. На верхней губе крошечные черные усики, тоньше кисточки, которой чистят шрифт. Кожа серая, без блеска, а у другого негра, Фарнсуорта, блестит, как ваксой начищенная, среди печатных машин под ярким, не дающим теней светом.

— Но и не слишком хорошо, а?

— Я сплю не слишком хорошо, — признается Кролик. Эти дни его так и подмывает делать признания, выговариваться — он так одинок.

— Твоя старушка все еще болтается на другом конце города?

Все знают. Ниггеры, кули, бродяжки, дебилы. Игроки в подпольную лотерею, автобусные кондукторы, парикмахеры — весь кирпичный город Бруэр. «РАБОЧИЙ «ВЕРИТИ» ИМЯРЕК — РОГОНОСЕЦ НЕДЕЛИ». И подзаголовок: «Энгстром принимает из рук мэра почетные рога».

— Я живу один, — расширяет признание Гарри, — с сыном.

— Да как же это? — говорит, покачиваясь на ногах, Бьюкенен. — Как же это?

Кролик вяло произносит:

— Пока все не утрясется.

— Сообразил себе другую дырку?

Должно быть, у Гарри очень удивленный вид, потому что Бьюкенен спешит добавить:

— Мужику без дырки нельзя. А где сейчас твой папаня? — Вопрос без паузы следует за утверждением, хотя они вроде бы никак между собой не связаны.

Кролик, озадаченный, оскорбленный (но, поскольку Бьюкенен — негр, он считает, что не может избежать ответа), говорит:

— Он взял две недели отпуска, чтобы возить мать в больницу на какие-то там исследования.

— М-да. — Бьюкенен погружается в раздумье, две пухлые подушки его губ смыкаются словно для совещания, потом новая мысль раздвигает их, так что подпрыгивают усики. — Твой папаня тебе настоящий друг — это здорово. Правда, здорово. У меня никогда не было такого папани, я знаю, кто он, он жил в городе, но никогда не был для меня таким, как твой. Никогда не был моим корешом.

Гарри выжидает, не зная, сочувствовать или смеяться.

— Ну, кореш-то кореш, пока от него не взвоешь, — решает он признаться.

Бьюкенену это понравилось, хотя он и машет руками в знак несогласия.

— Ой, никогда такого не говори. Будь благодарен, что у тебя есть папаня, которому не наплевать на тебя. Ты и не знаешь, малый, какой ты счастливый. Это еще не значит, что, если твоя жена где-то на стороне вертит задом, мир стал дерьмом. Просто надо найти себе другую дырку — только и всего. Ты же взрослый мальчик.

Отвращение борется в Гарри с возмущением; он чувствует себя таким высоким и бледным рядом с Бьюкененом и такой бабой, мишенью для насмешек, нежности и алчности. Ему как-то не по себе, когда он разговаривает с неграми, — глаза начинают чесаться, возможно, потому, что у них глаза такие влажные, а белки желтые и воспаленные. От всего их существа исходит боль.

— Как-нибудь сдюжу, — нехотя произносит он, думая о Пегги Фоснахт.

Звенит звонок, возвещая конец перерыва. Бьюкенен сводит плечи и разводит, словно готовясь произнести приговор.

— А что, если сегодня вечером, Гарри, закатиться куда-нибудь с ребятами, — предлагает он. — Приходи около девяти-десяти в «Уголок Джимбо», поглядишь, как оно там. Может, ничего и не выйдет, а может, что и получится. А то, если дальше так держать, быстро состаришься. Станешь старым, толстым и противным — куда это годится для такого видного, симпатичного мужика. — Он чувствует, что инстинкт подсказывает Кролику отказаться, быстро поднимает ладонь цвета пасты, которой чистят серебро, и говорит: — Подумай об этом. Ты мне нравишься, малый. Если не появишься — ну не появишься. Ничего страшного.

Всю субботу в ушах Кролика звенит это приглашение. И что-то из того, что сказал Бьюкенен. А он уже укладывался помирать, не один год укладывался. Тело призывало его к этому. Во второй половине дня печать расплывается у него перед глазами, его не манит пробежаться даже по маняще извилистому тротуару домой, он с трудом удерживается, чтобы не заснуть до ужина, и не может погрузиться в сон ночью, не может даже добиться, чтоб у него встало, разрядиться и расслабиться. Просыпается каждое утро чуть свет — новый день раздирает ему веки. Хотя никуда особенно он в своей жизни не ходил, нагляделся всего предостаточно. Деревья, погода, трещины на рассыхающейся лепнине вокруг входной двери — он замечает их каждый день, когда выходит, — зеленый дом. Никакой веры в потустороннюю жизнь, никакой надежды на нее, все одно и тоже — Кролику уже кажется, что он живет во второй раз. Второй раз начался, когда он вернулся к Дженис, а она, бедняга, проживает еще свою первую жизнь. Да будет благословенна эта дурища. У нее хоть хватило энергии вырваться на волю. Женщины, когда распаляются, не сгорают дотла изнутри — поначалу всячески отпихивают от себя настырные мужские отростки, а после сами устраивают дикую охоту за теми, которые еще на что-то годны.

Как-то на прошлой неделе Кролик позвонил в магазин, чтобы узнать, ходят ли они со Ставросом на работу или трахаются сутки напролет; трубку взяла Милдред Крауст и передала ее Дженис, которая прошептала:

— Гарри, папа ничего про нас не знает, так что не звони сюда, я сама тебе позвоню.

И позвонила в конце дня домой — Нельсон в другой комнате смотрел «Остров Гиллигана» — и холодным тоном, так что он еле узнал ее, произнесла:

— Гарри, мне очень жаль, что это причиняет тебе боль, право жаль, но крайне важно именно сейчас, на этой стадии нашей жизни, не идти на поводу чувства вины. Я пытаюсь честно разобраться в себе, понять, кто я и куда мне следует идти. Я хочу, чтобы мы оба, Гарри, пришли к решению, которое позволит нам нормально жить дальше. На дворе тысяча девятьсот шестьдесят девятый год, мы оба взрослые люди, и нет нужды просто из-за собственной инерции доводить друг друга до полной безысходности. Я хочу найти себя, хочу стать личностью и предлагаю тебе заняться тем же.

Она еще немного поговорила в том же духе и повесила трубку. Ее словарь стал заметно богаче — возможно, она насмотрелась телебесед с психотерапевтами. Нечестивые да будут оправданы. А, пошла она. Великий Боже, пошли ее подальше. Вот какие мысли приходят в голову Кролику, пока он едет в автобусе.

Он думает: «А, пошла она» — и, приехав домой, выпивает пива, принимает ванну, надевает свой лучший летний костюм, светло-серый, блестящий, вынимает пижаму Нельсона из сушилки и забирает его зубную щетку из ванной. Малыш договорился с Билли — заночует у него. Гарри звонит Пегги, чтобы проверить.

— О, безусловно, — говорит она. — Я буду дома, почему бы тебе не заехать и не поужинать с нами?

— Не могу — не получится.

— Почему? Какие-то дела?

— Да вроде.

Они с малышом выходят около шести и едут в пустом автобусе. В этот час на Уайзер уже чувствуется атмосфера уикэнда: машины быстрее спешат домой, чтобы вскоре снова выехать; толстяк с оранжевыми волосами стоит под навесом, наслаждаясь сигарой с таким видом, словно на землю вот-вот слетятся ангелы; металлические шторы поблескивают, закрывая витрины магазинов; девушки бегут, постукивая каблучками, — головы в бигудях, прикрытых платком, похожи на розовые кусты. Субботний вечер. Пегги встречает Гарри у дверей, предлагает зайти выпить. Они с Билли живут в квартире в одном из новых восьмиэтажных домов, возведенных в Западном Бруэре у реки — там, где раньше устраивали скачки на лошадях, запряженных в легкие коляски. Из ее гостиной видна панорама Бруэра, бетонный орел на здании суда, единственном местном небоскребе, распростерший крылья над спиной совы, символа компании, изготовляющей соленые крендельки «Сова». За городом, как глиняный горшок, высится гора Джадж, дымно-зеленая, один из ее склонов, взрезанный гравийным карьером, похож на жареный окорок, который начали разделывать на куски. И черная как уголь река.

— Ну разве один стаканчик. Мне надо в одно место.

— Как скажешь. Что будешь пить?

На ней обтягивающее мини-платье, светло-лиловое с рисунком «огурцами», открывающее ее толстые ноги. Вот у Дженис ноги всегда были что надо, этого у нее не отнимешь. Под коленями у Пегги ноги выглядят беззащитно белыми, словно они из теста.

— Можешь смешать дайкири?

— Не знаю, у Олли раньше было все необходимое, но все, по-моему, у него и осталось, когда мы уехали.

Они с Олли жили в доме из асбеста и гонта, разделенном на две половины, в нескольких кварталах отсюда, недалеко от окружной психиатрической больницы. Теперь Олли живет в центре города, близ своего музыкального магазина, а Пегги с сыном — в этой квартире, откуда видно все и можно наблюдать за Олли, если суметь его разглядеть. Пегги роется в шкафчике под пустыми книжными полками.

— Ничего не нахожу — нужные ингредиенты обычно в пакетиках. А как насчет джина с чем-нибудь?

— Есть тоник «Горький лимон»?

— Нет, просто тоник, — отвечает она, покопавшись еще.

— Вот и прекрасно. Хочешь, я сам себе приготовлю?

— Если угодно.

Она поднимается с корточек на своих толстых ногах, обрадовавшись и слегка вспотев. Зная, что он придет, Пегги решила обойтись без темных очков, что с ее стороны является проявлением доверия. Ее косые глаза ничем не прикрыты, лицо беспомощное, оно обращено к нему, а взгляд прикован к чему-то в углу потолка. Кролик знает, что только один глаз у нее плохой, но никак не может запомнить который. А вокруг глаз — сеть белых морщинок, обычно скрытых очками.

Он спрашивает:

— А тебе что налить?

— Да что угодно. То же, что и себе. Я все пью.

Пока он вытряхивает кубики льда из корытца на крохотной кухоньке, мальчишки уже выскользнули из спальни Билли. У Кролика мелькает мысль, не смотрят ли они неприличные фотографии. Снимочки того рода, что мальчишки покупали в свое время у старика инвалида на Сливовой улице по доллару за штуку, тогда как теперь можно купить в центре целый журнал, полный таких снимков, за 75 центов. А все Верховный суд, — беспомощные старцы — не заметят, как им на голову крыша рухнет. Билли на голову выше Нельсона, и он сгорает на солнце, а у Нельсона, совсем как у его матери, кожа лишь слегка темнеет; волосы у обоих закрывают уши — только у Билли они более светлые и курчавые.

— Мам, мы хотим выйти и покататься на мини-мотоцикле по автостоянке.

— Возвращайтесь через час, — говорит им Пегги, — я накормлю вас ужином.

— Нельсон съел сандвич с арахисовым маслом перед уходом, — говорит Кролик.

— Чем еще может накормить мужчина, — говорит Пегги. — А ты куда сегодня вечером идешь такой нарядный, при костюме?

— Да никуда особенно. Обещал встретиться с одним парнем.

Кролик не говорит, что это негр. И внезапно не без испуга понимает, что следовало бы ее пригласить. Она явно одета для выхода, но не разряжена в пух и прах, так что вполне может провести вечер и дома. Кролик протягивает ей стакан с джином и тоником. Лучшая оборона — наступление.

— У тебя нет мяты, или лаймов, или чего-нибудь такого?

Ее выщипанные брови лезут вверх.

— Нет, в холодильнике есть лимоны, но и все. Если хочешь, я могу сбегать в лавку. — Произносит она это без иронии, используя его просьбу для создания более интимной атмосферы.

Кролик отступает со смешком.

— Ну что ты. Просто я привык пить в барах, где все есть. А дома я пью только пиво.

Она смеется в ответ. Напряжена, как школьная учительница, впервые пришедшая в класс. Стремясь разрядить обстановку, он опускается в кожаное кресло, которое делает: пш-ш-ш.

— Эй, вид-то какой, — произносит Кролик, но он преждевременно это объявил, так как со своего низкого сиденья видит только небо. Его пересекают тонкие яркие полосы, словно бекон с полосками жира.

— Ты бы слышал, как Олли скулит по поводу арендной платы.

Пегги садится, но не на стул, а на решетку, прикрывающую радиатор под окном, — сидит напротив и немного выше Кролика, так что ему видны все ее ноги, почти бесформенные, туго обтянутые блестящей кожей. Впрочем, она показывает ему все, что имеет, вплоть до треугольника трусиков — преимущество того, что ты живешь в 1969 году. Мини-юбка да еще эти журнальчики — черт побери, но мы же всегда знали, что у женщин есть промежность, так почему же ее не узаконить? Один парень на работе принес журнал, где, честное слово, только это и было — напечатано тусклой четырехцветкой, но все-таки сплошные бабские прелести, снятые сверху, снизу и как хотите; девицы, которым все это принадлежит, облизывают губы, растопыривают веером пальцы рук на животе и вообще всячески стараются скрыть, как им неловко. И то сказать — невелика красота. Без Верховного суда мы могли бы так и не сделать этого открытия.

— Эй, а что слышно о старине Олли?

Пегги пожимает плечами.

— Звонит. Обычно чтобы отменить воскресное свидание с Билли. Ты же знаешь, он никогда не был семьянином, как ты.

— А как он проводит время?

— О, — произносит Пегги и неуклюже поворачивается, так что Кролик видит на просвет пузырьки тоника в ее стакане, который на удивление почти пуст, — носится по Бруэру с какими-то недоумками. В основном с музыкантами. Таскается с ними в Филадельфию, иногда в Нью-Йорк. Прошлой зимой ездил кататься на лыжах в Колорадо, в Аспен и рассказал мне об этом во всех подробностях, включая девиц. Вернулся домой такой черный — я несколько дней проплакала. Я-то никогда не могла заставить его выйти из дома, когда мы жили на Франклин-стрит. А как ты проводишь время?

— Я же работаю. А дома хандрю вместе с малышом. Мы с ним смотрим телек и играем в мяч на заднем дворе.

— Это ты без нее хандришь, Гарри?

Она неуклюже слезает с радиатора, голубые глаза ее дико смотрят куда-то поверх его головы; Кролик решает, что она сейчас на него набросится, и весь съеживается. Сеть морщинок вокруг ее глаз кажется Кролику сетью, которую она набрасывает ему на голову. Но Пегги проскальзывает мимо и, стуча каблучками, отправляется наполнить себе стакан.

— Хочешь еще?

— Нет, спасибо. Я еще этот не осилил. Мне через минуту уже надо идти.

— Так скоро, — воркует она в своей крохотной кухоньке, словно вспомнив начало песни.

Внизу, далеко под окнами, раздается треск и захлебывающееся, кашляющее тарахтение мини-мотоцикла. Звук то ухает вниз, то парит кругами, как грохочущий ястреб. Фоном ему служит шелест транспорта за рекой, в Бруэре, неумолчный, как шум моря, — лишь иногда загудит машина, вспыхнет яркий свет. А Пегги кричит из кухоньки, словно достав из печи испеченную мысль:

— Она этого не заслуживает.

И вот уже Пегги стоит за спиной Кролика, и голос ее молотит его по голове.

— Я и не знала, — говорит она, — что ты ее так любил. Думаю, что и Дженис этого не знала.

— Ну, привыкаешь ведь к человеку. Да и вообще, это оскорбительно. Связаться с каким-то инородцем. Ты бы слышала, как он поносит правительство США.

— Гарри, ты знаешь, что я об этом думаю. Я уверена, ты знаешь, что я думаю.

А он не знает. Понятия не имеет. Она, видимо, думает, что он читает ее затаенные мысли.

— Я считаю, что она вела себя по отношению к тебе ужасно. В последний раз, когда мы вместе обедали, я ей так и сказала. Я сказала: «Дженис, твои попытки оправдаться меня не впечатляют. Ты бросаешь человека, который вернулся к тебе, когда ты в этом нуждалась, и ты бросаешь сына в пору его становления, когда крайне важно, чтобы у него дома была устойчивая атмосфера». Я сказала ей это прямо в лицо.

— Вообще-то малыш частенько наведывается к деду на «пятачок» и видится с Дженис. Они со Ставросом водят его в ресторан. Так что Нельсон как бы приобрел дядюшку.

— Ты так все прощаешь, Гарри! Олли задушил бы меня — он до сих пор безумно ревнует. Вечно выспрашивает, кто мои дружки.

Кролик сомневается, чтобы у нее таковые были, и делает глоток из стакана. Правда, в этом округе женщины с большим задом обычно не жалуются на одиночество. Немцы любят телеса. Он говорит:

— Ну, не знаю, был ли я так уж хорош для Дженис. Ей ведь тоже хочется пожить.

— Ну, Гарри, если на то пошло, всем нам хочется пожить.

Она так стоит перед ним, что если он выпрямится в кресле, то уткнется носом в ее причинное место. Волосики, наверно, щекочут, еще чихнешь ненароком. Он снова делает глоток и чувствует, как безвкусная жидкость расползается по его внутренностям. Он в любой момент может выпрямиться, если она не поостережется. Судя по обилию волос на голове, внизу у нее должен быть целый куст, хотя наверняка никогда не известно: в журнале есть такие, у которых под животом торчит лишь скромный пучочек, не больше, чем под мышкой. Куклы. Пегги отходит от него со словами:

— Кто же будет хранителем семейного очага, если всем хочется пожить? Совместная жизнь — это компромисс между тем, что тебе хочется делать, и тем, что хотят делать другие.

— А как насчет того, чего хочет бедный Господь Бог?

Неожиданно прозвучавшее имя Бога выводит Пегги из соблазнительной позы, которую она приняла, став у окна спиной к Кролику. Собачья стойка. Перегнуть бы ее через стул, и пусть пальцами доводит себя до кондиции, пока он будет трахать ее сзади. Дженис предпочитала так, по-животному, — тогда ей не мешало его лицо, она не любила долгих влажных поцелуев: когда они только начали встречаться, она жаловалась, что при поцелуе у нее перехватывает дыхание, он даже спросил, нет ли у нее аденоидов. Совершенно серьезно. Двух одинаковых дырок не бывает, хотя в мире их миллиард — как снежинок. Дотронься до них, только правильно, и они растают. Больше всего мы оберегаем себя там, где жаждем вторжения. Пегги ставит стакан на подоконник — он словно высокий драгоценный камень — и поворачивается к Кролику асимметричным лицом. Поскольку Имя Бога ошарашило ее, она спрашивает:

— А ты не считаешь, что Бог живет в людях?

— Нет, я считаю, что Бог во всем, кроме людей. Пожалуй, я так считаю. Я не слишком над этим задумываюсь и потому не знаю, что я считаю. — И, разозлившись, он встает.

Большая на фоне окна, теплая тень, по краям лиловатая от света, исходящего от красного города, этакая мглистая гора, Пегги восклицает:

— О, ты думаешь, и думаешь всем своим существом. — И, чтобы пояснить свою нелепую мысль, очерчивает в воздухе руками его силуэт.

Она выглядит такой беспомощной, такой недотепой, что Гарри не остается ничего другого, как шагнуть в очерченную ею фигуру и поцеловать ее. Лицо у Пегги крупное и прохладное. Губы неумело прижимаются к его губам, словно полуразмякшие во рту желейные леденцы, в которых, однако, подмешан наркотик, да и вкус скорее приятный: мальчишкой Кролик любил мягкую карамель, — сидя в кино, уминал по три жестяных коробочки этих конфет, перекатывая их языком во рту, перекатывая, перекатывая, прежде чем, замирая от восторга, раскусить. Пегги прижимается к нему верхней, нижней частью тела, дотягиваясь до его роста, лаская его. В ее теле есть странное место, где нет ничего, и выше есть другое странное место, где кое-что есть. Ее ляжки свело от старания стоять на цыпочках. Она ввинчивается, ввинчивается в него — он стал для этой одноглазой женщины дыркой, куда она нацелилась войти. Кролик чувствует, что ее разум летит в тартарары — она вкатила его вместе с собой в огромный шар, наполненный тьмой.

Что-то царапает по этому шару. Звук ключа в замке. Затем хлопает дверь. Гарри и Пегги отскакивают друг от друга, она отбрасывает волосы со своих разъехавшихся в разные стороны глаз и, тяжело ступая, спешит к двери, чтобы встретить мальчиков. Оба они красные, злые.

— Мам, эта чертова штука опять сломалась, — говорит Билли матери.

А Нельсон смотрит на Гарри. Он вот-вот расплачется. С тех пор как ушла Дженис, он стал молчаливым и таким обидчивым — яичная скорлупа, наполненная слезами.

— Я не виноват, — хрипло произносит он: от несправедливости у него перехватило горло. — Пап, он говорит, что это я виноват.

— Ты как младенец: я же такого не говорил.

— Сказал. Он сказал, пап, а это не так.

— Я сказал только, что он слишком газанул. Он всегда газует. Колесом подбросило камень, и фара погнулась, так что теперь он не заводится.

— Если б твой мини не был таким дешевым, не ломался бы все время.

— Вовсе он не дешевый, он почти что самый лучший, а у тебя и такого нет...

— А я и не взял бы такой, даже если б ты мне подарил...

— Да кто ты такой!

— Эй, полегче, полегче, — говорит Гарри. — Мы починим твой мотоцикл. Я заплачу.

— Не надо платить, пап. Никто не виноват. Просто Билли избалованный мальчишка — привык, чтоб другие все делали.

— Ах ты, слизняк, — говорит Билли и бьет его почти так же, как три недели тому назад Гарри ударил Дженис, — бьет сильно, но в такое место, где бы не было слишком больно.

Гарри разнимает их — так сжимает Билли руку, что парнишка сразу утихает. Со временем этот парень никому спуску не даст. Уже сейчас рука у него сильная.

К Пегги мало-помалу возвращается способность сфокусировать свое внимание, она приходит в себя после поцелуя.

— Билли, подобные вещи будут случаться, если ты не прекратишь опасной игры. — И, обращаясь к Гарри, добавляет: — Будь он проклят, этот Олли, зачем только он купил мальчику мотоцикл! По-моему, он это сделал мне назло. Он знает, как я ненавижу машины.

Гарри решает, что следует обратиться к Билли.

— Эй, Билли. Хочешь, чтобы я забрал Нельсона домой, или хочешь, чтобы он остался у тебя на ночь?

И мальчишки оба поднимают вой, требуя, чтобы Нельсон остался на ночь.

— Пап, тебе не надо приезжать за мной: я утром сам приеду на своем велике. Я вчера оставил его тут.

После чего Кролик отпускает руку Билли, целует Нельсона куда-то за ухо и пытается поймать взгляд Пегги.

— Всем привет. Я поехал.

Она говорит:

— Тебе обязательно? Останься. Разве я не могу накормить тебя ужином? Может, еще выпьешь? Ведь совсем рано.

— Человек ждет, — лжет Кролик и, огибая резную мебель, направляется к двери.

Тело Пегги преследует его, несфокусированные глаза блестят в мягких, как косметическая салфетка, глазницах, губы обмякли, как обычно бывает после поцелуя, — Кролик противится алчному желанию еще раз отведать леденцов.

— Гарри, — произносит она и, споткнувшись, чуть не падает на него, но тела их не соприкасаются.

— Да?

— Я ведь обычно дома. Если... ну, ты понимаешь.

— Понимаю. Спасибо за джин с тоником. У тебя великолепный вид из окон.

Он протягивает руку и похлопывает ее — не совсем по заду, скорее по боку, такому широкому, такому крепкому, такому живому под его ладонью, что, когда дверь за ним захлопывается, он с удивлением думает, зачем, собственно, ему надо спускаться на лифте и уходить.

Для встречи с Бьюкененом еще рано. Гарри идет по боковым улочкам Западного Бруэра к Уайзер-стрит в гаснущем свете дня под звуки, доносящиеся с далеких спортивных площадок, грохот посуды в кухонных мойках, бормотание телевизоров, механически приправленное смехом и аплодисментами, под визг машин, управляемых юнцами, которые мчатся, не жалея шин и не пользуясь тормозами. Детишки и старики сидят на крылечках, прямо на ступенях возле свинцового цвета ящиков для молочных бутылок. Некоторые участки тротуара вымощены кирпичом — эти кварталы у реки, самые старые в Западном Бруэре, густо застроены, тихи и голы. В промежутках между редкими деревьями — городскими деревьями, никогда не знавшими американских лесов (их привезли из Китая и Бразилии), — торчат гидранты, парковочные счетчики-автоматы, указатели, иные величиной с бильярдный стол, где белым по зеленому автомобилистам поясняют, как выехать на сверхскоростное шоссе, номер которого помещен в центре федерального щита или пенсильванского замкового камня — с этих безвестных проулков, проездов и улиц Западного Бруэра, уютных и потрепанных, как старая одежда, можно умчаться в Филадельфию, Балтимор, в столицу страны Вашингтон, центр торговли и моды Нью-Йорк. А в другом направлении — добраться до Питтсбурга, Чикаго, снежных гор, залитого солнцем побережья. А под этими внушительными металлическими щитами — величественными символами пространства и скорости — слоняются без дела толстяки в майках; пожилые кумушки, по-деревенски переваливаясь, весь день переходят от сплетни к сплетне; в прохладной тени у обочины спят собаки, и мальчишки с какими ни есть хоккейными клюшками и битами с обмотанной клейкой лентой рукояткой сосредоточенно бьют по шайбе и мячу, готовясь прийти на смену нынешнему поколению спортсменов и астронавтов.

Смеркается. У Кролика начинает щипать глаза от этого погружения в свою родную, закопченную субстанцию, от этих захиревших безобидных кварталов. Столько любви, слишком много любви — в этом наше безумие, это разъедает изнутри, и мы взрываемся, как созревшая головка одуванчика. Кролик заходит на углу в бакалейную лавку купить шоколадку «О'Генри!», затем в «Бургер-мечту» на Уайзер, ярко светящуюся забегаловку посреди озера автостоянки, за «Особым лунным» (двойным гамбургером с сыром и американским флажком, воткнутым сверху в булочку) и ванильно-молочным коктейлем, который под конец отдает химией.

В «Бургер-мечте» такой яркий свет, что ногти у Кролика с большими лиловатыми лунками блестят, а монеты, которые он кладет на стойку, кажутся металлическими ободьями от колес для телеги. Но за озером света — тьма. Кролик отваживается нырнуть в нее, проходит мимо темного банка и идет по мосту. Высокие тонкие фонари, похожие на цветы на гигантских изогнутых стеблях, распространяют лунный свет, при котором все мчащиеся мимо машины кажутся фиолетовыми. Кроме Кролика, на мосту никого нет. С середины моста Бруэр выглядит паутиной, к которой по краям лепятся скопления мерцающих капелек. Одно из таких скоплений — Маунт-Джадж, погруженный в ночь. Светящееся пятно гостиницы «Бельведер» висит как звезда.

Мошкара, расплодившаяся от сырости, облепляет лицо Кролика, а изнутри, словно открылась язва в желудке, его гложет предательство Дженис. Поменьше надо пить пива и кофе. Теперь он один — надо беречь себя. Теперь, когда он спит один, Кролика не тянет ложиться в постель — он смотрит ночные шоу — Джонни Карсона, Мерва Гриффина — самоуверенные типы, ничего за душой, кроме нахальства. Зарабатывают миллионы на беспардонной наглости. Американская мечта. Когда он мальчишкой впервые услышал это выражение, он представил себе спящего Бога, у которого облаком выползает из головы разноцветное лоскутное одеяло карты США. Объятие Пегги гроздьями висит у него на ногах. Костюм прилипает к телу. «Гостеприимный уголок Джимбо» — у самого моста на стороне Бруэра, в полуквартале от Сливовой улицы. Там одни черные.

Слово «черные» он воспринимает только как политический термин, но эти люди действительно черные, он видит, как отливают чернотой их лица, повернувшиеся к нему, когда он вошел, крупный, полный белый мужчина в липнущем к телу сером костюме. По коже его пробегает страх, но из зеленого с лиловым автомата под названием «Лунное настроение» продолжает звучать музыка, и возобновляется звонкий смех и бормотание, — значит, уставились на него просто от неожиданности. Кролик замирает, как воздушный шарик, дожидающийся, когда его подтолкнут, затем кто-то дергает его за локоть, и он видит рядом Бьюкенена.

— Эй, малый, ты таки пришел.

Негр появился из дыма, висящего в баре. Его тонюсенькие усики выглядят здесь уж слишком лихими.

— А ты думал, я не приду?

— Сомневался, — говорит Бьюкенен. — Сильно сомневался.

— Это же была твоя идея.

— Верно, Гарри, ты прав. Я не спорю, просто радуюсь. Давай тебя обслужим. Хочешь выпить, верно?

— Не знаю, у меня желудок что-то стал бунтовать.

— Нужно выпить двойную порцию. Скажи, какая отрава тебе больше по вкусу.

— Может, дайкири?

— Ни в коем разе. Это питье для женщин, которые едят на обед салатики. Эй, Руфи, старый мерзавец!

— Дассэр, дассэр, — раздается из-за стойки бара.

— Приготовь-ка человеку «Кусачий».

— Дассэр.

Руфи — лысый, голова у него гладкая, как каменный топор в Бруэрском музее, только лучше отполированная. Он склоняется в аквамариновой подсветке бара, словно ныряет под воду, а Бьюкенен ведет Кролика к дальней кабинке. Зал уходит в глубину — здесь куда просторнее, чем кажется снаружи. Кабинки отступают вглубь, разделенные перегородками из темного дерева. Вдоль одной стены — Руфи и его подсвеченная стойка, а за ним и над ним — не обычная сверкающая и прыгающая реклама пива «Пабста», «Бада» и «Миллера», — а две небольшие оленьи головы, которые смотрят на вас никогда не мигающими, блестящими карими глазами. Газели, возможно, это газели? Чуть подальше, у стены, но не совсем — оставляя место для ряда кабинок, — стоит мини-рояль, выкрашенный спреем, весь в серебряных завитках. В комнате, сбоку от основного зала, стоит бильярдный стол: цветные парни, сплошь руки и ноги, пауками ползают вокруг идиллически зеленого сукна. Игра всегда успокоительно действует на Кролика. Там, где играют, есть заслон от насилия.

— Иди сюда, познакомься, — говорит Бьюкенен.

В сумерках кабины — две тени: мужчина и женщина. У мужчины очки в серебряной оправе с круглыми стеклами и маленькая остроконечная бородка, он молодой. Женщина пожилая, морщинистая, она курит желтую сигарету, глубоко затягивается, закрывает глаза и только затем выдыхает дым. Темные веки ее подведены синим карандашом и кажутся серыми. Пот блестит на шее и на косточке между грудей, которых у нее нет, хотя ее платье, кроваво-красное, словно петушиный гребень, вырезано низко, как если бы они у нее были. Бьюкенен еще не успел представить ей Гарри, а она уже говорит: «Привет!» — и пристально смотрит на него, сузив глаза, словно боясь, что он улетучится, как во сне.

— Этот человек, — объявляет Бьюкенен, — работает со мной, а также рядом со своим отцом в «Верити пресс», классный линотипист. — Произносит он это нараспев, по слогам — дурака валяет или это своего рода код? — Но на этом дело не кончается. Он еще и известный спорт-сме-ен, в баскетбол играл как бог, в свое время был знаменитостью в Бруэре.

— Хорош, — говорит второй черный. Круглые стекла очков наклоняются, блестят. Затененное лицо, которому они принадлежат, кажется совсем узким. Голос звучит сухо и очень решительно.

— Все это было давным-давно, — говорит Кролик, как бы извиняясь за свое располневшее тело, свою бледность, свою угасшую славу. И спешит сесть, чтобы скрыть все это.

— А какие руки, — произносит женщина. Она в трансе. — Дай старушке Бэби руку, белый мальчик, — добавляет она.

Занервничав, с трудом сдерживаясь, чтобы не чихать от сладковатого дыма, Кролик отрывает правую руку от колена и кладет на липкий стол. Невинная плоть. Обезьянья лапа. Вспоминается шоу с шимпанзе, которое он видел по телевизору, сопровождаемое текстом и музыкой, боязливое выражение на лице шимпанзе после неудавшегося трюка.

Женщина дотрагивается до руки Кролика. Прикосновение холодное, как от змеи. Кролик поднимает задумчивый взгляд. Над блестящей от пота грудиной на шее женщины висят камни — салфетка из страз, а возможно, и настоящих бриллиантов: у этих черных есть же «кадиллаки» и туфли из крокодиловой кожи — они ведь не могут, как белые, вкладывать деньги в недвижимость, и маломерки «тойоты», на которых процветает Спрингер, их не устраивают. Мысли Кролика мчатся с быстротою, с какой пульсирует кровь. Возле краешка одного глаза у Бэби налеплена серебряная блестка. Утрирует уродство до тех пор, пока оно не обернется красотой. Длинные ресницы ее окружают глаза фальшивым полумесяцем. Раз она столько внимания уделяет своей особе, значит, не представляет для него опасности, решает Кролик. Пульс его замедляет свой темп. Ее рука приятно скользит по его руке, как змея.

— Оттопырь-ка большой палец, — говорит она в воздух. Ласково проводит по изгибу пальца. По тонкой коже подушечки. По бесцветному ногтю с большой лункой. — Твой большой палец указывает на мягкость и легкость. Он показатель удовольствия у Стрельцов и Львов. — Она ласково сжимает сустав.

Негр — не Бьюкенен (Бьюкенен отправился к стойке бара проверить, готов ли «Кусачий») — говорит:

— Он не такой, как те, с обрубками вместо рук, которые приходят к тебе, верно?

Бэби отвечает, не выходя из транса:

— Нет, сэр. Этот палец о многом говорит. При благоприятном соотношении звезд он еще как будет действовать. А вот тут суставы не так хороши, никакой музыки я не слышу. — Она проходится по ним на удивление твердыми, уверенными пальцами. — Зато большой палец... — И она возвращается к нему, гладит. — Настоящий сердцеед.

— Все Чарли[[26]](#footnote-26) — сердцееды, верно? Хоть и ленятся приподнять свой толстый зад, а где надо идут первым номером и берут свое, просто на подлянку, верно? А почему они такие подлые, потому что уж больно верующие, верно? Их большой белый бог говорит им: «Давай, трахни черную девчонку», и они повинуются, потому что бог подгоняет их, шлепая по толстому заду. Вот так-то!

Интересно, думает Кролик, этот молодой негр всегда так разговаривает, интересно, все ли они так говорят. Кролик сидит неподвижно, не отнимая своей руки у женщины, и та продолжает рассматривать ее, касаясь холодными, как зубы, пальцами. Он среди пантер.

Бьюкенен, старый мерзавец, возвращается и ставит перед Кроликом высокий стакан со светлой отравой и садится на скамью, так что Кролик вынужден передвинуться и сесть напротив того, другого негра. Бьюкенен обводит взглядом лица и понимает, что дело худо.

— Жена у него знаете, что сотворила? — игривым тоном произносит он. — Я до сих пор не имел удовольствия познакомиться с ней как следует, если не считать пикников, которые устраивает «Верити», а там Фарнсуорт — вы же все теперь знаете Фарнсуорта...

— Настоящий папочка, — говорит молодой человек и добавляет: — Верно?

— ...до того накачивал меня бочковым пивом, что я ни лиц, ни имен не помню... О чем это я? Да, так вот его жена взбрыкнула и ушла от него на той неделе, бросила его и закрутила с другим, вроде с испанцем, так ты говорил, Гарри?

— С греком.

— Сладкий мой, что же у него есть такого, чего у тебя нет? — с усмешкой спрашивает Бэби. — У него, наверно, большой палец величиной с язык этого трепла.

Она тычет в бок своего спутника, тот вынимает изо рта их общую сигаретку, которая стала такой коротенькой, что, наверное, обжигает губы, и высовывает язык. Кролик потрясен тем, что он такой белый — весь рот заполняет светящаяся плоть. Язык толстый и бледный, но не очень длинный. Кролик понимает: этот парень — совсем еще мальчишка, бороденка — единственное, что он сумел отрастить. Он не нравится Гарри. А вот Бэби ему нравится, хоть и высохла вся, как подвявшая слива, забытая на дне корзинки. Здесь все они на дне корзинки. Стакан с коктейлем и его рука — единственные тут белые пятна. Не считая языка того парня. Кролик делает глоток. Слишком сладко, противно. Тотчас начинает побаливать голова.

А Бьюкенен не слезает со своего конька.

— Неправильно это, по-моему, когда здоровый мужик живет один и некому его утешить.

Бородка вздергивается.

— А меня это не трогает. Зато есть время пораскинуть мозгами, верно? Можно забыть о дырке, верно? У него же наверняка есть какое-то хобби, что-то, чем он может занять себя: ну, например, что-то мастерить из дерева. — И поясняет для Бэби: — Ну, знаешь, вроде того, чем занимаются многие белые умники-голодранцы в своих подвалах — собирают марки, верно? На этом и зарабатывают. Умно, а?

И он стучит себе по голове, которая не выглядит узкой из-за черной шерсти, покрывающей ее толщиной, наверное, в дюйм. По своей фактуре это напоминает Кролику вязания матери, куда она добавляла тонкую металлическую нитку. Только вот теперь руки у нее стали синие, скрюченные. Даже здесь ему грустно думать о своей семье — грусть бередит незаживающие раны.

— Я собирал в детстве бейсбольные открытки, — говорит он им.

Он надеется вызвать их на грубость, чтобы иметь повод уйти. Он помнит, как пахло от открыток жвачкой, какими шелковистыми они были на ощупь, словно присыпанные сахарной пудрой. И отхлебывает «Кусачего».

Бэби замечает, как он при этом поморщился.

— Вовсе не обязательно пить эту мочу. — И, подтолкнув в бок соседа, говорит: — Давай еще косячок, а?

— Женщина, ты, видно, считаешь, что я набит травой.

— Я знаю, у тебя этого добра всегда полно. Нечего сидеть навытяжку, человеку надо взбодриться, и я еще не под кайфом, чтобы выступать.

— Последняя, — говорит он и протягивает ей малюсенький мокрый окурок.

Она гасит его в пепельнице с рекламой пива «Подсолнух».

— Эту мы тут похоронили.

И протягивает тощую ладонь.

Бьюкенен прыскает со смеху.

— Мамаша, побереги себя, — говорит он Бэби.

А тот, другой негр раскуривает новую закрутку — бумажный, скрученный конец ее вспыхивает и затухает. Он передает закрутку женщине со словами:

— Расточительство — порок, верно?

— Да заткнись ты. Этому сладкому надо расслабиться, не могу я видеть, как они печалятся, никогда не могла: они ведь не похожи на нас — нутро у них иначе устроено, не приспособлены они страдать. В этом они как младенцы — спихивают свое горе на других. — И она протягивает Кролику закрутку влажным концом.

— Нет, спасибо, — говорит он. — Я бросил, десять лет не курю.

Бьюкенен хмыкает и большим и указательным пальцами разглаживает по сторонам усы, как бы заостряя их еще больше.

Парень произносит:

— Они хотят жить вечно, верно?

А Бэби говорит:

— Это ведь не никотиновое дерьмо. Эта травка — сама ласка.

Пока Бэби уговаривает Кролика, Бьюкенен и тот, другой, парень обсуждают через стол проблему его бессмертия.

— Мой папаня говорил: «В наших краях никогда не увидишь белого мертвяка, как не увидишь мертвого мула».

— Бог на их стороне, верно? Не хочет он больше брать к себе этих Чарли — хватит ему тех, что у него есть, так что пусть будет так, как оно есть: только он и черные ангелы с хлопковых полей.

— Твой язык до добра тебя не доведет, парень. О таких, как он, здесь баллады сочиняют.

— Чью черную задницу ты продаешь — ее или свою?

— Попридержи свой злой язык.

А Бэби наставляет Кролика:

— Втяни в себя как можно глубже и задержи внутри подольше, насколько в состоянии. Надо, чтоб травка вошла в тебя.

Кролик пытается выполнить совет, но после каждой затяжки начинает кашлять, и все идет насмарку. А кроме того, он боится «зависнуть», боится, что его вдруг «посадят на иглу», что у него начнутся галлюцинации из-за чего-то, подмешанного в его коктейль. «СМЕРТЬ В ГОСТЕПРИИМНОМ УГОЛКЕ — ОТВЕТ ДАСТ ВСКРЫТИЕ». И подзаголовок: «Коронер[[27]](#footnote-27) отмечает странный цвет кожи».

Глядя, как Гарри заходится от кашля, парень говорит:

— Ну, хорош. Я не знал, что у них до сих пор такие задвиги. Прямо будто сегодня на свет родились, верно?

От злости Кролик удерживает в себе затяжку. Дым обжигает ему горло, вызывает тошноту. Он выдыхает его с облегчением, какое приносит рвота, и ждет, что будет дальше. Ничего не происходит. Он отхлебывает «Кусачего», но сейчас питье отзывает химией, как тот молочный коктейль. Кролик прикидывает, как бы отсюда убраться. Пегги все еще примет его? Приятно было бы ощутить в летнюю ночь на улице Бруэра влажный поцелуй. Ничего не бывает хуже, когда вокруг тебя веселятся, а ты сидишь как дурак.

Бэби спрашивает Бьюкенена:

— Что было у тебя на уме, Козел?

Закрутка теперь у нее, и дым окутывает даже ее глаза.

Толстяк пожимает плечами, задевая Кролика.

— Никаких особых планов, — бурчит он. — Посмотрим, что подвернется. Женщина, если будешь так смолить, скоро не сумеешь отличить белые клавиши от черных.

Она посылает перья дыма ему в лицо.

— Кто кому приказывает?

— Чувак не понимает, что он кобель, верно? — снова влезает молодой задира.

Бьюкенен, чувствуя, что сгладить ничего не удается, бросает:

— Опять этот твой язык.

Кролик, которому все это порядком надоело, громко произносит:

— Может, поговорим о чем-нибудь другом? — и протягивает к Бэби руку за косячком.

Дым по-прежнему обжигает нутро, но что-то начинает вытанцовываться. У Кролика возникает ощущение, что его рост, то, что он выше всех остальных, — это хорошо, это делает его хозяином положения.

А Бьюкенен спрашивает тех двоих:

— Джилл сегодня будет?

— Когда я уходила, она осталась в доме, — отвечает Бэби.

— В отключке, верно? — догадывается парень.

— А ты не вмешивайся, слышишь, она теперь чистая. И ни в какой она не в отключке, просто устала самокопаньем бороться с собственным знаком.

— Значит, чистая, — говорит парень. — А что значит чистая? Белые — они чистенькие, верно? Дырка тоже чистенькая, верно? И дерьмо тоже, верно? А если что нечистое, закон сразу пальцем указывает, верно?

— Неверно, — говорит Бэби. — Ненависть — чувство нечистое. Такому парню, как ты, который полон ненависти, надо бы как следует вымыться.

— Так они сказали Иисусу, верно?

— А кто это — Джилл? — спрашивает Кролик.

— Пилат говорил, умываю, мол, руки, верно? Так что не рассказывай мне, Бэби, как надо быть чистеньким, — слишком долго держали нас в черном мешке.

— Она придет? — осторожно продолжает выспрашивать Бьюкенен.

Тот, другой, опять вмешивается:

— Конечно, придет, разве удержится, запри двери на замок — она в щель от почтового ящика вылезет.

Бэби не без удивления поворачивается к нему:

— Ты же любишь крошку Джилл.

— Можно любить то, что тебе и не нравится, верно?

Бэби опускает голову.

— Бедная девочка, — говорит она, обращаясь к крышке стола, — покалечит ведь и себя, и всех, кто будет с ней рядом.

Бьюкенен медленно произносит, нащупывая почву:

— Просто подумал, может, малому приятно было бы познакомиться с Джилл.

Парень выпрямляется. Электрический свет, падающий из бара и с улицы, пробегает по оправе его очков.

— Спаришь их, — говорит он, — и тебе отломится от этого чисто белого траханья. Тебе же этих чертей перехитрить плевое дело, верно? Ты бы обвел вокруг своего черного пальца самого Моисея на горе Синайской, верно?

Он вроде радиопомехи, которую вынуждены терпеть двое других. А Бьюкенен все не отступается от сидящей через стол от него Бэби.

— Просто подумал, — пожимает он плечами, — одним выстрелом убить двух зайцев.

По сморщенному лицу женщины катится слеза и падает на столешницу. Волосы у нее зачесаны назад и, как у школьницы, перехвачены на затылке ленточкой, пробор прямой, словно проведенный ножом. Когда курчавые волосы так оттянуты, это должно быть больно.

— Дойдет до самого дна — так указывает ее знак, а от того, что знак указывает, не уйдешь.

— Да кто боится эти вуду, му-бу-ду? — говорит парень. — Наш беляк сильно ученый, ему никакие предсказания не нужны, верно?

— Эта Джилл — белая? — спрашивает Кролик.

Парень злобно бросает двум остальным:

— Прекратите разводить бодягу, она придет. Господи, куда еще она может пойти, верно? Мы — кровь, которой смоются ее грехи, верно? Чистенькая она. Вот черт, меня это прямо сжигает. Нет такой грязи, которую сучка не проглотила бы. Причем с улыбкой, верно? Потому что она чистенькая.

Похоже, его злость порождена не только историей, но и теологией. Кролик понимает, что те двое хотят пристроить его к приближающемуся облаку, к этой Джилл, такой же бесцветной, как его коктейль, и такой же ядовитой.

— По-моему, мне скоро пора, — объявляет он.

Бьюкенен тотчас сжимает ему плечо.

— Чего ради, Братец Кролик? Ты еще не достиг своей цели, друг.

— Моя единственная цель — быть вежливым.

*В щель почтового ящика вылезет* — под воздействием этого образа и проглоченного дыма Кролик чувствует в себе способность взлететь, шалью прошелестеть по плечам Бьюкенена и выпорхнуть за дверь. Ничто его не удержит — ни мама, ни Дженис. Тотеро, желая ему подольстить, говорил в свое время, что он может на поле вылезти из любой толчеи с мячом.

— Тогда, значит, уйдешь на полувзводе, — предупреждает его Бьюкенен.

— И не услышишь, как играет Бэби, — говорит тот, другой.

Кролик приостанавливается, приподнявшись.

— Бэби играет?

Отчего-то разволновавшись, она опускает глаза на свои тонкие пальцы без колец, перебирает ими, бормочет:

— Пусть уходит. Пусть бежит. Не хочу, чтобы он меня слушал.

Парень принимается ее поддразнивать:

— Хватит, Бэби, что за плохой черный театр ты тут устраиваешь. Он хочет послушать, знаешь ли свое дело. Свое черное дело, верно? Ты ему выдала номер с гаданьем, теперь можешь выдать номер с банджо, а потом, может, разыграешь и жаркую мамочку, только сейчас не похоже, чтоб этот номер прошел, верно?

— Поостынь, ниггер, — говорит она, по-прежнему не поднимая головы. — Слишком ты иной раз налегаешь.

Кролик робко спрашивает ее:

— А вы играете на рояле?

— Он посылает мне дурные волны, — сообщает Бэби черным мужчинам. — Плохие у него эти костяшки. Нехорошие залегли там тени.

Бьюкенен, к удивлению Гарри, вдруг накрывает ее тонкие худые руки своими широкими большими ручищами прессовщика — на одном пальце у него кольцо с молочно-голубым нефритом, на другом — из яркой кованой меди. Эта другая рука тяжело ложится на плечи Гарри.

— Встань на его место, — говорит он Бэби, — как бы ты себя чувствовала?

— Плохо, — говорит она. — Я на своем месте плохо себя чувствую.

— Сыграйте для меня, Бэби, — просит Кролик под влиянием сеющей любовь травки.

Бэби поднимает на него взгляд, и губы ее растягиваются в улыбке, обнажая желтые зубы и десны цвета стеблей ревеня.

— Мужчины, — протяжно произносит Бэби. — Они тебе и дерьмо сумеют всучить.

Она выталкивает себя из кабинки и, переваливаясь в своем красном, цвета петушиного гребешка, платье, идет под жидкие аплодисменты к роялю в серебряных завитушках, будто намалеванных детьми. Она подает сигнал Руфи включить голубой прожектор, сухо кланяется, нехотя улыбнувшись в темноту, и, пробежав пару раз пальцами по клавиатуре, начинает играть.

Что же играет Бэби? Добрые старые песни. Мелодии шоу. «Вверх по лениво текущей реке», «Ты самый лучший», «Летняя пора», ну, в общем, все такое. Этих мелодий сотни, тысячи. Уроженцы Индианы создали их в Манхэттене. Мелодии текут, переливаются из одной в другую под черными мостами струн, по которым Бэби ударяет по шесть, по семь раз, словно вбивая в рояль некое слово, которое никогда не будет произнесено. Или шлепая тишину. Или давая знать: «Я тут, найди меня, найди меня». Руки Бэби, темная бронза, на клавишах тихие, словно перчатки, забытые на столе; она глядит вверх сквозь голубую пыль, стремясь сфокусировать взгляд, руки падают на клавиши, и новая мелодия льется: «Мой милый Валентин», «Дымом застлало глаза», «Никак не начну». Бэби подпевает себе, воспроизводя слова, рожденные в дыму далеких костров десятилетия тому назад, когда американцы жили Американской мечтой, смеялись над этим, жаждали этого, но этим жили и воспевали ее, сделав национальным гимном. Мудрецы и деревенские недоумки, люди в канотье и робах, нувориши и неудачники, обитатели верхних этажей в небоскребах и халуп у железнодорожных путей, люди, которым сопутствует удача и неудача, богатые и бедные, те, что ездят в трамваях, и те, что слушают последние известия по радио. Кролик появился на свет в конце всего этого, когда мир съежился, как портящееся яблоко, и Америка уже не была самой притягательной деревней, куда можно доехать из Европы на пароходе, и Бродвей забыл эту мелодию, но вот она вновь воскресла под пальцами Бэби, и она взбирается по лесенкам и спускается вниз чечеткой, мерцая чернотой, и другой музыки, право же, быть не может; хотя Бэби и наигрывает песни «Битлов» «Вчера» и «Привет, Джуд», они звенят у нее дешевкой, тренькают, словно лед в покачиваемом стакане. Разыгравшись, Бэби начала раскачиваться, откидываться назад, звуки, вырывающиеся из-под ее пальцев, уходят корнями в регтайм. Перед мысленным взором Кролика возникают шатры цирка, фейерверки, и фермерские фургоны, и пустынная река, текущая меж песчаных берегов так медленно, что золотистую поверхность ее тревожит лишь движение сонной рыбы в Гудзоне.

Парень наклоняется к Кролику и шепчет:

— Тебе нужна баба, верно? Бери эту. За пятьдесят можешь развлекаться всю ночь, всеми способами, какие придут в голову. Она многое умеет.

Завороженный ее музыкой, Кролик обо всем забыл. Он качает головой и говорит:

— Слишком она для этого хороша.

— Правильно, хороша, но ей жить надо, верно? А тут ей ни черта не платят.

А Бэби превратилась в поезд: голова-слива подскакивает, салфетка из камней сверкает голубым огнем, музыка катится по диким местам, ныряет в тоннели диссонансов, вырывается на открытые просторы тоненькой жестяной нотой, растворяющейся в небесах, вся ее властная печаль и радость, сношенная до дыр, словно прохудившаяся туфля. Из темных кабинок слышится: «Давай, давай, Бэби!», «Наяривай, наяривай!» Парни-пауки в соседней комнате застыли вокруг зеленого сукна. И тогда она принимается петь в микрофон не больше леденца на палочке, — поет совсем не женским голосом и не мужским, просто человеческим песню на слова из Экклезиаста. Время рождаться, и время умирать. Время разбрасывать камни, и время собирать камни. Да. Последнее слово Господа. Другого слова, право же, нет. Ее пение ширится, вырастает до невероятных размеров, пугает Кролика своей огромной черной пастью правды и одновременно преисполняет радостью, что он тут, с этими черными; ему хочется, перекрывая мрак, нагоняемый голосом Бэби, кричать о своей любви к сердитому собрату с бородкой и в очках. Кролик переполнен этим чувством, но не выплескивает его. Ибо Бэби умолкает. Словно вдруг устав или обидевшись, она обрывает песню, пожимает плечами и уходит.

Вот как играет Бэби.

Она возвращается к столику, сгорбившаяся, трясущаяся, изнервничавшаяся, постаревшая.

— Это было прекрасно, Бэби, — говорит ей Кролик.

— Действительно прекрасно, — раздается чей-то голос.

Маленькая белая девушка чинно стоит у столика, в белом повседневном платье, грязном, словно пропитанном дымом.

— Эй, Джилл! — восклицает Бьюкенен.

— Привет, Бык. Привет, Ушлый.

Значит, его зовут Ушлый. Он, насупившись, смотрит на закрутку, от которой почти ничего не осталось, так что ее даже и окурком не назовешь.

— Джилли, любовь моя, — говорит Бьюкенен, поднимаясь с места и выпрямляясь, так что его ляжки уперлись в край стола, — разреши тебе представить: Гарри Энгстром, он же Кролик, работает в типографии со мной и со своим папаней.

Джилл спрашивает:

— А где же его папаня? — и продолжает смотреть на Ушлого, который не поднимает на нее глаз.

— Джилли, давай садись сюда, на мое место, — говорит Бьюкенен. — А я пойду возьму стул у Руфи.

— Присаживайся, крошка, — говорит Ушлый. — А я сматываюсь.

Никто не возражает. Наверное, все, как и Кролик, рады, что он уходит.

Бьюкенен хмыкает и потирает руки. Он переглядывается со всеми, хотя Бэби вроде задремала. И обращается к Джилл:

— Как насчет выпить чего-нибудь? Лимонада? Руфи может тебе даже лимонад приготовить.

— Ничего, — говорит Джилл.

Держится как на чаепитии. Руки сложены на коленях. Худенькие плечики. Веснушки. Кролик чувствует хорошие духи. Она возбуждает его.

— Может, она хотела бы чего-то настоящего, — говорит он.

В присутствии белой женщины он чувствует, что должен взять ситуацию в свои руки. Негры — не по их вине — не имели его преимуществ. Корабли работорговцев, жалкие хижины, торги на реках, Ку-клукс-клан, Джеймс Эрл Рэй — по каналу 44 все время показывают документальные фильмы на эту тему.

— Я до этого еще не доросла, — вежливо отвечает Джилл.

— Кому до этого дело? — возражает Кролик.

— Полиции, — говорит она.

— В верхней части улицы они не обратили бы внимания, если б девушка прикинулась совершеннолетней, — поясняет Бьюкенен, — а тут вынюхивают, устраивают тарарам.

— Легавые вынюхивают, — задумчиво произносит Бэби. — Легавый пес везде сует свой нос. Легавый песий бедлам.

— Не надо, Бэби, — просит Джилл. — Не выдрючивайся.

— Разреши твоей старой черной мамочке помолоть языком, — говорит Бэби. — Разве не я забочусь о тебе?

— Ну, откуда полиция узнает, что малышка выпила? — артачится Кролик, желая поартачиться.

Бьюкенен издает короткий пронзительный свист.

— Друг Гарри, им достаточно повернуть голову.

— Тут есть полицейские?

— Дружище, — и придвигается к Гарри, создавая у того ощущение, что он обрел второго отца, — если бы здесь не было полицейских стукачей, бедняга Джимбо не продал бы и двух банок пива за вечер. По-ли-цей-ские шпики — становой хребет местной жизни. У них столько подсадных уток, что они не решаются стрелять в бунтовщиков — боятся перебить своих.

— Как в Йорке.

— Эй, — обращается Джилл к Кролику. — Ты живешь в Бруэре?

Он понимает, что ей неприятно видеть здесь белого, и только улыбается в ответ. Пошла ты, девочка.

Бьюкенен отвечает за него:

— Леди, хотите знать, живет ли он в Бруэре? Если б он по-прежнему жил в Бруэре, он стал бы ходячей рекламой. Он стал бы совой крекера «Сова». Не думаю, чтобы этот малый когда-либо забирался выше Двенадцатой улицы, верно, Гарри?

— Да нет, раза два забирался. Вообще-то я служил в армии в Техасе.

— И тебе пришлось участвовать в боях? — спрашивает Джилл. Чуть задиристо, выпустив коготки, но, может, скорее как котенок, чтобы затеять игру.

— Я вполне готов был отправиться в Корею, — говорит Кролик. — Но меня туда так и не послали.

В свое время он был благодарен за это судьбе, но потом это его грызло, стало позорным пятном на всю жизнь. Он никогда не был бойцом, но теперь в нем столько всего умерло, что в известном смысле ему хочется кого-то убить.

— А вот Ушлый, — говорит Бьюкенен, — только что вернулся из Вьетнама.

— Потому-то он такой несдержанный, — вставляет Бэби.

— Я не понял, сдержанный он или нет, — признается Кролик.

— Вот это славно, — произносит Бьюкенен.

— Он был несдержан, — говорит Бэби.

Приносят лимонад для Джилл. Она в самом деле совсем еще девчонка: радуется, когда перед ней ставят стакан, как если бы поставили пирожные во время чаепития. Так и просияла. На краешке стакана висит полумесяцем кусочек лайма; она снимает его, высасывает, и лицо ее кривится в гримасе. Детская припухлость уже исчезла, а женское лицо не успело оформиться. Она из рыжих; волосы свисают вдоль лица, тусклые, без блеска, почти одного цвета с кожей или, вернее, цвета коры некоторых мягких пород дерева — тиса или кедра. Маленькие ушки проглядывают сквозь завесу волос милыми бледными скорлупками. Гарри хочется ее защитить, но он робеет. Своей напряженностью, своей тонкокостностью она напоминает ему Нельсона. Он спрашивает:

— Что ты делаешь в жизни, Джилл?

— Ничего особенного, — говорит она. — Болтаюсь.

Не надо было так напрямую ее спрашивать, проявлять настырность. Черные, словно тени, окружают ее.

— Джилли — заблудшая душа, — объявляет Бэби, на секунду вынырнув из своего дурмана. — Пошла по кривой дорожке.

И похлопывает Кролика по руке, как бы говоря: «Смотри, не ступай на эту дорожку».

— Крошка Джилл, — поясняет Бьюкенен, — убежала из своего дома в Коннектикуте.

Кролик спрашивает ее:

— Зачем ты это сделала?

— А что тут плохого? «Поем, поем свободу!»[[28]](#footnote-28)

— Могу я спросить, сколько тебе лет?

— Спросить можешь.

— Так вот я спрашиваю.

А Бэби, не выпуская руки Кролика, поглаживает ногтем указательного пальца волоски на тыльной стороне. У него начинают ныть зубы от этого ее поглаживания.

— Столько, что ты мог бы быть ее отцом, — говорит Бэби.

Кролик начинает понимать, к чему все клонится. Они задают ему задачу. Он должен выступить этаким белым советчиком. И девчонка — хоть и против воли — идет на интервью. Она спрашивает его, в известной мере увиливая от ответа:

— А сколько тебе лет?

— Тридцать шесть.

— В таком случае раздели на два.

— Значит, восемнадцать, да? И как давно ты в бегах? Живешь вдали от родителей?

— Ее папаня умер, — тихо вставляет Бьюкенен.

— Достаточно давно, благодарю за внимание.

На побледневшей коже резко проступают веснушки — капельки крови, высохшие и побуревшие. Сухие губки поджимаются, подбородок выдвигается. Она дает понять о своем происхождении. Он — из Пенн-Вилласа, она — из Пенн-Парка. От богатых детей одно горе.

— Достаточно давно для чего?

— Достаточно давно, чтобы нахвататься чего надо и не надо.

— Ты что, больна?

— Уже выздоровела.

Бьюкенен снова влезает:

— Бэби помогла ей выкарабкаться.

— Бэби — чудесная женщина, — говорит Джилл. — Я была в полном раздрае, когда Бэби взяла меня к себе.

— Джилли — моя радость, — говорит Бэби так же неожиданно, как, играя на рояле, переходила с одной мелодии на другую. — Джилли — моя маленькая любимица, а я — ее любимая мама.

И, оставив в покое Гарри, она обхватывает своими шоколадными руками девушку за талию и прижимает к своему красному, как петушиный гребешок, платью, — две женщины, только одна как слива, а другая — как молочай. От удовольствия Джилл выпячивает губки. У нее прелестный ротик, когда губы в движении, думает Кролик, — нижняя губа вздутая и сухая, словно бы треснутая, хотя на дворе сейчас не зима, а влажное жаркое лето.

Бьюкенен продолжает пояснять:

— Факт остается фактом — девочке некуда идти. Пару недель назад является она сюда, думаю, не зная, что это место главным образом для наших; такая хорошенькая девчушка если свяжется кой с кем из братишек — они же раздерут ее на части, по рукам и по ногам... — Не выдержав, он хмыкает. — Ну и Бэби взяла ее под свое крыло. Беда только в том, — толстяк придвигается ближе, от чего в кабине сразу становится тесно, — места у Бэби маловато, да и вообще...

Девчонка вспыхивает:

— Да и вообще мне не рады.

Глаза ее расширяются — Кролик до сих пор не успел заметить, какого они цвета: они были затенены ресницами и медленно передвигались, словно розовые веки саднило или словно, отбросив все правила и придумав собственный способ жить, Джилл утратила представление о том, на что надо смотреть. А глаза у нее зеленые. Сухого, усталого зеленого цвета, но это любимый цвет Кролика — цвет августовской травы.

— Джилли, любовь моя, — говорит Бэби, обнимая девочку. — Я же рада тебе, маленькая белая крошка, как никому на свете.

— Ты же знаешь, — все тише и тише говорит Бьюкенен, обращаясь только к Кролику, — такое, как в Йорке, сплошь и рядом случается, значит, и здесь может произойти, и как нам защитить... — Легкое движение руки в сторону девушки изящно обрывает фразу — это напоминает Гарри жесты Ставроса. Хмыкнув, Бьюкенен заканчивает: — Нас хватает только на то, чтобы уберечь собственную шкуру. Где бы тебя ни поймали, черный всегда вытащит плохой билет!

— Со мной все будет в порядке, — обрывает его Джилл. — Вы оба прекратите кудахтать. Прекратите сплавлять меня этому зануде. Мне он не нужен. И я не нужна ему. Никому я не нужна. Ну и порядок. Мне тоже никто не нужен.

— Кто-то нужен, кто-то нужен и тебе, и мне, — нараспев говорит Бэби. — Я-то не возражаю, что ты делишь со мной жилье, а вот некоторые джентльмены возражают, только и всего.

— Бьюкенен возражает, — уточняет Кролик.

Его догадливость всех удивляет: оба черных сначала взвизгивают, потом разражаются звонким смехом, а на столе появляется еще один «Кусачий», светлый, как лимонад.

— Солнышко, беда в том, что мы на виду, — грустно добавляет Бэби. — А с тобой мы становимся более заметными.

Воцаряется молчание, как бывает, когда группа взрослых дожидается, чтобы ребенок проявил вежливость. Неожиданно Джилл спрашивает Кролика:

— А ты что делаешь в жизни?

— Набираю тексты, — говорит ей Кролик. — Смотрю телек. Сижу.

— Гарри на днях пережил сильный шок, — объясняет Бьюкенен. — Его жена без всякого повода взбрыкнула и ушла.

— Так уж без всякого повода? — спрашивает Джилл. И с видом оскорбленного достоинства воинственно выпячивает губы, но искорка пробудившегося интереса умирает, прежде чем она успевает договорить.

Кролик обдумывает ее вопрос.

— По-моему, я ей наскучил. А кроме того, у нас не совпадают взгляды на политику.

— По поводу чего?

— Войны во Вьетнаме. Я целиком за.

Джилл судорожно заглатывает воздух.

— Я так и знала, — говорит Бэби, — мне сразу же не понравились его костяшки.

Бьюкенен пытается сгладить ситуацию:

— У нас в типографии все за войну. Мы считаем, если их там не сдержать, все эти черные пижамы окажутся на наших улицах.

Джилл без всякой подначки говорит Кролику:

— Ты поговорил бы об этом с Ушлым. По его словам, этот бросок туда — просто фантастика. Ему страшно понравилось.

— Я не могу судить. Я ведь не говорю, что приятно там сражаться или попасть в плен. Мне просто не нравится, когда ребята начинают критиковать. Вот говорят: там неразбериха, поэтому надо оттуда убираться. Но если шарахаться от всякой неразберихи, никогда ничего не добьешься.

— Аминь, — возвещает Бэби. — Жизнь вообще дерьмо.

Кролик, чувствуя, что начинает разъяряться, продолжает:

— Я, пожалуй, не слишком верю выпускникам колледжей или вьетконговцам. По-моему, нет у них ответов. Я считаю, что они составляют меньшинство, которое пытается развалить все, что срабатывает не до конца. Не до конца — это хуже, чем до конца, но лучше, чем ничего.

Бьюкенен отчаянно бьется, чтобы сгладить ситуацию. На верхней его губе, под ниточкой усов, вздуваются капельки пота.

— Я согласен на девяносто девять процентов. Мне нравится такое словосочетание — просвещенный эгоизм. И я так понимаю, что просвещенный эгоизм скорей всего здесь и срабатывает. Не люблю я заранее раскрывать рот на каравай, кто бы его ни резал. Эта молодежь вроде Ушлого говорит: «Вся власть народу», а ты смотришь вокруг, и никакого народа не видишь — только одни они.

— А все потому, что у вас столько таких, как ты, Томов[[29]](#footnote-29), — говорит Джилл.

Бьюкенен моргает. Голос его становится хриплым, обиженным.

— Никакой я не Том, девонька. Такие разговоры делу не помогут. Я просто человек, который пытается от пункта А дойти до пункта Б, от колыбели до могилы, и при этом причинив как можно меньше вреда людям. Гарри ответит тебе так же, если ты его спросишь. И твой папаня, упокой Господь его душу, тоже.

— А мне нравится задор Джилли, — произносит Бэби, обнимая упорно не откликающуюся на ее ласки девушку. — Она куда меньше боится жизни, чем ты, старый вонючий толстяк, который сидит здесь и обсасывает себя, словно кончик сигары.

Но, произнося это, она не сводит глаз с Бьюкенена, точно хочет залучить его в сообщники. Мамы и папы — куда ни сунься, везде они.

А Бьюкенен сообщает Джилл приятным, спокойным тоном:

— Проблема, значит, вот в чем. Молодой мужчина по имени Гарри живет в шикарном большом доме в одной из наиболее шикарных частей Западного Бруэра совсем один, безо всякой бабешки.

— Ну, не совсем один, — возражает Гарри. — Я живу с сыном.

— Мужчина должен иметь бабешку, — твердит свое Бьюкенен.

— Поиграй, Бэби! — кричит чей-то голос из затененной кабины.

Руфи тут же вскидывает голову и включает голубой прожектор. Бэби вздыхает и протягивает Джилл то, что осталось от косяка Ушлого. Джилл отрицательно трясет головой и выходит из кабинки, чтобы выпустить Бэби. У Кролика возникает мысль, что девушка собралась уходить, и, когда она снова садится напротив него, он обнаруживает, что обрадовался. Он потягивает свой «Кусачий» коктейль, а она жует лед из лимонада, слушая, как играет Бэби. На этот раз парни в бильярдной тихо продолжают игру. Постукиванье шаров, и алкоголь, и музыка смешиваются, нутро Кролика расширяется, и вот он уже способен вобрать в себя и голубой свет, и эти черные лица, и «Розу жимолости», и застоявшийся запах сладкого, слаще, чем люцерна, дыма, и это видение напротив него — девушку с какими-то прозрачными руками, словно принадлежащими существу особой породы; ей еще взрослеть и взрослеть. Однако женственность уже при ней — она, как маленький цеппелин, отделяется от нее и медленно плывет. Кролик так и видит его. И нутро Кролика еще больше расширяется, вбирая в себя весь мир за пределами «Уголка Джимбо» — эту Землю с то и дело вспыхивающими войнами и с населяющими ее разноцветными расами, с ее континентами, по форме напоминающими пятна сырости на потолке, с ее гравитационными нитями, протянутыми к каждой звезде во Вселенной, с ее завораживающей красотой при взгляде оттуда, из космоса, когда она кажется голубым драгоценным камнем, просвечивающим сквозь вихры облаков; все на ней теплое, влажное, ждущее рождения, — все, кроме него и его дома, где царит странная сушь, сушь и холод, и он крутится в вакууме Пенн-Вилласа, как отработавшая и уже никому не нужная ступень космического корабля. Кролику не хочется туда идти, а надо. Надо.

— Надо идти, — говорит он, вставая.

— Постой, постой, — протестует Бьюкенен. — Вечер ведь еще, считай, не начался.

— Я должен быть дома, на случай если мой парень поцапается с приятелем, у которого он сейчас. И потом я обещал навестить завтра родителей, если маму не задержат в больнице для какого-нибудь еще нового обследования.

— Бэби огорчится, если ты улизнешь. Она к тебе явно прикипела.

— Может, тот парень, к которому она раньше прикипела, вернется. Мне кажется, Бэби легко прикипает.

— Не надо вредничать.

— Нет, Бог ты мой, она же мне нравится. Скажи ей об этом. Она классно играет. Мне такая встряска только на пользу.

Он пытается подняться на ноги, но край стола вынуждает его согнуться. Кабинка наклоняется, и его слегка пошатывает, словно он уже вошел в медленно вращающийся холодный дом, куда ему предстоит держать путь.

Джилл поднимается вместе с ним, покорно, повторяя, точно в зеркале, его движения.

— Когда-нибудь, — говорит где-то внизу Бьюкенен, — ты, возможно, узнаешь Бэби получше. Она человек что надо.

— Не сомневаюсь. — И говорит Джилл: — Садись.

— А разве ты меня с собой не возьмешь? Они хотят, чтоб ты взял.

— Хм, вообще-то не собирался.

Она садится.

— Дружище Гарри, ты обидел девушку. У тебя в роду никого не было по фамилии Вредина?

— Обо мне не беспокойся, — говорит Джилл, — я на таких зануд не реагирую. Да к тому же я решила, что он гомик.

— Может, и так, — говорит Бьюкенен. — Тогда хоть понятно насчет жены.

— Да хватит вам, выпустите меня. Я б хотел взять ее с собой...

— Так и бери, дружище. Угощаю.

Бэби играет «Иногда»: «Я говорю себе тогда...»

Гарри оседает как опара. Край стола впился ему в ляжки.

— О'кей, малышка. Поехали.

— Всю жизнь мечтала.

— Тебе со мной будет скучно, — считает необходимым добавить он, желая быть с ней честным.

— Тебя же использовали, — отвечает она честностью на честность.

— Вот что, Джилли, будь подобрее с джентльменом. — И Бьюкенен поспешно вылезает из кабинки, пока комбинация не рассыпалась, и выпускает Гарри, а тот, выбравшись, приваливается к нему. Бог ты мой! Он с трудом дышит — такая боль в затекшем теле, словно его иголками колют. — Дело в том, — поясняет Бьюкенен в последний раз за этот вечер, — нехорошо это, что она сидит тут, несовершеннолетняя, и все такое. Легавые нынче — не сказать чтоб совсем уж озверели, но дальше черты не пускают — считаются с общественным мнением. Так что все мы под колпаком. А ей, бедняжке, нужен папка — только и всего.

Кролик спрашивает:

— От чего умер твой отец?

— От сердца, — говорит Джилл. — Упал замертво в фойе нью-йоркского театра. Они с мамой смотрели «Волосы»[[30]](#footnote-30).

— О'кей, давай двигаться, — говорит Кролик и спрашивает Бьюкенена: — Сколько с меня за выпивку? Ух ты, что-то меня здорово развезло.

— Угощаем, — звучит ответ, сопровождаемый мановением ладони цвета пасты для чистки серебра. — От всего нашего сообщества черных. — Он хрипит и хмыкает. Стараясь держаться торжественного тона, произносит: — Ты поступаешь благородно, друг. Ты настоящий человек.

— Увидимся в понедельник на работе.

— Джилл, любовь моя, будь умницей. Мы тебя не бросим.

— Само собой.

Как-то неспокойно при мысли, что Бьюкенен работает. Все мы работаем. И днем и ночью. Днем одна наша сущность, ночью другая. Брюхо требует пищи, душа требует пищи. Рты жуют, влагалища заглатывают. Чудовищно. Душа. Ребенком Кролик пытался представить себе ее. Паразит, который сидит у тебя внутри подобно глисту. Веточка омелы, подвешенная изнутри к нашему скелету и питающаяся воздухом. Медуза, покачивающаяся между нашими легкими и печенкой. У черных все больше, крупнее. Отростки как угри. Аппетит у них разыгрывается ночью. Какой-то их особый, раздражающий обоняние запах в автобусах, их неприязнь к чистым, сухим местам, где следует быть Гарри. Мелькает мысль, не вырвет ли его сейчас. Что за отрава эти «Кусачие» коктейли, да еще в придачу к «Лунным» гамбургерам.

Бэби переключает скорость, берет шесть аккордов — словно шесть отлитых свинцовых строк падают на приемный столик — и начинает играть «Стоял там маленький отель, и был колодец там желаний».

И вот вместе с этой Джилл Кролик выходит на улицу. Направо под голубыми уличными фонарями стелется к горам Уайзер-стрит. Гостиница «Бельведер» превратилась в расплывающееся пятно, часы — реклама пива «Подсолнух» — просвечивают сзади желтыми неоновыми лепестками, в остальном большая улица тонет в полумраке. Кролик помнит, когда Уайзер с ее маркизами над входными дверями в пять кинотеатров и лесом неоновых реклам была яркой, как во время карнавала. Теперь же центр выглядит пустынным, высосанный пригородными торговыми центрами, наводненный насильниками. «МЕСТНЫЕ ХУЛИГАНЫ НАПАДАЮТ НА СТАРИКОВ», — гласит заголовок в «Вэт» за прошлую неделю. В первоначальном варианте вместо МЕСТНЫЕ стояло ЧЕРНЫЕ.

Кролик с Джилл сворачивают влево — к мосту через Скачущую Лошадь. На нем лежит налет сырости от реки. Кролик решает, что сумеет удержаться от рвоты. Никогда — даже мальчишкой — не переносил этого, а некоторые ребята, например, Ронни Гаррисон, даже любили выбросить из себя лишнее пиво или очистить желудок перед большой игрой, шутили даже, что в зубах застряла кукуруза. Кролику же нужно было все удержать в себе, даже ценой боли в животе. После вечера в «Уголке Джимбо» он еще полон ощущения, что вобрал в себя весь мир, и хочет это ощущение удержать. Воздух ночного города. Рыжина гудрона и бетона, жарившихся на солнце целый день под крышкой грузового потока, теперь, когда эта крышка снята, мгновенно заполняет пространство между очередными фарами. Свет фар освещает девушку, выхватывает ее белые ноги и тонкое платьице, когда она нерешительно останавливается у края тротуара.

Она спрашивает:

— Где твоя машина?

— У меня нет машины.

— Не может быть.

— Жена забрала ее, когда ушла от меня.

— У вас была одна на двоих?

— Да.

А она в самом деле из богатой семьи.

— А у меня есть машина.

— Где же она?

— Не знаю.

— Как же так ты не знаешь?

— Я оставляла ее на улице возле дома Бэби, недалеко от Сливовой, я не знала, что там вход в чей-то гараж, и однажды утром обнаружила, что ее увезли на штрафную стоянку.

— И ты не отправилась на поиски?

— У меня не было денег на штраф. И потом, я боюсь полиции: они могут меня вычислить. Я наверняка объявлена в розыск.

— Не проще ли тебе вернуться в Коннектикут?

— Давай не будем говорить языком передовиц, — сказала она.

— А что тебе там не нравилось?

— Одно сплошное эго. Больное притом.

— А сбежать из дому разве не эгоистично? Мать-то небось переживает.

Девчонка никак на это не реагирует — просто переходит улицу к началу моста. Кролик волей-неволей следует за ней.

— Какая это была машина?

— Белый «порше».

— Ого!

— Отец подарил ее на мой день рождения, когда мне исполнилось семнадцать.

— А мой тесть держит представительство «тойоты» в городе.

Они всякий раз доходят до такого места в разговоре, когда слишком явно просматриваемые параллели вынуждают их прекратить обмен репликами. Перейдя через улицу, они останавливаются на маленьком озерце из квадратных плиточек тротуара, где в эту эпоху автомобиля редко ступает чья-либо нога. Мост был построен в тридцатые с тротуарами, широкими балюстрадами и постаментами для фонарей из красноватого бетона; у них над головой фонарь из кованого железа с подобием бутона наверху стоит торжественный, но незажженный у входа на мост — теперь его освещают холодным фиолетовым светом люминесцентные лампы на высоких алюминиевых палках, врытых посреди тротуара. В этом свете белое платье на девчонке кажется неземным одеянием. На бронзовой дощечке вырезано чье-то имя — не прочтешь. Джилл нетерпеливо спрашивает:

— Ну, как будем дальше?

Кролик решает, что она имеет в виду — каким путем добираться. Он все еще не в себе — еще не выветрилась марихуана и «Кусачий», мысль плохо работает. Ему не приходит в голову дойти до центра Бруэра, где рыщут и дремлют такси. В темноте за границами неонового нимба, отбрасываемого «Джимбо», — густо-коричневые тени, местное хулиганье хихикает в тени дверей. Кролик говорит:

— Давай перейдем через мост — а вдруг посчастливится и подъедет автобус. Последний проходит около одиннадцати, а по субботам, может, и позже. А вообще-то, если ни один не появится, недалеко и пешком до меня дойти. Мой парнишка все время ходит, и ничего.

— Я люблю ходить пешком, — говорит она. И трогательно добавляет: — Я сильная. Не держи меня за младенца.

Балюстрада отлита в виде ряда иксов, и эти иксы не слишком быстро мелькают мимо ног Кролика. Шершавый поручень, которого он то и дело касается, теплый под рукой. Неровный, словно присыпанный каменной солью. Таких балюстрад больше не делают — такого цвета, красноватого, теплого цвета плоти, такого же, как волосы Джилл, только у нее они ближе к цвету среза кедра и взлетают в такт подпрыгивающей походке — она спешит, стараясь не отстать от Кролика.

— Куда мы так несемся?

— Ты разве не слышишь их?

Машины мчатся мимо, катя перед собой шары света. Внизу черная наковальня реки с белыми бликами катеров и лодок. Позади — топот ног, дыхание преследователей. У Кролика хватает мужества остановиться и оглянуться. Две шоколадные фигуры преследуют их. Тени их укорачиваются, и множатся, и удлиняются, и снова становятся обычными по мере того, как они мчатся под лиловыми ангелами, то ныряя в островки тени, то выныривая из них; один размахивает чем-то белым. Блестящим. У Гарри захолонуло сердце; жутко хочется помочиться. Конец моста, упирающийся в Западный Бруэр, кажется бесконечно далеким. «МЕСТНЫЙ ЖИТЕЛЬ ЗАРЕЗАН ПРИ ПОПЫТКЕ ЗАЩИТИТЬ НЕИЗВЕСТНУЮ ДЕВУШКУ». Кролик хватает ее за руку выше локтя, побуждая бежать. Кожа у нее гладкая и тонкая, но теплая, как балюстрада.

— Перестань, — задыхаясь, произносит она и вырывается.

Он оборачивается и неожиданно находит в себе то, о чем забыл, — храбрость: тело его словно покрывается твердой скорлупой, готовой к слепой встрече с угрозой, напрягается, только глаза уязвимы, остальное прикрыто броней. Убей!

Негры останавливаются под почти пурпурной луной и, испугавшись, отступают на шаг. Они молодые, с еще жидким телом. Кролик крупнее их. Белое, поблескивающее в руке одного из них, — не нож, а сумочка, расшитая жемчугом. Тот, у кого она в руке, делает неуверенный шаг вперед. При свете фонарей белки его глаз и жемчужинки на сумочке кажутся лавандовыми.

— Это ваша, леди?

— Ой, да.

— Бэби послала нас за вами.

— Ой, спасибо. Спасибо ей.

— Мы вас напугали?

— Не меня. Его.

— Угу.

— Дядя сам нас напугал.

— Прошу прощения, — вставляет Кролик. — Жутковато тут, на мосту.

— О'кей.

— О'кей.

Они закатывают глаза с розоватыми белками и, болтая лиловыми руками, начинают ритмично удаляться, оба обтянутые джинсами «Ливайс» с отстроченным швом. Они дружно хихикают, а в этот момент два гигантских трейлера проезжают по мосту в противоположных направлениях — прямоугольные махины с грохотом встречаются — воздушный хлопок — и, громыхая, они мчатся каждый в свою сторону. Мост дрожит. Молодые негры исчезли. Кролик вместе с Джилл продолжают свой путь.

Под влиянием травки, бренди и страха улица, которую Кролик так хорошо знает, кажется ему бесконечной. Никакого автобуса. В уголке глаза все время мелькает платье Джилл, пока он пытается, чувствуя, как натянута кожа и как кружат, словно туча комаров, мысли в голове, вести с ней беседу.

— Значит, твой дом в Коннектикуте.

— В таком местечке Стонингтон.

— Это недалеко от Нью-Йорка?

— Довольно близко. Папа уезжал туда в понедельник и возвращался в пятницу. Он любил кататься на яхте. Он говорил, что Стонингтон — единственный город в штате, откуда можно выйти прямо в открытый океан, а все другие стоят на берегу залива[[31]](#footnote-31).

— И ты сказала, он умер. А у моей матери — болезнь Паркинсона.

— Слушай, тебе что, обязательно нужно болтать? Почему просто не идти? Я никогда раньше не бывала в Западном Бруэре. Здесь славно.

— Что же тут славного?

— Да все. Он ничем не прославился в прошлом, как большие города. Так что он не разочаровывает. Взгляни сюда — «Бургер-мечта»! Ну, не прелесть — это золото, и пластмасса, и фиолетовый огонь внутри!

— Я здесь сегодня ужинал.

— И как кормили?

— Ужасно. Может быть, я слишком остро ощущаю вкус — надо снова начать курить. А мой парнишка очень любит это место.

— Сколько, ты говорил, ему лет?

— Тринадцать. Он маленький для своего возраста.

— Только ему это не говори.

— Угу. Я стараюсь не поддразнивать его.

— По поводу чего же ты бы его поддразнивал?

— О-о, ему скучно все, чем я в свое время увлекался. По-моему, он не получает от жизни большого удовольствия. Он совсем не играет на улице.

— Эй, а как тебя зовут?

— Гарри.

— Эй, Гарри. Не возражаешь покормить меня?

— Да, конечно, то есть я хочу сказать — не возражаю. Дома? Не знаю, что у нас там есть в леднике. То есть в холодильнике.

— Да нет, вон там, в бургер-кафе.

— О, конечно. Отлично. Извини, я думал, ты уже ела.

— Может, и ела, но я склонна не замечать такие мелкие материальные потребности. Только, по-моему, я не ела. В желудке у меня один лимонад бултыхается.

Она выбирает «Ореховый» гамбургер за 85 центов и молочный коктейль с земляникой. В мерцающем неоновом свете она мигом заглатывает гамбургер, и Кролик заказывает ей еще. Она улыбается, извиняясь. У нее мелкие, чуть вдавленные вовнутрь зубы, разделенные тонюсенькими промежутками. Симпатичные.

— Обычно я стараюсь быть выше мыслей о еде.

— Почему?

— Процесс питания — это так некрасиво. Ты не считаешь, что это один из самых некрасивых наших актов?

— Но ведь надо же есть.

— Это твоя философия, верно?

Даже при таком ярком освещении на ее лице сохраняются тени, какая-то недосказанность, оно кажется преждевременно состарившимся или еще не сформировавшимся. Покончив с едой, она вытирает пальцы, один за другим, бумажной салфеткой и решительно произносит:

— Большое спасибо.

Кролик расплачивается. Она крепко держит свою сумочку, но что там? Кредитные карточки? Планы революции?

Кролик выпил кофе, чтобы не клевать носом. Придется не спать всю ночь. Надо же поддержать честь мужчин среднего возраста. Кстати, о разноцветных расах. В армии говорили, что в Китае женщины вставляли во влагалище бритву на случай, если японцы станут их насиловать, — при одной этой мысли член у Кролика съеживается. Да наслаждайся же пешей прогулкой! Они шагают по Уайзер-стрит: витрины темные — светятся лишь огоньки сигнализации; стоянка для машин возле супермаркета «Акме» пуста, если не считать целующихся то тут, то там парочек; над входом в кинотеатр вместо препарированной рекламы «2001: Одиссея» реклама «Бойца». Удачное название, короткое, сокращать не надо. Они переходят через улицу на желтый свет — начинается Эмберли-авеню, которая затем становится проездом Эмберли, а он, в свою очередь, переходит в Виста-креснт. Пенн-Виллас, район типовых домов, погружен в темноту.

— Вот где жутковато, — говорит Джилл.

— Я думаю, это из-за того, что здесь такое ровное место, — говорит Кролик. — В том городе, где я вырос, не было двух домов, которые стояли бы на одном уровне.

— Почему-то воняет канализацией.

— М-да, канализация здесь не слишком хорошая.

Это призрачное существо, шагающее с ним рядом, словно сделало его в два раза более легким. Он взлетает по ступенькам крыльца на пружинящих коленях. Профиль у его плеча — тонкий и застывший, как на старой монете. Ключ к двери с тремя расположенными лесенкой друг над другом окошками чуть не выскакивает у него из рук, словно обладая таинственной силой. Когда Кролик щелкает выключателем в холле, ему кажется, что он увидит нечто неожиданное, а не свою старую обстановку — подделку под старинную скамью сапожника, диван и кресло, обитое материей с серебряной нитью, которые стоят напротив друг друга словно двое монументальных пьяниц, слишком нагрузившихся, чтобы подняться наверх, телевизор с темным экраном в металлической окантовке, окрашенной под дерево, сквозные полки, на которых ничего нет.

— Ну и ну, — говорит Джилл. — Да здесь в самом деле убого.

— Мы, в общем, никогда не занимались обстановкой, — оправдывается Кролик, — покупали что попало. Дженис все собиралась повесить другие занавески.

— Она была хорошей женой? — спрашивает Джилл.

В его ответе чувствуется нервозность — вопрос как бы возвращает Дженис в дом, может, она затаилась в кухне, прокралась тихонько на верхнюю площадку лестницы, прислушивается.

— Не слишком плохой. Она не отличалась хозяйственными способностями, но старалась вовсю, пока не связалась с этим малым. Одно время она много пила, но сладила с этим. У нас десять лет тому назад произошла трагедия, которая, по-моему, ее отрезвила. Меня тоже. У нас умер ребенок.

— От чего?

— Несчастный случай.

— Печально. А где мы будем спать?

— Почему бы тебе не лечь в комнате моего парнишки, наверно, он сегодня не вернется. Мальчишка, у которого он ночует, ужасно избалованный поганец, так что я сказал Нельсону, — если ему станет невмоготу, пусть возвращается домой. Может, он и звонил, да меня не было. Который сейчас час? Пивка не хочешь?

Денег у нее ни цента, а на руке часики, которые стоят по крайней мере сотню.

— Десять минут первого, — говорит Джилл. — А ты что же, не хочешь спать со мной?

— А? Тебе-то самой от этого никакой радости, верно? Спать с таким занудой!

— Ты, конечно, зануда, но ты ведь только что накормил меня.

— Пустяки. Угощает сообщество белых. Ха!

— У тебя такая милая и забавная черта — хорошего семьянина. Вечно думать, кто и насколько в тебе нуждается.

— М-да, иногда это трудно угадать. Скорей всего никто во мне не нуждается — только я не допускаю такой мысли. Отвечаю на твой вопрос: да, я, конечно, хотел бы переспать с тобой, если меня не привлекут потом за совращение несовершеннолетней.

— Ты действительно боишься закона, да?

— Я стараюсь не нарушать его, только и всего.

— Могу поклясться на Библии — у тебя есть Библия?

— Была где-то — Нельсону выдали ее в воскресной школе, когда он туда ходил. Мы на все это как-то махнули рукой. Так что просто дай мне слово.

— Даю слово — мне восемнадцать. По любому закону я — женщина. И за мной следом не явится шайка черных — никто не собирается тебя прибить или шантажировать. Давай, не робей.

— Не знаю, почему-то мне хочется плакать.

— Ты меня ужасно боишься. Давай примем вместе ванну, а там посмотрим, как пойдет.

Он смеется.

— Там уже нечего будет смотреть, как пойдет.

Но она сохраняет серьезность — серьезность маленького зверька, обнюхивающего новое логово.

— Где у тебя ванная?

— Раздевайся здесь.

Она вздрагивает от его приказного тона — подбородок выпячивается, глаза испуганно расширяются. Не одному же ему суждено испытывать тут страх. Богатая сучка назвала его гостиную убогой. Стоя на ковре, где Кролик в последний раз занимался с Дженис любовью, Джилл сбрасывает с себя одежду. Она отшвыривает в сторону сандалии и снимает через голову платье. На ней нет бюстгальтера. Ее грудки вздымаются вверх, потом опадают, на секунду уставясь на него вместо скрытых платьем глаз и вызывая у него головокружение. На ней бикини черного кружева тончайшего рисунка. Не давая ему времени вобрать ее всю в себя, Джилл большими пальцами оттягивает резинку, делает движение бедрами и перешагивает через трусики. Там, где у Дженис тугой треугольник, наползающий на внутреннюю сторону ляжек, когда она не подбривается, у Джилл тенью лежит янтарный пушок, темнеющий к центру и сходящийся в стоящую торчком гривку. Тазовые кости выдаются как скулы на лице изголодавшегося человека. Живот совсем детский, еще не знал деторождения. Груди при определенном освещении почти исчезают. Сейчас, без одежды, шея ее кажется длиннее, плавная кривая от затылка до поясницы удивляет взрослой завершенностью, то же можно сказать и про ноги, которые у бедер подбиты жирком и не теряют округлости до стопы. Лодыжки у нее не такие тонкие, как у Дженис. Но, черт возьми, она стоит голая в этой комнате — его комнате. Странное существо, уж больно доверчивое. Она нагибается, подбирая сброшенную одежду. Осторожно ступает по ковру, словно опасаясь наколоть ногу. Останавливается на расстоянии вытянутой руки от него, слегка надув губы, — на нижней корочка сухой кожи.

— А ты?

— Наверху.

Он раздевается, как всегда, в спальне, — в ванной, по другую сторону стены, застонала, запела, заплескалась вода. Кролик опускает взгляд — ничегошеньки. В ванной Джилл стоит, нагнувшись к крану, и пробует температуру воды. Кустик меж ее ягодиц. Стройная мальчишечья спина сзади кажется клином в атласное сердечко вполне женской попки. Кролику безумно хочется погладить ее, провести рукой по этой атласной симметрии, и он гладит. Кончики пальцев словно наткнулись на стекло, которого никак не ждешь встретить. А Джилл, продолжая пробовать воду, не соизволит даже обернуться или вздрогнуть от его прикосновения. Возбуждения у него как не было, так и нет, но нет и беспокойства.

Купаются они молча, невинно, в чистой воде. Они внимательны друг к другу: он намыливает и обмывает ее груди, словно их чистота требует, чтобы они стали еще чище; она, став на колени, трет ему спину, словно стремясь снять с нее годичную усталость. Она ослепляет его, набросив на голову мокрое полотенце; считает седые волосы (шесть волосинок) на его груди. И даже когда они стоят и вытирают друг друга и он, словно викинг, возвышается над ней, Кролик не может избавиться от ощущения, что они — как два луча прожектора, нацеленных в облака, как два белесых существа на телеэкране, развлекающих пустую комнату.

Джилл бросает взгляд на низ его живота.

— Я тебя совсем не завожу, нет?

— Заводишь, заводишь. Даже слишком. Просто все это еще кажется мне слишком странным. Я ведь даже не знаю твоей фамилии.

— Пендлтон.

Джилл опускается на колени на коврик в ванной и берет его пенис в рот. Кролик отшатывается, точно его укусили.

— Подожди.

Джилл недовольно поднимает глаза, взгляд ее скользит по его отнюдь не мускулистому животу — так смотрит озадаченный ребенок, который не знает ответов на последнем за день уроке, губы ее еще влажны от запретной конфетки. Кролик берет ее в охапку и ставит на ноги, как ребенка, но она гораздо больше ребенка, и подмышки у нее глубокие и колются; он целует ее в губы. Нет, это не те заветные леденцы — они не размягчаются, а только твердеют, она отворачивает худенькое личико и говорит ему в плечо:

— Я никого не могу завести. Грудей нет. Вот у моей мамы грудь классная — может, оттого вся моя и беда.

— Расскажи мне про свою беду, — говорит он и ведет ее за руку в спальню.

— О Господи, ты из этих. Душеналадчиков. Да ведь если посмотреть, ты в худшей форме, чем я: даже не реагируешь, когда перед тобой раздеваются.

— В первый раз всегда бывает трудно — надо немножко попривыкнуть к человеку. — Он погружает комнату в полутьму, и они ложатся на кровать. Она снова порывается его обнять — острые зубки, острые коленки, жаждущие с этим скорее покончить, но Кролик мягко переворачивает ее на спину и начинает круговыми движениями массировать ей груди. — Твоя беда вовсе не в этом, — ласково произносит он. — Они у тебя прелесть. — Он чувствует, как набухает внизу живота: сливки в горлышке замерзшей молочной бутылки. «ЦЕНТР ПОМОЩИ БЕГЛЯНКАМ. *Отцы заступают на дежурство в свободные вечера* ».

Расслабляясь, Джилл становится жестче — на поверхность вылезают обиды, резче обозначаются сухожилия.

— Тебе бы мою мамочку трахать — вот она хороша с мужчинами, она считает, что они всему начало и конец. Я знаю, она крутила вовсю, даже когда папа был жив.

— Ты поэтому убежала из дома?

— Ты не поверишь, если я тебе скажу.

— Так скажи.

— Парень, с которым я проводила время, пытался посадить меня на тяжелые наркотики.

— Это не так уж невероятно.

— Угу, только причина у него была бредовая. Слушай, тебе же совсем неинтересна эта муть. Ты ведь уже готов, чего ты ждешь?

— Скажи мне, какая у него была причина?

— Видишь ли, когда я улетала, я видела... ну, в общем... Бога. А у него так не получалось. Он видел обрывки старых фильмов, безо всякой связи друг с другом.

— Что же он тебе давал? Марихуану?

— Да нет, марихуана — это все равно что стакан кока-колы или что-то в этом роде. ЛСД, когда ему удавалось достать. Всякие странные таблетки. Он выкрадывал их из автомобилей «скорой помощи», а потом смешивал — посмотреть, что получится. Всем этим таблеткам есть кодовые названия — багровое сердце, куколки, еще как-то. А когда ему удавалось выкрасть шприц, он кололся — обычно даже и не знал, что колет, полное безумие. Я никогда не разрешала ему дырявить меня иглой. Я так считала: если что-то проглочу, смогу потом выбросить из себя, а вот что в вены попало, от этого уже не избавишься, так и умереть недолго. А он говорил, что в том-то и кайф. Он был совсем шизанутый, но, понимаешь, имел надо мной власть. Вот я и сбежала.

— А он не пытался тебя преследовать?

Шизанутый, поднимающийся по ступеням. Зеленые зубы, заразные иглы. У Кролика, пока он это слушал, внизу опять все скукожилось.

— Нет, какое там. Под конец, я думаю, он уже не понимал, я это или не я, — думал лишь о том, где взять очередную дозу. Кто сидит на дозе, все такие. Тоска, да и только. Ты думаешь, он с тобой говорит или занимается любовью или еще чем, и вдруг понимаешь, что он смотрит поверх твоего плеча в поисках, где бы раздобыть очередную дозу. И ты понимаешь, что ты для него — ничто. Я не нужна была ему, чтобы помочь найти Бога, да встреть он Бога на улице, он пристал бы к нему, требуя денег на пару пакетиков.

— А как он выглядел?

— О, пяти футов десяти дюймов росту, хорошо сложен, каштановые волосы до плеч — они у него лежали волной, когда он их расчесывал. Даже когда героин вытянул из него все краски, фигура у него осталась что надо. Особенно чудесной была спина с такими широкими, покатыми плечами и волнами бугорков вот тут. — Она показывает где на Кролике, а видит перед собой другого. — Он был бегуном в старших классах.

— Я имел в виду — Бог.

— Ах, Бог. Он менялся. Всякий раз выглядел иначе. Но я всегда знала, что это Он. Однажды, помню, Он походил на большую раскрытую лилию, только увеличенную в тысячу раз, такой блестящий, сверкающий конус, уходящий куда-то вниз, в бесконечную глубь. Не могу я об этом говорить.

Она перекатывается и впивается в его губы лихорадочно-страстным поцелуем. Его безответность, похоже, возбуждает ее, она встает на колени и, как енот, пьющий воду, целует его в подбородок, грудь, пупок, ниже пупка и останавливается. Это ее пощипывание губами до того неожиданно, что Кролик еле удерживается от смеха; ее пальцы на его волосатых ляжках щекочут, как ожидание прикосновения льда к коже. Ее волосы образуют навес над его животом. Он пытается ее оттолкнуть, но она не уступает — могла бы все-таки передохнуть. Потолок. Свет из гаража попадает на него, освещая пятно, куда через щель в дымоходе проник дождь. Надо потушить свет в гараже. Хотя, возможно, он убережет от воров. Эти шизанутые наркоманы готовы что угодно украсть. Интересно, как там Нельсон. Спит — мальчишка спит на спине, открыв рот, — страшноватое впечатление: кожа на костях натягивается, как у узников Бухенвальда, которых Кролик видел на фотографиях. Всегда возникает желание разбудить мальчишку, удостовериться, что он в порядке. Пропустил сегодня одиннадцатичасовые новости. Сколько человек погибло во Вьетнаме, может, снова где-то вспыхнули расовые волнения. Странный мужик Бьюкенен. Живет не по плану, а на ощупь — ведь вначале-то хотел всучить ему Бэби, но, может, так и надо жить. Дженис в постели становилась горячей, точно ее вынули из печки, а эта девчонка — холодная, девчонка из частной школы, применяющая свои дорогостоящие знания на практике. И срабатывает.

— Вот это славно, — говорит она, поглаживая во всю длину его вытянувшийся член, поблескивающий от ее слюны.

— Это ты славная, что не теряла надежды, — говорит ей Кролик.

— Мне нравится, — говорит она Кролику, — делать тебя большим и сильным.

— Зачем стараться? Я же зануда.

— Хочешь в меня войти? — спрашивает девчонка.

Но когда она ложится на спину и раздвигает ноги, ему становится грустно от такого бесстыдства и у него пропадает желание, а когда при его попытке войти она вздрагивает, член его опадает. На ее лице четче проступают провалы, и она произносит нараспев:

— Я не нравлюсь тебе.

И пока он подыскивает нужные слова, она тут же засыпает. Вот ответ на вопрос, который он не подумал ей задать: не устала ли она? Конечно, не только изголодалась, но и устала. Чувство вины распирает ему грудь, давит на яблоки глаз. Он встает, накрывает ее простыней. Ночи становятся прохладными — август идет в арьергарде отступающего солнца. Холодная луна. Потертые обои. Пемза при вспышке света. Следы ног остаются на миллиарды лет, в воздухе ни пылинки. Линолеум на кухне холодит его ноги. Кролик выключает свет в гараже и смазывает шесть соленых крекеров арахисовым маслом, делает из них три сандвича. С тех пор как ушла Дженис, они с Нельсоном покупают что хотят, вволю запасают мучное и соленое. Кролик садится в гостиной — не в кресло, обитое материей с серебряной нитью, а в старое, словно обитое коричневым мхом, которое стоит у них со времени свадьбы, и ест крекеры. Он жует и смотрит на пустой аквариум телевизионного экрана. Надо бы разбить его, эту отраву: где-то он читал, что молодежь нынче такая психованная, потому что воспитана телевизором — две минуты того, две минуты сего. Крошки от крекера застревают в волосах на его груди. Шесть седых волосков. Наверняка больше. Интересно, что Дженис делает со Ставросом такого, чего не делала с ним? Есть ведь предел возможного. Три дырки, две руки. Она счастлива? Кролик надеется, что да. Бедная дурочка, каким-то образом он не давал ей раскрыться. Пусть наступит всеобщий расцвет. Раскрытая лилия. Интересно, будет ли Христос поджидать маму, будет ли человек в ночной сорочке стоять на том конце сияющего желоба. Кролик надеется, что будет. Он вспоминает, что завтра ему идти на работу, потом вспоминает, что не надо: ведь завтра воскресенье. Воскресенье, паршивый день. Надо идти в церковь, но он не может заставить себя верить. Рут в свое время высмеивала его с его верой — в те дни он мог заставить себя что угодно сделать. Рут и ее птицеферма — интересно, как она это выносит. Кролик надеется, что выносит. Он толчком поднимается с кресла, смахивает крошки с волос на груди. Некоторые, падая, застревают ниже. Интересно, почему волосы там такие кудрявые, тугие, пружинистые, — если б все люди брились, как монахини и те, что носят парики, волосами можно было бы набивать матрасы. При воспоминании о той, что лежит нагая в его постели наверху, на сердце Кролика словно ложится серебряный брус. Он совсем забыл, что она теперь у него на руках. Это его «плохие костяшки». Бедная малышка просыпается и снова пытается заняться с ним любовью — он получает французский поцелуй, и она снова засыпает. День работы за день постоя. Этика пуритан. Он мастурбирует, вызывая в памяти образ Пегги Фоснахт. Что подумает Нельсон?

Джилл просыпается поздно. Без четверти десять. Кролик споласкивает под краном свою мисочку из-под каши и кружку из-под кофе, когда у затянутой сеткой кухонной двери появляется Нельсон, раскрасневшийся от быстрой езды на велосипеде.

— Эй, пап!

— Ш-ш-ш.

— Что такое?

— От твоих криков у меня голова болит.

— Ты что, напился вчера?

— Что это за разговор! Я никогда не напиваюсь.

— Миссис Фоснахт плакала после того, как ты уехал.

— Наверно, вы с Билли здорово ее довели.

— Она сказала, что ты поехал на встречу с кем-то в Бруэре.

Не следовало ей говорить мальчишкам такие вещи. Эти дамочки-разведенки превращают сыновей в малолетних мужей — плачут, испражняются и меняют «тампаксы» прямо у них на глазах.

— Да, с одним малым, с которым мы вместе работаем в «Верити». Послушали одну цветную, которая играла на рояле, и я поехал домой.

— А мы засиделись после полуночи — смотрели какой-то потрясный фильм про то, как где-то, вроде в Норвегии, происходит высадка десанта на таких кораблях, которые открываются спереди...

— В Нормандии.

— Правильно. Ты там был?

— Нет, мне было столько лет, сколько тебе сейчас, когда это происходило.

— Пулеметы так строчили пулями, что видно было, как вскипает полосами вода.

— Эй, старайся не повышать голоса.

— Почему, пап? Что, мама вернулась? Да?

— Нет. Ты уже завтракал?

— Угу, она дала нам бекона с «французскими» гренками. Я научился их готовить — это так просто: разбиваешь яйца, берешь хлеб и поджариваешь, я тебе как-нибудь приготовлю.

— Спасибо. Бабуля Энгстром когда-то готовила.

— А я терпеть не могу ее стряпню. Все такое жирное. Тебе ведь тоже не нравилась ее стряпня, да, пап?

— Я любил, как она готовила. Никакой другой стряпни я не знал.

— Билли Фоснахт говорит, она умирает, правда?

— Она больна. Но болезнь течет медленно. Ты же видел бабулю. Ей может стать лучше. Все время ведь изобретают что-то новое.

— Надеюсь, она все-таки умрет, пап.

— Неправда, ты так не думаешь. Не надо так говорить.

— А миссис Фоснахт говорит Билли, что надо выкладывать все, что ты чувствуешь.

— Уверен, она ему еще не такой ерунды наговорит.

— Почему «ерунды»? По-моему, она славная, когда привыкнешь к ее глазам. Разве она тебе не нравится, пап? Она считает, что не нравится.

— Да нравится, нравится. Пегги о'кей. Какие у тебя планы? Когда ты в последний раз ходил в воскресную школу?

Мальчишка обходит вокруг отца и встает перед ним.

— Я примчался домой не просто так. Мистер Фоснахт берет Билли на реку удить рыбу с лодки одного знакомого, и Билли спросил, не хочу ли я поехать с ними, и я сказал, что должен спросить у тебя разрешение. Можно, пап? И мне все равно надо было заскочить домой, чтоб взять плавки и надеть чистые штаны, а то этот чертов мини-мотоцикл мои перепачкал.

Кролик чувствует, что ему не хватает слов.

— Я не знал, что в реке водится рыба, — мямлит он.

— Олли говорит, ее вычистили. Во всяком случае, выше Бруэра. Он говорит, в нее запустили форель около острова Ленджела.

Значит, уже появился Олли?

— Но это не один час езды отсюда. И ты никогда не занимался рыбной ловлей. Помнишь, как тебе было скучно на бейсбольном матче, на который мы тебя взяли?

— Потому что игра была скучная, пап. И мы-то ведь не играли. А тут что-то делаешь сам. А, пап? Ладно? Мне надо только взять плавки, и я сказал, что буду у них к половине одиннадцатого.

Мальчишка уже у лестницы — останови его!

— А что мне целый день делать, если ты уедешь? — взывает к нему Кролик.

— Можешь поехать к бабуле. Ей даже приятнее будет видеть тебя.

Мальчишка считает, что получил разрешение, и топает наверх. На площадке раздается его отчаянный крик, от которого у отца холодеет все внутри. Кролик бросается к лестнице, готовясь подхватить падающего Нельсона. Но мальчишка, насмерть перепуганный, останавливается на предпоследней ступеньке.

— Пап, на твоей кровати что-то шевелится!

— На моей кровати?

— Я заглянул туда и увидел!

— Может, это вентилятор кондиционера колышет простыни.

— Пап! — Мертвенная бледность постепенно исчезает с лица мальчишки по мере того, как проходит ужас и он начинает что-то соображать. — Я видел длинные волосы, плечо и руку. Ты не позвонишь в полицию?

— Нет, не будем тревожить бедных старых полицейских — сегодня ведь воскресенье. Все нормально, Нельсон. Я знаю, кто это.

— Знаешь?

Глаза мальчишки в порядке самозащиты глубже уходят в орбиты, а мозг его срочно перебирает все, что ему известно о длинноволосых существах в постели. Он пытается как-то связать эти полуизвестные факты с фигурой отца — большой и загадочной, — который стоит в майке перед ним.

— Это девушка, сбежавшая из дома, и вчера вечером я некоторым образом оказался втянутым в ее судьбу, — пытается дать объяснение отец.

— Она что, будет жить тут?

— Нет, если ты не хочешь, чтобы я тут жила, — звучит сверху голос Джилл. Она спускается с лестницы, закутанная в простыню. После сна она стала менее эфемерной, глаза — как трава, освеженная дождем. Она говорит Нельсону: — Я — Джилл, а ты — Нельсон. Твой отец только о тебе и говорит.

Она подходит к нему — простыня делает ее похожей на маленького римского сенатора, волосы подобраны сзади, лоб блестит. А Нельсон стоит, не сдвигаясь с места. Кролик с удивлением обнаруживает, что они почти одного роста.

— Здрасьте, — произносит мальчишка. — Правда говорит?

— Конечно, правда, — говорит Джилл и, выдавая свою принадлежность к определенному слою общества, как бы входит в роль собственной матери, которая ведет вежливую беседу в незнакомом доме, нахваливая вазы, занавеси. — Он все время о тебе думает. Тебе очень повезло, что у тебя такой заботливый отец.

Мальчишка смотрит, раскрыв рот. Рождественское утро. Он еще не знает, что ему подарили, но, даже не развернув, уже хочет, чтоб ему это понравилось.

Плотнее закутавшись в простыню, Джилл ведет их на кухню, таща Нельсона на поводке своего голоса:

— Какой ты счастливый: поедешь кататься на лодке. Дома у нас был двадцатидвухфутовый шлюп.

— А что это — шлюп?

— Это одномачтовая яхта.

— А есть яхты, у которых больше мачт?

— Конечно. Шхуны и ялы. У шхуны большая мачта в задней части, а у яла — в передней. У нас был одно время ял, но с ним слишком много возни — нужен второй мужчина.

— И ты плавала на яхте?

— Все лето до октября. И не только плавала. Весной нам всем приходилось ее драить, конопатить, и смолить, и красить. Мне это больше всего нравилось — мы все работали вместе, мои родители, и я, и мои братья.

— А сколько у тебя братьев?

— Трое. Среднему примерно столько лет, сколько тебе. Тринадцать?

Нельсон кивает:

— Почти.

— Я больше всех его любила. И люблю.

На улице хрипло вскрикивает внезапно потревоженная птица. Увидела кошку? Урчит мурлыка-холодильник.

— А у меня была сестренка, только она умерла, — вдруг произносит Нельсон.

— Как ее звали?

Отец Нельсона отвечает вместо него:

— Ребекка.

Но Джилл по-прежнему не смотрит на него, вперив взгляд в мальчишку.

— Можно мне позавтракать, Нельсон?

— Конечно.

— Я не хочу оставить тебя без твоих любимых хлопьев или еще чего-то, что ты обычно ешь на завтрак.

— Не волнуйся. Я покажу тебе, где все у нас лежит. «Рисовым хрустикам» уже тысяча лет, и они на вкус как промокашка. «Изюминки» и «Буковки» вполне съедобные, мы купили их на этой неделе в «Акме».

— А кто делает покупки — ты или твой отец?

— Э-э, мы вместе. Я иногда встречаю его с работы на Сосновой.

— А когда ты видишься с матерью?

— Да часто. Иногда провожу субботу и воскресенье в квартире Чарли Ставроса. У него в комоде лежит настоящий револьвер. Нет, все нормально: у него есть разрешение. В этот уик-энд я не могу быть с ними, потому что они уехали на Побережье.

— Какое?

От восторга, что она такая непонятливая, уголки губ у Нельсона поползли вверх.

— В Нью-Джерси. Все ведь называют это просто Побережьем. Мы раньше иногда ездили в Уайлдвуд, но папа так ненавидит пробки на дорогах.

— Вот по чему я скучаю, — говорит Джилл, — так это по запаху моря. Я выросла в городе, который стоит на косе — с трех сторон море.

— Слушай, поджарить тебе «французских» гренок? Я как раз научился их готовить.

Наверное, зависть заставляет Кролика терять терпение: его сын, этакий тощий юнец, уже берет инициативу в свои руки и проявляет сметку, а Джилл, завернутая в простыню, выглядит как карикатура на Правосудие или Свободу. Кролик выходит из дома за воскресным номером «Триумфа», садится на ступеньках крыльца почитать на солнышке страничку комиксов, но покоя не дает мошкара, и он возвращается в гостиную и читает наобум все подряд: про египтян, про филадельфийскую бейсбольную команду, про Онассисов. Из кухни доносится шипение, хохоток и перешептывание. Кролик просматривает раздел садоводства («Не презирайте скромный золотарник, щавель и пижму, которые в изобилии произрастают на полях и возле дорог в эти августовские дни: если их умело высушить и аранжировать, получатся прелестные букеты, которые скрасят вам зимние месяцы — а зима не за горами»), когда мальчишка входит с молоком на так называемых усах и, выпучив глаза, настырно, с необычной энергией спрашивает:

— Эй, пап, а может она поехать с нами покататься? Я позвонил Билли, и он сказал, отец его не против, только мы должны поспешить.

— А может, я против.

— Пап, ну что ты! Не надо так.

И Гарри читает на умоляющем лице сына: «Она может услышать. Она ведь такая одинокая. Надо быть с ней подобрее, надо быть добрее с бедными — слабыми — с черными. Нынче в моде любовь».

Понедельник. Кролик набирает первую полосу «Вэт»:

ШЕСТИДЕСЯТИСЕМИЛЕТНЮЮ ВДОВУ ИЗНАСИЛОВАЛИ И ОГРАБИЛИ

Задержаны трое черных парней

Как стало известно, в субботу наряд полиции задержал для допроса двух черных несовершеннолетних, а также Уэнделла Филлипса, 19, со Сливовой улицы, дом 42-В, в связи с жестоким нападением в четверг поздно вечером на неизвестную трррр бррр нападением в четверг поздно вечером на неизвестную пожилую белую женщину.

Это бессмысленное преступление, последнее в ряду аналогичных происшествий в Третьем участке, побудило обитателей этого района создать комитет протеста, который в пятницу явился на заседание Городского совета.

Никто не чувствует себя в безопасности

«В улицах больше никто не чувст «На улицах больше никто не чувствует себя в безопасности», — заявил представитель комитета Бернард Фогель репортерам «Вэт».

«Никто не чувствует себя в безопасности даже в собственном доме».

Несмотря на грохот машин, Гарри чувствует, как кто-то хлопает его по плечу, и оборачивается. Это Пайясек — вид у него обеспокоенный.

— Энгстром, к телефону.

— Кой черт, кто там еще? — Кролик считает необходимым это сказать как бы в оправдание за то, что ему звонят в рабочее время.

— Какая-то женщина, — говорит Пайясек недовольным тоном.

Кто же это? Джилл (вчера ночью, щекоча его живот мокрыми после поездки по реке волосами, она сумела заставить его кончить) попала в беду. Ее похитили, забрала полиция, черные. Или это звонит Пегги Фоснахт, чтобы предложить снова поужинать. Или матери стало хуже, и она из последних сил набрала его номер. Кролика не удивляет то, что она, если это она, захотела поговорить с ним, а не с отцом — он никогда не сомневался, что она его больше любит. Телефон стоит в кабинетике Пайясека, отделенном от остального помещения тремя стенками из матового стекла, на столе, где громоздятся каталоги запчастей (эти старые линотипы — «мергенталеры» вечно ломаются) и лежит прошитый старый экземпляр.

— Алло?

— Привет, милый. Догадайся, кто звонит.

— Дженис. Ну как было на Побережье?

— Толпы народу и духотища. А как у вас?

— Неплохо.

— Я так и слышала. А еще слышала, что ты катался на моторке.

— Ага, это мальчишка придумал и попросил Олли пригласить меня. Мы прокатились вверх по реке до острова Ленджела. Рыбы наловили немного — в реку форель запустили, но, наверное, вода пока еще слишком загажена угольным шлаком. У меня так обгорел нос — не дотронуться.

— Я слышала, у вас там на моторке полно было народу.

— Человек девять. Олли ведь водит компанию с музыкантами. Мы устроили пикник у старого лагеря, близ каменоломни Стоджи — ну, ты знаешь, там, где много лет жила та ведьма. Приятели Олли захватили с собой гитары и принялись играть. Словом, неплохо получилось.

— Я слышала, ты тоже прихватил с собой гостью.

— От кого же ты это слышала?

— Пегги сказала. А ей сказал Билли. Он был так возбужден: сказал, Нельсон привел с собой девушку.

— Переплюнул мини-мотоцикл, а?

— Знаешь, Гарри, я не нахожу это забавным. Где ты подобрал эту девицу?

— Да это наша типографская плясунья. Заводит в обеденное время работяг танцами. По требованию профсоюза.

— Где, Гарри?

Ему нравится, что она, хоть и вяло, проявляет недовольство и настойчивость. Приобретает уверенность в себе, как ребенок в школе. И он признается:

— Я подцепил ее в баре.

— Так. И сколько же времени она у вас пробудет?

— Я не спрашивал. Нынешняя молодежь ничего не планирует наперед, как мы в свое время, они не боятся помереть с голоду. Слушай, мне надо возвращаться на рабочее место. Пайясек, кстати, не любит, когда нас зовут к телефону.

— Я не собираюсь превращать это в традицию. Я позвонила тебе на работу, так как не хотела, чтобы Нельсон слышал наш разговор. Гарри, ты слушаешь меня?

— Конечно, а кого же еще?

— Я не желаю, чтобы эта девица жила в моем доме. Я не желаю, чтобы Нельсон раньше времени сталкивался с такого рода вещами.

— С какого рода вещами? Ты имеешь в виду твою историю со Ставросом?

— Чарли зрелый мужчина. У него куча племянниц и племянников, так что он прекрасно понимает, как надо обращаться с Нельсоном. А эта девчонка, по слухам, похожа на зверька, ошалевшего от наркотиков.

— Это Билли так ее описал?

— Поговорив с Билли, Пегги позвонила Олли, чтобы получить более ясное представление.

— И он так описал девчонку. Ну и ну. А они ведь отлично ладили на моторке. И могу тебе сказать, девчонка выглядела куда лучше тех двух старых ворон, которых Билли привез с собой, уж можешь мне поверить.

— Гарри, ты просто ужасен. Я считаю такое развитие событий крайне нежелательным. Полагаю, я не могу контролировать то, как ты удовлетворяешь свои сексуальные потребности, но я не позволю тебе портить моего сына.

— Никто его не портит, она сумела заставить его мыть посуду — мы с тобой так и не смогли этого добиться. Она ему как сестра.

— А тебе она кто, Гарри?

Он медлит с ответом, и она повторяет заимствованным у матери колючим, насмешливым тоном:

— Гарри, тебе она кто? Маленькая женушка?

Поразмыслив, он говорит ей:

— Если ты вернешься, она уйдет.

Теперь размышляет Дженис. И наконец она произносит:

— Если я и вернусь, то лишь затем, чтобы забрать Нельсона.

— Только попытайся, — говорит Кролик и вешает трубку.

Еще некоторое время он сидит в кресле Пайясека на случай, если снова раздастся звонок. Звонок. Кролик снимает трубку.

— Да?

Дженис говорит, чуть не плача:

— Гарри, мне неприятно тебе это говорить, но, если бы ты был человеком, я бы никогда от тебя не ушла. Ты сам меня до этого довел. Я не знала, чего мне недоставало в жизни, но теперь у меня это есть, и я знаю. И я отказываюсь признавать себя целиком виноватой, право, отказываюсь.

— О'кей, никто не виноват. Будем держать связь.

— Я хочу, чтобы этой девицы не было возле моего сына.

— Но они отлично ладят, успокойся.

— Я этого так не оставлю.

— Отлично. Судья будет долго смеяться, когда услышит, какие ты сама номера откалываешь.

— По закону это ведь мой дом. Во всяком случае, половина дома.

— Скажи мне, которая половина моя, и я постараюсь держать Джилл в ней.

Дженис вешает трубку. Возможно, ей неприятно было услышать имя Джилл. На этот раз Кролик, не дожидаясь очередного звонка, выходит из кабинки матового стекла. Руки его дрожат от страха и возмущения в унисон с пульсирующим лязгом машин, запах его пота сливается с запахом масла и типографской краски. Кролик снова садится за свою машину и устраивает кашу из трех строчек, прежде чем ему удается выбросить разговор с Дженис из головы. Ставрос наверняка может найти ей юриста. Но Кролик не только не считает Ставроса врагом, наоборот: надеется, что тот сумеет удержать в узде эту безумную женщину, его жену. Ее тело словно породнило их, они с ним теперь вроде как братья.

Ночь за ночью Джилл прилаживается к Кролику. А он не может преодолеть страха перед тем, что пользуется ею как женщиной, и, входя в нее, он всегда вспоминает о бритвах у китаянок там, внутри, но она, начиная с той ночи после поездки на моторке, все совершенствует работу пальцев и рта, и не без успеха. Крошечные лужицы его семени появляются тогда на ее коже, и, хотя легко стираются, ему кажется, что они остаются ожогами на ее плечах, на горле, на впадине в спине, — ему видится, будто все ее стройное, гибкое тело со временем целиком покроется этими невидимыми ожогами, как у обожженного напалмом ребенка на газетных снимках. Его же, когда он со своей стороны пытается поработать руками и ртом, вежливо просят этого не делать, отталкивают, заверяют, что она уже свое получила, обслуживая его, или просто просят полежать спокойно, а сама прижимается к его ляжке и через две-три минуты, в течение которых он не слышит даже вздоха облегчения, — вежливо благодарит. Августовские ночи — парные, душные: когда они оба лежат на спине, кажется, что духота висит в каком-нибудь футе над ними. Мимо проносится, шурша гравием, машина. На той стороне реки, в миле от них, раздается пронзительное блеяние полицейской сирены — звук новый и более пугающий, чем исстари знакомый протяжный, взмывающий и опадающий вопль. Нельсон включает свет, опорожняется, спускает воду, поворачивает выключатель: щелк! — раздается в ушах. Уж не подслушивал ли парнишка под дверью? Может, подглядывал? Дыхание с легким храпом вырывается из горла Джилл. Она спит.

Возвращаясь с работы, Кролик застает ее за чтением, за шитьем, она за игрой в «Монополию» с Нельсоном. Книжки она читает странные — по йоге, по психиатрии, по дзэн-буддизму, берет их с полок магазина «Акме». Вообще она нехотя выходит из дома, даже по вечерам, — разве что за покупками. И не потому, что полиция нескольких штатов ищет ее — полиция разыскивает тысячи таких, как она, — а потому, что при свете дня улицы и дома, все то, что составляет повседневную жизнь Кролика, кажется, действуют на нее как отрава, угнетают ее. Они редко смотрят телевизор: стоит Кролику включить приемник, как Джилл выходит из комнаты, но когда она на кухне, ему иной раз удается посмотреть шестичасовые новости. Вместо этого по вечерам Джилл беседует с Нельсоном — они говорят о Боге, красоте, смысле жизни.

— В каждом человеческом творении, — говорит Джилл, — присутствует чувство, которое человек испытывал, когда его создавали. Если что-то и делалось ради денег, то оно и будет пахнуть деньгами. Все, что строители-халтурщики этих домов «сэкономили», можно увидеть невооруженным глазом. Все скупердяйство. А соборы потому такие красивые, что благородные джентльмены и дамы в бархате и горностае ничего не жалели, чтобы вознести эти камни на подобающую высоту. Возьми художника. Он стоит перед полотном с кистью, уже обмакнутой в какую-то краску. И то, что он чувствует, когда кладет эту краску на полотно, — устал он, или все ему наскучило, или он счастлив и горд, — отразится в этом мазке. Цвет не изменится, но мы сразу ощутим разницу. Это как отпечатки пальцев. Или почерк. Человек способен превращать материальное в духовное и духовное превращать в материальное.

— А зачем? — спрашивает Нельсон.

— Чтобы испытать восторг, — говорит Джилл. — Зарядить себя энергией. Восторг — прекрасное чувство. Мир таков, каким его сотворил Господь, он не пахнет деньгами, он никогда не устает, в нем не бывает чего-то слишком много или слишком мало — он всегда наполнен точно в меру. Через секунду после землетрясения камни замирают вновь. Во всем есть музыка — даже в раскатах грома и в грохоте лавин. На яхте отца я любила смотреть на звезды, и мне казалось, между ними протянуты невидимые струны, безупречно настроенные, и я чуть ли не слышу тысячи нот, какие они издают.

— Почему же мы их не слышим? — спросил Нельсон.

— Потому что наше эго делает нас глухими. Глухими и слепыми. Думая о себе, мы всякий раз заносим в глаз соринку.

— Об этом есть в Библии.

— Да, в этом смысл Его слов. Не будь нашего эго, Вселенная была бы ничем не засоренной, все животные, и камни, и пауки, и лунная порода, и звезды, и песчинки просто выполняли бы свою роль, бессознательно. Сознательно поступал бы только Бог. Подумай, Нельсон, вот о чем: материя — это зеркальное отражение духа. Но это зеркало трехмерное, оно подобно большущей комнате, бальной зале. А в ней другие крошечные зеркала, наклоненные и так и этак, искаженно отражающие свет. Поэтому для Того, Кто заглядывает туда, они кажутся просто темными пятнами, и Он не видит себя в них.

Кролик слушает ее как завороженный. Обычно она изъясняется коротко и сухо и произносит фразы как заученную декламацию, сейчас же она говорит тихо, таинственным шепотом. Они с Нельсоном сидят на полу, между ними доска «Монополии», дома, отели и деньги, — игра длится уже не один день. Ни Джилл, ни Нельсон ничем не показывают, что знают о его присутствии, о том, что он стоит над ними.

— Почему же в таком случае Он не уничтожит эти пятна? — спрашивает Кролик. — Насколько я понимаю, пятна — это мы.

Джилл поднимает на него взгляд — лицо ее в этот миг становится бесстрастным, как зеркало. Помня прошлую ночь, он ожидает увидеть распухший рот — ведь тогда было такое впечатление, словно скользкий узкогорлый графин подставлен под струю из раскрученного крана.

— Я не уверена, что Он успел нас заметить, — отвечает она. — Космос столь безграничен, и мы занимаем в нем такое малое место. Столь малое и выделенное нам так недавно.

— Может, мы сами себя уничтожим, — предполагает Кролик, желая ей помочь.

Он хочет ей помочь и одновременно внести в разговор свою лепту. Учиться никогда не поздно. С Дженис и со стариком Спрингером о таком не поговоришь.

— Да, стремление к смерти существует, — соглашается Джилл.

Нельсон обращается только к ней:

— А ты веришь, что на других планетах есть жизнь? Я не верю.

— Почему, Нельсон, как это неблагородно с твоей стороны! Почему же нет?

— Не знаю, глупо, конечно, так рассуждать...

— А ты скажи.

— Я подумал, что, если есть жизнь на других планетах, они убили бы наших астронавтов, когда те вышли из своего корабля. Но их не убили, значит, никого там нет.

— Дурачок, — говорит Кролик. — До Луны-то рукой подать. А мы говорим о жизни в галактиках, удаленных от нас на миллиарды световых лет.

— Нет, по-моему, Луна — хороший пример, — говорит Джилл. — И если никто не потрудился защитить ее, это лишь доказывает, какая это малость в глазах Бога. Мили и мили серой пыли.

Нельсон говорит:

— Один знакомый парень в школе говорит, что на Луне есть люди, только они еще меньше атомов, так что даже если измельчить лунные камни, все равно их не обнаружишь. Он говорит, там есть города и все вообще у них есть. Мы их вдыхаем через нос, и они внушают нам, будто мы видим летающие тарелки. Вот что этот парень говорит.

— Я лично, — говорит Кролик, черпая свои познания из статьи, которую он набирал некоторое время тому назад для «Вэта», — надеюсь, что жизнь есть внутри Юпитера. Вы же знаете, поверхность, которая видна нам, состоит из газа. А на глубине тысяч двух миль под этой оболочкой может находиться такая химическая смесь, в которой возможно существование жизни, например, рыб.

— Такие мысли рождает в тебе страх пуританина перед тем, как бы что-то не пропадало зря, — заявляет Джилл. — Ты считаешь, что и другие планеты должны быть как-то использованы, должны быть возделаны. Почему? Возможно ведь, планеты были созданы только для того, чтобы научить людей считать до семи.

— А почему бы в таком случае просто не дать нам по семь пальцев на каждой ноге?

— У нас один мальчишка в школе, — вставляет Нельсон, — родился с лишним пальцем. Доктор его отрезал, но все равно видно, где он был.

— А потом еще астрономия, — говорит Джилл. — Без планет ночное небо было бы всегда одинаковым и мы никогда бы не догадались, что существует третье измерение.

— Какая трогательная забота со стороны Господа Бога, — говорит Кролик, — если вспомнить, что мы всего лишь пятнышки в его зеркале.

Джилл отмахивается от его замечания.

— Он все делает походя, — говорит она. — А вовсе не потому, что обязан что-то делать.

Она бывает просто блаженной. После того как Кролик сказал, что ей надо больше бывать на свежем воздухе, она вышла на улицу и, раскинув одеяло возле садового гриля, улеглась на солнышке в одних трусиках-бикини на виду у обитателей десятка других домов. Когда соседка позвонила ему с жалобами, Джилл попыталась оправдаться: «У меня же такие маленькие грудки — я считала, все примут меня за мальчишку». Затем, когда Гарри начал давать ей по тридцать долларов в неделю на покупки, она отправилась в полицию и выкупила свой «порше». Стоимость его стоянки в гараже учетверила первоначальный штраф. В графе «адрес» Джилл указала Виста-креснт — сказала, что приехала погостить летом у дяди.

— Неудобно это, — заявила она Кролику, — что у Нельсона нет машины, это даже унизительно в его возрасте. У всех в Америке есть машина, кроме тебя.

И «порше» получил прописку у обочины против дома. Машина теперь не белая, а серая от пыли, крыло со стороны пассажирского сиденья поцарапано, и один из зажимов поднимающегося верха сломан. Нельсону машина до того нравится, что он чуть не плачет от радости, когда видит ее утром. Он ее моет. Читает руководство по эксплуатации и прокручивает колеса. Всю эту неделю до начала занятий в школе стоит хорошая погода, и Джилл ездит с Нельсоном за город, в поля и горы округа Бруэр — учит парнишку водить машину.

В иные дни они возвращаются, когда Кролик уже час как дома.

— Пап, вот потрясно было. Мы ездили на эту гору, где живут ястребы, и, когда ехали вниз, Джилл разрешила мне сесть за руль, а дорога вся в крутых поворотах до самого шоссе. Ты когда-нибудь слышал, что можно тормознуть переключением скоростей?

— Я только этим и занимаюсь.

— Это когда переходишь на низшую передачу вместо того, чтобы тормозить педалью. Здорово. У «порше» Джилл пять скоростей, и можно лихо обходить повороты, потому что машина сидит так низко.

Кролик спрашивает Джилл:

— Ты уверена, что справишься, если что? Мальчишка ведь может кого-нибудь угробить. Я не хочу из-за него под суд попасть.

— Он очень смекалистый. И ответственный. Должно быть, в тебя пошел. Я оставалась на месте водителя и позволяла ему только рулить, но так, пожалуй, даже опаснее, чем посадить его за руль. И на горе действительно никого не было.

— Одни ястребы, пап. Их там, наверно, миллиард. Сидят на всех соснах и ждут, когда падет корова или кто-то что-нибудь оставит. Гадость какая.

— Ну, ястребам ведь тоже надо жить, — говорит Кролик.

— Я все время это ему твержу, — говорит Джилл. — Бог — он и в тигре, и в ягненке.

— Ага. Бог, он не прочь самого себя пожевать.

— Знаешь, кто ты? — говорит Джилл, глаза у нее зеленые, как трава на лугу, а волосы как ворох тонких янтарных нитей, растворяющихся в свете, падающем из окна, она вся во власти завладевшей ею мысли. — Ты циник.

— Просто немолодой мужчина. Бывало, мною тоже овладевала та или иная мысль. И они сменяют друг друга не потому, что появляются мысли лучшие, а потому, что старые надоедают. Через какое-то время ты понимаешь, что даже доллары и центы живут всего лишь в твоем представлении. И под конец значение имеет лишь то, что каждый день надо сбросить в унитаз несколько ядрышек. Вот это почему-то остается реальным. Если бы кто-то подошел ко мне и сказал: «Я Бог», я бы сказал: «Покажи удостоверение личности».

Джилл, пританцовывая, подходит, распаленная чем-то смешным и порочным, происшедшим за день, обнимает его касанием бабочки и, пританцовывая, движется дальше.

— Я считаю, ты — прелесть! Мы оба с Нельсоном так считаем. Мы часто об этом говорим.

— В самом деле? И это все, чем вы занимаетесь, — ничего другого не можете придумать, как говорить обо мне?

Он произносит это в шутку, хочет, чтобы она оставалась оживленной, но лицо ее застывает, а по лицу Нельсона он понимает, что задел какую-то струну. Чем-то они все же занимаются. В этой маленькой машине. Ну, особого места им не требуется, особого контакта тоже — тела-то молодые. Пробивающиеся у парня черные усики; ее янтарная грива — светлое пламя. Тела еще не обвисшие, как у него. В этом возрасте достаточно одного касания. Стеснительность, как у брата с сестрой, случайное касание рук, отраженное мокрым зеркалом над умывальником. Если она в первый же вечер предлагала ему, волосатому, немолодому, погрузневшему мужчине оральный секс, на что только она не готова пойти? Просветить парня — кому-то придется же этим заняться. А почему бы и нет? Главный вопрос в наши смутные времена: почему бы и нет?

Хотя Кролик не пытается выяснять, чем объясняется чувство вины, которое он вызвал в ней, ночью он заставляет ее принять его по-нормальному, несмотря на то что она предлагает ему рот, внутри у нее все такое узкое, что член начинает саднить. Она пугается, почувствовав, что набухание его не спадает, и тогда Кролик сажает ее на себя, надавливая на легко раздираемые атласные ляжки, она резко втягивает в себя воздух и звонким от боли и неожиданности голосом, придающим ее восклицанию восторженную интонацию, вскрикивает:

— Да ты до самой матки добрался!

Кролик пытается себе это представить. Где-то там в ней черно-розовая стенка — он понятия не имеет, где это, где-то среди почек, кишок, печени. Его красавица девчонка с серебристым телом, волосами цвета плоти и туманным нутром парит над ним, натирает до боли, всасывает его словно облако, опадает, прощает. Любовь с ней, к собственному его удивлению, вызывает неприятное чувство и сумятицу в мыслях, поэтому он быстро засыпает и, вздрогнув, просыпается, когда она встает, чтобы помыться, посмотреть, как там Нельсон, поговорить с Богом, принять таблетку или что там ей требуется, чтобы затянулась ранка, которую нанес его саднящий член. Как грустно, как странно. Мы создаем себе спутниц из воздуха и причиняем им боль, так что они восстают против нас, и так завершается цикл сотворения жизни.

Во время перерыва на кофе отец Гарри подсаживается к нему.

— Как делишки, Гарри?

— Неплохо.

— Чертовски неохота мне приставать к тебе, ты человек взрослый, у тебя свои заботы, но я был бы тебе чертовски благодарен, если б ты заглянул вечерком и потолковал со своей матерью. Злые языки приносят ей всякие сплетни про тебя и Дженис, и она бы успокоилась, если бы ты рассказал ей все как есть. Ты знаешь, Гарри, мы же не моралисты — мы с твоей матерью старались жить своим умом и воспитали по своему разумению двоих детей, которыми одарил нас Господь, но я, черт побери, прекрасно понимаю, что нынче мир стал другой, — словом, мы не моралисты, ни я, ни Мэри.

— А как вообще-то ее здоровье?

— Это еще одна проблема, Гарри. Медицина шагнула вперед, и Мэри посадили на новый чудодейственный препарат — у него еще такое название, никак не могу запомнить: «Л-допа», правильно, «Л-допа»; его, по-моему, пока еще только испытывают, но оно во многих случаях творит чудеса. Беда в том, что у него есть побочные действия, которые еще недостаточно изучены: у твоей матери это выражается в депрессии, тошнотах и отсутствии аппетита, а также в ночных кошмарах, таких кошмарах, Гарри, от которых она просыпается и будит меня, так что я слышу, как стучит у нее сердце, тум-тум, точно барабан. Представляешь, Гарри, чтоб в комнате слышно было, как бьется сердце другого человека — так же отчетливо, как чьи-то шаги, — вот что делает с Мэри эта «Л-допа». Зато говорить ей стало легче, и руки у нее уже не так трясутся. Вот и пойми, что правильно, Гарри. Иной раз думаешь: «Предоставим все Природе — пусть все идет как идет», а потом сам же и спросишь себя — что Природа, а что нет? А другое побочное явление... — И он придвигается ближе, оглядываясь по сторонам, затем опускает взгляд на бумажный стаканчик с кофе, который, выплеснувшись, обжег ему пальцы. — Не стоило бы об этом распространяться, да только уж больно смешно: так вот твоя мамаша говорит, что от нового лекарства, опять забыл, как называется, у нее начинается — как бы это сказать? — Он бросает взгляд вокруг, затем доверительно сообщает сыну: — Любовное томление. Ведь ей без малого шестьдесят пять стукнуло, и по полдня она прикована к постели, и до того распаляется, что, говорит, терпежу нет, не стану, говорит, смотреть телевизор, от рекламы только хуже хочется. Говорит, самой на себя смешно. Ну, что ты скажешь? Уж если такая порядочная женщина... Извини, я тебя совсем заговорил — все оттого, что слишком много я бываю один: Мим-то ведь на другом конце страны. А у тебя, слава Богу, своих проблем по горло.

— У меня нет никаких проблем, — говорит ему Кролик. — Сейчас жду не дождусь, когда парень пойдет в школу. Он, по-моему, утихомирился. И отчасти, между прочим, потому что я не езжу в Маунт-Джадж так часто, как следовало бы: мама-то была ведь очень строга с Нельсоном, когда он был маленький, и он все еще боится ее. Да и не хочется оставлять его одного в доме при том, сколько по всей стране происходит грабежей и нападений — бандиты приезжают на окраину и крадут все, что под руку попадет. Только сейчас я набирал заметку про одну женщину в Перли — у нее украли пылесос и сто футов шланга для поливки, пока она была наверху в ванной.

— Всё эти проклятущие черные, вот кто. — Эрл Энгстром понижает голос до хриплого шепота, хотя Бьюкенен и Фарнсуорт всегда выходят на перерыве в проулок, предпочитая компанию Буни и других пьянчуг. — Я-то всегда называл их черными, а теперь они и сами так себя называют, и меня это вполне устраивает. Не могут они работать, как белые, разве что немногие, — возьми того же Быка: до сих пор верстать не научился, а работает здесь дольше всех; вот и приходится им грабить и убивать — тем, которые не могут стать сутенерами или боксерами-профессионалами. Не могут они по-настоящему работать и никогда не смогут. Надо было нам прислушаться к совету — кого же это? — Джорджа Вашингтона, если память не изменяет, в общем, кого-то одного из отцов-основателей, и отправить их всех назад в Африку, пока еще было можно. А теперь уже и Африка их не возьмет. Пьянство, да «кадиллаки», да белые передки — ты уж меня извини — вконец их развратили. Это отбросы человечества, Гарри. Подонки из подонков — вот они какие, американские негры.

— О'кей, о'кей. — Кролику непривычно видеть отца в таком возбужденном состоянии. И он переводит разговор на самую отрезвляющую тему: — Часто она обо мне говорит? Мама.

Старик слизывает слюну с губ, вздыхает, немного сползает вниз на стуле, опускает взгляд на свой остывший кофе.

— Все время, Гарри, ежеминутно. Ей говорят про тебя разную чепуху, и она распаляется против Спрингеров, ух и достается же этой семейке, особенно женщинам. Спрингерша вроде бы говорит, что ты связался с малолеткой, потому Дженис и ушла от тебя.

— Да нет, Дженис ушла прежде. И я все время предлагаю ей вернуться.

— Ну, что бы там у вас ни произошло, я знаю, что ты стараешься поступать как надо. Я не моралист, Гарри, я знаю, что сегодняшним молодым людям приходится жить в более сложной и психологически напряженной обстановке, чем нам: люди моего возраста такого бы не выдержали. Если б в мое время была атомная бомба и приходилось волноваться из-за деток богатых родителей, которым вздумалось играть в революцию, я б, наверное, приставил ружье к башке, и пусть бы Земля вертелась дальше без меня.

— Я постараюсь приехать. Надо с ней потолковать, — говорит Кролик.

Он смотрит поверх плеча отца на настенные часы с желтым циферблатом — стрелка перескакивает на без минуты 11.10, когда кончается перерыв на кофе. Кролик знает, что во всем этом вертящемся мире только мать по-настоящему знает его. Он вспоминает, как она, лежа почти на смертном одре, коснулась его головы в знак понимания и сочувствия — как раз когда сообщили, что астронавты высадились на Луне, но он не хочет открываться ей, пока сам не поймет, что происходит внутри него, и не сумеет это защитить. Она вступила в полосу перемен — близящаяся смерть и «Л-допа», и он вступил в полосу перемен — Джилл. Девочка живет с ними уже три недели и научилась вести дом и молча смотреть на него, как бы говоря: «Да знаю я тебя», когда он начинает спорить с ней о коммунизме, или о сегодняшней молодежи, или на любую другую больную тему, которая, по его мнению, указывает на начавшееся разложение или угрозу массового безумия. Таким ироничным зеленым взглядом она начала награждать его после той ночи, когда он с болью прорвался в ее чрево и уткнулся в матку.

Отец, оказывается, понимает его ситуацию куда больше, чем полагал Кролик, — старик придвигается к нему еще ближе и говорит:

— Мне не дает покоя одна мысль, Гарри, извини, что я вмешиваюсь, но надеюсь, ты принимаешь все меры предосторожности, сам знаешь, когда замешаны несовершеннолетние — закон очень косо смотрит на это. А потом говорят, все эти хиппи грязные, как куницы, — того и гляди чего-нибудь подцепишь. — И старик умолкает: раздается звонок, извещающий об окончании перерыва.

Кролик в накрахмаленной белой рубашке, которую он надевает, уходя с работы, открывает входную дверь своего яблочно-зеленого дома, и до него доносятся сверху звуки гитары. Кто-то медленно перебирает струны, и два высоких тонких голоска выводят мелодию. Он поднимается наверх. Джилл и Нельсон сидят в комнате сына на кровати, Джилл — спиной опершись на подушки, скрестив подобранные ноги под себя, так что виден треугольник ее черных кружевных трусиков. На ее ляжках лежит гитара. Кролик никогда раньше не видел в доме гитары — она выглядит совсем новенькой. Светлое дерево блестит, как женское тело, смазанное лосьоном после ванны. Нельсон сидит рядом с Джилл в эластичных трусах-шортах и майке и тянет шею, стараясь разглядеть ноты, лежащие на одеяле возле ее щиколоток. Ноги у мальчишки свисают до полу, неожиданно длинные, мускулистые, начинающие зарастать темной порослью, как у Дженис; при этом Кролик замечает, что старые плакаты с изображением Брукса Робинсона, Орландо Сипиды и Стива Маккуина (на мотоцикле) исчезли со стен комнаты. Краска облупилась там, где они были приклеены скотчем. Джилл с Нельсоном поют «...так надо ли спу-ска-а-ться», тоненькая нить мелодии обрывается, когда Кролик входит, хотя они наверняка уже слышали его шаги на лестнице. То, что парнишка в нижнем белье, — это не страшно: Джилл вовсе не грязная, как куница, и заставляет Нельсона каждый день принимать душ к возвращению отца с работы — она установила такой порядок, наверно, потому, что ее собственный отец приезжал домой в Стонингтон только по пятницам и это воспринималось как праздник.

— Эй, пап, — говорит Нельсон, — это потрясно. Мы учимся петь дуэтом.

— А где вы взяли гитару?

— Купили на выклянченные деньги.

Джилл пинает парнишку голой ногой, но не успевает опередить его признание.

— Как же вы их клянчили? — спрашивает Кролик.

— Стояли на разных углах в Бруэре, главным образом на углу Уайзер и Седьмой, а потом перешли на Камерон — там остановилась машина с легавыми, и они начали к нам приглядываться. Вот потеха! А Джилл останавливала прохожих и говорила, что я ее брат, что наша мама умирает от рака, а отец дал деру и дома у нас еще маленький братик. Иногда она говорила — сестренка. Ну, некоторые говорили, что лучше нам тогда обратиться за пособием, но кое-кто давал доллар, и так мы наскребли двадцать долларов, а Олли обещал продать нам за такую сумму гитару, которая стоит сорок четыре доллара. И к ней дал нам еще ноты после того, как Джилл поговорила с ним с глазу на глаз.

— Ну, не душка Олли?

— Гарри, все так и было. Не делай такого лица.

Кролик говорит, обращаясь к Нельсону:

— Интересно, о чем они там шептались, а?

— Пап, мы ничего плохого не делали: ведь люди, которых мы останавливали, чувствовали потом облегчение, их не мучила совесть, что они прошли мимо чужого горя. В любом случае, пап, в обществе, где власть принадлежит народу, деньги перестанут существовать: тебе просто будут давать то, в чем ты нуждаешься.

— Черт побери, именно так ты сейчас и живешь.

— Угу, но ведь мне приходится обо всем просить, верно? Я ведь так и не получил до сих пор мини-мотоцикла.

— Вот что, Нельсон, оденься, черт возьми, и побудь у себя в комнате. Оставь нас на пару секунд.

— Если ты ее хоть пальцем тронешь, я тебя убью.

— А если ты не заткнешься, я отправлю тебя жить с мамой и Ставросом.

Кролик тщательно закрывает дверь своей спальни и дрожащим от гнева голосом тихо говорит Джилл:

— Ты делаешь из моего парня попрошайку и проститутку вроде себя.

И, выждав секунду, чтобы дать ей время для возражений, бьет ее наотмашь по худенькому, исполненному презрения лицу с поджатыми губами, зеленые глаза смотрят с таким вызовом и так потемнели, что стали цвета густой листвы, в них словно что-то колышется, целый микроскопический лес, на который он сейчас собственноручно сбросил бы бомбу. У Кролика такое ощущение, будто он ударил по пластику — пальцам больно, на душе легче не стало. Он снова бьет ее, схватывает за волосы, чтобы удержать на месте лицо, — она выгибается, стараясь увернуться, и его охватывает холодная ярость, но, ударив девчонку по шее, он отпускает ее, и она падает на кровать.

Пытаясь укрыть от него лицо, Джилл шипит — так странно слышать шипение, вырывающееся из ее рта с ровными мелкими зубками; затем звучат слова. Спокойно, высокомерно:

— Ты знаешь, почему ты распускаешь руки, — чтобы сделать мне больно, только поэтому. Тебе это доставляет удовольствие. Тебе ведь наплевать, что мы с Нельсоном попрошайничали. Не все ли равно, кто просит милостыню, а кто нет, кто крадет, а кто нет?

Ее вопрос наталкивается на пустоту, тем не менее она продолжает:

— Что дали тебе твои полицейские псы и законы — то, что ты прикован к своей грязной работе и уже ни на что не способен — даже не смог удержать собственную болванку жену?

Кролик хватает ее за руку. Запястье хрупкое. Будто из мела. Ему хочется сломать ей руку, почувствовать, как хрустнет кость; хочется потом долгие месяцы держать ее, затихшую, в объятиях, пока рука будет заживать.

— Слушай. Я своим горбом зарабатываю на жизнь, и ты живешь на те чертовы доллары, что я получаю, но если тебе охота жить прихлебалой у твоих дружков ниггеров, — пожалуйста, скатертью дорога. Убирайся. Оставь в покое меня и моего парня.

— Ах ты ублюдок! — говорит она. — Ублюдок-детоубийца.

— Смени пластинку, — говорит он. — Психопатка. Меня тошнит от вас, богатых деток, которые превращают жизнь в игру и швыряют камни в бедных тупых полисменов, охраняющих награбленное вашими папочками. Ты же в бирюльки играешь, крошка. Ты считаешь, что кого угодно проведешь, торгуя своим передком, но вот что я тебе скажу: моя никчемная дуреха жена куда лучше вихляет задом, чем ты своим передком.

— Конечно, она подставляет тебе зад — охота ей смотреть на тебя.

Он сильнее сжимает ее меловое запястье и говорит:

— В тебе нет жизни соков, девочка. Ты вся высосана, а тебе только восемнадцать. Ты все перепробовала, ты ничего не боишься и не можешь понять, почему все кажется тебе мертвечиной. Да потому, милое дитя, что все тебе подносилось на блюдечке. Черт побери, ты думаешь, что можешь переделать мир, а сама понятия не имеешь, что движет людьми. Страх. Вот что движет нами, бедолага. Ты ведь не знаешь, что такое страх, бедная крошка? Потому ты такая и мертвая.

Он сжимает ее запястье с такою силой, что представляет себе, как гнутся ее кости, будто видит их в рентгеновских лучах, и глаза ее чуть расширяются с крошечной толикой тревоги, которую он замечает лишь потому, что ожидает увидеть.

Она выдергивает руку из его пальцев и трет запястье, по-прежнему глядя ему в глаза.

— Людьми достаточно долго двигал страх, — говорит Джилл. — Не попробовать ли для разнообразия заменить его на любовь?

— В таком случае поищи себе другую Вселенную. На Луне холодно, крошка. Холодно и некрасиво. Но если тебе это не подходит, то коммунистам подходит вполне. Они не такие чертовски гордые.

— Что там за звуки?

Это за дверью плачет Нельсон, боясь войти. Так бывало, когда они ссорились с Дженис, и как раз когда они приходили к какому-то соглашению, парнишка начинал умолять их прекратить. Возможно, ему казалось, что Бекки погибла во время такой вот ссоры и что теперь настал его черед. Кролик впускает сына и поясняет:

— Мы говорили о политике.

— Папа, почему ты ни с кем не соглашаешься? — выдавливает из себя Нельсон между рыданиями.

— Потому что я люблю мою страну и терпеть не могу, когда ее оплевывают.

— Если б ты ее любил, ты бы хотел, чтобы она стала лучше, — говорит Джилл.

— Если бы она стала лучше, и мне пришлось бы стать лучше, — произносит он самым серьезным тоном, и все смеются — он последний.

Так с помощью принужденного смеха — Джилл по-прежнему массирует запястье, а у Кролика начинает болеть рука, которой он дал ей пощечину, — они пытаются восстановить мир в семье. На ужин Джилл поджаривает филе камбалы, лимонно-желтое, легкое, словно пропитанное солнцем, с подрумяненной кожицей; Нельсон разогревает себе гамбургер, предварительно посыпав его пшеничными отрубями, чтобы было похоже на ореховый гамбургер. Пшеничные отруби, кабачки-цуккини, водяные орехи, сельдерейная соль — эти и другие диковинки появились в их рационе с тех пор, как Джилл стала закупать продукты для дома. Ее стряпня отдает тем, чего у Кролика никогда не было: ужинами при свечах, плеском морской волны, всякими оздоровительными фантазиями, богатством, шиком. В семье Джилл была прислуга, и прошел не один вечер, прежде чем Джилл поняла, что грязную посуду надо мыть: сама собой она не становится чистой. Кролик по-прежнему в субботу утром пылесосит, увязывает в узлы свои рубашки и простыни для прачечной, сортирует носки и нижнее белье Нельсона и порциями стирает в стиральной машине, что стоит в подвале. Он видит то, чего не видят эти детишки: как копится пыль, надвигается упадок, подкрадывается хаос, побеждает время. Но за стряпню он готов поработать на Джилл — от случая к случаю, конечно. Ее стряпня возродила в нем вкус к жизни. У них теперь к ужину бывает вино, белое калифорнийское в полугаллоновом кувшине. И непременно салат — под салатом в округе Даймонд подразумевают родного брата квашеной капусты под жирным майонезным соусом, но у Джилл это салат-латук, приправленный тончайшей пленкой растительного масла, почти невидимой, как само здоровье. Если Дженис на десерт предлагала какие-нибудь булочки из слоеного теста, купленные в «Полбуханке», то Джилл придумывает разные разности из фруктов. А кофе ее — черный нектар, который не идет ни в какое сравнение с водянистым пойлом Дженис. Ублаготворенный Кролик неподвижно сидит за столом — он наблюдает, как убирают тарелки, и не спеша перемещается в гостиную. Когда посудомоечная машина загружена и начинает удовлетворенно пофыркивать, Джилл приходит в гостиную, садится на вытертый ковер и начинает играть на гитаре. Что она играет? «Прощай, Анджелина, небо зарделось» и еще две-три мелодии, которые удалось осилить. Она знает от силы шесть аккордов. Пальцы ее, пробегая по струнам, часто задевают и дергают свесившиеся волосы — наверно, ей больно. Голосок у нее тоненький и быстро ломается. «Всем мукам моим, о Боже, скоро придет конец», — поет она и умолкает в ожидании аплодисментов.

Нельсон аплодирует. Маленькими спрингеровскими ручками.

— Великолепно, — говорит Кролик и, размягченный вином, продолжает изливать душу, оправдываясь за свою жизнь: — Нет, серьезно. Я ведь тоже однажды предпринял попытку пойти туда, куда позвал меня «внутренний свет», и только сам изранился и всех вокруг поранил. Революция или нечто подобное — лишь один из способов осуществления идеи, что сумбур — это очень весело. Да, какое-то время весело — пока кто-то берет на себя заботу о вещах насущных. Сумбур — это роскошь, вот что я хочу сказать.

Джилл аккордами на гитаре подчеркивает окончание каждой его фразы и тем самым отчасти помогает ему, отчасти над ним подтрунивает. Кролик обращается к ней:

— Теперь ты расскажи нам что-нибудь. Расскажи про твою жизнь.

— Я жить, почитай, не жила, — говорит она и ударяет по струнам. — Ничейная дочь, ничья жена.

— Расскажи что-нибудь, — просит Нельсон.

По тому, как она смеется, показывая мелкие зубы и ямочки на худеньких щечках, они понимают, что она выполнит их просьбу.

— Так слушайте повесть о Джилл и о том, кто ее погубил, — возглашает она и дергает струну.

Такое впечатление, думает Кролик, скользя взглядом по женским формам гитары, будто звуки сидят там внутри, как голуби в голубятне, и ждут, чтобы им дали вылететь из круглого оконца.

— Милашка Джилл, — начинает Джилл, — была пригожа, семья не бедствовала тоже. У папы машина, у мамы машина, дочурка росла — ни о чем не тужила. Не знаю, как долго я смогу еще вымучивать из себя рифмы.

— Не напрягайся, — советует Кролик.

— Учили ее по методе обычной: яхты, танцы, francais[[32]](#footnote-32), — словом, как полагается девице приличной.

— Еще, Джилл, рифмуй еще! — просит Нельсон.

— В четырнадцать она созрела, но нет, не стала королевой. Ее знакомство с мальчиками ограничивалось теми, которые в теннис играли и чьих родителей ее родители на ужин приглашали. Что ее устраивало безмерно, ибо, глядя, как ее родители треплют языком, и наживаются, и швыряют деньгами, и надираются, она, словом, не спешила стать старой, и толстой, и современной... Ух, ну и фразочка!

— По мне, так можешь больше не мучиться с рифмой, — говорит Кролик. — Пойду схожу за пивом. Кто-нибудь еще хочет?

— Я отолью у тебя, пап, — кричит ему вслед Нельсон.

— Нечего там на двоих делить. Я принесу тебе целую.

Джилл ударяет по струнам, привлекая их внимание.

— Ну, чтоб покончить со скучной историей, как-то летом... — Она тщетно пытается подобрать рифму и, ничего не придумав пока, добавляет: —...После смерти отца.

— Увы! — изрекает Кролик, на цыпочках возвращаясь с двумя банками пива.

— Она повстречала своего психофизического вожатого в лице одного многоопытного юнца.

Кролик тянет за язычок на крышке банки, стараясь открыть ее потише.

— Вожатого звали Фредди...

Кролик понимает, что банку не открыть, если не дернуть за язычок порезче, и так дергает, что пивная пена лезет из образовавшегося отверстия.

— Но вот что трогательно, это готовность, с какою навстречу Фредди порхнула юная леди. — Удар по струнам — трень! — Какое у Фредди было мускулистое бронзовое тело, а в плавках у него кое-что иногда мягчело, но чаще твердело.

— Эгей! — с энтузиазмом подбадривает ее Кролик.

— Плохо было лишь то, что красавчик юнец, если внутрь заглянуть, был давно уже мертвец. Внутри он был хуже самого дряхлого старикашки и жить не мог без травы, кислоты, винта и беляшки. — Теперь она забренчала в другом ритме, с перебивками. — Словом, пропащий малый, даром что имел жемчужные зубки, и этот-то Фредди раз ночью на пляже овладел невинным телом нашей Джилл-голубки. Ох, влюбилась она в него, — трень! — и дала себя посадить, и крыша ехала у нее, стоило этому мерзавцу позвонить. Она глотала колеса, травилась кислотой, а дальше... — И, умолкнув, уставилась на Нельсона, так что парень не выдержал и тихо спросил:

— Что?

— Он ласково предложил ей двинуться героином.

Нельсон, кажется, сейчас заплачет — глаза у него совсем проваливаются, а подбородок выпячивается. Он сейчас похож, думает Кролик, на надувшуюся девчонку. Кроме маленького прямого носа, в мальчишке ничего нет от него.

А музыка продолжает звучать.

— Бедняжка Джилл струхнула; и в школе все друзья-приятели кричали: «Опомнись, пока совсем не спятила!» Мамаше, вдовице в трауре, до дочери ли, когда возле нее трется разведенный юристик, из Уэстерли. Фредди-злодей расписывал ей, как славно им будет вдвоем лететь в небесной дали, а Джилл нужно было всего ничего — ей довольно было бы его тела, чтобы просто он был с нею рядом, а он мечтал поскорей ее двинуть — умолял ее и словами, и лаской, и взглядом.

И Кролик начинает думать, не рассказывала ли она это раньше — уж очень складно у нее получается. Да есть ли что-то, чего раньше эта девочка не испробовала?

— Она говорила: «Боюсь, я умру». — Трень, трень, светло-оранжевые волосы взлетают. — А он отвечал ей: «Боюсь? Почему?» Он говорил: наш мир сошел с ума, насквозь прогнил, а ей казалось, что мир покуда милостив к ней был. Он говорил: расизм грядет, не веришь — выгляни в окно; а что ей расизм — он единственный белый, кто хотел причинить ей зло. Он сказал: для начала под кожу, не бойся; ладно, милый, о'кей, вмажь меня, успокойся. — Трень, трень, брень. Лицо поднято к ним, она — бэнши[[33]](#footnote-33), бледная, без кровинки. И уже без музыки произносит: — Это был ад. — Трррень! — Он поддерживал ее головку, поглаживал ей попку и в ушко ей нежно шептал: не дрейфь, я спасатель-профессионал. Он спросил, показал ли он ей лик Господень, и она ответила: да, спасибо, было очень интересно, но вообще-то она не против жить чуть более скучно и пресно. И тут она поняла, что возлюбленный ее, бронзовый, белозубый, — это ее конец, и он не остановится, пока не погубит. И что же сделала Джилл, от любви и ужаса обезумев?

Тишина после очередного аккорда на гитаре.

— Что? — вырывается у Нельсона.

Джилл улыбается.

— Рванула в банк Стонингтона и сняла со счета довольно крупную сумму. Быстро впрыгнула в свой «порше» и давай давить на газ. Вот почему она здесь с вами двумя сейчас.

Отец и сын аплодируют. Джилл в награду себе делает большой глоток пива. В спальне она сохраняет артистический подъем и настроена на щедрое вознаграждение. Кролик говорит ей:

— Здорово пела. Только знаешь, что мне не понравилось?

— Что?

— Ностальгическое настроение. Ты же тоскуешь. По твоим безумствам с Фредди.

— По крайней мере, — говорит она, — я не торговала, как это ты выразился, своим передком.

— Извини, сорвался.

— Ты все еще хочешь, чтоб я уехала?

Кролик предчувствовал этот вопрос; он вешает брюки, рубашку, кладет белье в корзину с крышкой. Поднимает с пола ее платье и вешает его в ее половине стенного шкафа, а трусики кладет в ту же корзину.

— Нет. Оставайся.

— Тогда попроси.

Он поворачивается к ней — большой усталый мужчина с обрюзгшим телом, которому через восемь часов надо подниматься и идти к своему линотипу.

— Я прошу тебя остаться.

— Забери назад свои удары.

— Как же это можно сделать?

— Поцелуй мне ноги.

Он покорно опускается на колени. От досады на такую покорность, подразумевающую, что он намерен получить удовольствие, она напрягает ноги и брыкается, пальцы бьют ему в щеку, совсем близко от глаз. Он зажимает ее щиколотки и снова целует пальцы. Щиколотки у нее мясистые, почти женские. На подъеме зеленоватые вены. Сохранившийся в памяти приятный запах раздевалки. Чуть прогорклая ваниль.

— Проведи языком между пальцами, — произносит она ломающимся от застенчивости голосом. Он снова выполняет ее команду; она съезжает к краю кровати и раздвигает ноги. — А теперь тут.

Она сознает, что он получает от этого удовольствие, и все равно приказывает, чтобы лучше понять этого странного человека. Его голова с упрямо старомодной короткой стрижкой — униформой врага, спортсмена и солдата, с редеющими на макушке шелковистыми светлыми волосами — кажется каменной глыбой меж ее ног. Тепло волнения от исполнения баллады спадает, уступая место теплу, поднимающемуся в ней от его языка. Вспыхивает искра, и в пустыне, которую она устроила в своей душе, проклевывается зеленый росток.

— Чуть выше, — прерывистым, потеплевшим голосом произносит Джилл. — Быстрее.

Однажды, когда Кролик с отцом идут по Сосновой улице к бару «Феникс», чтобы пропустить по стаканчику, прежде чем сесть в автобус, их останавливает плотный, щеголевато одетый мужчина с бачками и в очках с роговой оправой:

— Эй, Энгстром!

Отец и сын останавливаются, недоуменно моргая. На улице после рабочего дня, словно попав в туннель солнечного света, они, как всегда, чувствуют себя укрытыми от посторонних глаз.

Гарри наконец узнает Ставроса. На нем костюм в мелкую черно-серую клетку на зеленоватом фоне. Он слегка похудел, стал уязвимее, и спокойствие дается ему с трудом. Возможно, он так напряжен из-за этой встречи. Гарри говорит:

— Папа, я хочу познакомить тебя с моим другом. Чарли Ставрос — Эрл Энгстром.

— Рад познакомиться с вами, Эрл.

Старик, не обращая внимания на протянутую квадратную кисть, спрашивает у Гарри:

— Это не тот Ставрос, который совратил мою золовку?

Ставрос пытается побыстрее уладить дельце.

— Совратил? Это слишком сильно сказано. Пошел ей навстречу — я бы так выразился. — Видя, что его попытка обратить все в шутку не сработала, Ставрос поворачивается к Гарри: — Можем мы минутку поговорить? Может, зайдем выпить на уголок. Извините, что помешал вам, мистер Энгстром.

— Гарри, что ты предпочитаешь? Оставить тебя наедине с этим прохвостом или отшить его?

— Да ладно тебе, пап, чего уж теперь?

— Вы, молодежь, разбирайтесь как хотите, а я стар, чтобы меняться. Я сажусь в первый же автобус. Только не дай ему заговорить тебе зубы. Тот еще, видать, пройдоха.

— Передай привет маме. Я постараюсь заглянуть в конце недели.

— Сможешь так сможешь. Она все видит сны про тебя и про Мим.

— Угу. Ты, кстати, при случае не дашь мне адрес Мим?

— У нее нет адреса, писать надо на имя какого-то агента в Лос-Анджелесе — так-то вот теперь делают. А ты хотел написать ей?

— Думал, может, открытку послать. До завтра.

— Ужасные ей снятся сны, — говорит старик и подходит к краю тротуара в ожидании автобуса 16-А, так и оставшись без пива, — его обиженный затылок напоминает Гарри Нельсона.

В «Фениксе» темно и холодно. Кролик чувствует, что сейчас чихнет. Ставрос проводит его к кабинке и, сцепив руки, кладет их на пластиковую столешницу. Волосатые руки, ласкавшие груди Дженис. Гарри спрашивает:

— Как она?

— Она? Ах да, в отличной форме.

Интересно, думает Кролик, действительно ли это так? Кончик языка у него застывает на нёбе — он не может придумать, как бы поделикатнее спросить. Он говорит:

— Днем у них тут нет официантки. Я пойду возьму себе дайкири, а тебе что взять?

— Просто содовой, и побольше льда.

— Ничего горячительного?

— Не употребляю. — Ставрос прочищает горло и приглаживает волосы над бачками твердой, как дощечка, рукой, которая тем не менее дрожит. — Медики сказали — ни-ни, — поясняет он.

Вернувшись с напитками, Кролик спрашивает:

— Ты болен?

Ставрос говорит:

— Ничего нового — мотор барахлит. Дженис, наверно, говорила тебе, что у меня с детства шумы в сердце.

Как он себе это представляет — что он поверит, будто они с Дженис судили-рядили о нем, как о своем любимом сыночке? Гарри помнит, как Дженис кричала, что Ставрос не может жениться, ожидая, видимо, что он, Гарри, ее муж, посочувствует. И как ни странно, он посочувствовал.

— Она что-то об этом упоминала.

— Последствия ревматизма. Слава Богу, сейчас с этим научились справляться, а я в детстве подхватывал всякую заразу. — Ставрос пожимает плечами. — Теперь же мне говорят, что я проживу до ста лет, если буду заботиться о здоровье. Ты знаешь этих лекарей, — добавляет он. — Они до сих пор еще во многом не разбираются.

— Я знаю. Они сейчас устраивают моей матери веселую жизнь.

— Боже, ты бы слышал, что говорит Дженис про твою мать.

— Не слишком ее жалует, да?

— Совсем не жалует. Правда, ей нужно найти какое-то оправдание самой себе. Она в полном раздрае из-за сына.

— Она же оставила его мне — он живет со мной.

— Если дело дойдет до суда, сам понимаешь, его у тебя отберут.

— Посмотрим.

Ставрос делает отмашку рукой возле своего стакана с пузырящейся содовой водой (бедная Пегги Фоснахт, надо ей позвонить, думает Кролик), показывая, что хочет сменить тему.

— Вот беда, — говорит он, — не могу я его к себе взять. Нет места. К примеру, сейчас, когда ко мне наведываются родственники, я вынужден отсылать Дженис в кино или к ее родителям. Ты ведь знаешь: у меня нет матери, есть бабушка. Ей девяносто три года — вот и говори после этого, что люди не живут вечно.

Кролик пытается представить себе комнату Ставроса — Дженис говорила, что там полно цветных фотографий, — а вместо этого представляет себе, как Дженис, голая, в цвете, как девушка месяца на обложке «Плейбоя», лежит на ворсистом узком греческом диване горчичного цвета с изогнутыми ручками, приподняв одно бедро, так что ее роскошная густая черная поросль едва-едва скрыта. Живот возле пупка перерезает сгиб журнального разворота, в свисающей руке она держит розу. Это видение впервые настраивает Кролика враждебно к Ставросу. И он спрашивает:

— И какой же ты видишь из этого выход?

— Это я хотел бы спросить у тебя.

— Она не оправдывает твоих ожиданий? — задает вопрос Кролик.

— Боже мой, нет, au contraire[[34]](#footnote-34). Она трахается со мной до одурения.

Кролик отпивает из своего стакана, проглатывает, пробует подергать за другую ниточку.

— Она скучает по парнишке?

— Нельсон иногда днем приходит к нам на «пятачок», и потом она видится с ним по уик-эндам — вряд ли они чаще виделись раньше. В любом случае не думаю, чтобы материнское чувство было так уж сильно у Дженис. А вот то, что ее малыш, у которого еще молоко на губах не обсохло, живет под одной крышей с этой хиппи, ей, безусловно, не нравится.

— Она вовсе не хиппи, если не считать, что вся молодежь этого возраста — хиппи. И живу с ней я, а не он.

— Ну и как?

— Трахается со мной до одурения, — говорит ему Кролик.

Он начинает понимать, что такое Ставрос. Сначала, внезапно столкнувшись с ним на улице, он обрадовался ему как другу, словно они с ним породнились через тело Дженис. Потом, уже в «Фениксе», увидел в нем больного человека, который старается держаться, несмотря ни на что. А сейчас он распознал в нем тип «жесткого игрока», что никогда ему в людях не нравилось. Из тех, которые во время матча сидят на скамье и кричат всякую пакость, подзуживая ребят, пока тренер не выпустит их на площадку «поддать жару» или попросту нарушить правила. Этакие башковитые живчики-крепыши, которые «делают» игру. О'кей. Итак, Кролик снова состязается. Надо поволынить — пусть Ставрос сам начнет.

Ставрос еле заметно приподнимает свои квадратные плечи, отпивает немного содовой и спрашивает:

— Как ты намерен поступить с этой хиппи?

— У нее есть имя. Джилл.

— А ты много знаешь о Джилл?

— Нет. У нее был отец, который умер, и мать, которую она не любит. Думаю, она вернется в Коннектикут, как только ей здесь перестанет везти.

— А не ты ли это ее, с позволения сказать, «везение»?

— Да, я играю сейчас в ее жизни определенную роль.

— А она — в твоей. Знаешь, то, что ты живешь с этой девчонкой, дает возможность Дженис в два счета получить развод.

— Не очень-то ты меня испугал.

— Правильно ли я понял — ты обещал Дженис, что стоит ей вернуться, и девчонка уйдет?

Кролик начинает смекать, по какой линии Ставрос поведет атаку. И чувствует, что ему снова хочется чихнуть.

— Нет, — говорит он, моля Бога, чтобы не расчихаться, — неправильно.

И чихает. Шестеро, сидящих у бара, оборачиваются, даже вертящийся краник, разливающий «Шлиц», кажется, на секунду замирает. На экране телевизора — холодильники и уик-энды на лыжах в Чили.

— Ты не хочешь, чтобы Дженис сейчас вернулась?

— Не знаю.

— Хочешь получить развод, чтобы наслаждаться жизнью? Или, может, даже жениться на девчонке? На Джилл. Смотри, не надорвись, спортсмен.

— Ты слишком далеко заглядываешь. Я живу день за днем, как могу зализываю свою рану. Не забывай: ведь это меня бросили. Один кучерявый краснобай-пацифист, по совместительству торговец японскими машинками, увел ее у меня — забыл, как его звать, мерзавца.

— Все было не совсем так. Она сама ко мне постучалась.

— И ты ее впустил.

У Ставроса удивленный вид.

— А как же иначе? Она здорово рискнула. Куда было ей пойти? Приняв ее, я всех избавил от хлопот.

— А теперь у тебя возникли хлопоты?

Ставрос перебирает кончиками пальцев, словно в руке у него карты, — если он проиграет на этой взятке, будет ли у него возможность отыграться?

— Чем дольше она со мной, тем сильнее в ней надежды, которым никогда не сбыться. Брак, извини, это не для меня. Не только с ней — ни с кем.

— Не старайся соблюдать вежливость. Значит, теперь, перепробовав ее во всех положениях, ты решил отправить ее назад. Бедная старушка Джен. Вот дуреха!

— Никакая она не дуреха. Она просто... не уверена в себе. Она хочет того, чего хочет любая нормальная бабешка. Быть Еленой Троянской. И были часы, когда я давал ей это почувствовать. Но я не могу вести себя так до бесконечности. Не получается. — Он злится, насупливает квадратный лоб. — Ты-то чего хочешь? Сидишь тут, ухмыляешься, наблюдаешь, как я ерзаю, а дальше что? Если я выставлю ее за дверь, ты подберешь ее?

— Выставь и увидишь. Она всегда может отправиться жить к родителям.

— Мать доводит ее до безумия.

— Для того матери и существуют.

Кролик представляет себе свою мать. Под ее уловками таятся страдания, реальность, невыносимая, как зубная боль, и это делает ее поведение глупым, хуже того — порочным. От чувства вины сладостная спазма сдавливает его мочевой пузырь, как бывало, когда он, опаздывая в школу, бежал мимо канавы с илистой каемочкой по краям, по которой стекала вода с фабрики искусственного льда. Он пытается объяснить:

— Слушай, Ставрос. Кашу заварил не я, а ты. Ты трахаешь чужую жену. Если хочешь выйти из игры — выходи. Ни в какую коалицию ты меня не затащишь — дудки!

— Опять ты за свое, — говорит Ставрос.

— Вот-вот. Ты вторгся на чужую территорию, не я.

— Никуда я не вторгался, я протянул руку помощи.

— Все агрессоры так говорят.

Кролику хочется поспорить насчет Вьетнама, но Ставрос держится менее горячей темы.

— Она дошла до ручки, приятель. Господи, ты что, не спал с ней десять лет?

— Я в таком духе разговаривать не собираюсь.

— Твое дело.

— Ее не хуже обслуживали, чем миллион других жен. Миллиард дырок — сколько это будет жен? Пятьсот миллионов? У нас нормальные отношения. Вовсе не такие уж плохие, на мой взгляд.

— Я одно могу сказать: я ничего не подстраивал, мне все преподнесли на блюдечке. Я ее не уговаривал, она сама меня подталкивала. Я был первым, кто ей подвернулся. Да будь я одноногим разносчиком молока, было бы то же самое.

— Слишком ты скромничаешь.

Ставрос трясет головой.

— Она настоящая тигрица.

— Прекрати, а то у меня встанет.

Ставрос внимательно смотрит на него.

— Странный ты парень.

— Скажи лучше, что тебе в ней теперь не нравится.

Его тон интересующегося постороннего производит нужное впечатление на Ставроса, и он на дюйм опускает плечи. Он водит в воздухе руками перед собой, изображая небольшую клетку.

— Я как в тисках зажат. Мне не нужна эта тяжесть. Я должен чувствовать себя легко, всегда на одном уровне. Между нами, я ведь не буду жить вечно.

— Ты только что сказал мне, что это очень может статься.

— Все складывается так, что это маловероятно.

— Знаешь, ты совсем как я, каким я был когда-то.

— Она поразвлеклась, лето прошло, теперь разреши ей вернуться. А своей хиппи скажи, чтоб съезжала — Дженис хочется это услышать.

Кролик допивает свой второй дайкири. Так приятно длить тишину, расширять ее — он не станет обещать взять назад Дженис. Финальный раут игры отложим на потом. Наконец он произносит, так как затягивать молчание было бы уж слишком грубо:

— Право, не знаю. Извини, что говорю так неопределенно.

— Она небось сидит на чем-нибудь? — спешит продолжить разговор Ставрос.

— Кто?

— Да твоя нимфа.

— На чем сидит?

— Ну, ты понимаешь. На таблетках. На ЛСД. Едва ли на героине, иначе ты остался бы без обстановки.

— Ты имеешь в виду Джилл? Нет, она это бросила.

— Не верь ты ей. Такие не бросают. Эти детки-цветочки[[35]](#footnote-35) без наркоты жить не могут.

— Она против — до фанатизма. Да, было дело, но она вовремя опомнилась. И вообще тебя это не касается.

Кролику не нравится, как пошла игра; в его позиции наметилась дыра, которую он пытается заткнуть и не может. Ставрос чуть заметно пожимает плечами.

— Ну, а как Нельсон? Изменился?

— Взрослеет.

Ответ звучит уклончиво. Ставрос пропускает это мимо ушей.

— Все такой же сонный? Нервный? Укладывается спать в самое неподходящее время? Чем они там занимаются весь день, пока ты гнешь спину и зарабатываешь денежки? Чем-то они ведь занимаются, приятель?

— Она учит его быть вежливым с подонками, приятель. Разреши заплатить за твою водичку.

— Так что же я выяснил?

— Надеюсь, ничего.

Но Ставросу таки удалось помешать ему чисто завершить этот матч, так что доигрывание переносится на неопределенное время. Кролик спешит домой, к Нельсону и Джилл, принюхаться к их дыханию, приглядеться к их зрачкам, ну и вообще. Он оставил своего ягненка на попечение ядовитой змеи. Но, выйдя из «Феникса», он попадает на солнце, затянутое сентябрьской дымкой, весь транспорт стоит, и автобусы застряли вместе со всем остальным. Снимают кино. Кролик вспоминает, что он читал об этом в «Вэте» («БРУЭР — СЕРДЦЕВИНА АМЕРИКИ? *В кинокомпании «Готэм» считают, что да* ».), какая-то новая независимая компания выбрала для съемок Бруэр; имена исполнителей главных ролей ничего ему не говорили, и подробности он забыл. Ну вот они и снимают. Наполовину перекрывая Уайзер-стрит, полукругом стоят машины и грузовики с прожекторами, а на оставшемся пространстве толпятся, толкаясь и пытаясь пробраться поближе, местные жители в рубашках с закатанными рукавами, старухи с продуктовыми сумками и лоботрясы-негры, для машин же оставлена всего одна полоса, по которой они и ползут. Полисмены, которым следовало бы следить, чтобы не образовывались пробки, охраняют съемку, защищая киношников. С высоты своего роста Кролик, стоя на краю тротуара, может кое-что углядеть. Один из забитых досками магазинов близ старого «Багдада», где показывали фильмы производства студии «Метро Голдвин Майер», а сейчас крутят порнуху, превращен в фасад ресторана; высокий краснорожий мужчина с искусственно волнистыми волосами и маленькая бронзоволосая цыпочка выходят под руку из этого якобы ресторана, и тут происходит столкновение с прохожим, другим раскрашенным актером, который выскакивает из толпы наблюдателей; он налетает на парочку, те смеются, и потом следует долгий взгляд, который, когда фильм смонтируют, будет, по всей вероятности, означать, что все закончится постелью. Сцену снимают несколько раз. А между съемками все ждут, обмениваются шуточками, корректируют свет, поправляют провода. Девица с расстояния, где стоит Кролик, кажется до невероятия яркой: глаза сверкают, волосы, точно шлем, отражают свет. Даже платье переливается. Когда кто-либо — режиссер или осветитель — подходит к ней, он кажется туманным пятном. И таким же туманным пятном представляется себе Кролик, туманным и виноватым, оттого, что видит, как прожекторы, несмотря на солнечный свет, придают еще большую яркость дню, превращая реальность в концентрат реальности, в неправдоподобно красочный островок, вокруг которого все мы остальные — механики, полисмены, колышущаяся, захваченная зрелищем толпа зрителей, включая его самого, — кажемся призраками, просителями, на которых не обращают внимания.

*В местных раскопках обнаружены древности*

По мере обновления Бруэр делает все больше открытий про себя.

Широкомасштабный снос зданий и реконструкция, проводимые сейчас в центре города, приводят к многочисленным находкам предметов «седой старины», которые позволяют заглянуть в прошлое нашего города.

При устройстве автомобильной стоянки на перекрестке улиц М... бильной стоянки на перекрестке улиц Мьюриел и Грили-стрит глазам строителей предстала подпольная забегаловка с хорошо сохранившимися настенными росписями.

Старожилы еще помнят, как туда частенько наведывался Ноджел-Перчатка и другие теневые дельцы эпохи сухого закона, а там же делали свои первые шаги музыканты вроде прославленного тромбониста Красного Венриха, чьи имена спустя несколько лет знали в каждом доме по всей стране.

Часто попадаются старинные вывески. Искусно стилизованные коровы, ульи, сапоги, пушки, плуги рекламируют «бакалею и полезные мелочи», кожаные изделия, снадобья и лекарства — словом, самые разнообразные товары. Они хорошо сохранились под землей, и надписи легко прочесть, несмотря на то что со времени их создания прошло без малого сто лет.

Среди старых каменных фундаментов обнаруживаются металлические инструменты и точильные камни.

Нередко попадаются наконечники стрел.

Доктор Клаус Шорнер, вице-президент Исторического общества Бруэра, провел

Во время перерыва на кофе Бьюкенен подходит к Кролику:

— Ну, как тебе крошка Джилл?

— Девчонка что надо.

— Неплохо на тебя работает, а?

— Она хорошая девочка. В голове путаница — вся нынешняя молодежь такая, но мы к ней привыкли. Мой парень и я.

Бьюкенен улыбается — тонкие усики растягиваются на ширину короткого тире, и он делает еще полшажка к Кролику.

— Крошка Джилл по-прежнему составляет тебе компанию?

Кролик пожимает плечами, чувствуя, что бледнеет и начинает нервничать. Он продолжает делать ставку на удачу.

— Ей некуда больше идти.

— Да, парень, должно быть, она в самом деле неплохо на тебя работает. — Он никак не отлипнет от Кролика, не выходит на улицу глотнуть свою порцию виски на погрузочной платформе. Стоит и продолжает улыбаться, но по лицу его медленно расползается задумчиво-сосредоточенное выражение, и он говорит: — Понимаешь, дружище Гарри, ведь близится День труда, и детишкам снова надо в школу, а цены-то вон растут, за что ни возьмись. Короче, трудновато в плане финансов.

— А сколько у тебя детей? — вежливо спрашивает Кролик. Хоть он и работает с Бьюкененом не один год, он не знал, что тот женат.

Грузный пепельно-серый мужчина покачивается с носков на пятки.

— Ну-у... пусть будет пять — это те, которых я знаю. Они ведь рассчитывают на своего папку, а он подходит к Дню труда не в лучшей форме. В последнее время Быку Лестеру что-то не везет в карты.

— Сожалею, — говорит Кролик. — Может, не следует тебе играть.

— Ну и рад же я, что крошка Джилл не подкачала, удовлетворяя твои нужды, — произносит Бьюкенен. — Я подумал, двадцатка помогла бы мне пережить День труда.

— Двадцать долларов?

— Только и всего. Просто поразительно, Гарри, как я научился растягивать деньги. Двадцать жалких долларов, маленькая помощь от друга, безусловно, помогут мне осилить праздник. Вот я и говорю: раз Джилл подходит тебе по всем статьям, ты сам наверняка чувствуешь себя веселее. Чувствуешь желание поделиться своей радостью. Влюбленный, как говорится, всем друг.

Кролик уже вытащил бумажник и нашел две десятки.

— Только в долг, — говорит он испуганно, зная, что лжет, встревоженный тем, что скользит все ниже по откосу, и чувствует сладостную спазму мочевого пузыря, как в те дни, когда он опаздывал в школу. Двери будут закрыты, директор мистер Клайст будет стоять у входных дверей, где цепочки и засовы стерты до того, что виден желтый металл, он подстерегает опоздавших и тащит их в свой душный кабинет, где у него хранятся все личные дела.

— Мои дети благословляют тебя, — произносит Бьюкенен, убирая банкноты. — Карандашей им теперь накуплю целый ворох!

— Эй, а что с Бэби? — спрашивает Кролик. Он обнаруживает, что чувствует себя гораздо легче теперь, когда его деньги переехали в карман Бьюкенена: он купил себе право задавать вопросы.

Бьюкенен явно застигнут врасплох.

— Да все то же. По-прежнему вкалывает, как говорит нынче молодежь.

— Я, понимаешь ли, подумал, не порвали ли вы.

Поскольку Бьюкенен на мели, он внимательно всматривается в лицо Кролика, желая убедиться, что тот имеет в виду. Сутенер. Убедившись, что Кролик именно это и имеет в виду, он скалит зубы, и ленточка его усов становится чуть шире.

— Хочешь залезть в нашу славную Бэби, да? Белое мясо надоело, потянуло на черненькое? А папка не заругает, Гарри?

— Я просто спросил, как она. Мне понравилось, как она играет.

— Она явно на тебя глаз положила — я-то уж знаю. Загляни как-нибудь в «Джимбо», что-нибудь придумаем.

— Она сказала, у меня костяшки плохие.

Звенит звонок. Кролик пытается представить себе, как скоро состоится следующий заход, как глубоко зацепил его этот малый; Бьюкенен догадывается, о чем Кролик задумался, и игриво, весело ударяет по ладони, которую Кролик выставил перед собой, вспомнив о костяшках. Пальцы заныли. Кожа горит.

— Ох и нравишься ты мне, парень! — произносит Бьюкенен и отходит от Кролика. На затылке его дрожит складка жира сливового цвета. Неправильно питается, избыток крахмала. Требуха да каша, любимая еда черных.

на редкость интересный час в неофициальной беседе с репортером «Вэт» о прошлом Бруэра, когда наш город был местом торговли с племенами Бруэра, когда местом торговли с племенами индейцев, живших по берегам реки Скачущая Лошадь.

Он показал нам странную гравюру

Он показал нам старинную гравюру с изображением хижин, созданную в те времена, когда на месте будущего города стояло скромное поселение, названное Гринвич в честь английского города Гринвич, где находится знаменитая обсерватория.

В коллекции д-ра Клайста много поразительных фотографий Уайзер-стрит, когда на ней еще находились грубо сколоченные лавки и постоялые дворы. Самым знаменитым из этих постоялых дворов был «Гусь и перья», где однажды Джордж Вашингтон и сопровождавшие его лица остановились на ночлег. Они продвигались на Запад для подавления Спиртного бунта, вспыхнувшего в 1720 г. для подавления Спиртного бунта, вспыхнувшего в 1799 году.

Первой железорудной разработкой в наших окрестностях был хорошо известный Горн Ориола, что находится в семи милях к югу от города. Д-р Клайст обладает коллекцией и выгарок того первого производства шлака, он с восторгом рассказывал, как первым в наших краях металлургам удалось обеспечить достаточно мощную тягу

За спиной Кролика останавливается Пайясек.

— Энгстром. К телефону. — Пайясек — маленький, лысый усталый человечек с густыми торчащими бровями, которые усугубляют впечатление, будто лоб его придавлен сверху, так что над глазами образуется длинная горизонтальная складка. — Когда наговоришься, сообщи тому, кто звонит, что у тебя есть телефон дома.

— Извини, Эд. Это скорей всего моя сумасшедшая жена.

— А ты не можешь сказать ей, чтобы она сходила с ума в нерабочее время?

Когда от машины переходишь в относительную тишину закутка из матовых стекол, кажется, будто тебя неожиданно вынесло волной в воздушный вакуум. Кролик с ходу затевает ссору:

— Дженис, ради всего святого, я же говорил тебе, чтобы ты не звонила мне сюда. Звони домой.

— Я вовсе не желаю разговаривать с твоей маленькой телефонисткой. При одной мысли о голосе этой девицы у меня мороз по коже.

— Обычно к телефону подходит Нельсон. Она никогда не снимает трубку.

— Я не желаю ни слышать ее, ни видеть, ни разговаривать с ней. Я не могу описать тебе, Гарри, какое омерзение вызывает у меня сама мысль об этой особе.

— Ты что, опять прикладывалась к бутылке? Голос у тебя взвинченный.

— Я в здравом уме и трезвой памяти. И вполне всем довольна. Я хочу знать, купил ли ты Нельсону новую одежду для школы. Ты, наверное, в курсе, он за это лето вырос на три дюйма и все, что он носил раньше, не годится.

— В самом деле? Здорово. Может, он в конце концов будет не таким уж карликом.

— Он будет как мой отец, а мой отец — не карлик.

— Извини, я думал, он-то как раз карлик.

— Ты что, хочешь, чтобы я повесила трубку? Ты этого добиваешься?

— Нет, я просто хочу, чтобы ты звонила мне куда угодно, только не на работу.

Она вешает трубку. Кролик продолжает сидеть в деревянном вращающемся кресле Пайясека, глядя на календарь, который все еще раскрыт на августе, хотя на дворе уже сентябрь: календарная девушка держит два рожка мороженого так, что шарики только-только перекрывают соски, один шарик клубничный, другой шоколадный, и надпись гласит: «Больше чем достаточно!»; раздается звонок телефона.

— Так о чем мы говорили? — спрашивает Кролик.

— Придется мне забрать Нельсона и поехать купить ему одежду для школы.

— О'кей, приезжай и забирай его в любое время. Давай договоримся о дне.

— Я и близко не подойду к дому, Гарри, пока там эта девчонка. Я даже близко к Пенн-Вилласу не подъеду. Извини, но мне физически дурно от этого.

— Смотри-ка, ты часом не беременна? Вы с Чарли хоть принимаете какие-то меры предосторожности?

— Гарри, я совсем тебя не узнаю. Я сказала Чарли — я поверить не могу, что прожила двенадцать лет с этим мужчиной, такое впечатление, будто этого никогда не было.

— Тринадцать. Нельсону в этом месяце исполнится тринадцать лет. Что подарим ему на день рождения?

Она заплакала.

— Ты так меня и не простил, да? До сих пор не простил, что я тогда забеременела.

— Простил, простил. Успокойся. Я отправлю Нельсона в твое любовное гнездышко, чтобы вы могли поехать по магазинам. Назначь день.

— Пришли его лучше на «пятачок» в субботу утром. Я не люблю, когда он приходит на квартиру; слишком тяжело с ним расставаться.

— А в другой день никак нельзя? Мы вроде запланировали, что Джилл свозит нас в Вэлли-Фордж[[36]](#footnote-36) — ни я, ни малыш там никогда не бывали.

— Ты что, смеешься надо мной? Почему ты все считаешь забавой, Гарри? Это ведь жизнь.

— Да я не считаю, мы правда собирались. Кроме шуток.

— Ну так скажи ей, что вы не поедете. Пошлите ко мне Нельсона, а сами валяйтесь в постели. Только пришли его с деньгами — с какой стати я должна платить за его одежду?

— Купи все у Кролла, у тебя же там счет открыт.

— «Кролл» страшно испортился, ты же это знаешь. Сейчас открылся премилый новый магазинчик возле «Пирли», сразу за тем местом, где раньше был китайский ресторан.

— Ну, так открой там счет. Скажи им, что ты от «Спрингер-моторс» и предложи им в качестве залога «тойоту».

— Гарри, не надо так злобиться. Ты сам меня отослал к нему. Ты сказал в тот вечер — я никогда этого не забуду, это был такой удар, что я его на всю жизнь запомню: «Встречайся с ним, если хочешь, лишь бы мне не встречаться с этим мерзавцем». Это твои слова.

— Кстати, ты мне напомнила: я видел его на днях.

— Кого?

— Чарли. Твоего чернявенького любовника.

— Каким образом?

— Он подстерег меня после работы. Поджидал в проулке с кинжалом в руке. «Ну что, — сказал я, — доволен, что подловил меня, крыса коммунистическая».

— А что ему было нужно?

— Да так — поговорить о тебе.

— Обо мне? Гарри, ты лжешь — вот все, что я могу сказать. Обо мне — что обо мне?

— Счастлива ты или нет.

Поскольку она молчит, он продолжает:

— Мы пришли к выводу, что ты счастлива.

— Правильно, — говорит Дженис и вешает трубку.

еще до того, как была изобретена печь Бессемера.

На старых выцветших фотографиях Уайзер-стрит выглядит богатой улицей из низких, со вкусом построенных низких кирпичных домов, посередине проложены рельсы для трамваев на лошадиной, тяге трумваев на лашадинай тяге Пыорыщлрписгблызхброыпфнцьььлбдюжтрммсссч

Кролик спрашивает Джилл:

— Что вы сегодня с Нельсоном делали?

— Да ничего особенного. Утром болтались по дому, а днем покатались.

— Куда же вы ездили?

— На гору Джадж.

— Маунт-Джадж?

— На гору. Мы выпили по кока-коле в «Бельведере», а потом какое-то время смотрели в парке на игру в мяч.

— Скажи мне правду. Ты даешь мальчишке курить травку?

— С чего это ты взял?

— Он страшно увлечен тобой, и я прикинул, что тут одно из двух — либо травка, либо секс.

— А может, автомобиль. А может, я просто отношусь к нему как к человеку, а не как к неудавшемуся спортсмену, который ростом не вышел. Нельсон — умный и тонко чувствующий мальчик, который очень переживает, что его мать вас бросила.

— Спасибо, я сам знаю, что он умный, — я ведь знаком с ним не первый год.

— Гарри, ты что, хочешь, чтобы я уехала, в этом дело? Я уеду, если ты того хочешь. Я могла бы вернуться к Бэби — вот только ей сейчас туго приходится.

— В каком смысле туго?

— Ее поймали с травкой. Эти легавые явились в «Джимбо» на днях и забрали десять человек, включая ее и Ушлого. Бэби сказала, они потребовали, чтоб им больше обычного заплатили отступного, а хозяин не согласился. Хозяин, кстати, белый.

— Значит, ты по-прежнему поддерживаешь отношения с этой компанией?

— А ты против?

— Поступай как знаешь. Ведь это твоя жизнь, ты ей и распоряжайся.

— Кто-то тебе досадил, верно?

— Не один человек, а несколько.

— Можешь поступать со мной как хочешь, Гарри. Я в твоей жизни ничем не могу быть.

Она стоит перед ним в гостиной в своих обрезанных джинсах и крестьянской блузе, прижав локти к бокам и слегка расставив руки, словно служанка, дожидающаяся, когда ей положат на них поднос. Пальцы у нее красные от мытья его посуды. Тронутый ее видом, он галантно признается:

— Мне нужен твой сладкий ротик и твой белоснежный задок.

— По-моему, и то и другое тебе уже поднадоело.

Он воспринимает это в обратном смысле: он сам наскучил ей. Ей всегда было с ним скучно. И он бросается в наступление:

— О'кей, так как насчет секса между тобой и мальчишкой?

Она отводит взгляд. У нее длинный нос, длинный подбородок и сухой рот-мотылек, который, как он подозревает, в спокойном состоянии, когда она не наблюдает за ним, сложен в презрительную гримасу, как бы говоря, что она выше его и хочет взлететь еще выше. Лето оставило на ее лице лишь несколько веснушек, главным образом на лбу, который слегка выпирает, как бок молочного кувшина. Волосы как тугие пружины после долгого пребывания в тоненьких косичках, какие любят заплетать хиппи.

— Я ему нравлюсь, — отвечает она, только это никакой не ответ.

Кролик говорит ей:

— Мы не можем поехать завтра в долину Вэлли-Фордж — Дженис хочет, чтобы Нельсон отправился с ней по магазинам за новой одеждой для школы, а я должен навестить мою мать. Можешь подвезти меня туда, если хочешь, а нет — так я поеду на автобусе.

Он считает, что делает ей одолжение, но она смотрит на него этим своим пустым взглядом тускло-зеленых глаз и говорит:

— Ты напоминаешь мне иногда мою мать. Та тоже считала меня своей собственностью.

В субботу утром Джилл исчезла, но ее одежда, совсем как тряпки, по-прежнему висит в шкафу. Внизу на кухонном столе лежит записка, написанная зеленым маркером: «Меня не будет весь день. Завезу Нельсона на «пятачок». Джилл». Итак, Кролик едет на автобусе. Трава на лужайках в Маунт-Джадже — пятна зелени между цементными дорожками — пожухла; на кленах то тут, то там уже попадаются золотые листья. В воздухе чувствуется особый запах — снова в школу, снова все начинается сначала, и, значит, существующий порядок незыблем. Кролик жаждет обрести хорошее самочувствие: у него всегда было хорошо на душе при каждой смене времен года, в начале и в конце каждых каникул, при виде нового листка календаря, но в его взрослой жизни смены времен года не происходит, меняется только погода, а чем старше он становится, тем меньше погода интересует его. Как может планета вертеться и вертеться, почему ей это не наскучит и она не разлетится на куски?

На доме, рядом с домом его детства, по-прежнему висит плакатик «ПРОДАЕТСЯ». Кролик дергает входную дверь, но она заперта; он звонит, кто-то долго шаркает по коридору, и папа наконец открывает дверь. Кролик спрашивает:

— С чего это вы стали запирать дверь?

— Извини, Гарри, в городе последнее время было столько ограблений... Мы же понятия не имели, что ты приедешь.

— Разве я не обещал?

— Ты ведь и раньше обещал. Мы с твоей мамой тебя не виним — мы знаем, что сейчас тебе трудно живется.

— Да нет, не трудно. В некоторых отношениях даже легче. Мама наверху?

Папа кивает.

— Она теперь редко спускается вниз.

— А я думал, новое лекарство ей помогает.

— В какой-то мере помогает, но она в такой депрессии, что у нее совсем нет воли. А жизнь на девять десятых зависит от воли — так говорил мой отец, и чем дольше я живу, тем больше вижу, насколько он был прав.

В доме по-прежнему стоит удушливый запах дезинфекции, тем не менее Гарри через две ступеньки взбегает по лестнице — исчезновение Джилл преисполнило его такой злости, что у него прибавилось силы. Он влетает в комнату больной со словами:

— Мам, расскажи-ка мне свои сны.

Она похудела. На костях остался лишь минимум соединительных тканей, все остальное ушло; лицо — кости, обтянутые кожей, — застыло в сладостном ожидании. Голос у этого призрака стал звонче прежнего, между словами меньше пауз.

— По ночам меня мучают кошмары, Гарри. Эрл говорил тебе?

— Он упоминал, что ты видишь плохие сны.

— Да, плохие, но не настолько плохие, чтобы я вообще боялась заснуть. Я теперь знаю эту комнату так хорошо, каждый предмет в ней. По ночам даже этот безобидный старый комод и это... несчастное провалившееся кресло... они...

— Они — что? — Кролик садится на кровать, чтобы взять мать за руку, и опасливо думает, как бы матрас под его тяжестью не накренился и у мамы внутри что-нибудь не сломалось бы.

Она говорит:

— Они хотят. Задушить меня.

— Эти вещи?

— Все вещи, все. Они наступают на меня, так странно, вся эта простая, неказистая мебель, с которой я прожила всю жизнь. Папа спит в соседней комнате — я слышу, как он храпит. Ни одна машина не проезжает мимо. Только я да уличный фонарь. Будто ты под водой. Я считаю, на сколько секунд у меня хватает дыхания. Мне кажется, я могу сосчитать до сорока, до тридцати, а оказывается, только до десяти.

— Я не знал, что твоя болезнь затрагивает и дыхание.

— Не затрагивает; это все из-за мозга. Столько у меня в мозгу всякой дряни, Хасси, точно это сточная труба — волосы и грязь да вдобавок резиновая гребенка, которую кто-то уронил много лет тому назад. В моем случае — шестьдесят лет тому назад.

— Неужели ты такого мнения о своей жизни, ведь не так, правда? По-моему, тебе кое-что удалось.

— Удалось — в каком смысле? Весь смех в том, что мы даже не знаем, что пытаемся сделать.

— Иногда не скучать, — подсказывает Кролик. — И детей нарожать.

Это дает ей повод переменить тему разговора.

— Вы с Мим все время снитесь мне. И всегда вместе. А вы ведь не жили вместе с тех пор, как окончили школу.

— И чем же мы с Мим в этих твоих снах занимаемся?

— Ты смотришь на меня. Иногда просишь, чтобы я тебя накормила, а я не могу найти еду. Как-то раз, помню, заглядываю в морозильную камеру, а там. Какой-то мужчина замороженный. Совсем незнакомый, просто какой-то мужчина. Как бывает во сне. Или что плита не зажигается. Или я не могу найти продукты, которые Эрл куда-то убрал, когда пришел с работы. Я знаю, что он. Куда-то их убрал. Этакая глупость. Но эти глупости становятся такими важными. И я просыпаюсь оттого. Что кричу на Эрла.

— А мы с Мим что-нибудь говорим?

— Нет, вы просто смотрите на меня, как все дети. Немножко испуганно, но с верой, что я найду. Выход. Вот как вы на меня. Даже, когда я понимаю, что вы мертвые.

— Мертвые?

— Да. Оба напудренные, убранные в гробах. Однако все еще стоите, все еще чего-то ждете от меня. А умерли вы потому, что я не смогла добыть еду и поставить на стол. Странная штука эти сны, как подумаешь. Правда, смотришь ты на меня снизу вверх, как ребенок. А выглядишь как сейчас. А Мим вся в помаде и в такой блестящей мини-юбке, и в сапогах на молнии до колен.

— Это она теперь так выглядит?

— Да, она прислала нам свой рекламный снимок.

— Что же она рекламирует?

— О, ну ты знаешь. Себя. Ты же знаешь, как теперь это делается. Я-то в этом ничего не понимаю. Снимок там, на комоде.

На снимке, сделанном на глянцевой бумаге 8x10, со складкой по диагонали — так его сложили на почте, — изображена Мим в бюстгальтере, шароварах и в браслетах, голова откинута назад, длинная голая ступня — а у нее в детстве были большие ноги, и маме приходилось уговаривать продавца в обувном магазине отыскать на складе нужный номер, — лежит на подушке. А глаза совсем не похожи на глаза Мим — так подведены и подкрашены, что форма стала совсем другой. Только вот нос делает ее прежней Мим. С шишечкой на кончике, и ноздри — она их вот так же поджимала ребенком, когда начинала плакать, — поджаты и сейчас, когда ей велели принять сексуальный вид. На этом снимке Кролик видит не столько Мим, сколько тех, кто заставил ее позировать. Внизу светлой шариковой ручкой она написала: «Скучаю по всем вам. Надеюсь скоро приехать на Восток. С любовью Мим». Буквы скошены и налезают друг на друга — по почерку сразу видно, что она дальше средней школы не пошла. А вот записка Джилл была написана уверенно, прямыми, как учат в частных школах, чуть ли не печатными буквами — хоть сейчас на плакат. Мим никогда так не писала.

— А сколько стукнуло Мим? — спрашивает Кролик.

— Ты, значит, не хочешь слушать про мои сны.

— Конечно, хочу. — А сам подсчитывает: Мим родилась, когда ему было шесть лет, значит, сейчас ей тридцать; ничего она не достигнет, даже в костюме наложницы из гарема. Все, чего ты не сделал до тридцати, ты уже едва ли когда-либо сделаешь. А если чего-то достиг, то достигнешь большего. Он говорит матери: — Расскажи мне свой самый плохой сон.

— Дом рядом с нами продали. Каким-то людям, которые хотят разделить его на квартиры. Скрентоны стали их партнерами, и тогда. Возвели две стены, так что наш дом вообще не получает света, и я сижу в дыре и смотрю вверх. И на меня начинает сыпаться мусор, банки из-под кока-колы и коробки от крекеров, а потом. Я просыпаюсь и понимаю, что не могу вздохнуть.

Он говорит ей:

— В Маунт-Джадж вроде бы не планируют строить многоэтажки.

Она не смеется. Широко раскрытые глаза устремлены на другую половину ее жизни, ночную половину, ту, где кошмары наползают как вода в прохудившемся погребе, и вода готова поглотить ее в доказательство того, что это — реальная половина жизни, а дневной свет — иллюзия, обман.

— Нет, — говорит она, — это не самый плохой сон. Самый плохой, когда мы с Эрлом едем в больницу на исследования. Вокруг нас стоят столы размером с наш кухонный стол. Только вместо посуды на каждом как бы лужа, красная лужа, и в ней простыни, которые так скомканы, что. Похожи на детские замки из песка. И соединены проводами с машинами, где на экранах мелькает как в телевизоре. И тут я понимаю, что все это люди. А Эрл, такой гордый и довольный, что у него мозгов нет, все твердит: «За все платит правительство. Правительство платит». И показывает мне бумагу, которую подписали ты и Мим и по которой я становлюсь — ну ты понимаешь — одной из них. Такой вот лужей.

— Это не сон, — говорит ей сын. — Все так и есть.

Она выпрямляется на своих подушках, прямая, суровая. Уголки рта опускаются, указывая на то, что она не намерена прощать, — в детстве он боялся этого ее выражения больше всего, больше, чем вампиров, больше, чем полиомиелита, больше, чем грома или Бога, или опоздания в школу.

— Мне стыдно за тебя, — говорит мать. — Не думала, что мой сын может быть таким злым.

— Я же пошутил, мам.

— Сын, которому есть за что быть благодарным, — непререкаемо заявляет она.

— За что? За что конкретно?

— Во-первых, за то, что Дженис ушла от тебя. Она всегда была. Мокрой тряпкой.

— А как же Нельсон, а? С ним-то что будет?

В этом ее главный изъян: она забывает, как время меняет все вокруг, ее мир остается прежним четырехугольником — она сама, папа, Кролик и Мим сидят по четырем сторонам кухонного стола. Ее тираническая любовь, будь ее воля, так и заморозила бы мир.

Мама произносит:

— Нельсон не мой сын, мой сын — ты.

— Ну, он, во всяком случае, существует, и я беспокоюсь за него. Так что нельзя взять и сбросить со счетов Дженис.

— Она же тебя сбросила.

— Ну, не совсем. Она все время звонит мне на работу. А Ставрос хочет, чтобы она вернулась ко мне.

— Не позволяй этого. Она. Подомнет тебя под себя. Гарри.

— Разве у меня есть выбор?

— Беги. Уезжай из Бруэра. Я так и не поняла, почему ты вернулся. Здесь нет будущего. Все это знают. С тех пор как чулочные фабрики передвинулись на юг. Будь как Мим.

— У меня нет на продажу того, что есть у Мим. Так или иначе, она разбила сердце папы, став шлюхой.

— Твоему отцу это нравится, просто он всегда хотел. Найти повод, чтоб ходить с постным лицом. Ну, у него теперь есть я, и я удовлетворяю это его желание. Пусть мертвые хоронят мертвых. Не говори жизни «нет», Хасси. Злость на весь мир не выход. Лучше я буду получать от тебя открытки и знать, что ты счастлив, чем. Видеть, как ты сидишь тут точно куль.

Вечно эти требования и надежды на невозможное. Эти неосуществимые мечты.

— Хасси, а ты когда-нибудь молишься?

— Главным образом в автобусе.

— Молись, чтоб заново родиться. Молись за свое возрождение.

Лицо его начинает пылать; он опускает голову. Он понимает, чего она требует — чтобы он убил Дженис, убил Нельсона. Свобода значит убийство. Возрождение — смерть. Он сидит как куль, — в душе он противится такому определению, а мать смотрит куда-то в сторону, и уголок ее рта еще больше опустился вниз. Она призывает его выйти в большой мир, словно он в ее утробе; неужели она не видит, что он уже старик? Старый куль, вся польза от которого — стоять на месте, чтобы другие опирающиеся на него кули не попадали.

Папа приходит наверх и переключает телевизор на бейсбольный матч с «Филадельфийцами».

— Они куда лучше играют без этого Аллена, — говорит он. — Настоящее тухлое яйцо, Гарри, я говорю это без предубеждения: тухлые яйца бывают всех цветов.

Просмотрев несколько периодов, Кролик собирается домой.

— Неужели не можешь посидеть хотя бы до конца игры, Гарри? По-моему, у нас в холодильнике еще есть пиво, я в любом случае пойду сейчас вниз на кухню, чтоб приготовить матери чай.

— Пусть едет, Эрл.

Многие клены на Джексон-роуд обезображены — кроны в центре подрезали, чтобы обезопасить электрические провода. Раньше Кролик этого не замечал, как не замечал и того, что с тротуаров убрали водостоки, которые всегда мешали ему кататься на роликах, — теперь их заложили плитками. Он как раз катался на роликах, когда Кенни Леггетт, мальчик постарше, живший на другой стороне улицы и ставший впоследствии рекордсменом округа, пробежав милю за пять минут, но это было много позже, а в тот день это просто был большой мальчик, который запустил в Кролика ледышкой — мог бы выбить ему глаз, если бы ледышка угодила чуть выше, — так вот в тот день Кенни крикнул ему с другой стороны Джексон-роуд: «Гарри, слышал радио? Президент умер». Он сказал «президент», а не «Рузвельт» — другого президента для них не существовало. Когда это случится в следующий раз, у президента уже будет имя: Кролик сидел однажды в пятницу у грохочущей высокой машины, и отец после обеда подошел к нему сзади и сказал: «Гарри, по радио только что объявили. Убит Кеннеди. Кажется, выстрелом в голову». Оба президента умерли со страшной головной болью. Их улыбки растаяли в мире звезд. А мы продолжаем брести наугад под окрики громил и бухгалтеров. В автобусе Кролик молится, как велела мать: «Сделай так, чтобы «Л-допа» помогло, избавь маму от страшных снов, сохрани Нельсона более или менее чистым, сделай так, чтобы Ставрос не слишком гнусно обошелся с Дженис, помоги Джилл найти путь домой. Пошли здоровья папе. И мне тоже. Аминь».

Автобус огибает гору. Заправочная станция с окрашенными яркой светящейся краской бензоколонками, вдали в долине окутанный дымкой виадук. Кролик ждет у двери в забегаловку с жареными орешками на Уайзер-стрит пересадки с автобуса 16-А на автобус 12. На выносном стеллаже газета: «ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ СО СВИНЬЯМИ ВОЗМУЩАЕТ ЖИТЕЛЕЙ КАМДЕНА». Подходит автобус и везет Кролика через мост. День плачет за стеклами, сентябрьский свет не сулит никакого будущего; лужайки облысели, вода в черной взбаламученной реке воняет. «ХОББИ-РАЙ. БУТЧ КЭССИДИ КИД»[[37]](#footnote-37). Кролик шагает по Эмберли в направлении Виста-креснт среди вращающихся на лужайках оросительных установок, под телевизионными антеннами, сгребающими, как граблями, один и тот же четырехчасовой информационный мусор с небес.

На подъездной дорожке, наполовину в гараже, стоит грязный белый «порше» — так обычно ставила машину и Дженис, идиотская манера. Джилл в комбинации сидит в коричневом кресле. Сидит развалясь, так что Кролик видит: на ней нет трусиков. Она сонным голосом отвечает на его вопросы, с задержкой, словно слышит их сквозь комок грязной ваты, сквозь ворс воспоминаний, скопившихся за день.

— Куда это ты ездила ни свет ни заря?

— Вон из дома. Подальше от таких ублюдков, как ты.

— Ты завезла мальчишку?

— Конечно.

— А когда ты вернулась?

— Только что.

— Где же ты провела весь день?

— Может, ездила в долину Вэлли-Фордж.

— А может, не ездила.

— Ездила.

— Ну и как?

— Красота. Настоящее чудо. И хорош же он был, Джордж.

— Опиши хоть одну комнату.

— Входишь в дверь, и там стоит кровать с четырьмя колонками, а на ней маленькая подушечка с бахромой, и на этой подушечке сказано: «Здесь спал Джордж Вашингтон». На столиках у кровати все еще лежат пилюльки, которые он принимал, чтобы уснуть, когда красномундирники довели его до того, что он спать не мог. Стены обиты какой-то льняной материей, а все кресла и стулья обвязаны веревками, чтобы на них нельзя было сесть. Потому я и сижу вот на этом. Это кресло не обвязано. Доволен?

Кролик медлит, выбирая среди многих альтернатив, которые, казалось, она ему предоставила. Посмеяться, разозлиться, устроить сцену, сдаться.

— Доволен. Звучит интересно. Жаль, что мы не смогли поехать.

— А ты где был?

— Навещал мою мать после того, как прибрался здесь.

— Как она?

— Разговаривает лучше, на вид стала слабее.

— Мне очень жаль. Жаль, что у нее такая болезнь. Я, наверно, никогда не познакомлюсь с твоей матерью, да?

— А ты хочешь? Отца ты можешь увидеть в любое время, когда пожелаешь, — достаточно заглянуть в бар «Феникс» в четверть пятого. Он тебе понравится: он интересуется политикой. Считает нашу систему дерьмом — как и ты.

— Я никогда не познакомлюсь с твоей женой.

— Неужели ты хочешь? Зачем?

— Сама не знаю, мне интересно. Я, может, начинаю влюбляться в тебя.

— Господи, вот уж зря.

— Ты такого невысокого мнения о себе, да?

— С тех пор как перестал заниматься баскетболом, наверно, да. Кстати, моя мать сказала, чтобы я плюнул на Дженис и уезжал из города.

— А ты что на это сказал?

— Я сказал, что не могу так поступить.

— Зануда ты, вот кто.

То, что на ней нет трусиков, и ощущение, что ею сегодня уже пользовались, а также сознание того, что это лето уникально, это лето под знаком Луны, которое уходит навсегда, побудило Кролика спросить Джилл, покраснев второй раз за этот день:

— Ты как насчет, а?

— Туда или в рот?

— Все равно. Потрахаться.

У него такое чувство, что она легче отдает ему ту часть себя, где у нее есть зубы, оставляя другую для какого-то еще не появившегося мужчины, мужчины более реального для нее, чем он.

— А как же Нельсон? — спрашивает она.

— Он с Дженис — она, наверное, оставит его ужинать. Он нам не помеха, но, может, ты слишком устала. От Джорджа Вашингтона и всего, что с ним связано.

Джилл встает с кресла, задирает вверх комбинацию и стоит так — голова у нее точно в скомканном мешке, а под ним молодое тело с набухшими сосками грудей, бледное, как свеча.

— Ну, так трахай меня, — холодно произносит она и швыряет комбинацию в направлении кухни, а очутившись под ним, продолжает: — Я хочу, чтобы ты вышиб из меня все дерьмо, все дерьмо и всю скукоту этого дерьмового скучного мира, делай мне больно, очисти меня, я хочу, любимый, чтобы ты вошел во все мое нутро, добрался до моего горла, да, о да, разбухни, еще и еще, выбей из меня все, мой сладкий, ох какой же ты сладкий, сладкий зануда. — Глаза ее вдруг расширяются от удивления. Зеленая кайма окружает зрачки, чья бездонная чернота затуманена его тенью. — Да ты же совсем скукожился.

И это правда: все эти ее слова, ее необузданная жажда соития перепугали его. Слишком много в ней влаги; что-то расширило ее. И восковая крепость ее молодого тела, идеальные полукружия ее ягодиц кажутся ему чужими, словно между ним и ею расстояние, заполненное сухим теплым костлявым телом мамы и смуглыми изгибами тела Дженис, ребрами Дженис, выпирающими над талией. Кролик чувствует, как ветры играют ее нервными окончаниями, догадывается, что ее зажигает что-то другое, не он, а он — лишь тень этого другого, белая тень, и его грудь — блестящий от пота щит, придавливающий ее. Джилл высвобождается из его объятий и, став на колени, проводит языком по его животу. Так они играют друг с другом, словно в тумане. Все вокруг расплывается. Они — на жестком ковре, экран телевизора над ними как планета-мать. Волосы Джилл у него во рту. Ее зад — два холма перед его глазами. Она пытается кончить у него на лице, но его язык недостаточно для этого силен. Она трется о его подбородок — вверх-вниз, пока ему не становится больно. А сама покусывает его. Он чувствует себя таким дураком, выпотрошенным, размягшим. Наконец он просит, чтобы она проводила своими грудями, этими твердыми маленькими холмиками, по его члену, который лежит, свернувшись, меж его ног. Это возбуждает его, и он пытается удовлетворить ее и удовлетворяет, хотя к тому моменту, когда она, содрогаясь, кончает, они оба плачут каждый над своей тайной, такой разной, оставшейся далеко позади, — дитя Луны и муж Земли.

— Я люблю тебя, — говорит он.

Она сидит на нем, продолжая трудиться, словно разъяренный механик, который, совершив трудное подсоединение, продолжает до одурения копаться в механизме.

Еле уловимый хлюпающий звук, с каким смешиваются их выбросы, вызывает у Кролика образ этакой серебряной машинки, работающей в животе Джилл, словно паук, возникший из нити их секреций и ткущий свою паутину. И эта паутина связывает их. Он говорит, сдаваясь:

— Да плачь же. Ну, давай.

Он притягивает ее к себе так, чтобы слились их щеки и соединились слезы.

Джилл спрашивает его:

— Почему ты плачешь?

— А ты?

— Потому что наш мир такой дерьмовый и я — часть его.

— А ты думаешь, есть другой, лучше?

— Должен быть.

— Что ж, — задумчиво произносит он, — может, и есть.

К тому времени, когда Нельсон возвращается домой, они уже приняли ванну, оделись, включили свет. Кролик смотрит шестичасовые новости (итоги летних бунтов, сводки убитых во Вьетнаме за неделю, прогноз количества аварий, которые могут произойти в будущий уик-энд, который завершится Днем труда), а Джилл готовит на кухне чечевичную похлебку. Нельсон разбрасывает по полу и по стульям нераспакованную добычу за день, проведенный с Дженис: новые эластичные трусы, майки, безразмерные носки, две пары брюк, четыре спортивные рубашки, вельветовый пиджак, широкие галстуки, даже запонки к светло-лиловой парадной рубашке, не говоря уже о новых мокасинах и кроссовках для игры в баскетбол. Джилл разглядывает покупки.

— Клево, а эти еще клевистей. Нельсон, мне просто жаль этих восьмиклассниц, которые все в тебя втрескаются.

Мальчишка не без тревоги смотрит на нее.

— Я знаю, так теперь не одеваются. И я не хотел — мама заставила. Магазины такие противные — просто забиты материальными ценностями.

— А в какие магазины она с тобой ходила? — спрашивает Кролик. — И как, черт побери, она расплатилась за все это барахло?

— Она везде открыла счета, пап. Она и себе кое-что купила — такую славную вещицу, похожую на пижаму, только ее можно надевать и на вечеринки, если ты женщина, ну и еще всякое. А мне купили костюм, зеленовато-серый в клетку, вполне что надо — мы сможем его забрать через неделю, когда его подгонят. Смешно, да, когда тебя всего обмеривают?

— А ты не помнишь, на чье имя она открывала счета? На мое или на Спрингера?

Джилл для смеха надела одну из новых рубашек Нельсона и, собрав волосы в хвост, перевязала их одним из его широких новых галстуков. Затем крутанулась, демонстрируя себя. Нельсон смотрит как завороженный, не в силах произнести ни слова. Он полностью в ее руках.

— На то имя, которое стоит на ее водительских правах, пап. Ведь это правильно, да?

— И на здешний адрес? Значит, все эти счета придут сюда?

— На тот адрес, который стоит на водительских правах, пап. Не нападай на меня: я говорил ей, что хочу джинсы, и ничего больше. И майку с Че Геварой, только такой не нашлось в Бруэре.

Джилл смеется.

— Нельсон, ты будешь самый разодетый радикал в школе Западного Бруэра. Гарри, галстуки-то шелковые;

— Значит, война. Эта сука по-хорошему не понимает.

— Пап, не надо. Я же не виноват.

— Я знаю. Успокойся. Тебе нужны новые вещи — ты же растешь.

— А мама, правда, клево выглядела в некоторых платьях.

Кролик подходит к окну, чтобы не давить больше на парня. Он видит, как медленно отъезжает его машина, старый «фэлкон». И на секунду видит тень от головы Дженис, которая сидит, напряженно пригнувшись к рулю, — кажется, должна бы уже привыкнуть к машинам, она же выросла среди них. Значит, она ждала — чего? Чтобы он вышел? Или просто смотрела на дом, возможно, чтобы увидеть Джилл? Или соскучилась по дому. Почувствовав, как дернулась щека, Кролик понимает, что улыбнулся, — улыбнулся при виде изображения флага на заднем стекле: значит, Дженис не разрешила Ставросу содрать его.

## 3

## УШЛЫЙ

«Поимели нас, поимели!»

Голос с борта «Союза-5»

Как-то раз в сентябре Кролик возвращается с работы и обнаруживает в доме мужчину. Этот мужчина негр.

— Какого черта, — произносит Кролик, остановившись в передней возле свисающих с потолка трех мелодичных трубок музыкального звонка.

— А такого черта, человече, что это революция, верно? — говорит молодой черный мужчина, не вставая с мягкого, обитого коричневой материей кресла.

Очки сверкают, как два серебряных круга, бородка вдали от света кажется чернильным пятном. Он отрастил волосы, и они образуют на его голове большущий шар, так что Кролик не сразу узнал его.

Джилл, словно струйка дыма, стремительно поднимается с кресла, обитого материей с серебряной нитью.

— Ты не помнишь Ушлого?

— Как же я могу его забыть!

Кролик делает шаг вперед, протянув для рукопожатия руку, а у самого ладонь пощипывает от страха, но Ушлый и не думает вставать, и Кролик опускает руку, не оскверненную прикосновением.

Ушлый внимательно смотрит на опущенную белую руку, выдыхая дым. Сигарета у него обычная, с табаком.

— Вот это по мне, — говорит Ушлый. — Мне по душе твоя враждебность, Чак. Как говаривали во Вьетнаме, тем и живем.

— Мы с Ушлым тут просто беседовали, — говорит Джилл: голос у нее изменился, стал более испуганным, более взрослым. — Я что, не имею на это права?

— А я думал, ты в тюрьме или еще где, — говорит Кролик, обращаясь к Ушлому.

— Его выпустили на поруки, — немного поспешно поясняет Джилл.

— Дай ему самому сказать.

Ушлый нехотя поправляет ее:

— Для точности мне давно пора обратно. Я просто не явился. И теперь, по выражению местных легавых, я в розыске. Значит, аппетит у них на меня разыгрался.

— Ему пришлось бы отсидеть два года, — говорит Джилл. — Два года ни за что — никого не ударил, ничего не украл — просто ни за что, Гарри.

— Бэби тоже не явилась?

— Бэби — она дама. — Ушлый произносит это усталым тоном человека, уточняющего детали. — Она легко заводит друзей, верно? А у меня нет друзей. Я славлюсь своим умением всех восстанавливать против себя. — И уже другим голосом, фальцетом, дрожащим от отвращения, выкрикивает: — Ах, какой пла-а-а-хой ниггер!

Кролик вспоминает, что Ушлый умеет говорить на разные голоса — и ни один из них не его настоящий голос.

И он говорит Ушлому:

— Рано или поздно тебя поймают. Это очень плохо, когда человек, отпущенный на поруки, не является. Ведь вполне возможно, что ты отделался бы условным сроком.

— Один такой у меня уже есть. Властям надоедает без конца давать условные сроки, верно?

— Но ты же ветеран Вьетнама!

— Ну ветеран — дальше что? Я, кроме того, еще и черный, и безработный, и грубиян, верно? Я хочу подорвать государство, а старина государство хоть и не сразу, но начинает соображать, кто ему друг, а кто не очень.

Кролик разглядывает игру теней на старом кресле, пытаясь нащупать верный тон. Это кресло у них со свадьбы — его принесли с чердака Спрингеров. Надо как-то положить конец этому бреду. Он говорит:

— Сейчас ты рассуждаешь хоть куда, но мне кажется, ты, парень, малость сдрейфил.

— Я тебе не парень.

Кролик поражен — это же нейтральное слово, спортсмены всегда так обращаются друг к другу. Он пытается сгладить неловкость:

— Ты сам себе вредишь. Пойди сдайся — днем раньше, днем позже, значения не имеет.

Ушлый лениво потягивается в кресле, зевает, затягивается и выпускает дым.

— Только сейчас понял, — говорит он, — у тебя же представления белого джентльмена о полиции и ее образцовой работе. А нет ничего, повторяю — ничегошеньки, что доставило бы полисменам больше удовольствия, чем повыдергать крылышки у безмозглого черного бедолаги. Сначала вырвать коготки, а потом и крылышки. Собственно, для этой священной миссии они и созданы. Содрать меня с твоей спины и швырнуть под твои вонючие ноги, так ведь?

— У нас же здесь не Юг, — говорит Кролик.

— Угу! Дружище Чак, ты никогда не думал заняться политикой? А ведь в этом округе не найдется клерка, который верил бы в то, во что ты веришь. Так знай: Юг — он везде. Мы с тобой находимся в пятидесяти милях от линии Мейсона-Диксона[[38]](#footnote-38), а в Детройте, который еще дальше на север, негритянских мальчишек расстреливают, как рыбу в садке. Знай: хлопок и сюда пришел. Начался сезон линчевания. В наших умалишенных Штатах каждый неудачник становится расистом. — Смуглая рука, вынырнув из тени, изящно мелькает и снова опускается. — Извини, Чак. Это так просто, что и объяснять неохота. Почитай лучше газеты.

— Я и читаю. Ты рехнулся.

— Система прогнила, Гарри, — вставляет Джилл. — Законы пишутся для защиты малочисленной элиты.

— Вроде тех, у кого есть собственные яхты в Стонингтоне, — говорит он.

— Один — ноль в твою пользу, — объявляет Ушлый, — верно?

Джилл вскипает.

— Ну и что, я же от этого сбежала, я это отбросила, я на это начхала, Гарри, а тебе все это по-прежнему нравится, ты все это глотаешь, жрешь мое дерьмо. И дерьмо моего отца. И всех вообще. Неужели ты не понимаешь, как тебя используют?

— Скажем, сейчас меня собираешься использовать ты. Ради него.

Она застывает, бледная как смерть. Губы превращаются в ниточку.

— Да.

— Ты с ума сошла. Меня за это самого посадить могут.

— Гарри, ну всего на две-три ночи, пока он не перехватит деньжат. У него родные в Новом Орлеане, он туда и поедет. Верно, Ушлый?

— Верно, сладкая моя. Ох, как верно.

— Его ведь арестовали не просто за то, что он курил травку, — легавые думают, что он торговец, распространитель, да они его распнут, Гарри. Честное слово, распнут.

Ушлый принимается тихонько напевать «Этот старый, грубо сколоченный крест».

— Ну, а он в самом деле торговец?

Ушлый усмехается под своим большим шаром из волос.

— Чего для тебя добыть, Чак? Снотворные таблетки, смешные горошки, красных дьяволят, багровое сердце? В Филадельфии сейчас столько Панамского красного, что его скармливают коровам. Или хочешь нюхнуть немножко гарика, чтоб как следует разобрало?

И он протягивает из глубины своего кресла бледные ладони, скрючив пальцы, точно там лежит горка разноцветной отравы.

Значит, он носитель порока. В детстве Кролик, из чистого любопытства, побуждавшего его, например, покрутить пальцем в пупке, а потом понюхать, — приподнимал металлическую крышку с мусорного бака на заднем дворе, за углом гаража, где был привинчен баскетбольный щит с кольцом. А сейчас перед ним таким же образом раскрывается этот черный — вонючий колодец, в котором не видно дна.

Гарри поворачивается к Джилл и спрашивает ее:

— Почему ты мне это навязываешь?

Она отворачивает голову, показывая профиль с длинным подбородком, который так и просится на медальон, с каким солдат идет в бой.

— Я по глупости решила, что ты можешь мне довериться. Не следовало тебе говорить, что ты любишь меня.

Ушлый принимается напевать старую песенку, «Настоящая любовь», которую когда-то, в картине «Высший свет», исполняли дуэтом Бинг Кросби и Грейс Келли.

Кролик повторяет:

— Почему?

Ушлый встает с кресла.

— Иисусе, не дай мне осквернить блевотиной влюбленных белых неврастеников. Почему? Да потому что я весь день ее трахал, верно? Если я уйду, она пойдет со мной, эй, Джилл, лапочка, верно?

Она произносит, снова сквозь поджатые губы:

— Верно.

— Да мне приплати, я тебя не возьму, сучонка похотливая, — говорит ей Ушлый. — Ушлый уйдет один. — И, обращаясь к Кролику, добавляет: — Покедова, Чак. Нужны вы мне, стручки маринованные, хотя забавно было наблюдать, как ты извиваешься, точно уж на сковородке.

Теперь, когда Ушлый встал, видно, какой он тощий и жалкий в своих джинсах и вылинявшей армейской куртке, с которой спороты нашивки. Шар из волос делает совсем маленьким его лицо.

— Пока, — с облегчением произносит Кролик, чувствуя, что у него перестало крутить в животе, и поворачивается к Ушлому спиной.

Однако Ушлый не намерен так просто уйти. Он подходит к Кролику, дыша на него чем-то пряным. И говорит:

— Вышвырни меня. Я хочу, чтоб ты сделал это своими руками.

— А я не хочу.

— Давай, давай.

— Я не желаю драться с тобой.

— Я же трахал твою девку.

— Не без ее же согласия.

— И паршивой же она оказалась сучкой. Все равно что сунуть свой болт в тиски.

— Ты его слышишь, Джилл?

— Эй, Кролик! Тебя ведь Кроликом звали, верно? Мамка твоя проститутка, верно? Она ложится со старыми черными пьянчугами позади железнодорожной станции за пятьдесят центов, верно? А если у кого нету пятидесяти центов, дает и задарма, потому как любит это дело, верно?

Мама в далеком прошлом. Запахи в ее комнате — лекарств, теплой постели. От тех лет, когда она была здорова, у Кролика осталось в памяти лишь ее крупное тело, склоненное над кухонным столом с фарфоровой столешницей, эмаль которой за многие годы протерлась в четырех местах; она не садится с ним за стол, она уже поела, она кормит его ужином, а он поздно вернулся домой с тренировки, уже темно, и в окнах уже стекла, а не сетки.

— А папка твой извращенец, верно? Да и ты, наверно, такой же, раз спокойно жрешь все это дерьмо. И жена твоя не смогла жить с извращенцем — ведь это все равно как если б тебя трахала мышь, правда? Ты и есть мышь там, внизу, эй, разве я не прав, ну-ка дай пощупать. — Он протягивает руку, Кролик отбрасывает ее прочь. Ушлый в восторге пританцовывает. — Ничего там нет, верно? Эй, Кролик, Джилл говорит, ты веришь в Бога, так у меня для тебя новость. Твой Бог — гомик. Твой белый Бог даст сто очков вперед любому черномазому педриле. Он сосет у Святого Духа и заставляет Сына смотреть. Эй, Чак! Еще одно: никакого Иисуса нет. Он был тот еще мошенник, верно? Просто римлян подкупили, чтоб они позволили вытащить из могилы его труп, потому как уж больно он вонял, верно?

— Ты добился лишь того, — говорит Кролик, — что я вижу, какой ты псих.

Но в нем нарастает, поднимаясь, сладкое чувство ярости. Перед мысленным взором возникают картины, виденные в воскресной школе: мертвец белее лилий, лиловые камни, возле которых его поцеловал Иуда.

А Ушлый приплясывает в больших, видавших виды армейских ботинках. Он ударяет Гарри в плечо, дергает за рукав белой рубашки.

— Эй! Хочешь знать, как я все это узнал? Хочешь знать? Эй, настоящий Иисус — это я. Черный Иисус, верно? Никакого другого нету-нету! Стоит мне пёрнуть — в небе молния сверкнет, верно? Ангелы только успевают собирать мои испражнения лопатами, каждая из золота в миллион карат, верно? А ну, опускайся на колени, Чак. Поклоняйся мне. Я есьм Иисус. Целуй мои яйца, ибо они Солнце и Луна, верно тебе говорю, а мой краник — комета, и голова его — огнедышащее сердце неземного совершенства, которое да будет вовеки! — И, вращая головой, словно марионетка, Ушлый расстегивает молнию, готовясь показать свое чудо.

Вот теперь он достал Кролика. Злость и страх настолько переполняют его, что все поры его раскрылись. Он с наслаждением подходит к парню и чувствует, как кулаки его погружаются, один — в область живота, другой — чуть ниже горла. Он боится ударить в лицо, а то очки могут разбиться и порезать Ушлого. А Ушлый сворачивается и хлопается на пол с сухим стуком, и когда Кролик снова хочет его ударить — ударять некуда, перед ним лишь острые углы, трясущиеся как шлифовальная машина. У Кролика начинает саднить руки. Он жаждет заставить эту тварь развернуться: ведь есть же в нем какое-то мягкое место, куда его можно поразить и убить; скрюченная спина — слишком твердая, но когда Кролик ударяет костяшками в ухо, Ушлый издает приглушенный всхлип.

Джилл кричит и изо всех сил тянет его за полу рубашки; сладостное чувство отступает, и Кролик обнаруживает, что его кисти и запястья все исцарапаны. Противник лежит, скрючившись, на полу, на ковре, за который они заплатили по одиннадцать долларов за ярд и который должен был бы продержаться дольше, чем более мягкий за пятнадцать долларов, больше нравившийся Дженис (она всегда говорила, что этот ковер напоминает ей покрытие, которое используют для миниатюрных полей для гольфа), — скрючившись умело, прижав к подбородку колени и закрыв голову руками и задвинув ее как можно дальше под диван. Джинсы задрались, и Кролика поражает, какие у парня тощие икры и щиколотки, словно две черные блестящие иглы для вязания. Люди, скроенные из нового материала. Более ноского, более равномерно стареющего. А Джилл всхлипывает:

— Гарри, хватит, хватит.

Настойчиво, уже не в первый раз, звучат три тона музыкального звонка у входной двери, но до этого никому нет дела, звуку не восторжествовать над тем, что происходит.

Дверь распахивается. На пороге стоит Нельсон в своей новой одежде для школы — полосатой спортивной рубашке и канареечно-желтых брюках. За ним — Билли Фоснахт, на голову выше Нельсона.

— Эй, — произносит с пола Ушлый. — Это Крошка Чак явился, верно?

— Это что, вор, пап?

— Мы слышали, как трещала мебель и вообще, — говорит Билли. — Мы не знали, что делать.

— Мы решили, что, если будем трезвонить в дверь, шум прекратится, — объясняет Нельсон.

Джилл говорит ему:

— Твой отец совсем перестал владеть собой.

— А почему именно я должен всегда владеть собой? — спрашивает Кролик.

Ушлый поднимается с пола, словно вылезая из пыльного ящика, осторожно выпрастывает одну ногу, затем другую и говорит:

— Я просто зашел познакомиться поближе, Чак, в следующий раз прихвачу с собой пушку.

— А я-то думал, что по крайней мере увижу один-другой прием карате, которым учат в армии, — подтрунивает над ним Кролик.

— Боюсь их применять. Могу ведь разрубить пополам, верно?

— Папа, кто это?

— Это приятель Джилл, зовут его Ушлый. Он поживет у нас пару дней.

— В самом деле?

Это спросила Джилл.

Кролик пытается понять, почему он так сказал. На костяшках его горят ссадины; от возбуждения осталось подташнивание; сквозь легкий туман, который все еще колышется вокруг него, он видит, что столик опрокинут, а лампа с основанием из дерева-плавника лежит на ковре, но в целости. Терпение и преданность вещей поражают его.

— Конечно, — говорит он. — Почему бы и нет?

Ушлый внимательно смотрит на него с дивана, на который он сел, согнувшись, пытаясь утишить боль от удара в живот.

— Чувствуешь себя виноватым, да, Чак? Маленький подарочек, чтобы смыть свои грехи, да?

— Ушлый, он же проявляет великодушие, — с упреком произносит Джилл.

— Уясни себе одно, Чак: никакой благодарности. Все, что ты делаешь, делай из эгоистических побуждений.

— Верно. Мне, может, нравится лупить тебя.

А на самом деле Кролик в ужасе оттого, что оставляет у себя этого человека. Ему же придется спать в одном с ним доме. Ночью Ушлый, сам черный как ночь, может подобраться к нему с ножом, блестящим, как луна. Он еще и оружие добудет, недаром грозил. «БЕГЛЕЦ ОТ ПРАВОСУДИЯ ДЕРЖИТ НА МУШКЕ СЕМЬЮ. *Мэр клянется, что не пойдет на сговор* ». Зачем он добровольно впустил к себе в дом опасность? Чтобы заставить Дженис прийти ему на выручку? Эти мысли, как вспышка, проносятся в голове Кролика. Нельсон подходит к чернокожему. Его запавшие глаза серьезны. Погоди, погоди. Он — отрава, он — убийца, он — черный.

— Привет, — говорит Нельсон и протягивает руку.

Ушлый вкладывает свои тощие пальцы, четыре серых карандаша одинаковой толщины как на концах, так и в середине, парнишке в руку и говорит:

— Привет, Крошка Чак. — И, кивнув на Билли Фоснахта, стоящего за спиной Нельсона, спрашивает: — А кто этот твой страхолюдный дружок?

И все, все смеются, даже Билли, даже сам Ушлый хрюкает от такой неожиданно-прозорливой характеристики — Билли действительно страхолюдный: тощая, как у отца, шея, большие уши и телячьи, как у матери, глаза, да к тому же юношеские прыщи, испещряющие его щеки и подбородок. Новый взрыв смеха окончательно убеждает Билли, что они смеются не над ним, а от облегчения, что им дарована истина, от радости братания, оттого, что они все вместе участвуют в этом смехе, — их дом сейчас стал как бы яйцом, которое они дружно тюкают изнутри клювами, а веселые трещинки разбегаются по скорлупе.

Но в постели, когда дом погружен в темноту и Билли уехал домой, а измотанный Ушлый тяжело дышит внизу на диване, Кролик снова спрашивает у Джилл:

— Почему ты мне это навязываешь?

Джилл дергает носом, поворачивается к нему лицом. Она настолько легче Кролика, что буквально скатывается к нему под бок. Часто, проснувшись утром, он обнаруживает, что она чуть не выжила его из собственной постели — ее острые локотки так и впиваются в его тело.

— Он был такой жалкий, — поясняет она. — Он только на словах буйный, а на самом деле — ничто, он действительно хочет стать черным Иисусом.

— Ты поэтому дала ему трахать себя? Или не давала?

— Вообще-то не давала.

— Значит, он соврал?

Молчание. Она еще на дюйм придвигается к нему.

— По-моему, это не считается, когда ты просто позволяешь кому-то что-то делать, а сама в этом не участвуешь.

— Значит, ты не участвовала.

— Нет, это меня не затрагивало, а словно происходило где-то за миллионы миль от меня.

— А со мной как? Так же — ты ничего не чувствуешь, настолько это далеко от тебя. Значит, на самом деле ты у нас девственница, так?

— Ш-ш. Шепотом. Нет, с тобой я кое-что чувствую.

— Что же?

Она придвигается ближе и обхватывает рукой его толстую талию.

— Ты у меня как тот большой забавный плюшевый мишка, которого подарил мне папа. Он любил привозить всякие невероятные дорогущие игрушки из магазина Шварца в Нью-Йорке, например, жирафа в шесть футов высотой за пятьсот долларов, с ними и играть-то было нельзя, они просто стояли и занимали место. Мама терпеть их не могла.

— Премного благодарен. — И он неуклюже поворачивается к ней лицом.

— А в другое время, когда ты на мне, я вижу в тебе ангела. Пронзающего меня мечом. Мне кажется, ты вот-вот о чем-то возвестишь — например, о конце света, а ты не говоришь ничего — только пронзаешь меня. И это прекрасно.

— Ты меня любишь?

— Не надо, Гарри. После тех экспериментов, когда мне явился Господь Бог, я ни на ком не могу сфокусироваться.

— И на Ушлом тоже?

— Он ужасен. Ужасен. Весь какой-то ощетинившийся — столько в нем злости.

— Тогда, ради всего святого, почему же?..

Она затыкает ему рот поцелуем.

— Ш-ш-ш. А то он услышит.

Звуки свободно проникают вниз: перегородки в доме такие тонкие. Все комнаты словно камеры единого, полного шорохов сердца.

— Потому что я должна, Гарри. О чем бы меня мужчина ни попросил, я должна ему это дать, я не заинтересована в том, чтобы что-то сохранять для себя. Понимаешь, все ведь сплавляется воедино.

— Не понимаю.

— А я думаю, что понимаешь. Иначе почему бы ты разрешил ему остаться. Ты же избил его. Чуть не убил.

— Угу, это было приятно. Я ведь думал, что потерял форму.

— Так или иначе, теперь он здесь. — Она распластывается на нем, словно на него ложится воздушный покров. Он видит сквозь нее синеющее окно, освещенное луной, оно выходит на крышу гаража — шифер со странными тенями, создающими иллюзию толщины. Джилл признается таким тихим шепотом, что ему кажется, будто он слышит ее мысль: — Он пугает меня.

— Меня тоже.

— Одна половина меня хотела, чтобы ты его вышвырнул. Даже больше, чем половина.

— Ну, если он новый Иисус, — и Кролик улыбнулся, хотя Джилл этого не видела, — не помешает оказать ему небольшую услугу.

Тело ее расширяется, словно растянутое улыбкой. Теперь уже ясно, что предательство и волнения, пережитые за этот день, должны быть преданы забвению с помощью любви. Кролик берет в руки ее голову, гладит выпирающие бугорки за раковинами ее ушей, держит в ладонях всю эту округлую чашу, в которой запечатан дух. Зная, что она откликнется на любовный зов, он отчетливо видит дальнейшее — так же отчетливо, как вырисовываются очертания всего окружающего перед снегопадом. Он тоже хочет внести изменения в обычный ритуал:

— К тому же Дженис ведь в последнее время отступала от правил, вот и я решил отступить.

— Чтобы отплатить ей той же монетой?

— Чтобы не отставать от нее.

Набор шел узкой колонкой:

Осуждены за хранение наркотиков

В четверг девять местных жителей — восемь мужчин и одна женщина — были приговорены каждый к шести месяцам тюрьмы за хранение марихуаны.

Обвиняемые, представшие перед судьей Милтоном Ф. Шоффером, были задержаны полицией во время облавы в «Уголке Джимбо» на Уайзер-стрит 29 августа, рано утром.

Женщине, мисс Беатрис Грин, известной в местном эстрадном мире под именем Бэби, дали год условно, как и четверым из задержанных мужчин. Дела двух несовершеннолетних переданы в соответствующие судебные органы.

Десятый ответчик Хьюберт X. Фарнсуорт не явился в суд и лишен права на возмещение суммы залога. Выдан ордер на возмещение суммы залога. Выдан ордер на его арест.

Владелец «Уголка Джимбо» мистер Тимоти Картни из Пенн-

Уши Кролика уже привыкли улавливать, когда Пайясек подходит к нему сзади, чтобы позвать к телефону. В его поступи есть что-то усталое и одновременно грозное, а в дыхании саркастическая заботливость.

— Энгстром, а не переставить ли нам твой линотип ко мне в кабинет. Или установить прямо тут телефонную розетку.

— Я ее так отлаю, Эд. Это в последний раз.

— Не нравится мне, когда личная жизнь мешает работе.

— Мне это тоже не нравится. Говорю тебе: я ей скажу.

— Скажи, Гарри. Скажи ради доброй старушки «Верити». Мы тут одна команда, и, чтобы соперники нас не сломали, нам всем надо очень стараться, давай не подводить друг друга, что скажешь?

Войдя в закуток из стеклянных матовых стен, Кролик произносит в телефон:

— Дженис, это наш последний разговор по телефону. Больше я к аппарату не подойду.

— А я тебе и звонить больше не стану, Гарри. После этого звонка мы будем общаться только через адвокатов.

— Как это?

— Как это? А вот так это.

— Как же это? Прекрати. Говори только по делу, ладно? А то мне надо возвращаться к машине.

— Ну, во-первых, за все время, что я здесь торчу, ты ни разу мне сам не позвонил, а во-вторых, мало было тебе этой хиппи, так ты взял в дом еще и чернокожего, ты просто невероятный человек, Гарри, мама всегда говорила: «Он не вредный, просто он имеет такое же представление о морали, как скунс, а может, и того меньше», и она была права.

— Он у нас всего на пару дней — нужно было помочь, ситуация скорее забавная.

— Еще бы не забавная. Обхохочешься! А твоя мать об этом знает? Я думаю позвонить ей и рассказать.

— А тебе-то кто рассказал? Он ведь не выходит из дома.

Кролик надеется своим рассудительным тоном немного остудить ее, и она действительно слегка отпустила удила.

— Пегги Фоснахт. Она сказала, что Билли приехал домой с выпученными глазами. Билли рассказал, что этот тип лежал в гостиной на полу и первым делом обозвал Билли.

— Он вовсе его не обзывал — просто хотел пошутить.

— Ну, хотела бы я научиться шутить. Очень бы хотела. Я встречалась с адвокатом, и мы подаем просьбу о том, чтобы мне немедленно передали Нельсона. Развод последует. Поскольку ты виновная сторона, ты сможешь снова жениться только через два года. Вот так, Гарри. Мне очень жаль. Я считала нас людьми более зрелыми, до чего же мне ненавистен был этот адвокат, и вообще все слишком мерзко.

— Угу, что ж, таков закон. Он служит интересам правящей элиты. Больше власти народу.

— По-моему, ты рехнулся. Честно, я так считаю.

— Эй, что ты имела в виду, когда сказала, что ты там торчишь, а от меня ни слуху ни духу? Мне казалось, ты сама этого хотела. Разве Ставрос не торчит там с тобой?

— Ты мог бы по крайней мере хоть немножко побороться за меня, — всхлипнув, произносит она и с шумом втягивает воздух между рыданиями. — Ты такой слабак, такой приспособленец, — с трудом выдавливает она и издает совсем уж животный звук, что-то между воркованьем и хрипом, словно выпуская из себя весь воздух.

— Поговорим потом, — говорит он, — позвони мне домой, — и вешает трубку, затыкая тем самым извержение слез.

Парка в разговоре по телефону с корреспондентом «Вэт» выразил возмущение и строгое порицание наркомании.

В момент ареста мистера Картни не было в здании.

Некоторое время ходили слухи, что это хорошо известное ночное заведение и место сборищ продается синдикату «черных капиталистов».

Во время перерыва на кофе к Кролику подходит Бьюкенен. Кролик нащупывает свой бумажник и при этом думает, повысится ли ставка. Инфляция. Помощь иностранным государствам. Социальное обеспечение. Если ставка повысится, он откажет. Если Бьюкенен попросит больше двадцатки, пусть отправляется протестовать на улицы. Однако Бьюкенен протягивает ему две десятидолларовые бумажки, не те же самые, но все равно настоящие.

— Друг Гарри, — говорит он, — никому не позволяй говорить, что черные не платят долгов. Я обязан тебе тысячу и один раз: твои две десятки сотворили чудо. Представляешь, сорвал банк два раза подряд? Я сам не мог поверить, да и никто не мог поверить, все эти придурки сделали ставки во второй раз так, точно завтра уже не будет. — И он сует деньги в руку Кролику, которая не сразу их берет.

— Спасибо, э-э, Лестер. Я вообще-то не думал...

— Не ожидал, что я верну?

— Ну, не так скоро.

— Иной раз один человек оказывается в нужде, иной раз — другой. Распространи это на всех — разве не этому учат нас великие люди?

— Наверное, да. Я что-то давненько не беседовал с великими.

Бьюкенен из вежливости хмыкает, раскачиваясь на пятках, что-то прикидывая, перекатывая зубочистку в губах под усами не толще самой зубочистки.

— Дошел до меня слух, тебе так туго приходится, что ты даже берешь постояльцев.

— Ах это. Ну, это ненадолго и не по моей инициативе.

— Могу поверить.

— М-м... я б не хотел, чтобы слух об этом пошел гулять.

— Да и я тоже.

Надо как-то сменить тему.

— А как там Бэби? Снова в деле?

— Какое дело ты имеешь в виду?

— Ну, какое — пение. Я имею в виду после облавы и суда. Я только что набирал материал об этом.

— Я знаю, что ты имеешь в виду. В точности знаю. Приходи в «Уголок Джимбо» в любой вечер на неделе, можешь поближе с ней познакомиться. Мнение Бэби о тебе здорово повысилось, это я тебе говорю. Впрочем, она сразу к тебе прикипела.

— Угу, о'кей, отлично. Может, как-нибудь и загляну. Если сумею найти няньку.

Мысль о посещении «Уголка Джимбо» пугает Кролика, как и мысль оставить Нельсона, Джилл и Ушлого в доме без присмотра. Он все глубже погружается в эту преисподнюю, которую раньше видел лишь из автобуса. Бьюкенен сжимает ему плечо.

— Уж мы что-нибудь устроим, — обещает негр. — Дассэр. — Рука крепче сжимает плечо, словно пропечатывая пальцы сквозь синюю робу Гарри. — Джером просил меня выразить тебе особую благодарность.

Джером?

Часы с желтым циферблатом тикают, звенит звонок, оповещая о конце перерыва. Возвращаясь последним к своей машине, Фарнсуорт проходит между ярко освещенных макетных столов, такой черный, что кожа даже мерцает. Он откидывает бритую голову, вытирает капли виски с губ и посылает Гарри ослепительную улыбку. Прямо братья, да и только.

Кролик выходит из автобуса сразу за мостом и идет вдоль реки по старым, застроенным кирпичными домами районам, отягощенным большими зелеными дорожными знаками. Домофон Пегги Фоснахт откликается жужжанием, и когда Кролик выходит из лифта, она стоит в дверях в бесформенном синем халате.

— Ах, это ты, — говорит она. — А я-то думала, что это Билли снова потерял свой ключ.

— Ты одна?

— Да, но, Гарри, Билли вот-вот вернется из школы.

— Я всего на минутку.

Она впускает его, плотнее запахиваясь в халат. А он пытается прикрыть свое появление небольшой любезностью.

— Как ты?

— Справляюсь. А ты как поживаешь?

— Справляюсь. С трудом.

— Хочешь чего-нибудь выпить?

— Так рано?

— Я как раз собралась выпить.

— Нет, Пегги, спасибо. Я всего на минутку. Мне нужно понять, что там затевается у меня за спиной.

— Довольно много всякого, как я слышала.

— Вот по этому поводу я и хотел кое-что сказать.

— Сядь, пожалуйста, а то я совсем шею себе свернула. — Пегги берет сверкающий стакан, полный пузырчатой жидкости, с подоконника того окна, что смотрит на Бруэр, кирпичное болото у подножия горы, западная сторона которой освещена солнцем. Она отпивает немного, и глаза ее разъезжаются в стороны. — Тебе не нравится, что я пью. А я только что вылезла из ванны. Я часто принимаю ванну днем, проведя все утро с юристами и прошагав по улицам в поисках работы. Все хотят секретарш помоложе. Люди, должно быть, не понимают, почему я не снимаю солнечные очки. А я возвращаюсь домой, сбрасываю всю одежду, забираюсь в ванну, медленно пью чего-нибудь и смотрю, как от пара тают льдинки.

— Звучит мило. Так вот я хотел сказать...

Она стоит у окна, приподняв одно бедро; пояс на халате неплотно завязан, и хотя она всего лишь тень на фоне ярко освещенного белесого неба, он видит, чувствует, словно проводит языком, ложбинку меж ее грудей, наверняка еще влажную после ванны.

— Так ты хотел сказать... — напоминает ему она.

— Я хочу просить тебя об одолжении: можешь помалкивать насчет негра, который живет с нами и которого видел Билли? Мне сегодня звонила Дженис, и, насколько я понимаю, ты уже все доложила ей, но это не страшно, если ты способна на этом остановиться: я не хочу, чтобы все знали. Не говори Олли, если ты ему уже не сказала. Есть проблема с законом, иначе я бы не волновался. — Кролик беспомощно разводит руками: не следовало этого говорить, но он уже сказал.

Пегги делает несколько шагов к нему, спотыкаясь либо от выпитого, либо оттого, что хочет сохранить соблазнительную позу с приподнятым бедром, или же потому, что у нее все двоится в глазах, и говорит:

— Должно быть, она уж очень хороша в постели, раз ты пошел на такое ради нее.

— Девчонка? Да нет, и вообще обычно мы с ней существуем, так сказать, на разной волне.

Она отбрасывает с лица волосы резким движением, от которого лацкан халата оттопыривается, открывая одну грудь; она пьяна.

— Попробуй настроиться на другую волну.

— Угу, я бы с радостью, но дело в том, что сейчас я слишком боюсь брать на себя еще какие-либо обязательства, да и Билли вот-вот придет домой.

— Иногда он часами торчит в «Бургер-мечте». Олли считает, что у него появились плохие привычки.

— Угу, а как он, старина Олли? Вы с ним совсем не встречаетесь?

Она опускает руку, и халат снова закрывает ее грудь.

— Он иногда заглядывает, и мы трахаемся, но это, похоже, нас не сближает.

— Наверняка сближает — просто он никак этого не выражает. Ему слишком неловко оттого, что он причинил тебе боль.

— Это тебе было бы неловко, а Олли не такой. Ему никогда не придет в голову, что он виноват. Он чувствует себя артистом — он ведь может играть почти на любом инструменте. А как человек — хладнокровный мерзавец.

— Ну, я тоже хладнокровный.

Кролик в панике поднялся со стула: она сделала еще один шаткий шаг к нему.

Пегги говорит:

— Дай мне твои руки. — Глаза ее рыщут по нему, вокруг него. В лице ничего не меняется; она берет его за свисающие вдоль тела руки, поднимает их и прижимает к груди. — Они такие теплые.

Кролик думает: «А сердце холодное». Она сует его левую руку к себе под халат и прижимает к груди. Он видит перед собой вскрытые внутренности, вываливающийся коровий желудок; ее грудь не умещается между его пальцев, сосок — как гвоздь, как круглый леденец, прилипший к ладони. Глаза Пегги закрыты — веки испещрены венами, в уголках глаз сеть морщинок, и она произносит нараспев:

— Ты не холодный, ты теплый, ты теплый человек, Гарри, хороший человек. Тебе причинили боль, и я хочу эту боль утишить, хочу помочь тебе залечить рану, делай со мной что захочешь.

Она произносит это, словно для самой себя, быстро, тихо, но он стоит так близко, что все слышит; ее дыхание ударяет ему в горло. Он чувствует ладонью биение ее сердца. Лоб у нее в морщинах, и тело, не прикрытое халатом, — чужое, все в буграх, словно лоб быка, но под влиянием выпитого Пегги находится в том состоянии, когда тело другого человека становится ее телом, телом, которым мы втайне любуемся в зеркале и которым согреваем свою постель, и Кролик приобщен к этому телу ее любви и вопреки всем помыслам и желаниям набухает нежностью, чувствует, как внизу его живота начинается шевеление.

Пытаясь удержаться, он говорит:

— Вовсе я не хороший.

Но уже катится по наклонной плоскости и разжимает руку, держащую ее грудь, чтобы ее передвинуть.

А Пегги твердит:

— Ты хороший, ты чудесный, — и возится с его молнией.

Свободной рукой Кролик отбрасывает борт ее халата, высвобождая другую грудь, и халат падает на пол.

На лестнице с грохотом захлопывается дверь лифта. К их двери приближаются шаги. Они отскакивают друг от друга; Пегги снова запахивает на себе халат. На сетчатке Кролика остается отпечаток кустистого треугольника шире его ладони, под белым, как кристалл, животом с серебристыми дорожками. Шаги проходят мимо. Любовники облегченно вздыхают, но наваждение прошло. Пегги поворачивается к нему спиной, завязывает пояс.

— Значит, ты поддерживаешь связь с Дженис, — говорит она.

— В общем, нет.

— А откуда же ты узнал, что я рассказала ей про черного?

Странное дело: все без труда произносят «черный». Или искренне ненавидят войну. У Кролика, должно быть, не все в порядке. Лоботомия. Он чувствует спазму в мочевом пузыре, как всегда, когда виноват. Надо бежать домой.

— Она позвонила мне и сообщила, что юрист начинает бракоразводный процесс.

— Ты расстроен?

— Пожалуй. В общем, да. Конечно.

— Наверное, я полная тупица, но я никогда не понимала, почему ты терпел Дженис. Она никогда не была под стать тебе, никогда. Я люблю Дженис, но другой такой инфантильной и нечуткой женщины я, по-моему, не встречала.

— Ты говоришь, как моя мать.

— Это что, плохо?

Она делает пируэт, волосы ее взлетают. Кролик никогда не видел Пегги такой неожиданно мягкой, такой женственной. Даже взгляд ее он может поймать. Забывая о возможности появления Билли за его спиной, Кролик игриво проводит тыльной стороной ладони по ее соскам.

— Может, ты и права. Надо нам попытаться проверить наши волны.

Пегги вспыхивает, отступает, лицо становится каменным, словно она вдруг увидела в зеркале слишком неприглядное свое изображение. Она так резко стягивает на себе голубой махровый халат, что даже сгорбливается.

— Если ты хочешь как-нибудь вечером пригласить меня на ужин, — говорит она, — я готова. — И раздраженно добавляет: — Но цыплят по осени считают.

Скорее, скорее. Автобуса нет целую вечность, Эмберли-стрит кажется бесконечной. Однако его дом, третий от конца Виста-креснт, низенький, новый и уныло зеленый, стоящий на лужайке в четверть акра, заросшей подорожником, — цел и невредим, а кругом такие же малонаселенные дома, ничем не нарушающие навязчивого единообразия. И оттого, что черное пятно внутри его дома не отражается, как в зеркале, в этих домах-близнецах, у Кролика появляется нелепая надежда на то, что его там нет. Но, поднявшись по трем ступенькам крыльца и войдя в дверь с тремя окошками лесенкой, Кролик видит в гостиной, направо от себя, сзади — диван они переставили задом наперед — кустистый черный шар между золотистым конусом головки Джилл и прямоугольной массой черных, как у Дженис, волос Нельсона. Они смотрят телевизор. Ушлый, по-видимому, починил эту штуку. Ведущий, бледный как мертвец из-за слишком яркой настройки, двигая губами быстро, как вампир, так как надо выдать слишком много новостей в промежутках между слишком большим количеством рекламы, говорит: «...после пятилетнего пребывания в изгнании на коммунистической Кубе, в различных африканских странах и в коммунистическом Китае, сегодня прибыл в Детройт и был мгновенно взят под стражу поджидавшими его агентами ФБР. Продолжая расовую тему, сообщаем, что Комиссия по гражданским правам резко обвинила администрацию Никсона — цитирую — в «существенном отступлении» от программы школьной интеграции в южных штатах. В Фейетте, штат Миссисипи, три белых куклуксклановца были арестованы за попытку подложить бомбу в супермаркет, принадлежащий недавно избранному черному мэру Фейетта Чарльзу Эверсу, брату недавно убитого лидера движения за гражданские права. В Нью-Йорке представители епископальной церкви отказались поддержать собственное спорное решение предоставить двести тысяч долларов лидеру черной церкви Джеймсу Формену, требовавшему пятьсот миллионов долларов в порядке — цитирую — «возмещения ущерба», причиненного христианскими церквами Америки — цитирую — «за три столетия унижений и безнадежной эксплуатации» — конец цитаты. В Хартфорде, штат Коннектикут, и в Камдене, штат Нью-Джерси, установился неспокойный мир после волнений, происшедших на прошлой неделе в районах проживания черных в этих городах. А теперь важное сообщение».

— Привет, привет, — произносит Кролик, на которого никто не обратил внимания.

Нельсон поворачивается к нему и говорит:

— Эй, пап! Роберт Уильямс вернулся в страну.

— А кто, черт побери, этот Роберт Уильямс?

— Это тот, Чак, кто подпалит твою задницу, — говорит Ушлый.

— Еще один черный Иисус. Сколько же вас, таких?

— Восстанут многие лжепророки, — говорит ему Ушлый, — и так ты узнаешь о моем пришествии, верно? Так сказано в истинной книге, верно?

— Там сказано также: Он пришел и ушел.

— И снова придет, Чак. И подпалит твою задницу. Твою и Никсона, верно?

— Бедный старина Никсон, даже собственные комиссии отбиваются от рук. Но что, черт побери, может он сделать? Не может же он побывать в каждом гетто и сам наладить канализацию. Не может он дать каждому, кто попался на наркотиках, миллион долларов и ученую степень в придачу. Никсон, кто такой Никсон? Типичный плоскостопый представитель Торговой палаты, которому посчастливилось занять тепленькое местечко, и он настолько туп, что думает, будто ему жуть как повезло. Оставим беднягу в покое, он пытается довести нас скукотой до смерти, так что нам и самоубийством кончать не придется.

— Никсон — дерьмо. Эта белая обезьяна прошла туда голосами белых южан, верно? Штурмовики — вот кто в его вкусе. Он Ирод, и всем нам, черным крошкам, лучше в это поверить.

— Черные крошки, черные лидеры, Иисусе, меня тошнит от слова «черный». Если бы я произносил «белый» в восемьдесят раз реже, чем ты произносишь «черный», ты бы орал до посинения. Ради всего святого, забудь ты о цвете своей кожи.

— Я забуду, когда ты забудешь, верно?

— Господи, да я бы с радостью забыл не только цвет твоей кожи, но и все, что находится под ней. Мне казалось, три дня назад ты говорил, что через три дня выедешь отсюда.

— Пап, не надо!

Лицо у мальчишки напряженное. Мама права: слишком он нежный, слишком нервный. Считает, что мир непременно причинит ему боль, так оно и будет. Инстинкт уничтожения слабых универсален.

Джилл поднимается, вставая на защиту этих двоих. Трое против одного. Кролик предельно возбужден. И, делая обманный финт, уклоняясь от прямого столкновения, успевает опередить Джилл:

— Скажи более темному из своих дружков, что, по-моему, он обещал съехать, как только добудет деньжат. У меня тут есть двадцатка, могу ему дать. Кстати, я еще кое-что вспомнил.

Ушлый, перебивая его, произносит в воздух:

— Обожаю, когда он такой. Вот это мужик!

Джилл наконец удается вставить:

— Мы с Нельсоном отказываемся жить в такой склочной атмосфере. Мы хотим сегодня после ужина устроить дискуссию. В этом доме ощущается настоятельная потребность провести образовательный курс.

— Этот дом, — произносит Кролик, — я бы назвал лагерем беженцев. — И задает пришедший ему на ум вопрос: — Эй, Ушлый! У тебя есть фамилия?

— Икс, — говорит ему Ушлый, — Икс — сорок два.

— А не Фарнсуорт?

Ушлый словно остается без панциря и секунду лежит бесформенной массой, потом снова обретает жесткую оболочку.

— Этот Супер-Том, — решительно заявляет он, — не имеет ко мне никакого отношения.

— В «Вэте» ты упомянут под фамилией Фарнсуорт.

— «Вэт», — кончиками губ произносит Ушлый, — фашистская подтирка.

Забросив мяч, ты опускаешь голову и бежишь назад от кольца, но с чувством, что этот удар так просто не зачеркнешь.

— Я спросил на всякий случай, — с улыбкой говорит Кролик и потягивается. — Кто хочет пива, кроме меня?

После ужина Нельсон моет посуду, а Ушлый ее вытирает. Джилл приводит в порядок гостиную для проведения дискуссии; Кролик помогает ей вернуть диван на прежнее место. На полках, отделяющих гостиную от закутка для завтрака — они с Дженис держали эти полки пустыми, — Кролик замечает сейчас стопку потрепанных карманных изданий с потрескавшимися оттопыривающимися переплетами и загнутыми страницами. «Избранные сочинения У.И.Б. Дюбуа», «Пасынки земли», «Душа во льду», «Жизнь и эпоха Фредерика Дугласа» и так далее, книги по истории, марксизму, экономике — все, что вызывает у Кролика тошноту, подобную той, какая возникает у него, когда он думает о хирургических операциях или обо всех этих канализационных и газовых трубах, что проложены под улицей.

— Это книги Ушлого, — поясняет Джилл. — Я сегодня ходила за ними в «Уголок Джимбо», за его одеждой тоже. Все хранилось у Бэби.

— Эй, Чак, — кричит ему Ушлый, стоя у мойки, за полками, — знаешь, откуда у меня эти книги? Из Вьетнама, из книжной лавки на базе Лонгбин. В этой твоей психопатной армии любят, чтоб мы читали. Приучают нас читать, стрелять, от марихуаны кайф ловить, нюхать героинчик — это ж для черного лучший друг. Ну как им не верить! — И он щелкает полотенцем — хлоп!

Не обращая на него внимания, Кролик спрашивает Джилл:

— Ты ходила туда? Там же полно полиции, тебя легко могли выследить.

Ушлый кричит из кухни:

— Да не волнуйся ты, Чак, эти несчастные легаши охотятся за неграми покрупнее меня. Ты ведь знаешь, что было в Йорке, верно? После того что произойдет в Бруэре, Йорк покажется благотворительным балом! — Хлоп!

Нельсон, моя рядом с ним посуду, спрашивает:

— И всех белых перестреляют?

— Перво-наперво больших, старых и некрасивых. Держись подальше от этого страхолюдного Билли, прилепись ко мне, Крошка Чак, и все будет в порядке.

Кролик наугад берет с полки книжку и читает:

Правительство существует для того, чтобы вести народ по пути прогресса, а не для удобства аристократов. Промышленность должна способствовать благосостоянию рабочих, а не обогащению хозяев. Цивилизация должна способствовать культурному росту рабочих масс, а не только интеллектуальной элиты.

Прочитанное пугает его, как в свое время пугали музеи, когда в школьную программу входило водить туда детей, смотреть на мумию, гниющую в золотом саркофаге, и на резной слоновий бивень, по которому бежит сотня косоглазых китайцев. Немыслимо далекие жизни, бездны существования хуже того слепого и безымянного, что ползает по дну океана. Многое в книге подчеркнуто Ушлым. Кролик читает:

Проснись, проснись, собери все свои силы, о Сион! Отбрось слабость миссионеров, которые проповедуют не любовь и не братство, а главным образом умение получать прибыль с капитала, нажитого разбойничьим путем с твоей земли и твоего труда. Проснись, Африка! Облачись в прекрасные одежды панафриканского социализма.

Кролик с чувством облегчения ставит на место книгу. Таких одежд не существует. Все это ерунда.

— Так о чем будем беседовать? — спрашивает он, когда они садятся вокруг скамьи сапожника.

— Ушлый, Нельсон и я говорили об этом сегодня после школы, — произносит Джилл, нервничая и краснея, — и мы считаем, что поскольку существует такая мучительная проблема недопонимания...

— Значит, в этом дело? — спрашивает Кролик. — Может, мы слишком хорошо понимаем друг друга.

— ...конструктивная дискуссия могла бы оказаться полезной и сыграть просветительную роль.

— Кого надо просвещать, понятно — меня, — говорит Кролик.

— Не обязательно именно тебя. — Джилл так тщательно подбирает слова, что Кролику становится ее жалко. «Ей слишком тяжело с нами», — думает он. — Ты старше нас, и мы уважаем твой опыт. Мы все считаем, так мне кажется, твоя проблема в том, что ты никогда не имел возможности сформулировать свою точку зрения. Из-за того, что Америка — страна конкуренции, тебе слишком быстро приходилось переводить все в действие. Ты ничего в жизни не продумывал — действовал инстинктивно, а когда инстинкты подводят тебя, перестаешь доверять чему бы то ни было. Это делает тебя циником. А цинизм, как известно, это уставший прагматизм. В определенный момент прагматизм здесь очень был нужен — в период освоения страны, в период Фронтира[[39]](#footnote-39), он сработал, ценой больших потерь и жестокостей, но сработал.

— Благодарю тебя, — говорит Кролик, — от имени Дэниела Буна[[40]](#footnote-40).

— Неверно ведь, — мягко продолжает Джилл, — называя американцев эксплуататорами, забывать, что прежде всего они эксплуатируют самих себя. Вот ты, — произносит она, подняв к Кролику лицо, созвездие из глаз, веснушек и ноздрей, — ты никогда не позволял себе задуматься, разве что над техническими проблемами, связанными с баскетболом и печатанием, где ты занимался самоэксплуатацией. Ты тащишь за собой старого Бога и воинственный старый патриотизм. А теперь еще и старую жену. — Кролик набирает в легкие воздуха, чтобы возразить, но Джилл жестом останавливает его, прося дать ей закончить. — Ты приемлешь все это как нечто священное не из любви или веры, а из страха; твой мыслительный процесс застыл, поскольку стоило твоим инстинктам подвести тебя, как ты поспешно пришел к выводу, что все — ничто, что ноль — вот настоящий ответ. Мы, американцы, все так считаем — выиграй или проиграй, все или ничего, убей или умри, потому что мы никогда не даем себе роздыху, во время которого мы могли бы подумать. А сейчас, понимаешь ли, надо думать, потому что одного действия недостаточно, потому что действие, не подкрепленное мыслью, приводит к насилию. Как мы это видим во Вьетнаме.

Наконец Кролику удается вставить слово:

— Во Вьетнаме процветала жестокость еще прежде, чем мы услышали, что существует такая страна. Уже потому, что я сижу здесь и слушаю весь этот вздор, ты можешь понять, что я в основе своей пацифист. — И, указав на Ушлого, добавляет: — Вот кто стоит за насилие, вот этот сукин сын.

— Но ты же понимаешь, — произносит Джилл тоном увещевательным и одновременно сварливым, с легким оттенком издевочки, как она обычно разговаривает с ним в постели, — что Ушлый вызывает у тебя раздражение и страх, потому что он для тебя закрытая книга — я имею в виду не историю его жизни, а историю его расы, того, как он сюда попал. То, что тебя пугает — как, например, бунты и социальное обеспечение, — с твоей точки зрения, появилось на страницах газет ни стого ни с сего, вдруг. Вот мы и решили, что надо сегодня немножко поговорить, устроить своего рода семинар по истории афроамериканцев.

— Пожалуйста, пап, — говорит Нельсон.

— О Господи, о'кей. Бейте меня. Мы зверски измывались над рабами, и только почему-то немногие американские негры готовы расстаться со своими «кадиллаками» и, прошу прощения, цветными телевизорами и двинуть назад в Африку.

— Пап, не надо.

— Забудем про рабство, Чак, — произносит Ушлый. — Это было целую вечность тому назад, все так или иначе через это прошли, и оно вообще было типично для сельской местности, верно? Хотя, должен сказать, чем хуже оно пахло, тем крепче вы за него держались, верно?

— Мы обладали большей территорией.

— Не кипятись, сиди спокойно. Никаких споров, хорошо? Вам ведь нужен был хлопок, верно? А кого, кроме черных, заставить подыхать, обрабатывая эти гнилые хлопковые поля, верно? Так или иначе, в результате вы получили войну. На Севере у вас были эти психопаты-агитаторы вроде Гаррисона и Брауна[[41]](#footnote-41), а на Юге — компания сверхбелых вроде Янси и Ретта, которые решили, что если отколются, то отхватят себе кусок пожирнее, но самое смешное, — и он хмыкает, пыхтит, Кролик представляет себе его с бритой головой и видит перед собой Фарнсуорта, — что они просчитались: Конфедерация посадила их на корабль и отправила подальше, а затем провела выборы и у руля власти поставила надежных и покорных! То же произошло и на Севере с ребятами вроде Самнера. Когда дело доходит до выборов, народ боится идейных, верно? А знаешь ли ты — представим себе, что не знаешь, — что парень по имени Раффин, умница дальше некуда, — кстати, это он изобрел современную систему сельского хозяйства, ну, или почти, — так ненавидел янки, что первым пальнул из пушки в форте Самтер[[42]](#footnote-42), а когда Юг проиграл, пустил себе пулю в лоб? Люди больших страстей. Красиво, да? В общем, Линкольн получил войну, так, и вел ее сразу из нескольких ложных побуждений. Ну что, к примеру, священного в Союзе, просто синдикат власти, верно? А под влиянием другого ложного побуждения он освободил рабов, и дело было сделано. Бог да хранит Америку, верно? Вот тут я начинаю беситься.

— Ну и бесись, Ушлый, — говорит Кролик. — Кто хочет пива?

— Я, пап.

— Только половинку.

— Мы с ним разопьем банку на двоих, — говорит Джилл.

— Это питье отравляет душу, — говорит Ушлый. — Не возражаете, если я запалю косячок из своих запасов?

— Это запрещено законом.

— Верно, верно. Но все курят. Вы думаете, жирные коты в Пенн-Парке потягивают мартини, когда вечером приезжают домой? Это вчерашний день. Они курят травку. Честно, теперь больше курят травку, чем жуют жвачку. Во Вьетнаме ее давали ребятам на сладкое.

— О'кей. Закуривай. Очевидно, мы до этого уже дошли.

— Нам еще далеко идти, — говорит Ушлый и готовит закрутку: достает из недр дивана, на котором он спит, резиновый кисет и тонкую желтую бумагу, по которой быстро проводит своим толстым светлым языком, затем скручивает концы. Когда он подносит к ней огонь, закрученный конец загорается. Ушлый жадно всасывает в себя дым, задерживает дыхание, будто готовится нырнуть на глубину, и затем, рыгнув, наконец выпускает сладкий дым. Он протягивает закрутку влажным концом Кролику:

— Попробуешь?

Кролик отрицательно качает головой, не спуская глаз с Нельсона. А мальчишка смотрит блестящими, как у птицы, глазами на Ушлого. Возможно, Дженис права: он позволяет парню видеть слишком многое. Но ведь не он же ушел из дома. А жизнь — это жизнь, и придумал ее Бог, не он. Тем не менее Кролик смотрит на Нельсона, опасаясь, как бы его присутствие в комнате не было сочтено благословением. Кролик говорит Ушлому:

— Продолжай же свою песню. Итак, Линкольн выиграл войну из ложных побуждений.

— А потом его пристрелили, верно? — Ушлый передает закрутку Джилл.

Беря ее, Джилл взглядом спрашивает Кролика: «Так ты этого хочешь?» Она держит ее со знанием дела — не как сигарету с табаком, которой размахивал бы Фред Астер[[43]](#footnote-43), а почтительно, словно это лакомство, всеми пальцами, поднося к губам влажный конец, будто сосок. Худенькое личико становится умиротворенным, мечтательно расплывается.

А Ушлый продолжает:

— Итак, в условиях издыхающей экономики у вас на руках оказалось четыре миллиона освобожденных рабов, не имеющих ни собственности, ни работы и считающих, что настали блаженные дни. Зеленые пастбища, верно? Сорок акров и мул, верно? Будь они прокляты, стручки маринованные, Чак. Больно думать, как эти несчастные ниггеры заглотили наживку. Они стали учиться читать, они ломали себя ни за грош, они посылали своих лучших людей в этот говеный Ссенат Ссэ-шшэ-эаа, они создали законодательное собрание, благодаря которому в Дикси[[44]](#footnote-44) появились первые общедоступные школы — а как обстоит с этим сейчас? Подходящий факт для твоего просвещщенния, верно? Джилл, лапочка, верни мне закрутку, ты докуришься до того, что взлетишь на луну, это ж чистая дурь, без табака. И все это время, Чак и Крошка Чак, белые южане бесились от злобы и обзывали наших черных героев «обезьянами». Ничего другого они не могли себе позволить, пока им угрожали армии Севера, верно? Бабуины, обезьяны, макаки — так назвали этих добрых, черных, полных надежды людей, попытавшихся расправить плечи и поверивших, что наконец они станут полноценными гражданами в этих Умалишенных Штатах Америки.

С лица Ушлого слетает презрительное выражение, оно сморщивается, точно он вот-вот заплачет. Он снимает очки. Протягивает руку, чтобы взять закрутку у Джилл, не спуская взгляда с лица Кролика. А Кролик застыл, мысли его стремительно бегут. Нельсон. Надо уложить мальчишку в постель. Слишком много он видит. Слушая Ушлого, Кролик чувствует, как его собственное лицо обмякает, растягивается. Пиво кажется горьким, отзывает солодом. А Ушлому хочется плакать, кричать. Он сидит на краю дивана и так отчаянно жестикулирует, что кажется, руки сейчас оторвутся. Он совсем обезумел.

— Как поступал Юг? Называл черного бабуином, линчевал его, и порол, и отбирал последние гроши, и благодарил своего белого Иисуса за то, что подохших черных не надо больше кормить. А как поступил Север? Отключился. Вышел из игры. Напряг все свои силы для войны и теперь радостно погрузился в такую необъятную трясину алчности, наживы, и эксплуатации, и отравления атмосферы, и строительства трущоб, и истребления индейцев, какого эта бедная старая планета-потаскуха еще никогда не видела, верно? Не засыпай, Чак, сейчас будет самое интересное. Южные задницы собираются вместе с северными задницами и говорят: «Давайте заключим сделку. На кой нам бес эта демократия, лучше установим долларократию. Чего нам так далась эта идея — свобода против рабства? Капитал против труда? Вот где собака зарыта, верно? Эта несчастная проститутка, наша страна, — все равно что огромная банка варенья, на всех хватит, друзья. Вы оседлайте своих черных работяг, а мы оседлаем наших белых иммигрантов и всяких там желтых косоглазых и — у-у-у-х! — аллилуйя, верно? Так было выкинуто на помойку Бюро по делам освобожденных, и белые всадники, лихо резавшие на куски цветных девчонок с младенцами внутри, пригнали назад губернаторов из военных, и Тилдену[[45]](#footnote-45) не дали стать президентом, подтасовав результаты голосования, что признается во всех книгах по истории, написанных, кстати, белыми. Ну, сам можешь посмотреть, верно? Вот тогда-то и случилась революция 1876 года. Для черного человека настоящая боль — это восемьсот семьдесят шестой год, а за сто лет до того драчку затеяли английские джентльмены, не желавшие платить пошлины»[[46]](#footnote-46). — Ушлый снова надел очки — стекла поблескивают сквозь голубоватый дымок. Голос его снова зазвучал иронически. — Так что давайте все вместе петь «Америка прекрасная», верно? Север и Запад — бароны-грабители и обитатели трущоб. А Юг превратился в большую жаровню для негров. Гитлер, да благословит Господь его душу, по крайней мере старался ставить печи так, чтобы их не было видно. А в Дикси с каждой магнолии свисала веревка. Человече, да они приняли такие законы, что, если ниггер чихнет за три мили от белого, острозубая ищейка отгрызет ему яйца. Как, ниггер не успел соскочить с тротуара и слизнуть табачную жвачку, которую выплюнул городской подонок? В кандалы его — пусть искупает вину, горбатится на шерифова зятька. А если ниггер посмеет просить, чтоб ему дали право голоса, которое гарантирует ему пятнадцатая поправка к Конституции, вот уж где они станут изгаляться, придумывать, как бы помедленнее содрать с него шкуру, какие изобрести законы, чтобы выразить свое благородное негодование, так что бедному черному лучше сунуть голову в капкан, чем соваться в избирательную кабину. Верно? Хочу отдать тебе должное, Чак, ты во всех случаях оказываешься на коне. Юг за полцены получил назад своих рабов, а заодно контроль в Конгрессе, посчитав голоса черных, которые на деле не могли голосовать, а Север получил денежки с хлопка, чтобы сколотить себе капитал, и главное — все получили полное удовольствие оттого, что сумели насрать на черного, а потом зажать нос. Ты веришь хоть чему-то?

— Я всему верю, — говорит Кролик.

— Поверишь ли, поверишь ли, я в такой ярости от собственного рассказа, что, будь у меня сейчас нож, я бы всадил его тебе в горло, смотрел-бы, как растекается твоя белая, молочно-белая кровь, и радовался бы, ох, как бы я радовался.

Ущлый плачет. Сквозь дым видно, как слезы заливают его лицо.

— Ну, ладно, ладно, — говорит Кролик.

— Ушлый, не плачь, — говорит Нельсон.

— Знаешь, Ушлый, что-то сильно меня зацепила твоя закрутка, боюсь, я сейчас все выброшу, — говорит Джилл и встает. — Меня повело.

Но Ушлый общается только с Гарри.

— Что я хочу сказать тебе, — говорит он, — что я хочу сказать тебе, Чак, чтобы все было ясно: у вас был шанс. Вы могли выбрать путь получше, верно? А вы свернули на путь наживы, верно? Вы нас предали, верно? Вы и себя предали. Как говорил Линкольн, кровь, пролитая от меча, за кровь, пролитую от хлыста[[47]](#footnote-47), и так далее, вы не помогли нам подняться, хотя мы тянули к вам руки, человече, мы были как преданные псы, которые ждут, когда им бросят кость, а получили пинок, вы отшвырнули нас, отбросили вниз.

— Ушлый, пожалуйста, никогда, никогда не давай мне больше этой дряни, — говорит Джилл, как в тумане, направляясь к двери.

Ушлый, удерживаясь от всхлипываний, поднимает лицо, прорезанное темными потоками, словно это не слезы, а намокший пепел.

— Не только нас, вы себя предали, верно? У вас тут все было, действительно все, а вы выбрали грязный путь наживы, человече, стали самой большой задницей на планете. Верно? Чтобы капитализм процветал и развивался, вы позволили всякому дерьму, белой швали, поставить на своем, и теперь повсюду одна шваль, на Севере и на Юге, куда ни посмотри, везде одно дерьмо, вы упивались отравой, и теперь она дает о себе знать, Чак, вы говорите: «Америка» — и в вашем воображении все еще возникают звезды и полосы и трубы трубят, но скажите это любому черному или желтому, и у него при этом слове возникнет ненависть, верно? Весь мир, человече, ненавидит вас, вы представляетесь нам жирным боровом, который всех хочет поставить на колени.

Он тычет тощим пальцем вниз и понуро опускает голову.

С верхнего этажа доносится приглушенный звук рвоты — словно кошка поймала птичку. Это мучается Джилл.

Нельсон спрашивает:

— Пап, не следует позвать доктора?

— Она сейчас отойдет. Иди ложись спать. Тебе ведь завтра в школу.

Ушлый смотрит на Кролика — глаза у него воспаленные и полные слез.

— Ну вот, я сказал, верно?

— Беда в том, — говорит ему Кролик, — что в тебе говорит простая жалость к себе. По-настоящему вопрос стоит так: куда двигаться дальше? Мы все приплыли сюда на плохоньком корабле. А ты говоришь так, будто в этой стране с самого ее основания только и думают о том, как бы побольнее обидеть негров. Черт побери, да вас же всего десять процентов. И большинству людей ровным счетом наплевать, что вы делаете. Это самая свободная страна на свете — преуспей, если можешь, а не можешь — с достоинством отдай концы. Но, Иисусе, перестань просить о том, чтобы тебе все подносили на блюдечке.

— Дружище, ты не прав. Ты хоть и белый, но ты не прав. Тебя тянет к нам, как зачарованного, белый человек. Мы населяем твои мечты. Мы — кошмар для техники. В нас все естественное, природное, что вы подавили в себе, когда свернули на грязный путь наживы. Мы то, что осталось незатронутым промышленной революцией, так что мы будем следующей революцией, — неужели ты этого не знаешь? Знаешь. Иначе, почему ты так меня боишься, Кролик?

— Потому что ты наркоман. Я пошел спать.

Ушлый крутит головой, осторожно дотрагивается до нее. В свете лампы с основанием из плавника круглая масса его волос кажется воздушной, а череп узким, как костяная ручка ножа. Он проводит рукой по лбу, словно отгоняя комаров. И говорит:

— Сладких снов. А я слишком накачался — не смогу заснуть, придется просто сидеть и обсасывать свои горести. Не возражаешь, если я тихонько включу радио?

— Нет.

Наверху Джилл, теплый комочек в его объятиях, просит, слегка задыхаясь:

— Прогони его, Гарри, не позволяй ему дольше оставаться, он плохо на меня влияет, плохо влияет на всех нас.

— Ты же сама его сюда привела.

Он считает, что она преувеличивает опасность, — так дети, стремясь избавиться от страхов, поскорей выкладывают их, — и действительно через пять минут Джилл уже спит мертвым сном. Светящиеся электрические часы за ее головой кажутся маленьким скелетиком луны. Внизу еле слышно похрипывает приглушенное радио. Вскоре засыпает и Кролик. Как ни странно, он крепко спит, притом что Ушлый в одном с ним доме.

— Гарри, как насчет того, чтобы выпить по-быстрому? — И отец, по обыкновению, говорит бармену: — Налей-ка мне кружечку «Шлица».

— А мне виски с лимонным соком, — говорит Кролик. Лето кончилось, кондиционер в «Фениксе» выключен. Кролик спрашивает: — Как там мама?

— Все хорошо, насколько может быть хорошо, Гарри. — И отец с заговорщическим видом придвигается ближе. — Это новое лекарство, видно, в самом деле помогает: она теперь по нескольку часов держится на ногах. Но за шестьдесят четыре тысячи долларов моих кровных я имею право знать, надолго ли это. Доктор абсолютно честен на этот счет. Он говорит Мэри, когда мы с ней приезжаем в больницу. «Ну, как поживает моя любимая подопытная свинка?»

— И каков же ответ? — вдруг спрашивает Кролик.

Отец застигнут врасплох.

— Ее ответ?

— Да чей угодно.

До отца наконец дошел смысл вопроса, он пожимает узкими плечами, обтянутыми чистой белой рубашкой.

— Слепая вера, — говорит он не очень уверенно. И себе под нос добавляет: — Еще один мерзавец отправляется под землю.

На экране телевизора над баром люди цепочкой идут мимо гроба, но звук выключен, и Кролик не может сказать, кого хоронят с такими почестями — сенатора Эверетта Дирксена в Вашингтоне или Хо Ши Мина в Ханое. Все высокопоставленные лица выглядят одинаково — вечно в трауре. Отец, откашлявшись, нарушает молчание:

— Вчера вечером твоей матери звонила Дженис.

— Ей-же-ей, по-моему, она рехнулась — не слезает с телефона. Должно быть, Ставрос теряет силы.

— Она была очень расстроена, говорит, ты взял к себе в дом цветного.

— Нельзя сказать, чтоб я его взял, он сам мне навязался. Но никто не должен был бы об этом знать. По-моему, это сын Фарнсуорта.

— Быть не может: Джером, насколько я знаю, никогда не был женат.

— Они ведь обычно не женятся официально, верно? Им не разрешалось; они же были рабами.

Эрл Энгстром кривится от этой исторической справки. И занимает непривычно жесткую для себя позицию в отношении сына.

— Должен сказать, Гарри, я тоже от этого не в восторге.

Похороны (флаг на гробе звездно-полосатый, так что это, должно быть, Дирксен) исчезают с экрана, и на их месте появляются стреляющие пушки, грузовики, передвигающиеся по пустыне, самолеты, беззвучно разрезающие небо, солдаты, машущие рукой. Кролик не может сказать, израильтяне это или египтяне. Он спрашивает:

— А как мама это восприняла?

— Должен сказать, она была не очень разговорчива с Дженис. Посоветовала ей вернуться, если она хочет наводить свои порядки в твоем доме. А пока что у нее нет никакого права предъявлять претензии. Не знаю, что еще. Не могу я слушать, когда женщины ссорятся, — я в таких случаях бегу куда глаза глядят.

— Дженис говорила про адвокатов?

— Если и говорила, твоя мать про это не упомянула. Между нами, Гарри, она была так расстроена, что я даже испугался. По-моему, она спала не больше двух-трех часов, приняла двойную дозу секонала и все равно не могла отключиться. Она встревожена, и прости, что я вмешиваюсь не в свои дела, но я тоже, Гарри.

— Чем же ты встревожен?

— Встревожен этим новым поворотом. Я не негроненавистник, я охотно работаю с ними, работаю уже двадцать лет; если придется, я готов даже жить с ними рядом, хотя они еще не освоили Маунт-Джаджа, но сближаться с ними... по своему опыту скажу: ты играешь с огнем.

— По какому опыту?

— Они тебя подведут, — говорит отец. — У них нет никакого чувства долга. Я никого не виню, просто это факт: они тебя подведут, а потом посмеются над тобой. Они не такие, как белые, и говорить, что это не так, — бессмысленно. Ты спросил, какой у меня был на этот счет опыт, я не хочу рассказывать тебе о разных случаях, хотя мог бы порассказать немало, просто помни, что я вырос в Третьем районе, где белых тогда было больше, чем черных, и мы все очень тесно общались. Я знаю здешний народ. Люди любят поесть и попить, любят, чтоб у них был квартал красных фонарей и тотализатор, они готовы снова и снова выбирать на политические посты всякую шваль, но им не нравится, когда оскорбляют их женщин.

— Кого же они оскорбили?

— То, что ты превратил свой дом в зверинец, — это и есть оскорбление. Ты еще не слышал, что говорят об этом твои соседи?

— Я даже не знаком с моими соседями.

— Стоит этому черному показаться на улице, как ты с ними познакомишься, это так же верно, как то, что я стою сейчас перед тобой и пытаюсь говорить с тобой не как отец, а как друг. Те дни, когда я мог поркой втемяшить что-то тебе в башку, Гарри, давно прошли, да в любом случае ты доставлял нам меньше хлопот, чем Мим. Твоя мать вечно говорит, что ты позволяешь людям командовать тобой, а я всегда отвечаю ей: у Гарри своя голова на плечах, он крепко стоит на ногах, но мне начинает казаться, что она права. Твоя мать, может, и полный инвалид, но ее нелегко провести — кто пытался, знает.

— Когда это ты пытался?

Но эта тайна — действительно ли папа пытался обмануть маму? — остается на замке за плохо подогнанными вставными зубами, которые старик, задумчиво причмокивая, то и дело вправляет на место. Вместо ответа он говорит:

— Сделай одолжение, Гарри, мне чертовски неприятно тебя об этом просить, но сделай нам одолжение и приезжай сегодня вечером поговорить об этом. Твоя мать отчитала Дженис, но я-то знаю, что для нее это было потрясением.

— Только не сегодня вечером, сегодня я не могу. Может, через пару дней, к тому же все станет как-то яснее.

— Но почему же не сегодня, Гарри? Обещаю, мы тебя не станем поджаривать на медленном огне. Господи, я бы не просил тебя ради себя, это же ради спокойствия твоей матери. Ты ведь знаешь, — и он придвигается еще ближе, так что рукава их белых рубашек соприкасаются и Кролик чувствует кислый запашок в дыхании отца, — она проходит через то, через что всем нам предстоит пройти.

— Перестань просить меня, пап. Не могу я поехать сейчас.

— Крепко они в тебя вцепились, да?

Кролик поднимается, решает, что одного коктейля ему хватит, и отвечает:

— Верно.

Вечером, после ужина, они обсуждают рабство. Джилл с Ушлым вымыли посуду, а Кролик помог Нельсону приготовить домашнее задание. В этом году парнишка начал изучать алгебру, но в его голове никак не укладывается, каким образом какой-нибудь страшный многочлен решается с помощью двух простых уравнений для икса — одно для «плюс икса», другое — для «минус». Кролик в школе хорошо разбирался в математике — это ведь игра по строгим правилам с вполне определенными ходами и итогом, поджидающим тебя в конце. Уравнение всегда поддавалось решению. Нельсону же это трудно дается — он боится дать волю воображению, рискнуть, неглупый парень, но зажатый — возможно, боится того, что произошло с его сестренкой, боится, как бы это не случилось и с ним. У них еще полчаса до «Давай посмеемся», программы, которую все они хотят смотреть. Сегодня Ушлый занимает большое коричневое кресло, а Кролик садится в то, что обито материей с серебряной нитью. Джилл и Нельсон усаживаются на диване с подушками из поролона. Ушлый держит несколько книг — в его коричневых тонких руках они кажутся яркими детскими книжками. Школьные годы. «Улица Сезам»[[48]](#footnote-48).

Ушлый говорит Кролику:

— Чак, я вот подумал, что вчера пошел против правды, сказав, что рабство вообще было типично для сельской местности. По размышлении я пришел к выводу, что ваша рабовладельческая система все-таки уникальна и особенно жестока, более жестокой на этом бедном, пропитанном кровью шарике просто не видали.

Ушлый произносит это с какой-то монотонной настойчивостью в голосе, будто ветер играет засохшими ветвями дерева. Взгляд его ни на секунду не переходит на Нельсона или Джилл.

Кролик, умеющий вести дискуссию (в школе он получал за это четверки), спрашивает:

— Что же в ней такого жестокого?

— Разреши мне угадать твой ход мыслей. Ты считаешь, что рабство не было таким уж жестоким на плантациях, верно? И на банджо-то они играли, и свои негритянские лакомства лопали от пуза, и сам господин жил неподалеку в большом доме, — чем он был хуже нынешнего министерства социального обеспечения, верно? Да все равно эти ниггеры были настоящие дикари и башка у них набита соломой: ведь если им такая жизнь была невмоготу, чего ж они не умирали в своих кандалах, как доблестные краснокожие, верно?

— Угу. Чего ж это они?

— Мне нравится этот вопрос. Потому что у меня есть на него ответ. Дело в том, что наш друг Тонто стоял еще на такой примитивной ступени развития, что крестьянский труд для него был чем-то непостижимым, его словно на Луну переселили, верно? И он просто чахнул. А черные — они же были из Западной Африки, у них там у самих было сельское хозяйство. У них было общество со своей структурой. Каким образом, ты думаешь, эти рабы оказались за тысячу миль от родного берега? Черные сами все устроили, чтоб не пускать белых в свой огород — не хотели делиться с ними своим пирогом. Что значит организация, верно?

— Любопытно.

— Я рад, что ты так сказал. Я благодарен тебе за твой интерес.

— Ему и правда интересно, — вставляет Джилл.

— Попридержи язык, — произносит Ушлый, даже не взглянув в ее сторону.

— Сам придержи язык, — встревает в разговор Нельсон.

Кролик почувствовал бы гордость за мальчишку, если бы не понимал, что Нельсон выступил в защиту Джилл, а Ушлый резко оборвал ее в соответствии с тем, какие отношения установились между этой троицей, пока он отсутствует на работе.

— Приступим к чтению, — напоминает Джилл.

Ушлый поясняет:

— Мы с крошкой Джилли разговаривали сегодня, и она высказала мысль, что надо сделать наши вечера более конструктивными, верно? Будем читать вслух, иначе я опять буду молоть языком до бесконечности.

— В таком случае позволь, я схожу за пивом.

— От пива на животе выскакивают прыщи, человече. Позволь мне запалить закрутку с доброй травкой и передать ее по кругу — нельзя же допустить, чтоб такой спортсмен, как ты, отрастил себе толстое пивное брюхо, верно?

Кролик не соглашается, но и не двигается с места. Он бросает взгляд на Нельсона: у парня глаза запали и блестят, он напуган, но не до паники. Он учится жизни, он им верит. Насупливается, давая понять отцу, что ему неприятно такое разглядывание. Всё вокруг — камин, никогда не знавший огня, лампа с основанием из дерева-плавника, похожая на труп, который лежит, облокотясь на руку, — прислушивается. По окнам застучал тихий дождик, запечатывая всех, кто внутри. Ушлый сжимает губы, запечатывая в себе первые клубы сладковатого дыма, потом выдыхает его, блаженно мыча, и откидывается на спинку кресла, сразу исчезнув меж широких коричневых подлокотников, — видны лишь стекла очков в серебряной оправе. Он говорит:

— Черный человек был собственностью, верно? От Вирджинии и дальше он приносил прибыль и был капиталом. Английского короля интересовали лишь деньги, полученные от продажи табака, верно? Черные люди для него были просто кляксами в балансовых отчетах. А вот испанский король знал черных с незапамятных времен — мавры правили его страной, и были среди них очень толковые. Так что к югу от государственной границы раб был собственностью, но не только. Король испанский говорит: «Это мой подданный, и у него есть законные права», верно? Церковь говорит: «Это бессмертная душа — надо его крестить. Научите его различать, что хорошо, что плохо». Клятва, которую он дает, вступая в брак, священна, верно? Если он сумел собрать достаточно хлеба, чтобы выкупить себе свободу, продайте ему ее. Там у них все это было записано в законе. А здесь закон гласил одно: никаких прав. Никаких прав. Это не человек, это теплый кусок животного мяса, который стоит столько же, сколько одна тысяча моллюсков с холодной кровью. Нельзя позволять ему жениться — это может помешать выгодно продать его, когда появится спрос. Нельзя, чтобы он выступал свидетелем в суде — это может ущемить право собственности белых. Отца у раба не существовало, поверьте, не существовало. Это был предусмотренный законом факт. А теперь давайте спросим, как мог закон дойти до такого? Во-первых, действительно считали: ниггер — это кусок дерьма. И во-вторых, боялись собственного дерьма. Человече, эти белые были больные люди, и они это, безусловно, знали. Все эти годы они болтали о том, как счастливые ниггеры за обе щеки уплетают арбузы, а сами до смерти боялись восстаний, восстаний, Чак, когда их было всего два или три за все сто лет, да и те — комариный писк, не больше. Они до смерти боялись, верно? Боялись того, что черные научатся читать, боялись, что черные получат профессию, боялись, что черные станут конкурентами на рынке рабочей силы, — словом, рабу, когда ему давали волю, некуда было податься, и разговоры о том, что все могут иметь землю, кончились выступлениями на съезде фрисойлеров[[49]](#footnote-49) в Канзасе, где первым делом было заявлено: не хотим видеть здесь черные рожи, уберите их с глаз долой. А дело в том, что эти наши Умалишенные Штаты никогда не были похожи на другие места, где что-то происходит просто потому, что так сложилась жизнь и кому-то везет больше, кому-то меньше, а раз так, давайте здесь немного поднажмем, тут немного отпустим; нет, сэр, эта страна не из таких, она была мечтой, как ее задумали бедные дурачки пилигримы, верно? И вот некий белый видит черного и видит в нем не человека, а символ, верно? Все люди, что живут здесь, не выходят за пределы собственных представлений, они даже не знают, что если кого-то пнуть, это больно, Иисус не подскажет им этого, потому что тот Иисус, которого они привезли с собой на кораблях, самый паршивый оскопленный Иисусик, какого Господь пустил гулять среди людей, чтобы пугать их. Вот они и напуганы, напуганы. Я боюсь тебя, ты боишься меня, Нельсон боится нас обоих, а бедняжка Джилл так боится всего, что снова бросится искать прибежища в наркотиках, если мы не выступим в роли больших папочек.

И Ушлый пускает по кругу закрутку с влажным концом. Кролик отрицательно мотает головой.

— Ушлый, — говорит Джилл, — пора читать. — Настоящая классная дама, призывающая учеников к порядку.

— Тридцать минут до «Давай посмеемся», — говорит Нельсон. — Я не хочу пропустить начало, когда они все по очереди представляют себя, — здорово у них получается!

— Та-ак, — произносит Ушлый, потирая лоб, за которым иногда, кажется, стоит такой гул. — Возьмем вот эту книжку. — Книга называется «Рабство», буквы на обложке красные, белые и синие. В тонкой руке Ушлого она как маленький пестрый карнавал. — Просто для интереса, чтобы чем-то подкрепить мое невежественное бормотание, верно? Для иллюстрации... достало тебя все это, Чак, верно?

— Да нет, мне нравится. Я люблю узнавать новое. Я открыт для восприятия.

— Он меня заводит, он такой настоящий, как сама жизнь, — говорит Ушлый, протягивая книгу Джилл. — Начни ты, детка. С того места, где мой палец, то, что напечатано мелким шрифтом. — И объявляет: — Это речи, которые были произнесены в далекие времена, уловил?

Джилл выпрямляется на диване и читает более высоким, чем обычно, голосом, голосом прилежной девочки из хорошей школы, учившейся верховой езде, жившей в больших комнатах, где много воздуха и висят белые занавески, в районе, даже более престижном, чем Пенн-Парк.

— «Подумайте, — читает она, — о том, как поступает наша страна, совершая злодеяния снова и снова. Господь услышит голос крови вашего брата, давно взывающий из земли. Слышишь ли глас Его, алчущий справедливости: «Америка, где брат твой?» И вот какой ответ даст брат Америка: «Да он там, в рисовых болотах Юга, в полях, где полно хлопка и тростника. Он был слаб, и я захватил его; он был наг, и я связал его; он был невежествен, нищ и дик, и я стал помыкать им. Я возложил на его слабые плечи мое тяжкое ярмо. Я заковал его ноги в кандалы; я сек его кнутом. Другие тираны угнетали его, но я добрался до самого его нутра: я кормлюсь от его труда и на его поте, слезах и крови жирею и прелюбодействую. Я забрал отца, забрал также и сыновей и заставил их гнуть на меня спину; а его жена и дочери служат мне приятным лакомством. Присмотрись к детям Твоего слуги и услужающих ему рабынь — сыновья темнее кожей, чем их родитель. Спрашиваешь про африканца? Я превратил его в животное. Вот мой ответ Тебе». — Джилл, покраснев, возвращает книгу. Обращенный к Кролику взгляд говорит: «Потерпи нас. Разве я тебя не любила?»

А Ушлый хрюкает.

— Стручки маринованные — я от них сам не свой. Приятное лакомство, верно? До тебя дошло это место про сыновей, у которых кожа темнее, чем у их родителя? Тупоголовые северяне, деревенщина, до простой вещи не могли додуматься: сожительство одного уважаемого янки с темнокожей — и не надо никакого аболиционизма. Но их-то никто не обслуживал по этой части в ближайшем сарае, поэтому они знай себе клеймили белых южан, которые получали свое в хижинах рабов. Черное мясо — душевное, верно? Это был Теодор Паркер[[50]](#footnote-50), а вот это — другой, самый злоязычный из всей компании, старик Уильям Ллойд[[51]](#footnote-51). А ну, Нелли, почитай-ка это. Тот кусок, который я отметил. Читай медленно, не старайся читать с выражением.

Взяв в руки безвкусно оформленную книгу, мальчишка смотрит на отца как на спасителя.

— Я как-то глупо себя чувствую.

— Читай, Нельсон, — говорит Кролик. — Я хочу послушать.

Нельсон обращается за помощью к другому:

— Ушлый, ты же обещал, что мне не придется этим заниматься.

— Я сказал: посмотрим, как дело пойдет. Давай читай, твоему папашке это нравится. Он открыт для восприятия.

— Ты просто над всеми насмехаешься.

— Отступись от него, — говорит Кролик. — Я уже теряю интерес.

— Да почитай же, Нельсон, это забавно, — вставляет Джилл. — Мы не включим телевизор, пока ты не почитаешь.

Мальчишка принимается читать, запинаясь и так хмурясь, что отец начинает думать, не нужны ли ему очки.

— «Не важно, что все группировки раздираемы раз...» — принимается читать Нельсон.

Джилл заглядывает ему через плечо.

— ...разногласиями.

— «...каждая сетка...»

— Секта.

— «...каждая секта разбита на мелкие фрагменты, единство нации размыто...»

Джилл говорит:

— Отлично!

— Не мешай ему, — кивает Ушлый, закрыв глаза.

Голос у Нельсона начинает звучать увереннее:

— «...страна полна страшных последствий Гражданской войны... тем не менее рабство следует окончательно похоронить в могиле неизбывшего...»

— Неизбывного, — поправляет Джилл.

— «...неизбывного позора, чтобы оно не могло больше вос... восстать...»

— Из праха.

— «Если государство не способно устоять под натиском агитации против рабства — пусть погибнет. Если Церковь должна быть отброшена во имя торжества человечности, — пусть она падет, и осколки ее пусть разлетятся по четырем ветрам, дабы она больше не оскверняла землю. Если Союз американских штатов можно сохранить в целости лишь путем иммоляции...» Что это значит?

— Принесение в жертву, — говорит Джилл.

Кролик говорит:

— Я считал, это значит «уничтожение огнем».

Нельсон поднимает взгляд, не зная, читать дальше или нет.

А за окнами по-прежнему идет дождь, тихо-тихо заколачивая их снаружи, сплачивая воедино.

Ушлый продолжает сидеть, закрыв глаза.

— Дочитай же до конца. Прочти последнюю фразу, Крошка Чак.

— «Если за объявление свободы рабам Республика должна быть вычеркнута из списка существующих стран, пусть Республика сгинет в волнах забвения, и крик радости от ее исчезновения, более громкий, чем голос волн, наполнит Вселенную». Я тут ничего не понял.

— Это означает, — говорит Ушлый, — «Больше власти народу!», «Смерть фашистским псам!».

— А для меня это означает, — говорит Кролик, — выплеснуть ребенка вместе с водой.

Ему вспоминается ванна, полная стоячей воды, мертвая поверхность ее словно присыпана пылью. Он снова чувствует шок, какой испытал, когда сунул руку в воду, чтобы вытащить затычку. И возвращается в комнату, где они сидят, окруженные стеной дождя.

— Автор говорит то же, что и Ушлый, — поясняет Джилл Нельсону. — Если система, пусть даже работающая для большинства людей, каких-то людей угнетает, такая система должна быть уничтожена.

— Разве я это говорил? Нет. — Ушлый наклоняется вперед из своего глубокого, мягкого, как мох, коричневого кресла и протягивает к молодым людям тощую дрожащую руку; из голоса его исчезла вся ирония. — Это случится так или иначе. Большой тарарам. И грохот будет не от бомб, подложенных бедными черными, — их подложат отпрыски белых богачей. И в дверь стучится не несправедливость, а нетерпение. Посадите побольше крыс в одну клетку, и толстые начнут беситься больше, чем тощие, потому что им теснее. Нет. Надо смотреть дальше, заглядывать в следующую после насилия стадию. То, что система взорвется, — это аксиома. Это не так интересно. Интересно, что будет дальше. Должно наступить великое умиротворение.

— И ты, черный Иисус, даруешь его нам, — с издевкой произносит Кролик. — Вместо «нашей эры» будет «эра Ушлого». Я должен до этого дожить. Да славится имя Ушлого!

Он предлагает спеть гимн, но Ушлого занимают двое других, ученики.

— Все твердят о революции, но революция — это неинтересно, верно? Революция — это когда одна толпа отбирает власть у другой, и это ерунда, это просто вопрос власти, а власть — это пальба и гангстеры, в общем, все ерунда и скукотень, верно? Мне говорят: вот Хьюи[[52]](#footnote-52), он по-настоящему свободный, а я говорю: да пошел он, ваш Хьюи такой же Агню[[53]](#footnote-53), только с черной рожей. Мир забывает таких гангстеров еще при их жизни. Нет. На самом деле проблема состоит в том, чтобы когда гангстеры переколошматят друг друга, а заодно и половину всех остальных, суметь правильно воспользоваться образовавшимся пустым местом. После окончания Гражданской войны было много пустого места, только его заполнили все той же алчной мразью, причем похуже прежней, верно? А старую истину о том, что человек человеку волк, возвели в закон, данный нам от Бога.

— Вот чего нам как раз так не хватает, Ушлый, — говорит Кролик. — Новых заповедей от Бога. Почему бы тебе не отправиться на вершину горы Джадж, чтоб тебе спустили с неба эти начертанные на скрижалях законы?

Ушлый медленно поворачивает к нему лицо, похожее на резную рукоятку ножа, и медленно произносит:

— Я ведь не угроза для тебя, Чак. Ты закоснел. Что я могу тебе сделать — только убить, а это имеет куда меньшее значение, чем ты думаешь, верно?

Джилл деликатно встревает, пытаясь примирить их:

— Разве мы не выбрали кусок для Гарри, чтобы он тоже почитал?

— К черту, — говорит Ушлый. — Это уже ни к чему. От него идут злые волны, верно? Он не готов. Он еще не созрел.

Кролик обижен — он ведь только в шутку все говорил.

— Да готов я, готов, дайте мне мой отрывок, я прочту.

Ушлый обращается к Нельсону:

— Что скажешь, Крошка Чак? По-твоему, он готов?

— Только читай, как надо, пап. Не насмехайся, — говорит Нельсон.

— Это я-то? Над кем я когда насмехался?

— Над мамой.

Ушлый дает Кролику раскрытую книгу.

— Совсем небольшой кусок. Просто прочти то, что я отметил.

Мягким красным грифелем. Раньше такие продавались в коробках под названием «Крейола», и ряды остреньких разноцветных кончиков напоминали ему заполненные трибуны стадиона. Странно, как это он вдруг вспомнил.

— «Я считаю, друзья мои и сограждане, — волнуясь читает Кролик, — что мы не готовы воспользоваться избирательным правом. Но мы можем научиться. Дайте человеку орудия производства, разрешите ими пользоваться, и со временем он освоит то или иное ремесло. Вот так же обстоит дело и с голосованием. Возможно, вначале нам будет многое непонятно, но со временем мы научимся исполнять свой долг».

Дождь встречает это выступление легкими аплодисментами.

Ушлый наклоняет узкую голову и с улыбкой смотрит на двух малолеток, устроившихся на диване.

— Вот отличный ниггер, верно?

Нельсон говорит:

— Не надо, Ушлый. Он над тобой не насмехался, и ты не должен.

— Я же ничего плохого не сказал, миру как раз и не хватает хороших, правильных ниггеров, верно?

Стремясь показать Нельсону, какой он крепкий орешек, Кролик говорит Ушлому:

— Все это для любителей пострадать, был бы повод. Вот если бы я начал сейчас причитать, зачем финны так скверно обошлись со шведами в каком-то там году.

— Мы же пропускаем «Давай посмеемся»! — восклицает вдруг Нельсон.

Они включают телевизор. Холодная маленькая звездочка ширится, разливается по экрану полосами, и возникает картинка: Сэмми Дэвис-младший в роли маленького грязного старикашки, который, отбивая чечетку и напевая какую-то нелепую печальную песенку, не спеша продвигается позади скамейки в парке. Заметив, что на скамейке кто-то сидит, бодро приосанивается. Но это совсем не Рут Баззи, а Арти Джонсон[[54]](#footnote-54), белый, по-настоящему мерзкий старикашка. И вот они сидят рядом, уставясь друг на друга. Будто это один человек и его отражение в кривом зеркале. Нельсон смеется. Они все смеются: Нельсон, Джилл, Кролик, Ушлый. А милостивый дождь зашивает их в большое широкое платье, одергивая и подкалывая его вокруг дома, словно портной на примерке.

В другой вечер Ушлый спрашивает Кролика:

— Хочешь знать, что чувствует не-егр?

— Не слишком.

— Пап, не надо, — говорит Нельсон.

Джилл молча с отсутствующим видом передает Кролику закрутку. Он нерешительно делает затяжку. За десять лет едва ли выкурил сигарету и сейчас боится вдохнуть дым. Ему чуть не стало плохо в тот раз, в «Уголке Джимбо». А надо глубоко втянуть в себя дым и задержать. Задержать.

— Представь себе, — говорит Ушлый, — что ты в стеклянном ящике, и стоит тебе к чему-то потянуться, как ты ударяешься головой. Представь себе, что ты в автобусе и все отодвигаются от тебя, потому что все твое тело покрыто гнойными коростами и люди боятся заразиться.

Кролик выдыхает дым, выпускает его из себя.

— Все совсем не так. Черные парни в автобусе наглые как черти.

— Ты отлил такое множество строк, что свинцом можно было бы покрыть весь шар земной, верно? Ты ведь ни к кому не испытываешь ненависти, верно?

— Ни к кому.

— А как ты относишься к тем, что живут в Пенн-Парке?

— К которым?

— Да ко всем. Ко всем тем, что живут в этих больших, пряничных псевдотюдоровских особняках, где его и ее «кадиллаки» стоят у кустов гортензий. Как насчет всех этих старперов, что сидят в клубе «Мифлин» за чугунными воротами, раньше они владели текстильными фабриками, а теперь владеют лишь кипами бумаг, благодаря чему могут покупать сигары и девочек? Как насчет них? Можешь сразу не отвечать.

Перед мысленным взором Кролика возникает Пенн-Парк с его псевдотюдоровскими, наполовину деревянными, наполовину оштукатуренными домами, с лужайками без единого сорняка, пышными, как подушки. Район этот расположен на высоком месте. А Кролику всегда казалось, что он находится на самой вершине горы, горы, на которую ему никогда не взобраться, потому что это не настоящая гора, как Джадж. А он, мама и папа и Мим жили у подножия этой горы, в темной половине дома, под боком у Болджеров, и папа возвращался домой с работы каждый день такой усталый, что не мог уже играть с ним в мяч на заднем дворе, а у мамы никогда не было драгоценностей, как у других женщин, и они покупали вчерашний хлеб, потому что он был на пенни дешевле, а у папы болели зубы, но он не хотел тратиться на дантиста, а теперь доктора, которые ездят в «кадиллаках» и живут в Пенн-Парке, устраивают спектакль около умирающей мамы, а ведь все это их рук дело.

— Я их ненавижу, — говорит он Ушлому.

Лицо черного сияет, светится.

— Копнем глубже.

Кролик боится, что это хрупкое чувство исчезнет, если он станет его анализировать, но оно не исчезает, а наоборот: разрастается, взрывается. Пряничные дома, гравиевые подъездные дорожки, гольф-клубы взлетают в небо и разлетаются в куски. Ему вспоминается один доктор. Он встретил этого доктора в начале лета, случайно, когда поднимался на крыльцо, чтобы навестить маму, а доктор выбегал из дома, они встретились под полукруглым окошком, которое всегда все видит, и доктор был в модном кремовом плаще, хотя дождь только начал моросить, этакий хлыщ, который в нужное время достает неизвестно откуда дождевик, все у него налажено, жизнь течет как по маслу, отутюженные брюки из твида спускаются на начищенные модные туфли — он спешил к очередному больному, стремясь побыстрее убраться с этой мокрой, идущей под уклон улицы. Папа, шамкая, как старуха, потому что боится потерять вставные зубы, стоит в дверях и представляет его с жалкой гордостью: «Наш сын Гарри». Доктор раздражен тем, что его хотя бы на секунду задержали, и на его верхней губе, под черными, как чугун, тщательно подстриженными усиками появляется выражение неприязни. В его рукопожатии тоже есть что-то металлическое, высокомерное, он стискивает не готовую к такому рукопожатию руку Гарри, как бы говоря: *я как хочу перекраиваю человеческие тела. Я — есть жизнь, я — есть смерть*.

— Ненавижу этих мудаков из Пенн-Парка, — уточняет Гарри, желая доставить удовольствие Ушлому. — Если бы я мог нажать на красную кнопку, чтобы все они взлетели прямиком в царствие небесное, — и он в воздухе жмет на воображаемую кнопку, — я бы нажал. — Жмет с такой силой, что кажется, и впрямь видит кнопку.

— Вот такой тарарам, верно? — И Ушлый широко улыбается, взмахнув руками-палками.

— Но это так, — говорит Кролик. — Все знают, что черные женщины прекрасны. Теперь даже на плакатах видишь их голыми.

— С чего, ты думаешь, началась эта свистопляска с негритянскими мамашами? — спрашивает Ушлый. — Кто, ты думаешь, поселил всех этих не в меру раздобревших богомольных тридцатилетних теток в Гарлем?

— Во всяком случае, не я.

— Именно ты. Человече, ты как раз и есть тот, кто это сделал. Так уж повелось со времен жалких лачуг, куда наведывались все, кому не лень, что черная девчонка привыкла считать секс какой-то пакостью и старалась укрыться от него, став как можно быстрее мамашей, верно?

— Ну, так скажи им, что это не пакость.

— Они мне не верят, Чак. Они не понимают, что я в счет не иду. У меня нет мускулистого тела, верно? Я не могу защитить моих черных женщин, верно? Потому что ты не позволяешь мне стать мужчиной.

— Да я не против — будь мужчиной.

Ушлый встает с кресла, обитого материей с серебряной нитью, обходит, настороженно сгорбившись, имитацию скамьи сапожника и целует Джилл, сидящую на диване. Сложенные руки ее вздрагивают и снова опускаются на колени. Голова не откидывается и не наклоняется. Из-за шарообразной прически Ушлого Кролику не видно глаз Джилл. А глаза Нельсона он видит. Две теплые, влажные дыры, такие темные, такие напуганные — воткнуть бы в них булавки, чтоб мальчишка понял, что существуют вещи похуже. Поцеловав Джилл, Ушлый выпрямляется, вытирает губы.

— Приятненькое лекарство, Чак. Ну как, нравится тебе?

— Я не против, если она сама не против.

Джилл сидит закрыв глаза, рот ее раскрыт, на губах пузырек.

— Нет, она против, — говорит Нельсон. — Пап, не позволяй ему!

Кролик говорит Нельсону:

— Пора спать, а?

Физически Ушлый завораживает Кролика. Этот блестящий светлый язык и бледные ладони и подошвы ног, на которые не попадает солнце. Или там просто другая кожа? У белых ладони тоже никогда ведь не загорают. И такая у него необыкновенно блестящая кожа. Лицо до того искусно выточено и тщательно отполировано, что отражает свет в десятке точек, тогда как белые лица — бесформенные пятна, словно шлепки невысохшей замазки. Своеобразная грация его будто смазанных маслом жестов, быстрые, настороженные, скользящие, как у ящерицы, движения, не отягощенные характерным для млекопитающих жиром. Ушлый в его доме похож на изумительно сделанную электрическую игрушку — Гарри хочется дотронуться до своего черного гостя, но он боится, как бы его не ударило током.

— Все хорошо?

— Не совсем. — Голос Джилл звучит словно издалека, хотя она лежит рядом в постели.

— Почему нет?

— Я боюсь.

— Чего? Меня?

— И тебя, и его вместе.

— А мы не вместе. Мы до смерти ненавидим друг друга.

Она спрашивает:

— Когда ты его выкинешь?

— Его же посадят в тюрьму.

— Ну и пусть.

Дождь над их головой так и барабанит, проникая всюду, просачиваясь в дымоход, который давно, с самого начала, протекает. Кролик представляет себе, как на потолке в спальне расплывается большое бурое пятно. Он спрашивает:

— А что у тебя с ним?

Она не отвечает. Ее тонкий медальный профиль камеи внезапно освещается. Проходит несколько секунд, и раздается гром.

Он спрашивает, немного стесняясь:

— Он к тебе пристает?

— Не в том смысле, в каком ты думаешь. Говорит, это ему неинтересно. Хочет иметь меня другим путем.

— Каким же это?

Бедная девочка, подозрительна до безумия.

— Он хочет, чтобы я говорила ему о Боге. Сказал, принесет мне мескалин.

Теперь гром почти сразу следует за вспышкой молнии.

— Это безумие.

Но это его возбуждает — может, и в самом деле получится. Может, Ушлый в состоянии заставить ее звучать, как Бэби заставляет звучать рояль.

— Он псих, — говорит Джилл. — На наркоту он меня больше не посадит.

— А как я могу этому помешать?

Кролик словно парализован — дождем, громом, своим любопытством, надеждой на то, что комбинация как-то расстроится, произойдет катастрофа и вслед за ней избавление.

Девчонка что-то кричит, но тут раздается удар грома, и Кролику приходится просить, чтобы она повторила.

— Тебя заботит только твоя жена! — кричит Джилл куда-то вверх, бушующим небесам.

Пайясек подходит сзади и бурчит насчет телефона. Кролик с трудом поднимается. Это хуже похмелья, надо прекратить, а то ведь каждый вечер. Надо взять себя в руки. Взять в руки. Разозлиться.

— Дженис, ради всего святого...

— Это не Дженис, Гарри. Это я, Пегги.

— О, привет. Как дела? Как Олли?

— Забудь ты про Олли, никогда не упоминай при мне его имени. Он уже несколько недель не навещал Билли и ничего не давал на его содержание, а когда он наконец соизволил явиться, знаешь, что принес? Он же у нас гений — ты в жизни не догадаешься.

— Новый мини-мотоцикл.

— Щенка. Он принес нам щенка золотого ретривера. Теперь представь себе, что, черт подери, мы станем делать с этим щенком, притом что Билли целый день в школе, а меня с восьми до пяти каждый день не бывает дома?

— Ты получила работу. Поздравляю. Чем же ты занимаешься?

— Печатаю для «Бруэр филти» на Янгквист-стрит — они весь свой архив вносят в компьютер, и работа до того нудная, что кричать хочется, а главное: ты даже не знаешь, когда сделал ошибку, на выходе просто лента с дырками, а это ведь все важные цифры.

— Звучит отлично. Кстати, Пегги, о работе — у нас тут не любят, когда вызывают к телефону.

Голос ее звучит глуше, с большим достоинством:

— Пожалуйста, извини. Я хотела поговорить с тобой, пока Нельсон не слышит. Олли обещал Билли взять его с собой на рыбалку — не в это, а в будущее воскресенье, и я подумала, поскольку непохоже, чтобы ты когда-либо меня пригласил, не хочешь ли поужинать со мной в субботу, когда привезешь к нам Нельсона.

Он видит ее распахнутый халат, треугольник волос, серебристые дорожки на коже. Цыплят по осени считают — решила, значит, что уже пора.

— Это могло бы быть здорово, — говорит Кролик.

— Могло бы.

— Надо посмотреть, смогу ли: я нынче ведь несколько связан...

— Этот нахлебник так все еще и не уехал? Да вышвырни ты его, Гарри. Он просто обнаглел. Позвони в полицию, если он будет артачиться. Уж очень ты, Гарри, пассивный.

— Угу. А может, и еще какой.

Лишь закрыв за собой дверь кабинетика и выйдя на яркий свет к своей машине, Кролик почувствовал, как марихуана вцепилась в него, спеленала ему колени. Никогда больше. Пусть Иисус приходит к нему иным путем.

— Расскажи нам про Вьетнам, Ушлый.

Травка проникает в кровь Кролика, и он чувствует такую близость, такую близость со всеми ними и со всем вообще: с лампой с основанием из дерева-плавника, с вихрастой головой Нельсона, с голыми ногами Джилл, с ее слегка толстоватыми лодыжками. Он любит их всех. Всех. Его голос влетает в них и вылетает. Ушлый закатывает к потолку красные глаза. Все приходит к нему с потолка.

— Почему ты хочешь, чтобы я рассказал? — спрашивает он.

— Потому что я там не был.

— А ты считаешь, что должен был бы быть, верно?

— Да.

— Почему?

— Не знаю. Из чувства долга. Из чувства вины.

— Нет, сэр. Ты хотел бы там быть, потому что там что-то происходило, верно?

— О'кей.

— Лучшего места не было, — произносит Ушлый не вполне вопросительным тоном.

— Что-то в этом роде.

Ушлый продолжает, слегка напирая:

— Там ты не чувствовал бы себя таким кастратом, верно?

— Я не знаю. Если не хочешь говорить об этом — не надо. Давайте включим телевизор.

— Там показывают «Команду», — говорит Нельсон.

А Ушлый продолжает:

— Если ты не способен трахаться, никакие грязные картинки тебе этого не заменят, верно? А если способен, тоже не заменят.

— О'кей, не рассказывай нам ничего. И постарайся следить за своей речью при Нельсоне.

Ночью, когда Джилл в постели поворачивается к Кролику, он обнаруживает, что ему неприятно ее несозревшее твердое молодое тело. Дым, сидящий у него внутри, мешает пробудиться желанию, хотя разнообразные желания мелькают, сменяя друг друга и отвлекая его, и это мешает ему ответить на призыв Джилл, призыв, которому он сам помог возникнуть в ее девичьем теле. Однако он думает о том, что ее рот осквернен поцелуем Ушлого, и чувствует, что она испоганена его отравой. Не может Кролик простить ей и того, что она из семьи богатеев. Но, несмотря на эти повторяющиеся из ночи в ночь унизительные для нее отказы от любви, он чувствует, как что-то вопреки всему крепнет в нем, — возможно, любовь. А она все больше и больше льнет к нему — далеко позади осталась та ночь, когда она ринулась на него, словно девчушка, подпрыгивающая, чтобы сорвать яблоко с ветки.

Этой осенью Нельсон открыл для себя футбол — в школе есть команда, а его маленький рост в этой игре не помеха. Когда Гарри возвращается под вечер домой, он застает мальчишку за тренировкой — Нельсон снова и снова посылает мяч, сшитый из черных и белых пятиугольников, в дверь гаража, под баскетбольным щитом, который давно висит без дела. Мяч с отскока пролетает мимо Нельсона, Гарри подхватывает его, — так непривычно держать в руках мяч, сшитый из кусков. Кролик пытается забросить его в корзину. И промахивается.

— Разучился бросать мяч, — говорит он. — Так чудно чувствуешь себя, когда стареешь, — признается он сыну. — Мозг посылает приказ, а тело не слушается.

Нельсон снова изо всей силы бьет по мячу краем ноги, посылая его в одно и то же место двери, с которого уже слезла краска. Парнишка уже научился останавливать мяч, принимая его на голень, под колени.

— А где двое других?

— В доме. И ведут себя странно.

— В каком смысле странно?

— Ну ты же знаешь. Как всегда. Накурились. Ушлый спит на диване. Эй, пап!

— Что?

Нельсон раз, другой изо всей силы ударяет по мячу, пока мяч не возвращается к нему и он не набирается смелости высказаться.

— Ненавижу я здешних ребят.

— Каких ребят? Я никогда никого не вижу. А когда я был маленьким, мы все проводили время на улице.

— Они торчат у телевизора, а потом идут на спортплощадку и торчат там.

— Почему же ты их ненавидишь?

Нельсон взял мяч и стал перебрасывать его с одной ноги на другую — ноги у него такие же ловкие, как руки.

— Томми Фрэнкхаузер сказал, что у нас живет ниггер, и сказал, что отец его говорит, это поганит всю округу и что нам лучше сделать выводы.

— А ты что на это ему сказал?

— Я сказал, пусть сам делает выводы.

— Ты подрался с ним?

— Да я хотел, только он на голову выше меня, хоть мы и в одном классе, так что он только рассмеялся.

— Пусть тебя это не волнует — ты еще вырастешь. Все мы, Энгстромы, поздно расцветаем.

— Я ненавижу их, пап, ненавижу! — И он головой посылает мяч вверх, так что тот отскакивает от крытой тентом крыши гаража.

— Не надо никого ненавидеть, — говорит Гарри и входит в дом.

Джилл на кухне плачет над сковородкой с бараньими отбивными.

— Огонь никак не прибавляется, — говорит Джилл. Она так прикрутила газ, что крошечные языки пламени мерцают голубыми вспышками. Кролик поворачивает ручку, увеличивая пламя, и Джилл, вскрикнув, падает ему на грудь, прижимается, и глаза у нее от напускного страха становятся темно-зелеными. — От тебя пахнет краской, — говорит она ему. — Ты весь такой чистый, вкусно пахнущий, как свежий номер газеты. Каждый день свежая газета появляется у двери.

Он крепко обнимает ее, и ее слезы, проникнув сквозь рубашку, щекочут ему кожу.

— Ушлый тебе ничего не давал?

— Нет, папочка. Я хочу сказать, любименький. Мы весь день провели в доме, смотрели программы викторины — Ушлому не нравится, что теперь в программах всегда участвует супружеская пара негров, он называет это спекуляцией на символах.

Кролик принюхивается к ее дыханию, и, как она и сказала, в нем не чувствуется ничего — ни запаха спиртного, ни запаха травки, лишь аромат невинности, легкий привкус сахара, запах, напоминающий о качалке на крыльце и запотевшем кувшине.

— Чай, — изрекает он.

— До чего изящный носик, — говорит Джилл, имея в виду нос Кролика, и щиплет его. — Правильно. Мы с Ушлым пили сегодня чай со льдом. — Она продолжает ласкать его, тереться об него, и ему становится грустно. — Ты такой весь изящный, — говорит она. — Такой огромный снеговик, весь сверкающий, только нет морковки вместо носа, зато она есть вот тут.

— Эй! — вскрикивает он, отскакивая.

— Тут ты мне нравишься больше, чем Ушлый, — с самым серьезным видом объявляет Джилл, — по-моему, когда мужчинам делают обрезание, это их уродует.

— Ты сможешь приготовить ужин? Пожалуй, лучше тебе подняться наверх и лечь.

— Ненавижу, когда ты такой правильный, — говорит она ему, но без всякой ненависти, голосом, который качается, как корзинка в руках ребенка, идущего домой, — могу ли я приготовить ужин — да я все могу, я могу летать, могу доставлять удовольствие мужчинам, могу водить белую машину, могу считать по-французски до любого числа. Смотри! — Она задирает платье выше талии. — Я рождественская елка.

Но ужин, когда он появляется на столе, плохо приготовлен. Бараньи отбивные отзывают резиной и совсем синие около кости, недоваренный горошек хрустит во рту. Ушлый отодвигает от себя тарелку:

— Я не могу есть эту сырятину. Я не настолько дикарь, верно?

Нельсон говорит:

— Да нет, все вкусно, Джилл.

Но Джилл-то знает и опускает тонкое личико. На тарелку капают слезы. Странные слезы, не столько проявление горя, сколько химический конденсат, они появляются у Джилл, как бутоны на сирени. А Ушлый продолжает ее поддразнивать:

— Взгляни на меня, женщина. Эй ты, дырка, посмотри мне в глаза. Что ты видишь?

— Я вижу тебя. И весь ты посыпан сахаром.

— Ты видишь Его, верно?

— Неверно.

— Посмотри на эти занавески, лапочка. На эти уродливые, сшитые дома занавески, в том месте, где они как бы сливаются с обоями.

— Его там нет, Ушлый.

— Посмотри на меня. Посмотри же.

Они все смотрят на него. С тех пор как Ушлый поселился с ними, он постарел, бородка у него из остренькой стала кустистой, кожа стала тусклой, как у человека в заточении. И он сегодня без очков.

— Ушлый, Его там нет.

— Да смотри же на меня, ты, дырка. Что ты видишь?

— Я вижу куколку из грязи. Вижу черного краба. Мне как раз пришла в голову мысль, что ангел похож на насекомое, у которого шесть ног. Разве это не так? Разве ты не это хочешь от меня услышать?

Ушлый рассказывает им про Вьетнам. Он запрокидывает голову, словно потолок — это экран в кинотеатре. Он хочет рассказать по справедливости, но боится снова все обрушить на себя.

— Было это, когда все уже шло к концу, — медленно выдавливает из себя он. — Крыш, под которыми можно было бы спрятаться, не было, ты стоял на дожде и мок как животное, ты спал в ямах, вырытых в земле, из которых торчали корни, и, знаете ли, все же мог это сдюжить. Ты от этого не умирал. Интересно. Точно ты вдруг узнал, что есть другая жизнь, другой мир. Идешь в разведку, и вот откуда ни возьмись появляется какой-нибудь сморщенный вьетнамец в этой своей шляпе и пытается продать тебе курицу. А на дороге крохотные девчушки, хорошенькие, как куколки, пытаются продать тебе наркоту, разложенную по баночкам из-под фотопленки — их выбрасывают фотокорреспонденты, верно? Все очень сложно, и нет такой сети, — он поднимает руку, — в которую все это можно было бы загрести.

Из дыры в потолке на него обрушиваются цветные картинки. Зеленые машины, такого омерзительно зеленого цвета, пожирающие уродливые зеленые кусты. Красная грязь, спрессованная до узорчатой жижи гусеницами бронетранспортеров «амтрак». Изумрудная зелень рисовых полей, каждое растеньице повторено отражением в воде, четким, как монограмма. Белые человеческие уши, которые парень из другого взвода сушил, привязав к ремню у себя на поясе, и они стали как сушеные абрикосы, — это белый. Черные пижамы на изящных маленьких проститутках, точеных, как фарфоровые фигурки, — страшно даже дотронуться, хотя липкий парень в белом костюме все пристает: «Черный солдат — первый сорт, совсем большой палка, наши девочки любят брать рот». Красный цветок — не кровь, а бубновый туз, который носит на счастье в своем шлеме парень из его взвода. Все эти побрякушки на счастье — маленькие символы мира из расплавленного свинца, бусы, на бусинах написано: ЛЮБОВЬ, ДЕРЬМО, МАМА, ЗАРОЙТЕ МЕНЯ ПОГЛУБЖЕ, хошиминовские сандалии, вырезанные для крошечных ног из покрышек, тайские кресты, христианские кресты, крестовидные бомбы, которые «фантомы» сбрасывают по пути их следования где-то впереди, крестообразные следы от шнурков, остающиеся на ботинках, когда ты по нескольку дней их не снимаешь, блестящие зеленые мешки для трупов, перевязанные, как мешки с почтой, блики солнца на красной пыли, на голубом дыме, солнце, полосами падающее сквозь просветы в джунглях, где эти чудики поджидают тебя с русскими винтовками, неподвижные, как орхидеи, — все это обрушивается на Ушлого, и он тонет. Он понимает, что никогда не сможет членораздельно довести до сознания трех олухов, что за этими тонкими, как бумага, стенами существуют иные миры.

— Взять хотя бы только звуки, — говорит Ушлый. — Когда один из снарядов, вылетевший из миномета противника, разрывается возле того окопа, где ты сидишь, кажется, перед тобой встает стена, сплошная стена из грохота в двадцать футов толщиной, а ты всего лишь клоп. И где-то там, наверху, ноги, которые то ли встанут на тебя, то ли нет, — какая разница, верно? От этого, правда, мозги набекрень съезжают. А мертвецы, мертвецы — они такие жуткие, они такие... *мертвые*. Точно мышь, которую кошка придавила, погрызла и оставила. Я хочу сказать, они так не вяжутся со всем остальным, такие мирные, трудно придумать подходящее слово: вот этот сопун накануне вечером рассказывал тебе про свою девчонку дома, в Ошкоше, смачно так рассказывал, что у тебя аж у самого засвербило, а сегодня он подорвался на мине — ноги в одну сторону, сам в другую. Тяжко. Раньше было такое выражение: «Безжалостный мир». Там он и был таким.

— Кого ты называешь «сопуном»? — спрашивает Нельсон.

— Сопун — это пехота. Обычный солдат, который взят по набору, носит ружье и шагает с горы на гору. Зеленая машина, армия то есть, — она очень умная. Они посылают срочников в джунгли — пусть подрываются, а сверхсрочники отсиживаются в Лонгбине на базе и сообщают репортерам о боевых потерях. Взводу старичков чарли[[55]](#footnote-55) устроили веселую жизнь, но я уж зато на сверхсрочную не остался, нет. Я и так хлебнул сполна, верно?

— Я-то думал, это я Чарли[[56]](#footnote-56), — говорит Кролик.

— А я думал, так называют вьетконговцев, — говорит Нельсон.

— И ты — чарли, и они — чарли, и я тоже, все — чарли. Я служил в третьем взводе, взводе чарли, второй батальон, двадцать восьмой пехотный полк, первая дивизия. Мы месили грязь вверх и вниз по течению реки Донгнай. — Ушлый смотрит в пустой потолок и думает: не то, не так надо говорить, продаю по дешевке. Трудней всего передать то святое, что было там. — Дело в том, что чарли, — говорит он, — они везде. Во Вьетнаме одни сплошные чарли, верно? Любой местный — чарли, и дело до того дошло, что ты спокойно мог поджарить старуху или маленького ребенка — они могли ведь быть теми, кто ночью натыкал острых бамбуковых палок, а могли и не быть, но это не имело значения. Многое не имело значения. Вьетнам, наверное, единственное в мире место, где для Дяди Сэма не имеет значения, белый ты или черный. В самом деле. Белые ребята умирали за меня. В армии к черному относятся действительно нормально — ведь черное тело может остановить пулю не хуже любого другого, вот они и ставят нас вперед, и не думайте, что мы за это не благодарны, еще как благодарны, мы очень стараемся остановить эти пули, мы так рады умирать бок о бок с белым. — На белом потолке по-прежнему ничего нет, но появилось какое-то жужжание, он начал выгибаться ввысь — пусть дух поднимает его выше и выше. — Одного парня, помню (и зачем вы заставляете меня все это вспоминать, я бы не знаю что отдал — только бы забыть), подстрелили в темноте — минометы вьетконговцев обрабатывали нас с захода солнца, — угораздило же нас попасть в эту долину, ну-ка, лежать в темноте рядом с вывернутыми внутренностями этого парня, я-то его не видел, но когда дал деру от линии огня, наступил на его внутренности, будто вляпался в желе, только еще хуже, а он вскрикнул и тут же умер — до той минуты он был еще жив. В другой раз мы вчетвером пошли в разведку, и они из АК-47 открыли по нам огонь, звук был совсем другой, чем от М-16, более трескучий, улавливаете? Не такой свистящий. Мы залегли. С нами был мальчишка, белый мальчишка из Теннесси, в жизни еще не брился и был наивный, как дитя, так он один тишком рванул в заросли и выбил их оттуда, но когда мы нашли его, пули прошили его надвое — просто немыслимо, чтобы человек мог в таком состоянии стрелять. Тяжко. В жизни бы не поверил, что можно видеть весь этот кошмар — и чтоб глаза не выкатились из орбит. А эти несчастные наши противники — они просто вызывали на себя напалм, серебряные банки так и сыпались с неба, и они выскакивали из джунглей прямо на тебя, все в огне, горели и отстреливались, сыпали пулями и горели, как факел на каком-нибудь параде, а некоторые валились прямо к тебе в окоп — считали, что уберечься от напалма можно только в нашем расположении. И ты приканчивал их, чтобы прекратить их вопли. Такие маленькие парнишки с лицами, как гуталин у нас на базе. Дошло до того, что убивать стало совсем не страшно, не было чувства, что это хорошо, — просто необходимо, как нужду справить. Верно?

— Не хочу я больше об этом слышать, — говорит Нельсон. — Меня от этого тошнит, и потом, мы пропускаем «Саманту».

Джилл говорит ему:

— Дай Ушлому рассказать, раз ему хочется. Ему полезно выговориться.

— Это было, было на самом деле, — говорит сыну Кролик. — Если бы этого не было, я бы и сам не захотел, чтобы ты такое слушал. Но это было, и нам придется все это переварить. Нам от этого не уйти.

— Мне «Шлиц».

— А я не знаю. Чувствую себя преотвратно. Имбирного.

— Гарри, ты не в себе. Как дела-то? Что-нибудь слышно от Дженис?

— Слава Богу, ничего. Как мама?

Старик придвигается ближе, словно собирается шепнуть ему на ухо грязное словцо.

— Откровенно говоря, ей лучше, чем кто-либо мог предположить еще месяц назад.

Теперь Ушлый кое-что видит на потолке — белые очертания на белом фоне, но тона белого разные, и такое впечатление, что одно вытекает из дыры в другом.

— А вы знаете, есть две теории того, как создавалась Вселенная? — спрашивает он. — По теории «большого взрыва» все случилось вдруг, ну прямо как в Библии, и мы до сих пор стоим на том, что Вселенная появилась из ничего сразу, вдруг, как сказано в Истинной книге, верно? И самое любопытное, что все это подтверждает. А по другой теории, которую лично я предпочитаю, только кажется, что все так произошло. Согласно ей все находится в стабильном состоянии, и хотя это правда, что все постепенно расширяется, Вселенная не истончается до полного превращения в ничто по той причине, что через странные дыры в нее все время поступает что-то новое. Вот это кажется мне правдоподобным.

— А какое это имеет отношение к Вьетнаму? — спрашивает Кролик.

— Это локальная дыра. Именно там мир перекраивается. И мы пожираем собственный хвост. Это дно, всегда ведь есть дно. Это колодец, в который ты заглядываешь и пугаешься собственного лица, отраженного в темной воде. Это конец. Это начало. Это прекрасно — люди в этой грязи совершают прекрасные поступки. Это то, где к нам пробивается Бог. Он идет, Чак, и Крошка Чак, и Леди Чак, впустите Его. Уничтожить цель, стрелять на поражение, ибо Хаос — это Его святой лик. И солнце проглянет. И луна станет красной. Луна — ярко-красная головка младенца, появляющаяся из чрева матери.

Нельсон вскрикивает и зажимает уши руками.

— Мне противно, Ушлый. Ты меня пугаешь. Я вовсе не хочу, чтобы Бог приходил, я хочу, чтобы Он оставался там, где Он есть. Я хочу вырасти таким, как он (имея в виду своего отца, Гарри, самого рослого мужчину в этой комнате), — обычным средним человеком. Мне противно слушать то, что ты рассказываешь про войну, — ничего это не прекрасно, наоборот, ужасно.

Ушлый отрывает взгляд от потолка и пытается сфокусировать его на мальчишке.

— Верно, — говорит он. — Ты все еще хочешь жить, ты все еще в их власти. Ты все еще раб. Не держись за это. Не держись за это, мальчик. Не будь рабом. Даже он — твой Папа Чак — кое-чему учится. Он учится умирать. Учится медленно, но помаленьку-полегоньку постигает истину, верно? — Его охватывает безумный порыв. И он подчиняется ему и поднимается с кресла. Подходит к мальчишке, который сидит на диване рядом с Джилл, и опускается перед ним на колени. Опускается на колени и говорит: — Не запирайся от Господа Бога, Нелли. Один мальчишка вроде тебя заткнул пальцем дыру в плотине, — вытащи палец. Пусть придет. Положи руку на мою голову и обещай, что не станешь прятаться от Господа Бога. Дай ему прийти. Сделай это ради Ушлого — ему ведь так долго было больно.

Нельсон кладет руку на шарообразную прическу Ушлого. Глаза у парнишки чуть не вылезают из орбит, когда он видит, как тонет в волосах его рука.

— Я не хочу причинять тебе боль, Ушлый, — говорит он. — Я вообще не хочу, чтобы кто-либо причинял боль кому-либо.

— Да благословит тебя Господь, мальчик.

Ушлому в его безумии кажется, что благословение нисходит на него самого с руки, погружающейся в шапку его волос, — так, как солнечный луч пробивается сквозь тучу. Нельзя обманывать мальчишку. Тихонько, медленно раздвигая лозы безумия, Ушлый укрепляется в своей уверенности.

— Проклятие! — взрывается Кролик. — Эта грязная маленькая война, которую хочешь не хочешь надо вести. И то, что ты там был, еще не повод разводить религиозную бодягу.

Ушлый поднимается с колен, пытаясь понять этого человека.

— Беда твоя в том, — наконец прозревает он, — что голова у тебя забита здравым смыслом. А здравый смысл — это чушь собачья, человече. С ним, конечно, можно прожить, но он не даст тебе познать. Ты просто ничего не знаешь, Чак. Даже не знаешь, что другого времени, кроме сейчас, вообще нет. И то, что происходит с тобой, это все, что происходит, верно? Ты — это все, верно? Ты. Это. Все. Я пришел оттуда, — и он показывает на потолок пальцем, похожим на коричневый мелок, — напомнить тебе об этом, ибо на протяжении этих двух тысяч лет вы снова все забыли, верно?

— Давай рассуждать здраво, — говорит Кролик. — Война во Вьетнаме — это неправильно, так?

— Неправильно? Как это может быть неправильно, человече, когда таков ход событий? И эти несчастные Умалишенные Штаты просто-напросто верны себе, верно? Нельзя же перестать быть самим собой, разве только другие заставят, верно? А других такого масштаба в обозримом пространстве и не видать. Как-то утром просыпается Дядя Сэм, смотрит на свой живот и видит, что превратился в какого-то таракана, — что же делать? Оставаться собой-тараканом — только и всего. Пока кто-нибудь не раздавит. Подходящего башмака на данный момент нету, верно? Ну так и делай свои тараканьи дела. Я не поклонник белых ли-бе-ралов вроде сенаторов южанина Фулдалла или янки Маккарти, от которого в дорогих колледжах еще недавно млели все студенты-педики, и не считаю, что Вьетнам — это ошибка, и мы в два счета все исправим, дайте только выбросить из правительственных кресел этих пещерных людей; это не ошибка, нет, и каждый президент сразу влюбляется в эту идею, это же либе-ра-лизм в действии, сладкая дырка, ягодка. Свободолюбы-либералы так долго вылизывали задницу мамаши-свободы, что подзабыли, как она выглядит спереди. Что такое либе-ра-лизм? Как дать радость всему миру, верно? Берешь старый испытанный принцип «человек человеку волк», посыпаешь сахаром погуще, чтоб везде сладко было, и готово, верно? Ну, а что может быть милее Вьетнама? Мы за то, чтобы этот берег был для всех открыт. Человече, зачем мы вообще нужны, если не затем, чтобы все для всех было открыто? Как сможет процветать капитал, если мы не будем держать открытыми несколько таких дырок? Война во Вьетнаме — это акт любви, верно? По сравнению с Вьетнамом удар по Японии выглядит омерзительно. Мы были тогда просто мерзкие насильники, а сейчас ведем себя цивилизованно. — Потолок заходил ходуном: Ушлый чувствует, как на него нисходит дар камлания, он словно шаман. — Мы — то, что надо. Два-три старых дурака вроде покойного Хо Ши Мина, возможно, не знали этого, но мы то, чего жаждет мир. Биг-бит, героин, черные члены, широкозадые машины и рекламные щиты — все это мы. Если Иисус сойдет на землю, Он сойдет здесь. Все остальные страны — просто дерьмо, верно? А у нас дерьмо бабуинов, верно? Пусть воцарится Царство Небесное, и мы погрузим мир в жаркое, чисто американское, зеленовато-голубоватое дерьмо бабуинов, верно?

— Верно, — говорит Кролик.

Получив такое поощрение, Ушлый прозревает истину.

— Во Вьетнаме, — говорит он, — во Вьетнаме наша божественная сущность — вылезает гнойниками. Кто не любит Вьетнам, тот не любит Америку.

— Верно, — говорит Кролик. — Верно.

Двое других — бледные веснушчатые лица в обрамлении густых волос — явно напуганы этим их взаимным согласием.

— Прекратите, — просит Джилл. — Все, что вы говорите, вызывает боль.

Ушлый понимает. С девочки содрали кожу, и бедняга, ничем не защищенная, подставлена звездам. Днем он заставил ее проглотить немного мескалина. Сперва мескалин, а там и за героином дело не станет. А уж если нюхнет, то и на иглу сядет. Она в его власти.

— Давайте смотреть телевизор, — просит Нельсон.

— А как тебе удалось провести там год и не пострадать? — спрашивает Кролик Ушлого.

Эти белые лица. Эти дыры, пробитые в его безупречной ярости. Бог вытекает из этих белых дыр, и он не в силах остановить утечку. Чувство бессилия добирается до его глаз. Гнусные подлецы, они нарочно внушали ему, ребенку, что Бог — белый.

— А я пострадал, — говорит Ушлый.

###### ОТКРОВЕНИЯ УШЛОГО

(Записаны уверенным, круглым почерком Джилл, воспитанницы частной школы, зеленым фломастером как-то вечером, в шутку, на листке из блокнота Нельсона.)

Власть — чушь.

Любовь — чушь.

Здравый смысл — чушь.

Хаос — подлинный лик Бога.

Ничто не интересно, кроме вечного одного и того же.

Спасение возможно только через Меня.

В тот же вечер ею были сделаны зарисовки цветными мелками, которые Нельсон нашел для нее, в сугубо любительском линейном стиле, на том уровне, какого она достигла в выпускном классе, однако портретное сходство не вызывало сомнений. Ушлый, конечно, был изображен в виде знака «пики». Нельсону, с темными вихрами и утрированными прядями по бокам, достались «крести» с тонкой, как стебелек, шеей. Сама она — светлые волосы того же розового тона, что и лицо, и личико сердечком — «черви». А Кролик — «бубны». И в центре ромба — крошечный розовый носик. Сонные голубые глазки под встревоженно приподнятыми бровями. Почти невидимый рот, слегка приоткрытый, словно хочет что-то поймать на лету. А вокруг всего этого — завихрения, сделанные зеленым карандашом, любезно нарисованная стрелка-указатель и в кружочке: «набросок».

Как-то к вечеру, когда Нельсон вернулся после игры в футбол, а Гарри — с работы, они все втискиваются в «порше» Джилл и отправляются за город. Кролик вынужден сесть впереди, а Нельсону и Ушлому ничего не остается, как разместиться позади, где обычно лежит багаж. Ушлый, щурясь, быстро пробегает расстояние от двери к краю тротуара и, усевшись в машину, говорит:

— Бог ты мой, сколько же времени я не был на воздухе, даже дышать больно.

Джилл ведет машину целеустремленно, быстро, с уверенностью молодости; Кролик то и дело вжимает ногу в пол, но тормозов там нет. В профиль видно, как улыбается Джилл. Ее маленькая ножка в балетной туфельке наполовину приглушает подачу бензина на поворотах, увеличивает скорость ровно настолько, чтобы проскочить мимо большого грузовика — свирепого, изрыгающего дым дома на колесах — и не дать другому грузовику, мчащемуся навстречу, отправить их в небытие на прямом отрезке шоссе, проложенном между долинами красной земли и полями со светлой щетиной срезанной кукурузы. Какой красивый край! Осень убрала густую пенсильванскую зелень, очистила небо от летней молочной пелены, расцветила холмы янтарными и ярко-оранжевыми красками, которые через месяц станут цвета стручков акаций и будут похрустывать под ногами в сезон охоты. Дым от костров плывет над долинами, словно туман над рекой. Джилл останавливает машину возле белого забора и яблони. Они вылезают, и в нос им ударяет запах перезрелых яблок-паданцев. У их ног яблоки гниют в высокой сырой траве, что растет вдоль канавы с ручейком на дне, трава здесь все еще ярко-зеленая; а за забором луг выщипан до коричневой основы скотом, лишь в некоторых местах высятся репейники в человеческий рост, разжиревшие на коровьем навозе. Нельсон подбирает яблоко и откусывает с той стороны, где нет червоточины.

— Детка, не бери в рот всякую пакость! — предупреждает Ушлый. Неужели он никогда раньше не видел, чтобы люди ели фрукты прямо с дерева?

Джилл приподнимает платье и, перепрыгнув через канаву, приникает к теплым побеленным доскам забора — в щель между ними она видит вдали, в темной тени деревьев ферму из песчаника, которая блестит, как кубик сахара в чае, и большое высохшее колесо от старой фермерской фуры, которое никогда уже не завертится, а сейчас стоит прислоненное к ржавой колонке, по всей вероятности, насосу. Глаза Джилл становятся невидящими, совсем зелеными. Она вспоминает ржавые крюйсовы, дожидающиеся швартовых заезжих судов в доках Род-Айленда и на пирсах пролива Саунд, все эти заржавевшие от морской воды, бесхозные, выбеленные солью, обросшие ракушками нехитрые постройки, летнее солнце на сером, как чайки, дереве, доки, сараи, постанывание металла, качаемого водой, все, все, такое отличное от перезрелости здешних, далеких от моря, краев, и говорит:

— Поехали.

И они снова погружаются в маленькую машину, и снова несутся мимо грузовиков, бензоколонок, «немецких» ресторанов с неоновыми гексафусами, и снова ветер и скорость машины уничтожают все запахи, и звуки, и мысли о возможности существования другого мира. Просторы к югу от Бруэра, испещренные домами из песчаника, фермами амишей, словно напечатанными на подстриженных, как на обложках журналов, полях, переходят к северу от города в уродливые горы и темные долины, где в свое время процветала примитивная железнорудная промышленность, а люди строили высокие узкие дома из кирпича, с островерхими крышами и мансардами, отчего возникало впечатление, что на лужайках за утыканными остриями стенами сидят нахохлившиеся стервятники. Красный цвет глиняных горшков, господствующий в Бруэре, здесь, в десяти милях к северу, становится более жестким, темно-красным, как засохшая кровь. Хотя это еще не район угольного бассейна, деревья здесь кажутся потемневшими от угольной пыли. Кролик вспоминает серию статей, напечатанных в «Вэте», о чудовищных убийствах, о всех, изрубленных в куски, скальпированных, удушенных в этих сельских долинах, с их деревенскими узкими главными улицами, где стоят церкви цвета высохшей крови, и банки, и дома собраний ложи «Чудаков»[[57]](#footnote-57), — улицами, которые оканчиваются, словно свернутая шея, резким поворотом над заброшенными железнодорожными путями и выходят в лишенное солнца ущелье, по которому течет речка цвета старого серебра, перепоясанная тут и там мокрыми мостами, издающими грохот, когда проезжаешь по ним.

Кролик и Нельсон, Ушлый и Джилл, утрамбованные в маленькой машине, много смеются во время этой поездки, — смеются ни над чем: над очумелым выражением лица деревенского ротозея, мимо которого они проносятся, над свиньями, величавыми, как министры, в своих загонах, над фамилиями на почтовых ящиках (Хиннершиц, Фохт, Штупнайгель), над трактористами, такими толстыми, что им только на тракторе и ездить — больше такой зад ни на одно сиденье не втиснуть. Они смеются даже тогда, когда маленькая машинка, хотя бензиномер показывает, что топлива еще полбака, вдруг дергается, кряхтя проезжает немного вперед, замедляет ход и останавливается, словно её притормозили. Джилл успевает лишь отогнать ее к обочине, в сторону от потока транспорта. Кролик вылезает, чтобы осмотреть мотор, но вовнутрь этой машины не залезть, и она не просматривается, как линотип, все там перекручено, все в жирной смазке, все запаяно. Стартер включается, но мотор не желает крутиться. Что-то заклинило в двигателе. Кролик поднимает капот, чтобы все видели, что у них беда. Ушлый, скрючившись на заднем сиденье, кричит ему:

— Чак, ты соображаешь, что делаешь, — ведь этим капотом ты привлекаешь внимание легавых паскуд!

— Лучше вылезай оттуда, — говорит ему Кролик. — Если сзади нам поддадут — тебе конец. И тебя это тоже касается, Нельсон. Вылезайте.

Они на наиболее опасном шоссе — трехрядном. Машины, увозящие домой тех, кто работает в Бруэре, проносятся мимо, оставляя за собой столбы пыли, шум и выхлопные газы. Доброго самаритянина не находится — ни одна из них не останавливается. «Порше» торчит на высокой закраине дороги, посыпанной тонко промолотым покрытием, которое использует штат, чтобы удержать почву на склонах от осыпания. Внизу, под ними, кукурузное поле, с которого уже убран урожай. Кролик и Нельсон, прислонясь к машине, смотрят, как солнце, которому еще час до заката, заливает поле, наполняя его тенями от кукурузной стерни, тонкими, как рубчики вельвета. Джилл, отправившись бродить по полю, собирает букет крошечных цветочков, похожих на маргаритки, которые расцветают осенью на таких тоненьких стебельках, что издали кажется, будто поле на дюйм или два над землей покрыто вуалью. Джилл протягивает букетик Ушлому, чтобы выманить его из машины. Он пытается, не вставая, взять у нее цветы, букетик рассыпается, и цветочки падают в придорожную грязь. Из «порше» доносится его приглушенный голос:

— Ах ты, белая тварь, ты нарочно все это затеяла, чтобы сдать меня, ничего в этой чертовой машине не сломалось, верно?

— Она заглохла, — говорит Джилл. Один из цветков лежит на носке ее балетной туфельки. Лицо Джилл не выражает ничего.

Ушлый подвывает и рычит, продолжая сидеть в своем металлическом укрытии.

— Я знал — нельзя мне выходить из дома. Джилл, лапочка, я же все понимаю. Не можешь жить без травки, верно? Вся воля куда-то испаряется, верно? Зачем напрягать волю, проще сдать простака Ушлого закону, верно?

Кролик спрашивает Джилл:

— Что он там говорит?

— Он говорит, что боится.

Ушлый кричит:

— Убери ты этих белых тупиц с моей дороги — я даю деру. Как далеко можно бежать по ту сторону забора?

Кролик произносит:

— Очень разумно, вот тут-то ты себя и обнаружишь. Сиди уж. А то выскочишь как ниггер из табакерки.

— Не смей называть меня ниггером, ты, вошь белая. Вот что я вам скажу: сдадите меня, я всех вас достану, даже если ради этого придется послать кое за кем в Филадельфию. Я ведь не один, мы всюду, слышите? А теперь, говнюки, заводите машину, вы меня слышали? Поехали отсюда!

Все это Ушлый произносит, сидя скрючившись между кожаными спинками сидений и задним окном. Охватившая его паника омерзительна и может быть заразной. Кролик жаждет вытащить Ушлого из металлической скорлупы на солнце, но боится ухватить его — а ну как ужалит. Кролик захлопывает дверцу «порше», затыкая тем самым скребущий по нервам голос, и с грохотом опускает капот машины.

— Вы двое оставайтесь тут. Успокойте его, удержите в машине. А я дойду до бензоколонки — должна же тут быть какая-нибудь.

Некоторое время он бежит — ядовитый страх Ушлого жжет его мочевой пузырь. После всех вечеров, проведенных вместе, негр тем не менее прежде всего подумал о предательстве. Возможно, это естественно, и Кролик бежит, чтобы удержать чернокожего на месте. Пришпилить его, чтоб не дал деру. Перевернувшаяся на спину черепаха. Вот так же Кролик бежал, опаздывая в школу. Вызволение Ушлого превратилось в долг. Опаздывает он, опаздывает. И вдруг над окрашенными закатным солнцем полями возникает знакомая вывеска с летящей красной лошадью. Гараж старомодный — непостижимо большое пространство, пропахшее бензином, на стенах — гаечные ключи, специальные молотки, запчасти к машинам. Рядом с гидравлическим подъемником стоит автомат с кока-колой, который выдает бутылочки. Механик, тощий молодой мужчина с деревенским протяжным говором и черными ладонями, везет его в тряском тягаче назад по шоссе. Боковое стекло выбито — воздух, словно изголодавшись, со свистом врывается в кабину.

— Заклинило, — объявляет приговор механик. И спрашивает Джилл: — Когда вы в последний раз заправляли машину маслом?

— Маслом? А разве его не заправляют одновременно с бензином?

— Нет, если вы об этом не просите.

— Вот дуреха, — говорит Кролик Джилл.

Она с вызывающим видом поджимает губы.

— Ушлый тоже ведь ездил на машине.

Механик сунул голову под капот, и Ушлый распрямился, вылезая из-за сидений, очки его оранжевыми дисками поблескивают в последних лучах солнца. Кролик спрашивает его:

— Как далеко ты ездил на этой колымаге?

— О, — произносит черный, осмотрительно избегая крепких выражений в присутствии механика, — туда-сюда. Но всегда осторожно. Я не знал, — ехидно добавляет он, — что этот автомобиль — твоя собственность.

— Просто обидно, когда гробят хорошую машину, — неуклюже поясняет Кролик. — Обращаются с ней кое-как.

Джилл спрашивает механика:

— Вы сумеете исправить за час? А то братишке надо еще дома уроки сделать.

Механик обращается только к Кролику:

— Мотор скапутился. Поршни приварило к цилиндрам. Ближайшее место, где можно отремонтировать такую машину, наверное, Потстаун.

— А можно ее оставить у вас, пока мы не найдем кого-нибудь, кто приехал бы за ней?

— Я возьму доллар за день парковки.

— Конечно. Отлично.

— И двадцать за то, чтоб ее отбуксировать.

Кролик расплачивается двадцаткой, которую вернул ему Бьюкенен. Механик оттаскивает «порше» в гараж. Вся компания едет с ним: Джилл и Гарри в его машине («Осторожнее, — говорит механик, когда Джилл опускается на сиденье рядом с ним, — мне вовсе не хотелось бы испачкать такое славное белое платьице»), Ушлый с Нельсоном — в «порше», которую тащат задом наперед. В гараже механик вызывает по телефону такси, которое довезло бы их до Западного Бруэра. Ушлый исчезает за грязной дверью и несколько раз спускает в унитазе воду. Нельсон наблюдает за тем, как механик отцепляет «порше» от своей машины, и слушает его рассуждения про моторы. А Джилл и Гарри отправляются пройтись. Кузнечики отчаянно стрекочут в темных кукурузных полях. Над вывеской с летящей лошадью скользит четвертушка луны, подмигивающая заплывшим глазом. Наружное освещение выключено. Кролик замечает что-то белое на туфельке Джилл. Цветочек, выпавший из букетика, так и остался там. Кролик наклоняется и протягивает ей цветок. Она целует его в знак благодарности, затем молча отправляет цветок на покой в помойку, полную промасленных тряпок и пробитых банок. «Не запачкайте платьице». Раздается похрустывание гравия под колесами какой-то машины — в поле зрения Джилл и Кролика появляется допотопный «бьюик» пятидесятых годов с задними «плавничками», скопированными с бомбардировщика «Б-19». За рулем сидит толстяк, жующий жвачку. По пути назад, в Бруэр, голова его в свете встречных фар возвышается как пирамида, неподвижная, если не считать легкого подрагивания от жвачки. Ушлый сидит рядом с ним.

— Хороший денек нынче выдался, — обращается к толстяку Кролик.

Джилл хихикает. Нельсон спит, уткнувшись ей в колени. Она играет его волосами, наматывает их на свои пальчики.

— Неплохой для такого времени года, — не сразу раздается отклик.

— Красивые здесь места. Мы почти не выбираемся к северу от города. Вот сегодня поехали полюбоваться окрестностями.

— По мне, тут особо любоваться нечем.

— Так как назло мотор заглох — машина, наверно, в полном расхлесте.

— Наверно.

— Дочь забыла залить в нее масло — такие уж они нынче, молодые: разобьют одну машину, покупают следующую. Вещи ничего для них не значат.

— Для некоторых, наверно, да.

Ушлый с утрированным негритянским акцентом говорит шоферу:

— Ты-то, должно быть, часто встречаешь славных людей, с которыми случается такая точно неприятность, как с нами.

— В общем-то да, — изрекает шофер и умолкает до тех пор, пока не останавливается на Виста-креснт, а там говорит Кролику: — Восемнадцать.

— Долларов? Это за десять-то миль?

— За двенадцать. И назад мне тоже двенадцать ехать.

Кролик обходит машину, чтобы расплатиться с шофером, остальные бегут в дом. Шофер наклоняется к нему из окна и спрашивает:

— Ты хоть знаешь, что ты творишь?

— Не вполне.

— Да они тебя в любую минуту пырнут ножом.

— Кто?

Шофер пригибается ближе: при свете фонаря Кролик видит широкое унылое лицо, очень бледное, безгубый, как у кита, рот с печальной складкой, шрам полумесяцем на носу. И шофер тихо произносит:

— Да эти черномазые.

Кролику стыдно за него, он отворачивается и видит — Нельсон прав — толпу мальчишек. Они стоят на другой стороне улицы, некоторые с велосипедами, и смотрят, кого привезла сюда эта чужая машина. Это явление в уныло-спокойном Пенн-Вилласе тревожит его примерно так же, как если бы он увидел, как на поверхности Луны вспучиваются наросты.

Их вылазка, во время которой кожа Ушлого вновь почувствовала на себе солнце, придает ему храбрости. Вернувшись с работы, Кролик обнаруживает, что Ушлый с Нельсоном играют возле дома в баскетбол. Нельсон бросает мяч отцу, и Кролик одной рукой, с места, с двадцати футов попадает в корзину. Здорово.

— Эй, — вопит Ушлый так громко, что голос его слышен во всех домах Пенн-Вилласа, — где это ты научился так потешно бросать мяч? Решил посмешить нас, верно?

— Но ведь мяч попал, — говорит Нельсон.

— Ерунда, парень, даже однорукий карлик поставил бы блок такому мячу. Чтобы забрасывать такие мячи, тебе еще нужна подстраховка — да не один человек, а сразу двое, верно? А забивать как надо — прыгнул, бросил, прыгнул, бросил, верно?

И он показывает, как надо; мяч не попадает в корзину, но бросок неплохой: мяч летит высоко, взмывая вверх, взвиваясь в воздух, потом медленно падает, образуя такую дугу, что никакому защитнику его не достать. Кролик пытается бросить так же, но обнаруживает, что для прыжков стал тяжеловат — трудно поднять свое тело в воздух. Мяч летит плохо.

— Нутро у тебя свинцовое, как у всех белых, но я обожаю твои руки, — говорит Ушлый.

Они начинают играть на счет — Ушлый, быстрый, гибкий, снова и снова после короткой перепасовки с Нельсоном оказывается у щита. Кролику никак не удается его перехватить, в груди теснит, трудно дышать, и вдруг, в какое-то мгновение, презрев законы тяготения, все объединяется в едином порыве — и мяч, и его, Кролика, мускулы, и весь воздух, и тела его соперников. А потом холодный октябрьский воздух пробирает его вспотевшее тело, и он возвращается в дом. Джилл спит наверху. В последнее время она спит все больше и больше, погружаясь в тупой, отделяющий от реальности сон, который Кролик воспринимает как обиду. Когда она спускается вниз в этом своем надоевшем белом платье, отбрасывая со щек прилипшие волосы, он грубо спрашивает:

— Ты хоть как-то пошевелилась насчет машины?

— Милый, как я должна была пошевелиться?

— Могла бы позвонить матери.

— Не могу. Они с отчимом такое устроили бы. Они бы явились сюда за мной.

— А может, это было бы и неплохо.

— Мой отчим — подонок. — Не глядя на Кролика, она проходит мимо него на кухню. Заглядывает в холодильник. — Ты не заходил в магазин?

— Это твоя обязанность.

— Даже без машины?

— Господи, да ведь до «Акме» всего пять минут ходу.

— Ушлого могут увидеть.

— Его и так все видят. Он сейчас на улице скачет с Нельсоном. Да ты и сама позволила ему кататься по всей Пенсильвании. — Он выплескивает всю свою злость: «свинцовое нутро». — Черт побери, как можно было доконать дорогую машину и плюнуть на нее? В мире немало людей, которые десять лет могли бы жить на то, что она стоит.

— Не надо, Гарри. Я и так еле на ногах стою.

— О'кей. Извини.

Он привлекает ее к себе. Она покачивается в его объятиях, трется носом о его рубашку. Но когда она в таком отсутствующем состоянии, когда у нее нет контакта с окружающей средой, это вызывает у него чисто физическое раздражение. В носу начинает щипать, хочется чихнуть.

Джилл бормочет:

— По-моему, ты скучаешь по жене.

— По этой суке? Никогда.

— Она такая, как все вы, кого захомутало это общество. Хочет жить, пока жива.

— А ты разве не хочешь?

— Иногда. Но я знаю, что этого недостаточно. На желании просто жить тебя и ловят. А теперь отпусти меня. Тебе неприятно меня обнимать — я это чувствую. К тому же я вспомнила, что в глубине позади мороженого лежит куриная печенка. Но ее придется страшно долго оттаивать.

Шестичасовые новости. Бледное лицо на экране — ведущий не знает, что его голова из-за плохого приема на Виста-креснт, 26, сплющена, а подбородок, словно резиновый, вытянут, — сурово изрекает: «Чикаго. Две тысячи пятьсот национальных гвардейцев Иллинойса несли сегодня службу в усиленном режиме, продолжая патрулирование даже по истечении «дня бунтов», объявленного экстремистской фракцией организации «Студенты за демократическое общество». Разбитые окна, перевернутые машины, стычки с полицией молодых активистов, выступающих под лозунгом... — тяжелая, мучительная пауза; бледное лицо поднимается к камере, подбородок вытягивается, голова сплющивается, становится похожей на наковальню, — «Начнем войну дома!».

Мелькают кадры хроники: полисмены в белых шлемах, молотящие дубинками куда-то в сплетения рук и ног, длинноволосые девчонки, которых куда-то волокут, невесть откуда взявшиеся бородачи, потрясающие кулаками, которые, кажется, сейчас пробьют экран телевизора; затем снова полицейские, размахивающие дубинками, — в глазах Кролика это выглядит как балет и совсем не пугает. Ушлому это нравится.

— Давай! — кричит он. — Вдарь снова этому пижону! — Начинается реклама, и Ушлый, повернувшись, говорит Нельсону: — Красотища, верно?

Нельсон спрашивает:

— Как же так? Разве они не протестуют против войны?

— Ну конечно! Скорей я поверю, что курица закукарекает. Эта белая шваль протестует против того, что им придется ждать двадцать лет, прежде чем им отломится кусок папочкиного пирога. Им подавай его сейчас.

— А что они с ним станут делать?

— Что делать, парень? Есть — вот что они с ним станут делать.

Реклама, изображающая рот молодой женщины во весь экран, кончилась.

«Тем временем идут бурные заседания суда над «чикагской восьмеркой»[[58]](#footnote-58). Председательствующий судья Джулиус Дж. Хофман — отнюдь не родственник обвиняемого Эбби Хофмана — несколько раз высказывал порицание обвиняемому Бобби Силу, выкрикивавшему со скамьи подсудимых такие эпитеты, как... — (снова взгляд вверх, снова голова сплющивается, снова огорчительный тон) — свинья, фашист и расист». На экране мелькает портрет Сила, сделанный в зале суда.

Нельсон спрашивает:

— Ушлый, а он тебе нравится?

— Я не слишком нежно отношусь, — говорит Ушлый, — к ниггерам, ставшим, так сказать, частью истеблишмента.

Кролик не может не рассмеяться.

— Это же нелепо. В нем не меньше ненависти, чем в тебе.

Ушлый выключает телевизор. И говорит тоном классной дамы, изысканно вежливо:

— Я вовсе не полон ненависти. Я полон любви, а любовь — сила динамическая. Тогда как ненависть — сила парализующая. Ненависть замораживает. Любовь ошеломляет и изгоняет из тебя все дурное. Верно? Иисус изгнал менял из храма. Новый Иисус изгонит новых менял. Старый Иисус принес меч, верно? Новый Иисус тоже принесет меч. Он будет живым пламенем любви. Хаос — тело Господне. Порядок — дьявольские оковы. Что же до Роберта Сила, то любой черный, ради которого устраивают коктейли для сбора средств, по моим понятиям, все равно что домашний негр-слуга, холуй и лизоблюд. Куда он только не влез — во власть, в рекламу, он сам обесценил свою душу и потому, как говорится, его можно сбросить со счетов. Мы, черные, прибыли сюда без фамилий, мы органические семена будущего, а семена ведь не имеют ни имен, ни фамилий, верно?

— Верно, — говорит уже по привычке Кролик.

Куриная печенка, приготовленная Джилл, с краев подгорела, а в середине так и не разморозилась.

Одиннадцатичасовые новости. Бородатый парень, настолько приблизивший лицо к камере, что даже фокус не навести, кричит: «Долой легавых! Вся власть народу!»

Невидимый интервьюер сладким голосом спрашивает: «Как бы вы описали цели вашей организации?»

«Уничтожение существующего аппарата подавления. Общественный контроль за средствами производства».

«Могли бы вы рассказать нашим телезрителям, что вы имеете в виду под средствами производства?»

Камера подпрыгивает — по затененной гостиной пробегает свет.

«Заводы и фабрики. Биржа. Технология. Ну, все такое. Ничтожная горстка капиталистов заставляет нас дышать загрязненным воздухом, навязывает нам сверхзвуковые самолеты, геноцид во Вьетнаме и гетто. Все такое».

«Ясно. Значит, ваша цель — не просто бить окна, а тем самым приостановить убегающую вперед технику и создать основу для нового гуманизма».

Лицо мальчишки, сколько оператор ни старается, становится мутным.

«Вы что, смеетесь? Да мы вас первого к стенке поставим, да вы...»

Короткая надпись сообщает, что интервью было показано в записи.

Кролик говорит:

— Выскажи свои взгляды на технику.

— Техника, — объясняет Ушлый с подчеркнутым долготерпением — кончик закрутки краснеет, когда он затягивается, — это чушь. Запиши это, Джилли.

Но Джилл спит на диване. Ее ляжки светятся в темноте. Платье задралось почти до печально-тенистого треугольника трусиков.

А Ушлый продолжает:

— Все мы не покладая рук трудимся во имя великой цели — забыть все, что мы знаем. Мы пришиваем яблоко назад к дереву. У римлян была техника, верно? И варвары избавили их от нее. Варвары явились их спасителями. Поскольку мы не в состоянии уговорить эскимосов поработить нас, мы вырастили поколение собственных варваров — извините, вы их вырастили, белые их вырастили, белые американцы среднего класса и их подражатели во всем мире нашли в себе божественную силу произвести на свет миллионы недочеловеков, каких в не столь дремучие времена производили только аристократы. Последних принцев династии Меровингов, полоумных, заговаривающихся, возили в повозках, запряженных волами, а теперь у нас, слава Богу, полоумные разъезжают на автомобилях. Ибо воистину: мы сами вышибем себе мозги, а остальное завещаем председателю Мао, верно?

— Это несправедливо, — возражает Кролик. — У этих ребят не только плохое на уме. Они ведь не только против войны выступают, но и против загрязнения окружающей среды!

— Ох, до чего же я устал, — говорит Ушлый, — толковать с белыми. Ты защищаешь своих. Эти оголтелые детишки, все равно как то вонючее Агню, жаждут сохранить статус-кво наперекор божественному промыслу и божественному гневу. Они — порождения Антихриста. Они зрят лик Божий во Вьетнаме и плюют на него. Лжепророки — по великому множеству их узнаешь, что близок час. Публичное бесстыдство, хитроумная броня, преклонение перед идиотизмом, законы взяточничества и протекционизма — единственные реальные законы: сегодня мы Рим. А я — Христос нового средневековья. А если не я, то кто-то другой, похожий на меня, кого в последующие времена примут за меня. Ты в это веришь?

— Верю. — Кролик затягивается своей закруткой и чувствует, как его миропонимание расширяется до принятия новых истин, — так женщина разбрасывает ноги, так раскрывается цветок, так мчатся друг за другом звезды. — Я верю.

Ушлый хочет, чтобы Кролик почитал ему что-нибудь из «Жизни и эпохи Фредерика Дугласа[[59]](#footnote-59)».

— Ты просто великолепен, верно? Сегодня ты будешь нашим большим ниггером. Как белый, ты мало чего стоишь, Чак, а вот ниггер из тебя получится что надо!

Он заложил определенные места книги бумажками и отметил карандашом. Кролик читает:

— «Читатель наверняка заметил, что среди имен рабов нам встретилось имя Эстер. Это имя носила молодая женщина, обладавшая тем, что всегда было проклятьем для рабыни, а именно — красотой. Она была высокая, довольно светлокожая, с хорошей фигурой и приятной внешностью. За Эстер ухаживал Эд Робертс, сын любимого раба полковника Ллойда, не менее красивый молодой человек, под стать красавице Эстер. Иные хозяева были бы рады способствовать браку такой пары, но капитан Энтони по какой-то причине не одобрял их отношений. Он строго-настрого запретил девице встречаться с молодым Робертсом, предупредив, что она будет сурово наказана, если он когда-либо снова увидит ее с ним. Но молодых людей невозможно было удержать врозь. Они не могли не встречаться — и встречались». Дальше пропуск. — Красная отметина появляется в конце страницы. Кролик слышит, как в голосе его появляются трагические нотки, туманное раннее утро, детский страх. — «Рано утром, когда вокруг стояла тишина и никто из семьи или кухонной прислуги еще не встал, я был разбужен душераздирающими криками и жалобными стонами бедняжки Эстер. Спал я на земляном полу в маленьком чулане, выходившем в кухню...»

— Ты чувствуешь запах этого чулана, верно? — прерывает чтение Ушлый. — Пахнет грязной землей, верно, и прелым картофелем, и травой, желающей пожелтеть, прежде чем вырасти хотя бы на дюйм, верно? Чувствуешь этот запах, а он спал там.

— Тише ты, — говорит Джилл.

— «... и сквозь щели в плохо пригнанных досках я отчетливо видел и слышал то, что происходило, а меня самого не видели. Запястья Эстер были крепко связаны, и крученая веревка закреплена за крепкую железную скобу в толстой деревянной балке над головой, недалеко от очага. Эстер стояла на скамье, вытянув над головой руки. Ее спина и плечи были обнажены. Позади стоял старый хозяин с кнутом в руке и делал свое варварское дело, сопровождая каждый удар резкими, грубыми, издевательскими эпитетами. Он занимался этим истязанием как человек, которому доставляет удовольствие агония жертвы. Снова и снова он перебирал рукой свой омерзительный бич, стремясь с помощью своей силы и умения причинить как можно больше боли. Бедняжку Эстер никогда дотоле так сурово не хлестали кнутом. Плечи у нее были пухлые и нежные. При каждом ударе, нанесенном изо всей силы, она вскрикивала, и на коже проступала кровь. «Сжальтесь! Ох, сжальтесь! — умоляла она. — Я больше не буду». Но ее пронзительные крики, казалось, лишь увеличивали ярость хозяина. — Красным карандашом отмечено до этого места, но Кролик продолжает читать до конца главы: — Эта сцена, учитывая вызвавшие ее обстоятельства, была омерзительна и предельно шокировала чувства, а когда знаешь причины, побудившие такое жестокое обращение, язык не в состоянии передать, до какой степени все это выглядит преступно. Оставив на теле жертвы столько полос, что язык не поворачивается сказать, старый хозяин отвязал ее. Она едва могла стоять. Я от всего сердца жалел ее и хотя был ребенком и впервые наблюдал подобную сцену, она потрясла мою душу. Я был безумно напуган, оглушен и растерян. Описанная выше сцена имела частое продолжение, ибо Эдвард и Эстер продолжали встречаться, несмотря на все усилия помешать им».

Ушлый поворачивается к Джилл и толкает ее в грудь, как рассерженный ребенок.

— Не шикай на меня, ты, сучка.

— Мне хотелось послушать этот кусок.

— Ну как, завел он тебя, сучка?

— Мне понравилось, как прочел Гарри. С чувством.

— Плевал я на ваши белые чувства.

— Эй, потише, — беспомощно пытается удержать его Кролик, чувствуя, что дело может плохо кончиться.

А Ушлый совсем обезумел. Одной рукой держа Джилл за плечо, он протягивает другую к вороту ее белого платья и, дернув на себя, разрывает его. Материя плотная; голова Джилл резко дергается вперед, прежде чем ему удается разорвать платье. Джилл отползает в глубь дивана — глаза мертвые, маленькие жесткие грудки подпрыгивают в разодранном декольте.

Инстинкт велит Кролику не к ней бросаться на помощь, а попытаться защитить Нельсона. Он швыряет книгу на скамью сапожника и становится между мальчишкой и диваном.

— Ступай наверх.

Нельсон, оглушенный, растерянный, поднимается на ноги.

— Он убьет ее, пап, — стоном вырывается у него. Щеки его горят, глаза провалились.

— Нет, не убьет. Он просто накурился. И ей это нравится.

— Вот гад, вот гад, — в отчаянье повторяет мальчишка, и лицо его сморщивается — он вот-вот заплачет.

— Эй, Крошка Чак, — обращается к нему Ушлый. — Хочешь отхлестать меня, верно?

Ушлый вскакивает, делает, словно заклинатель, несколько па, резко срывает с себя рубашку, так, что пуговица на одном из рукавов отлетает и выстреливает в абажур. Его голая тощая грудь поражает своей выразительностью: видно, как каждый мускул прикреплен к кости, и весь его торс словно вырезан из какого-то растущего в джунглях дерева, более темного, чем тени, и более крепкого, чем слоновая кость. Кролик никогда еще не видел такой груди, разве что на кресте.

— Что дальше? — кричит Ушлый. — Что еще тебе подставить, а? Сейчас! — Его руки расстегнули пуговицу на ширинке и взялись за пояс, но Нельсона в комнате уже нет.

Его рыдания доносятся сверху, замирая.

— О'кей, хватит, — говорит Кролик.

— Почитай еще немножко, — просит Ушлый.

— Тебя уж слишком заносит.

— Этот чертов твой парнишка считает, что эта сучка ему принадлежит.

— Прекрати называть ее сучкой.

— Человече, да разве не Христос определил ей быть такой? — со смешком произносит Ушлый.

— Ты омерзителен, — говорит ему Джилл, соединяя половинки разорванного платья.

Ушлый отбрасывает одну из половинок.

— Му-у.

— Гарри, да помоги же мне.

— Почитай книжку, Чак, я буду хорошо себя вести. Прочти то место, которое отмечено следующей закладкой.

Над их головой звучат шаги Нельсона. Если Кролик станет читать, можно будет не волноваться за мальчишку.

— «Увы» — здесь начинать?

— Можно здесь. Крошка Джилли, ты меня любишь, верно?

— «Увы, это огромное богатство, эта раззолоченная роскошь, это обилие комфорта, это отсутствие необходимости трудиться, эта жизнь в довольстве; это море изобилия — все это не было жемчужными вратами, какими казалось...»

— Ты — мои жемчужные врата, девочка.

— «Несчастный раб, едва прикрытый тоненьким одеялом, спал крепче на своих голых досках, чем алчный сластолюбец, возлежавший на пуховых подушках. Что другому хлеб насущный, то погрязшему в праздности — смертельный яд. В жирном и вкусном мясе таились невидимые злые духи, которые наделяли самообманщика-обжору болями и коликами, неуправляемыми страстями, отчаянными вспышками ярости, диспепсией, ревматизмом, люмбаго и подагрой, и всего этого у Ллойдов было предостаточно».

Поверх края страницы Кролик видит, как Ушлый сражается с Джилл — мелькают ее серые трусики, груди обнажены. В следующее мгновение Кролик видит ее улыбку. Ее мелкие зубы оскалены в беззвучном смехе — ей это нравится, нравится, что ее насилуют. Заметив, что он наблюдает за ней, Джилл вздрагивает, выбирается из-под Ушлого, запахивает разодранное платье и выбегает из комнаты. Ее шаги дробно звучат на лестнице. Ушлый растерянно моргает и со вздохом оглаживает большую подушку волос на голове.

— Прекрасно, — вздыхает он. — Еще один кусок, Чак. Прочти то место, где он начинает давать сдачи.

Его коричневая грудь сливается с бежевым диваном — поролон на нем накрыт пледом в зеленую, рыжую и красную клетку, таким затертым, что рисунок превратился в единый цвет, не имеющий названия.

— Видишь ли, мне пора наверх — я ведь завтра работаю.

— Ты волнуешься из-за своей маленькой куколки? Не волнуйся о ней. Сучка, человече, она как «Клинекс» — использовал и выбросил. — Не слыша никакой реакции, Ушлый добавляет: — Я же шучу, верно? Уж и позлить тебя нельзя? Ну ладно, давай вернемся к нашему чтению и прочтем следующую закладку. Беда с тобой, человече, что ты всегда женат. А женщине не интересен мужчина, который всего лишь женат, она хочет встретить душу, которую надо разгадать, верно? Если женщина перестает гадать, значит, она мертва.

Кролик опускается в кресло, обитое материей с серебряной нитью, и начинает читать:

— «Откуда во мне взялась смелость, необходимая, чтобы сразиться с человеком, который всего сорок восемь часов тому назад мог заставить меня от одного своего слова задрожать как лист в бурю, — я и сам не знаю; так или иначе, я решил побороться и — что еще отраднее — был преисполнен твердой решимости. Безумие борьбы овладело мной, и я вдруг обнаружил, что мои сильные пальцы крепко обхватили горло тирана и что я не думаю о последствиях, точно мы с ним стоим на равных перед законом. Я забыл даже, какого цвета этот человек. Я был гибок, как кошка, и готов противостоять ему, как бы он ни повернулся. Я парировал каждый его удар, хотя сам и не наносил их. Я строго держался обороны, не давая ему покалечить меня, но и не пытаясь покалечить его. Я несколько раз бросал его на землю, хотя бросить на землю собирался он меня. Я держат его так крепко за горло, что его кровь залилась мне под ногти. Он держал меня, а я держал его».

— Ох, до чего же я люблю это место, оно хватает меня за печенку, убивает меня, — говорит Ушлый и приподнимается на локтях, так что его тело оказывается как раз напротив тела Кролика. — Почитай еще. Ну немножко.

— Мне надо наверх.

— Пропусти пару страниц, перейди к тому месту, которое отмечено у меня двойной чертой.

— А почему ты сам не хочешь читать?

— Это не то же самое, верно? Когда читаешь сам себе. Каждый школьник знает — это не то же самое. Да ну же, Чак. Я же веду себя хорошо, верно? Не причиняю никаких хлопот, я Том преданный, так брось же Тому косточку, почитай. Я сейчас сниму с себя все, хочу слышать этот кусок всеми моими порами. Пропой его, человече. Да ну же. Начни с того места, где говорится: «Человек бессильный...» — И снова повторяет: — «Человек бессильный...» — И теребит пряжку своего пояса.

— «Человек бессильный, — уставив глаза в книгу, читает Кролик, — лишен главного человеческого качества — чувства собственного достоинства. Так уж устроена человеческая натура, что люди не могут чтить беспомощного человека, хотя могут его жалеть, но даже и жалеть не могут долго, если тот не проявит признаков силы».

— Да, — говорит Ушлый, и расплывчатое пятно, каким он видится Кролику, перекатывается по дивану, что-то белое мелькает поверх белизны печатной страницы.

— «Лишь тот, — читает Кролик, и слова кажутся ему огромными, каждое слово как черная кадушка, в которой эхом отдается его голос, — способен понять влияние этого сражения на мой дух, кто сам прошел через нечто подобное или отважился противостоять несправедливости и жестокости агрессивного тирана. Кови был тираном и притом трусливым. Дав ему отпор, я почувствовал себя так, как никогда прежде».

— Да, — доносится голос Ушлого из невидимой пропасти за прямоугольником страницы.

— «Это было воскрешением из темной и зловонной могилы рабства, воспарением к небесам относительной свободы. Я больше не был подобострастным трусом, дрожавшим от хмурого взгляда брата — земляного червя, — мой долго пресмыкавшийся дух стал независимым. Я достиг того рубежа, когда *перестал бояться смерти* ». Подчеркнуто.

— О да. Да.

— «Такое душевное состояние сделало меня *фактически* свободным человеком, хотя *формально* я по-прежнему оставался рабом. Если раба нельзя бить, значит, он больше чем наполовину свободен».

— А-минь.

— «Он обладает достоянием, которое надо защищать, большим, как его мужественная душа, и ему действительно дана «власть на земле».

— Слышите! Слышите!

— «С того времени и до того, как я освободился от рабства, меня никогда по-настоящему не били кнутом. Несколько раз пытались, но всегда безуспешно. Вот синяки бывали, но описанный мною случай положил конец жестокому обращению, которому я подвергался как раб».

— Ох, и какой же ты у нас симпатичный ниггер, — нараспев произносит Ушлый.

Подняв от книги глаза, Кролик видит, что на диване нет больше белого пятна, все одинаково темное, только это темное пятно ритмично колышется, словно хочет всосать его в себя. Его глаза не смеют проследить за кистью, за живой линией ритмично движущейся руки, на которую падает свет. Длинный угорь, хватающий корм. Кролик встает и направляется вон из комнаты, отбросив на ходу книгу, хотя глаза негра на обложке, будто раскаленные угольки, следят за ним, когда он идет по жесткому ковру, поднимается вверх по натертой лестнице в царство белых, где на лестничной площадке горит лампочка под матовым абажуром. Сердце у Кролика подпрыгивает. Он унес ноги. Едва-едва.

На первом этаже свет от лампы с основанием из дерева-плавника подсвечивает снизу маленький клен, его листья кажутся красными, как пальцы, прикрывающие карманный фонарик. А здесь, наверху, пожухлая крона дерева наполовину затеняет окно их спальни. В постели Джилл поворачивается к Кролику, бледная и холодная как лед.

— Обними меня, — говорит она. — Обними меня, обними, обними. — Так часто и монотонно повторяет она, что он пугается.

Женщины — они безумны, они вобрали в себя древнее безумие, он держит в объятиях ветер. Он чувствует: Джилл хочет, чтобы он овладел ею любым способом, пусть без удовольствия, просто чтобы пригвоздить ее собой. Кролик был бы рад это сделать, но он не в состоянии преодолеть стену страха, отвращения, возникшую между ними. Она словно русалка, зовущая его из-под толщи воды. А он напряженно плывет по поверхности, боясь утонуть. Книга, которую он читал вслух, мучает его, вызывая видения безграничной бедности умерших поколений, навеки погребенных пыток и утраченных причин. Вставать, идти на работу — ничто больше к этому не побуждает, нет причины что-либо делать, нет причины не делать ничего, и нечем дышать, кроме протухшего воздуха, закупоренного в пустых церквях, нечем вдохновляться; он в узком колодце, влажные стены сдавливают его и парализуют, — нет, это Джилл прижалась к нему, пытаясь согреться, хотя ночь стоит жаркая. Он спрашивает ее:

— Ты можешь заснуть?

— Нет. Все рушится.

— Давай попробуем. Уже поздно. Достать тебе еще одно одеяло?

— Не оставляй меня ни на секунду — иначе я провалюсь.

— Я повернусь к тебе спиной, чтобы ты могла обнять меня.

Внизу Ушлый гасит свет. И маленький клен за окном исчезает как задутое пламя. Кролик завершает погружение в темноту, в тот ритм, какому следовало темное тело на диване. Потом страх возвращается и зажимает его словно закрывшееся веко.

Голос ее звучит в ответ усталый и настороженный:

— «Бруэр филти», — говорит миссис Фоснахт. — Что вам угодно?

— Пегги? Привет, это Гарри Энгстром.

— Вот как. — Какая-то новая саркастическая нотка. — В жизни не поверю! — Явный перехлест. Много мужчин вокруг.

— Эй, помнишь, ты сказала, что Нельсон и Билли в это воскресенье отправляются на рыбалку и пригласила меня в субботу на ужин?

— Да, Гарри, помню.

— Уже слишком поздно? Давать согласие?

— Нисколько. Что это на тебя нашло?

— Ничего особенного. Просто подумал, было бы славно.

— Это и будет славно. Увидимся в субботу.

— Завтра, — уточняет он.

Он бы еще поговорил — сейчас у него обеденный перерыв, — но она обрывает разговор. Много работы. Цыплят по осени считают.

Когда он после работы идет с автобусной остановки на Уайзер домой, на углу, где кончается Эмберли-авеню и начинается проезд Эмберли, возле красно-бело-синего почтового ящика к нему подходят двое.

— Мистер Энгстром?

— Точно.

— Не могли бы мы с вами минутку поговорить? Мы ваши соседи.

Говорившему где-то за сорок, он полный, в сером костюме с узкими лацканами, какие носили пять лет тому назад, раздавшемся, чтобы вместить его. Лицо мягкое, но со страдальческим выражением. Маленький крючковатый нос плохо вяжется с отечными мешками под глазами. На подбородке у него два влажных бугра, а между ними впадинка, где бороду не достать бритвой. Кожа желтоватая, типичная для обитателей Бруэра, — этакий юркий хитренький чиновник. Должно быть, бухгалтер или школьный учитель.

— Меня зовут Мэлон Шоуолтер, я живу на другой стороне Виста-креснт, в доме, который вы, может, заметили: мы летом сделали к нему сзади пристройку.

— А-а, да.

Кролик припоминает звуки молотка, но самого новшества не заметил: он если и кидает взгляды на Пенн-Виллас, то только чтобы удостовериться, что это не Маунт-Джадж, и, следовательно, делает это не очень внимательно.

— Я занимаюсь компьютерами, — говорит Шоуолтер. — Вот моя карточка. — Кролик бросает взгляд на название компании на карточке, а Шоуолтер говорит: — Запомните это имя — мы намерены произвести революцию в бизнесе нашего города. А это Эдди Брамбах, он живет на один перекресток выше вас, на Мэриголд.

Эдди не дает карточки. Он брюнет, меньше ростом и моложе Гарри, стоит по стойке «смирно», застегнутый на все пуговицы, распрямив плечи, чувствуется, что любит драться. Волосы пострижены ежиком, и поэтому макушка кажется плоской, как головы в телевизоре Кролика. Рукопожатие его кого-то напоминает Кролику. Кого? С одной стороны у Брамбаха вырезана часть челюсти, и образовалась впадина с красным шрамом в виде буквы L. Глаза серые, как затупившееся острие стамески. Он произносит зловеще односложное:

— Дассэр.

Шоуолтер говорит:

— Эдди работает в сборочном цехе «Фесслер стил».

— Вы, ребята, что-то рановато ушли сегодня с работы, — говорит Кролик.

— В этом месяце я работаю в вечернюю смену, — сообщает ему Эдди.

Шоуолтер пригибается, словно в танце под отдаленно звучащую музыку, хочет втиснуться между Кроликом и Эдди.

— Мы решили поговорить с вами и признательны, что вы согласились нас выслушать, — говорит он. — Вон там стоит моя машина, не согласились ли бы вы сесть в нее? А то как-то не очень удобно разговаривать, стоя тут.

У Шоуолтера — «тойота»; машина сразу напоминает Гарри о его тесте и порождает целый набор неприятных чувств.

— Я предпочитаю постоять, — говорит он, — если это недолго. — И облокачивается о почтовый ящик, чтобы не возвышаться над двумя мужчинами.

— Это будет недолго, — обещает Эдди Брамбах, приподнимая плечи и резко шагнув в сторону Кролика.

Шоуолтер снова пригибается, словно намереваясь вклиниться между ними, глаза его становятся более грустными, и он вытирает безвольный рот.

— Ну, конечно, много времени не потребуется. Мы не собираемся поступать не по-дружески, просто у нас к вам несколько вопросов.

— Дружественных вопросов, — уточняет Кролик, стараясь прийти на помощь этому человеку, типичному жителю Бруэpa, такому же, кажется, спокойному, и широкому, и доброму, как город, и в данное время крайне огорченному.

— Так вот, — продолжает Шоуолтер, — мы тут обсуждали наших соседей. И некоторые ребята, понимаете, рассказали нам про то, что они видели в ваших окнах.

— Они заглядывали ко мне в окна?

Почтовый ящик становится горячим; Кролик перестает на него опираться и выпрямляется. Хотя на дворе октябрь, тротуар цвета кремня блестит и пастельные крыши, тоненькие молодые деревца, низкие дома, похожие на кусочки головоломки из дерева, цемента, кирпича и облицовки под камень, — все покрыто мерцающей пленкой. Кролик стремится увидеть сквозь эту массу домов свой собственный, защитить его.

— Им вовсе не требуется заглядывать в окна, все происходит у них под носом, — возмущается Брамбах, привлекая к себе внимание Кролика. — И это плохо пахнет.

— Ну нет, это слишком сильно сказано, — вмешивается Шоуолтер вкрадчивым, как у женщины, голосом. — Но, пожалуй, это правда: особой тайны не делалось. Они раскатывали открыто в этом маленьком «порше», и я заметил, что теперь он стал играть с мальчиком прямо перед домом в баскетбол.

— Он?

— Черный парень, который живет с вами, — с улыбкой произносит Шоуолтер, словно главная загвоздка в их разговоре обнаружена и теперь можно спокойно плыть дальше.

— И белая девушка, — добавляет Брамбах. — Мой младший сынишка пришел на днях домой и сказал, что он видел, как они трахались внизу, прямо на ковре.

— Что ж, — говорит Кролик, не сразу найдясь, что ответить. Ему не по себе оттого, что он такой высокий; кажется, еще немного — и он уплывет, как облако, стоит только начать выяснять подробности того, что видел мальчик. В его мозгу словно возникает маленькая прямоугольная картина в раме, которая висит слишком высоко на стене. — Именно такого рода вещи видят, когда заглядывают в чужие окна.

Брамбах встает перед Шоуолтером, и Кролик вспоминает, кого напомнило ему рукопожатие, каким они обменялись, — доктора, прописавшего маме новые таблетки. *Я как хочу перекраиваю человеческие тела. Я — есть жизнь, я — есть смерть*.

— Послушай, братец, твои соседи растят детей.

— Я тоже.

— Вот это уже другое. Какого извращенца ты из него растишь? Мне жалко парнишку, факт — жалко. А как насчет остальных, всех нас, которые пытаются воспитать своих детей получше? Это приличный белый район, — говорит он, делая слабое ударение на слове «приличный», но постепенно набирая силу для заключительного удара. — Потому мы и живем здесь, а не на той стороне реки, в Бруэре, где они бегают без присмотра.

— Кто бегает без присмотра?

— Ты, черт возьми, прекрасно знаешь кто, почитай газеты! Старушки не могут даже днем спокойно выйти на улицу — того и гляди сумочку вырвут.

Шоуолтер вкрадчиво, волнуясь, подъезжает бочком и включается в разговор:

— Дело не в том, что у нас белый квартал: мы приветствовали бы уважаемую черную семью, я ходил в школу с черными, и я готов работать с черным хоть каждый день, да что там, в нашей компании есть даже программа набора их на работу, беда в том, что их собственные лидеры говорят, не продавайтесь — нам ни к чему учиться, как жить по-честному. — Он зашел в своей речи дальше, чем намеревался, и теперь исправляет создавшееся впечатление: — Если он будет вести себя как человек, я и относиться буду к нему как к человеку, я что-то не то сказал, Эдди?

Брамбах набирает воздуха в легкие так, что кармашек на рубашке обтягивает лежащую в нем пачку сигарет, руки его свисают по бокам, словно отяжелев от наполняющей вены крови.

— Я воевал рядом бок о бок с ними во Вьетнаме, — говорит он. — Никаких проблем.

— Эй, это забавно, что ты тоже ветеран Вьетнама, — ведь парень, о котором мы вроде бы говорим...

— Никаких проблем, — продолжает Брамбах, — потому что все соблюдали правила.

Руки Шоуолтера скользят, взлетают, с двойною лаской оглаживают узкие лацканы пиджака.

— Все дело в том, что девчонка и черный живут вместе, — выпаливает он, стремясь побыстрее разделаться с деликатной темой.

Брамбах говорит:

— Господи, до чего же эти черномазые любят белые задницы. Вы б видели, что творилось около баз.

— Там-то скорее были желтые задницы, да? — подсказывает Кролик.

Шоуолтер дергает его за рукав и отводит на несколько шагов в сторону от почтового ящика. Интересно, думает Гарри, кто-нибудь когда-нибудь опускает туда письма — он проходит мимо каждый день, и ящик стоит таинственный, как пожарный гидрант, ожидая своего часа, который может никогда не наступить. Кролик ни разу не слышал, чтобы крышка звякнула. А вот в Маунт-Джадже люди всегда посылают друг другу открытки ко Дню святого Валентина. Шоуолтер говорит:

— Не подначивайте его.

Кролик кричит Брамбаху:

— Разве я вас подначиваю, а?

Шоуолтер сильнее дергает Кролика за рукав, так что он вынужден нагнуться и приблизить ухо к маленькому клювику и безвольному печальному рту собеседника.

— Он не вполне владеет собой. Во всем видит угрозу для себя. Это ведь не моя была мысль выследить вас — я сказал ему: «Человек имеет право на личную жизнь».

Подыгрывая ему, Кролик шепотом спрашивает:

— А многие в нашем квартале настроены, как он?

— Больше, чем вы думаете. Я сам удивился. И люди-то ведь разумные, но в чем-то их с места не сдвинешь. Я считаю, если б у них не было детей, если б в нашем квартале не полно было детей, люди охотнее держались бы принципа «живи сам и давай жить другим».

Но Кролика беспокоит то, что их поведение может показаться Брамбаху невежливым. И он кричит ему:

— Эй, Эдди! Идите сюда, я вам кое-что скажу.

Брамбах совсем не рвется участвовать в разговоре: он бы предпочел, чтобы Шоуолтер без него все утряс. Кролик начинает понимать соотношение сил: один ведет переговоры, другой играет мускулами.

— Что? — рявкает Брамбах.

— Я запрещу моему парнишке заглядывать к вам в окна, а вы удержите своего, чтобы он не заглядывал в мои.

— У нас было словцо для таких, как вы. Хитрожопые. Иногда их по ошибке приканчивали.

— Я скажу вам еще кое-что, — говорит Кролик. — В награду я постараюсь не забывать задергивать занавески.

— Тогда уж, черт тебя дери, ты не только занавески задергивай, — говорит ему Брамбах, — тогда уж, сволочь ты поганая, весь свой дом забаррикадируй!

Откуда-то вдруг выныривает почтовый фургон, красно-бело-синий, с наклонным, словно в витрине, передним стеклом, со скрежетом останавливается у тротуара, из него поспешно выскакивает, не глядя ни на кого, человечек в сером, открывает дверцу почтового ящика, и из него водопадом сыплются письма в серый мешок, — кажется, их там сотни, — после чего человечек закрывает дверцу ящика и уезжает.

Кролик подходит к Брамбаху.

— Скажите же, чего вы хотите. Вы хотите, чтоб я убрался из этого квартала?

— Я хочу, чтоб вы убрали черного.

— Значит, вам не нравится, что он и девчонка живут под одной крышей. Предположим, он остается, а девчонка уезжает?

— Уезжает черный.

— Он уедет, когда перестанет быть моим гостем. Желаю приятного ужина.

— Мы вас предупредили.

Кролик спрашивает Шоуолтера:

— Вы слышали эту угрозу?

Шоуолтер улыбается, вытирает лоб, вид у него уже менее подавленный. Он сделал все, что мог.

— Я же говорил вам, — напоминает он, — не подначивайте его. Мы же к вам по-хорошему, вежливо. Повторяю: дело в том, что происходит, а не у кого какой цвет кожи. Рядом со мной свободный дом, и я сказал агенту по недвижимости, сказал так же ясно, как говорю сейчас вам: «Если какая-то цветная семья — нормальная — имеет достаточно денег, чтобы купить этот дом по существующей на рынке цене, пусть покупает. Пожалуйста».

— Приятно познакомиться с либералом, — говорит Кролик и пожимает ему руку. — Моя жена все время твердит, что я — консерватор.

И поскольку этот человек нравится ему и поскольку Кролику нравятся все, кто сражался во Вьетнаме, где сам он должен был бы воевать, если бы не был слишком стар — слишком стар, и толст, и труслив, — он протягивает руку и Брамбаху.

Но задиристый коротышка стоит, прижав руки к бокам. Вместо того чтобы ответить на рукопожатие, отворачивает голову, так что Кролику видна изуродованная шека. И Кролик видит: на ней не просто красная буква L, а загогулина с ответвляющимися от нее белыми линиями там, где сшивали и стягивали кожу, чтобы прикрыть дыру, но она всегда там будет, всегда будет оскорблять взор. Кролик заставляет себя смотреть на нее. Брамбах произносит уже не так запальчиво, печально, чуть ли не с сожалением:

— Я заработал такое лицо. Я получил его там, чтобы мог пристойно жить здесь. Я не прошу сочувствия — многим моим товарищам куда меньше повезло. Просто хочу довести до вашего сведения, что после того, что я видел и что делал, ни одному хитрожопому не удастся наступить мне на ноги в моем квартале.

В доме стоит необычная тишина. Телевизор не работает. Нельсон делает уроки за кухонным столом. Нет, он читает одну из книжек Ушлого. Он не слишком далеко продвинулся. Кролик спрашивает:

— Где они?

— Спят. Наверху.

— Вместе?

— По-моему, Джилл — на своей кровати, а Ушлый на моей. Он заявил, что от дивана воняет. Он не спал, когда я вернулся из школы.

— А в каком он был состоянии?

Хотя вопрос затрагивает новую область, Нельсон отвечает мгновенно. Несмотря на все существовавшие между ними разногласия, они в последнее время сблизились, отец и сын.

— В нервозном, — отвечает парнишка, не отрывая взгляда от книги. — Сказал, что у него плохие предчувствия, а прошлой ночью он вообще не спал. По-моему, он наглотался каких-то таблеток или другой какой-то дряни. Он как будто не видел меня, смотрел куда-то поверх моей головы и называл меня Чаком, а не Крошкой Чаком.

— А как Джилл?

— Спит как мертвая. Я заглянул к ней и окликнул по имени, но она не шевельнулась. Пап...

— Выкладывай.

— Он ей что-то дает.

Эта мысль сидит в нем слишком глубоко, и ему нелегко ее высказать: глаза у мальчишки совсем проваливаются, и отец чувствует, как он, страшась, роется в себе, ищет нужные слова, не желая обидеть отца.

Гарри повторяет:

— Что-то.

Мальчишка моментально откликается:

— Она никогда больше не смеется и ничем не интересуется — просто сидит и спит. А ты обратил внимание на ее кожу, пап? Она стала такой бледной.

— У нее от природы очень белая кожа и волосы светлые.

— Ну да, я знаю, но тут другое, у нее больной вид, пап. Она почти ничего не ест, а если съест — все из себя выбрасывает. Пап, я не знаю, что он с ней делает, но ты должен запретить ему. Останови его.

— Как же я могу?

— Ты можешь вышвырнуть его отсюда.

— Джилл сказала, что она уйдет вместе с ним.

— Не уйдет. Она тоже его ненавидит.

— А разве тебе не нравится Ушлый?

— В общем, нет. Я знаю, он должен бы мне нравиться. Я знаю, он нравится тебе.

В самом деле? Удивленный услышанным, Кролик обещает Нельсону:

— Я поговорю с ним. Но ты же понимаешь: люди — не чья-то собственность, я не могу им указывать, они делают то, что хотят. Мы не можем заставить Джилл жить по нашим правилам.

— Могли бы, если б ты захотел. Если бы хоть чуть-чуть постарался.

По сути дела, Нельсон бросил ему вызов, насколько он вообще был способен на это, и инстинкт подсказывает Кролику, что надо мягко обойтись с этим ростком: не обращать на него внимания.

— Она слишком взрослая, чтобы можно было ее удочерить, — говорит он сыну. — А ты слишком молод, чтобы жениться.

Мальчишка, насупясь, снова утыкается в книгу.

— А теперь скажи-ка мне кое-что.

— О'кей.

Лицо Нельсона напрягается — он вот-вот готов замкнуться: он ожидает, что сейчас его спросят про Джилл, и про секс, и про него самого. Кролик рад разочаровать его, дать ему возможность немного передохнуть.

— Двое мужчин остановили меня по пути домой и сказали, что их дети заглядывали к нам в окна. Ты что-нибудь такое слышал?

— Конечно.

— Конечно — что?

— Конечно, заглядывают.

— Кто?

— Да все. Фрэнкхаузер и этот жлоб Джимми Брамбах, Эвелин Моррис и ее подружки из Пенн-Парка, Марк Шоуолтер и, по-моему, его сестренка Мэрилин, хоть она ужасно маленькая...

— Когда же, черт побери, они этим занимаются?

— Да в разное время. Когда приходят из школы, а я играю в футбол перед твоим возвращением и торчу перед домом. По-моему, приходят они и после того, как стемнеет.

— И они что-то видят?

— Должно быть, случается.

— Они с тобой об этом говорят? Поддразнивают тебя?

— Ну да. Случается.

— Бедный ты мой малыш. И что же ты им говоришь?

— Чтоб отваливали к чертям.

— Эй! Следи за выражениями.

— Так я им говорю. Ты ведь спросил.

— А тебе приходится драться?

— Немного. Когда они меня как-нибудь обзывают.

— Как?

— Как-нибудь. Не важно, пап.

— Скажи мне, как они тебя обзывают.

— Ниггер Нелли.

— М-м-м. Славные детки.

— Они просто дети, пап. Они же ничего плохого не думают. Джилл говорит: не обращай на них внимания, они невежды.

— А они подтрунивают над тобой в связи с Джилл?

Мальчишка отворачивается. Волосы у него целиком закрывают шею, однако даже со спины его не примешь за девчонку — угловатые плечи, неприлизанные волосы.

— Я не хочу больше об этом говорить, пап, — сдавленным голосом произносит он.

— О'кей. Спасибо. Эй! Извини. Извини за то, что тебе приходится жить в такой неразберихе, которую мы устроили.

К удивлению Кролика, сын глухо произносит:

— Как бы я хотел, чтобы мама вернулась. Господи, хоть бы она вернулась!

Нельсон изо всей силы ударяет по спинке кухонного стола кулаком и утыкается лбом в то место, по которому ударил; Кролик беспомощным жестом взлохмачивает ему волосы по дороге к холодильнику за пивом.

Вечера наступают теперь раньше. После шестичасовых новостей уже темно. Кролик говорит Ушлому:

— Я сегодня познакомился еще с одним ветераном Вьетнама.

— Вот гадство, мир так быстро наполняется ветеранами Вьетнама, что скоро никого другого не останется, верно? Никогда не забуду, как я зашел в маяк возле Ти-Хоа, все стены белые, и на них все, кто там побывал, оставили свои рисунки. Ну, я совсем одурел, когда увидел, как кто-то — то ли просто местные, то ли кто-то из неприятельского лагеря, правда, они и близко к этому месту не подходили, пока мы им его не сдали, — словом, кто-то с той стороны изукрасил целую стену Дядюшкой Хо Ши Мином: Дядю Хо имеют по-всякому, Дядя Хо какает черепушками, Дядя Хо делает то, делает это — никакого уважения, верно? И я сказал себе: этих бедняг так же облапошивают, как и нас, все мы в руках сумасшедших стариков, которые считают, что еще могут творить историю. Больше в истории ничего уже не будет, Чак.

— А что же будет? — спрашивает Нельсон.

— Будет сплошная неразбериха, — отвечает Ушлый, — а потом, по всей вероятности, явлюсь Я.

Глаза Нельсона ищут взгляд отца, как теперь это часто бывает, когда Ушлый теряет рассудок.

— Пап, а не стоит разбудить Джилл?

Гарри пьет уже вторую банку пива и курит свою первую закрутку; он сидит, уперев ноги в носках в скамью сапожника.

— Зачем? Пусть спит. Не будь таким праведным.

— Нет, сэр, — говорит Ушлый, — у мальчика голова работает, как надо. Где эта чертова сучка Джилл? Меня уже разбирает.

Нельсон спрашивает:

— В каком смысле разбирает?

— Так я себя чувствую, меня разбирает, — отвечает Ушлый. — Крошка Чак, а ну, пойди спусти вниз эту никудышную дырку. Скажи ей, что мужчины изголодались.

— Пап...

— Прекрати, Нелли, перестань канючить. Сделай, как он просит. Неужели тебе ничего не задали в школе? Займись уроками наверху, освободи внизу место для взрослых.

Нельсон ушел, и Кролик вздохнул свободнее.

— Одного я не понимаю, Ушлый: что ты думаешь про вьетконговцев? Я хочу сказать — правы они, или не правы, или что?

— В отдельности каждый из них просто великолепен. Бесстрашны до такой степени, что ты не поверишь — не иначе чем-то колются, — а ведь многие не старше малыша Нелли, верно? А в массе я никогда не мог понять, чего они добиваются; ясно было одно: мы белые или черные, как случится, а они желтые, и еще они явились туда первыми, верно? А в остальном я особого смысла не уловил, так как больше всего им нравилось кастрировать, подвешивать, заживо хоронить и много еще чего веселого вытворять с такими же желтыми, как они сами, верно? Поэтому склонен считать это еще одним проявлением сумятицы в умах, порожденной великим множеством лжепророчеств, которые указывают, что пробил час моего пришествия. Однако... Однако, признаюсь, политика, власть нагоняют на меня скуку, не заводят. А вот все человеческое — заводит, верно? Тебя тоже, верно, Чак? А вот и она.

В комнату вплыла Джилл. Кожа на лице совсем обтянула кости.

Кролик спрашивает ее:

— Проголодалась? Сделай себе сандвич с арахисовым маслом. Другого ужина у нас ведь нет.

— Я не голодна.

Беря пример с Ушлого, Кролик задирает ее:

— Господи, так, так. Да ты посмотри на себя — тощая как палка. Задницы и той не осталось. Зачем, ты думаешь, мы тебя держим?

Не реагируя на его слова, она обращается к Ушлому:

— Мне нужно, — говорит она.

— Е-рун-да, малышка, всем нам нужно, правда? Всему миру нужно — разве мы не согласились, что это так, Чак? Всему умалишенному миру нужен Я. А Мне нужно кое-что другое. Давай-ка сюда свою дырку, белая девочка.

Вот теперь она переводит взгляд на Кролика. Он не в состоянии ей помочь. Он ей не ровня. Она садится на диван рядом с Ушлым и тихо спрашивает:

— Как? Если я сделаю, как ты хочешь, сделаешь, как я хочу?

— Возможно. Скажу тебе вот что, Джилл-лапочка. Давай потрудимся ради человека.

— Какого человека?

— Ради человека. Этого человека. Вот этого Чарли-Победителя. Он этого хочет. Зачем, ты думаешь, он нас тут держит? Чтоб мы плодились — вот зачем. Эй! Друг Гарри!

— Я слушаю.

— Тебе нравится быть ниггером, да?

— Нравится.

— Ты хочешь быть хорошим ниггером, верно?

— Верно.

Унылые шорохи на потолке — это Нельсон передвигается по своей комнате — кажутся такими далекими. Не спускайся вниз. Оставайся там. Дым проникает в кровь Кролика, и легкие его расширяются как развесистое дерево.

— О'кей, — произносит Ушлый. — Поехали. Ты — большой черный мужчина. Ты прикован к этому креслу. А я, я — белый как снег. Теперь смотри.

И Ушлый с внезапностью электрической вспышки встает и снимает рубашку. Его торс исчезает в густой полутьме комнаты. Затем он дергает за ремень, и нижняя половина его тела тоже исчезает. Остаются только очки — серебряные круги очков. Голос его, лишенный тела, кажется голосом самой тьмы. Постепенно его голова — круглое облако — проявляется на фоне голубоватого света от фонаря в конце улицы.

— И эта маленькая девчонка, вот она тут, — продолжает он, — черна как уголь. Девственница из черного дерева, взращенная в долине реки Нигер, верно? Встань, лапочка, покажи нам свои зубки. А теперь повернись. — Черные тени его рук скользят по белому пятну, в который обратилась Джилл, выше, выше — так гончар формирует кусок глины на мерно жужжащем станке, превращая его в вазу. Джилл растет ввысь, словно дым, вырывающийся из вазы. Ушлый снимает с нее платье через голову. — Повернись, лапочка, покажи нам свой задок.

Мягкий шлепок раззолачивает тьму, белизна покачивается. Расширившиеся глаза Кролика могут наконец отделить светлое от темного, он начинает видеть очертания тел, находящихся в шести футах от него, по ту сторону скамьи сапожника. Он видит темную впадину между ягодицами Джилл, легкую округлость ее бедер, темную массу волос между ее оголодавшими тазовыми костями. Живот ее выглядит удлиненным. Там, где положено быть грудям, движутся, сражаясь, черные пауки — Кролик понимает, что это руки Ушлого. Он что-то шепчет Джилл, бормочет, в то время как его руки летают по ее телу, словно летучие мыши при луне. Кролик слышит, как Джилл произносит — голос ее заглушен волосами — какую-то фразу, в которой есть слово «утоли».

Ушлый крякает, словно по небу прокатился гром.

— А теперь, — нараспев произносит он, и голос его золотыми кольцами обвивает слушателя, он становится похож на аукциониста и одновременно на жонглера, — мы про-де-мон-стри-руем по-слу-ша-ние, на какое способна эта маленькая черная, как уголь, дамочка, вымуштрованная многоопытными торговцами из Нэшвилла, штат Теннесси, гарантирующими, что от нее не будет аб-со-лют-но никаких неприятностей ни на кухне, ни в комнатах, ни в конюшне, ни в спальне!

Еще один легкий шлепок, и ком белой глины съеживается: Джилл опускается на колени, а Ушлый продолжает стоять. В тишине слышится нежный сосущий звук, но Кролик доподлинно не видит, что происходит. А ему необходимо видеть. Лампа с плавниковым основанием стоит позади него. Не поворачивая головы, он на ощупь находит ее и включает.

Очень мило.

То, что он видит, напоминает в первую секунду процесс печатания, когда форма с краской прижимается к белой бумаге. Как только глаза его привыкают к свету, он видит, что Ушлый не черный, а светло-коричневый. Перед Кроликом два ребенка, которых решили слегка наказать: одного заставили стоять, а другому велели опуститься на колени. Ушлый нагибается и, протянув длинную руку — ногти у него розовые, словно у младенца, — прикрывает профиль Джилл от яркого света. Ее глаза закрыты, рот раскрыт, груди такие плоские, что не отбрасывают тени, женщина в ней проявляется прежде всего в изгибе спины и в ягодицах, покоящихся на пятках, да еще в руке, белой лилией покачивающейся возле паха Ушлого, словно готовясь принять дирижерскую палочку, которая вот-вот появится из воздуха. Кусок плоти Ушлого не закрыт ее лицом, — лиловатый дюйм, переходящий в сиреневый под его металлической волосней, похожей по форме и по строению волос на его бородку. Стоя все так же, согнувшись, Ушлый поворачивает лицо к свету; его очки становятся молочно-белыми, а верхняя губа приподнимается словно от боли.

— Эй, человече, это еще что такое? Выключи свет.

— Вы прекрасны, — говорит Кролик.

— О'кей, раздевайся и приступай — в ней полно дырок, верно?

— Я боюсь, — признается Кролик, и это правда: они не только прекрасны, но кажутся единой машиной, которая, сунься он туда, может разорвать его на куски.

До сознания Джилл, ошарашенной светом, тем не менее доходит это признание; она поворачивает голову, и пенис Ушлого вываливается из ее рта, выбрасывая светлую струйку. Джилл смотрит на Гарри, куда-то мимо него, он протягивает руку, чтобы выключить свет, и она вскрикивает. Краешком глаза он тоже увидел: лицо. В окне. Глаза как две горящие сигареты. Лампа выключена, лицо исчезло. Окно — светло-голубой прямоугольник в темной комнате. Кролик спешит к входной двери и распахивает ее. Ночной воздух кусает кожу. Октябрь. Лужайка кажется искусственной, безжизненной — сухая и бесцветная. На Виста-креснт пусто, если не считать припаркованных машин. Клен слишком тощий — за ним никто не скроется. Какой-нибудь мальчишка мог пробежать вдоль дома, мимо клумб и спрятаться в гараже. Дверь гаража распахнута. И если этот мальчишка — Нельсон, то дверь из гаража ведет на кухню. Кролик решает не смотреть, не преследовать — у него такое чувство, что пространство сжалось и ступить некуда, что перед ним нет перспективы, а лишь гладкая, холодная, застывшая фотография. Движется лишь пар от его дыхания. Он закрывает дверь. На кухне не слышно никакого движения. Он сообщает тем, кто в гостиной:

— Никого.

— Худо, — говорит Ушлый.

Пенис висит кнутом меж его ног, когда он садится на корточки. Джилл рыдает, лежа на полу, — она лежит ничком, свернув в тугой узел обнаженное тело. Ее зад похож на верхнюю часть сердечка на открытке ко Дню святого Валентина, — только он не алый, а белый; волосы телесного цвета веером рассыпались по тускло-зеленому ковру. Кролик и Ушлый приседают, чтобы поднять ее. Она не дается — катается по полу, волосы струятся по лицу, забиваются в рот, паутиной прилипают к ее подбородку и горлу. На подбородке — ниточка молочно-белой жидкости. Кролик вынимает носовой платок и вытирает ей подбородок и рот, и потом, недели спустя, когда все это исчезнет без следа, он будет доставать этот платок и утыкаться в него носом, вдыхая едва различимый едкий запах.

Губы Джилл движутся. Она говорит:

— Ты же обещал. Обещал.

Обращается она к Ушлому. Хотя крупное лицо Кролика склонено над ней, смотрит она только на узкое черное лицо рядом с ним. В ее глазах нет зелени — всю ее вытеснили черные зрачки.

— Это такой ад, — хнычет она, словно подсмеиваясь над собой, этакая домохозяйка из Коннектикута, которая и сама знает, что переигрывает. — О Господи, — добавляет она более взрослым голосом и закрывает глаза.

Кролик дотрагивается до нее — она вся в поту. Она вздрагивает от его прикосновения. Ему хочется накрыть ее, накрыть своим телом, если нет ничего другого, но она говорит только с Ушлым. Кролик для нее не существует — он только думает, что существует.

Ушлый спрашивает ее с высоты своего роста:

— Кто твой Господь Бог, Джилл-лапочка?

— Ты.

— Я, верно?

— Верно.

— Ты любишь меня больше, чем себя?

— Гораздо больше.

— Что ты видишь, когда смотришь на меня, Джилл-лапочка?

— Не знаю.

— Ты видишь гигантскую лилию, верно?

— Верно. Ты же обещал.

— Ты любишь моего петушка?

— Да.

— Любишь мои соки, сладкая Джилл? Любишь, когда они текут в твоих венах?

— Да. Пожалуйста. Вмажь меня. Ты же обещал.

— Я — твой Спаситель, верно? Верно?

— Ты обещал. Ты должен. Ушлый!

— О'кей. Скажи мне, что я — твой Спаситель.

— Да. Скорей. Ты обещал.

— О'кей. — И Ушлый спешит пояснить: — Я сейчас приведу ее в норму. Иди наверх, Чак. Я не хочу, чтобы ты это видел.

— А я хочу видеть.

— Не это. Это плохо, человече. Плохо, плохо, плохо. Это дерьмо. Оставайся чистеньким — у тебя и так уже немало хлопот из-за меня, так что нечего тебе в этом участвовать, верно? Отваливай. Я прошу тебя, человече.

Кролик понимает. Они на войне. Они взяли заложницу. Всюду враги. Он проверяет входную дверь, стоя под тремя окошками — отзвуками трех нот музыкального звонка. Затем пробирается на кухню. Никого. Он запирает на засов дверь, что ведет из гаража. И боком, чтобы тень от него стала поуже, поднимается наверх. У двери в комнату Нельсона он останавливается послушать дыхание сына во сне. Он слышит, как из глубины легких мальчишки вырываются хрипы. В его собственной спальне уличный фонарь накладывает на обои отпечатки листьев клена, как в негативе. Кролик ложится в постель в нижнем белье — на случай, если придется встать и бежать; мальчишкой он летом ложился спать в нижнем белье, если выстиранная пижама еще не высохла. Кролик прислушивается к доносящимся снизу звукам, к постукиванию и побрякиванию из кухни — вот на плиту поставили сковородку, вот звякнуло стекло, вот раздались шаги по линолеуму — все это звуки, под которые всегда так сладко спалось, когда мама бодрствовала и в мире царил порядок. Хотя сердце продолжает колотиться, мысли у него начинают путаться, захлестывая волнами белые ягодицы Джилл, верхушку сердечка, отпечатавшиеся в его зрачках, как диск солнца. Офсет против ручного набора, офсет никогда не дает четкости; печать выглядит жирной, неопрятной; знамение будущего. Джилл ложится в постель рядом с ним — белое сердечко ее ягодиц холодит, вжимаясь ему в живот и в нежный обмякший член. Он уже спал. Он спрашивает ее:

— Сейчас поздно?

Джилл произносит очень медленно:

— Довольно поздно.

— Как ты себя чувствуешь?

— Лучше. На время.

— Надо будет показать тебя доктору.

— Это не поможет.

Ему приходит в голову мысль получше, столь очевидная, что он не может понять, почему не подумал об этом раньше.

— Надо, чтобы ты вернулась к отцу.

— Ты забыл. Он умер.

— Тогда к матери.

— Машина-то сдохла.

— Мы вызволим ее из темницы.

— Слишком поздно, — говорит ему Джилл. — Слишком поздно тебе пытаться меня полюбить.

Он хочет возразить, но в ее словах есть удивительная тяжесть правды, которая придавливает его, рука его ласкает впадину на ее талии — теплая птица, ныряющая в свое гнездо.

Солнце, старый клоун, так и лезет в комнату. Клен сбросил с себя столько листьев, что утреннему свету уже ничто не препятствует. Голова у Кролика раскалывается, привидевшийся сон (они с Пайясеком плывут в каноэ вверх по течению мимо берегов, заросших темной зеленью; они направляются к дальней горе, голой и похожей на сложенную салфетку. «Когда ты дашь мне мою серебряную пулю? — спрашивает его Кролик. — Ты же обещал». «Идиот, — говорит ему Пайясек. — Дурак». «Ты настолько больше меня знаешь», — говорит Кролик, и душа его раскрывается навстречу свету), — привидевшийся сон сливается у него с событиями прошлой ночи: и то и другое кажется нереальным. Джилл, словно покрытая росинками, спит рядом с ним — у основания ее горла и вдоль линии волос блестит пот. Кролик осторожно, чтобы не потревожить спящую, берет ее запястье и переворачивает его, чтобы посмотреть на внутреннюю сторону ее веснушчатой руки. Должны же быть следы, как от пчелиных укусов. Их немного. Надо будет поговорить с Дженис. Тут он вспоминает, что Дженис нет и что в доме один только Нельсон, их сын. Он вылезает из постели — его забавляет то, что он спал в нижнем белье — совсем как в детстве, когда мама оставляла выстиранную пижаму сохнуть на бельевой веревке.

После завтрака, пока Джилл и Ушлый спят, они с Нельсоном работают граблями и подстригают лужайку, готовя ее к зимней спячке. Кролик надеется, что это в последний раз в нынешнем сезоне, хотя трава, высохшая на возвышенных местах, еще живая и зеленая в складках земли, где сохраняется влага, а также между кухней и улицей — возможно, где-то там подтекает канализация, и влага сочится на стыке труб. А листья... он кричит Нельсону, который вынужден выключить косилку, чтобы услышать отца:

— Откуда, черт подери, у такого тощего деревца столько листьев?

— Это не все его листья. Их принесло ветром с других деревьев.

И Кролик, окинув взглядом окрестности, видит, что у его соседей растут деревья такие же молодые, как у него, но некоторые вымахали уже до крыши. Когда-нибудь Нельсон вернется сюда, в квартал своего детства, и обнаружит, что он на удивление сумеречный, весь затененный, лужайки заросли травой, дома стоят почтенные. Кролик слышит, как в других дворах перекликаются дети, и поверх нескольких заборов и подъездных дорожек видит, как детишки устраивают субботнюю возню, чей-то голосок тоненько пищит: «Пасуй на меня, я открыт», и мяч покорно летит к нему. Неплохое это место, думает Кролик, а могло бы быть и вообще премилым, если бы дать ему такую возможность. И, словно отражение в зеркале, видит других мужчин у своих домов с граблями и косилками. Он спрашивает Нельсона, прежде чем мальчишка включит косилку:

— Ты сегодня не собираешься навестить свою мать?

— Завтра. Сегодня они с Чарли поехали в Поконы любоваться осенней листвой. С ними еще брат Чарли и его жена.

— Ого, как она внедряется в семейство.

Настоящая Спрингер. Кролик улыбается про себя, испытывая почему-то непонятную гордость за нее. Бумаги для передачи дела в суд, должно быть, уже запущены. И тогда он сможет присоединиться к армии бруэрских выпивох. Человеческие отбросы, как говаривал папа. Лучше, пожалуй, наслаждаться жизнью на Виста-креснт, пока еще можно. Кролик снова принимается работать граблями и прислушивается, возобновится ли жужжание косилки. Вместо этого раздается тарахтение стартера, снова и снова, и голос Нельсона:

— Эй, пап! По-моему, бензин кончился.

Значит, обычная суббота, состоящая из мелких, освещенных солнцем обязанностей по уходу за домом, покупки. Кролик с Нельсоном отправляются с пустой пятигаллоновой канистрой на Уайзер-стрит и наполняют ее на бензоколонке «Гетти». Они как раз подходят к дому, когда из него выходят Джилл и Ушлый, разодетые в пух и прах. На Ушлом узкие брюки, туфли из крокодиловой кожи, свитер цвета бордо и персиковый кардиган. Словно сошел с рекламы модной одежды для завсегдатаев гольф-клубов. На Джилл белое платье и коричневый свитер Гарри — она похожа на девчонку-заводилу из группы поддержки школьной футбольной команды. Ее худенькое личико — кожа кажется тонкой и ломкой, как слюда, — порозовело; она выглядит возбужденной, дружественно настроенной.

— В холодильнике есть немного салями и салата, чтобы вы с Нельсоном, если захотите, могли поесть. А мы с Ушлым едем в Бруэр — попытаемся что-то предпринять по поводу моей злополучной машины. И потом, мы подумали, что следовало бы заглянуть к Бэби. Вернемся поздно. Может, тебе следует сегодня навестить свою мать, а то я чувствую себя виноватой за то, что ты этого не делаешь.

— О'кей, пожалуй, можно будет съездить. Ты в порядке? — И к Ушлому: — У тебя есть чем заплатить за проезд?

Ушлый, разодевшись, и говорит как денди; он выпячивает бородку и произносит, почти не разжимая губ:

— У Джилли полно денег. А если нам не хватит, твое имя — все равно что кредитная карточка, верно?

Кролик пытается представить себе голого человека, виденного ночью, и другую фигуру — торчащие пятки, сидит на корточках, точно у костра в джунглях, — и не может: это из другой оперы.

Сейчас, при дневном свете, он сурово насупливается.

— Лучше вернитесь до того, как мы с Нельсоном уедем около шести. Я не хочу оставлять пустой дом. — И, понизив голос, чтобы Нельсон не услышал, добавляет: — После вчерашнего я немного боюсь.

— А что случилось вчера? — спрашивает Ушлый. — Я что-то ничего страшного не могу припомнить, все мы — шуты гороховые, живущие своей жизнью в Умалишенных Штатах.

Он надел на себя всю свою броню, так что до него не доберешься.

— Ты пла-а-хой ниггер, — делает попытку пробить броню Кролик.

Ушлый улыбается, блеснув на солнце ангельскими рядами зубов, его очки отбрасывают лучи выше телевизионной антенны.

— Вот теперь ты запел мою песенку, — говорит он.

Кролик спрашивает Джилл:

— Тебе не страшно с этим психом?

— Он мой сладенький папочка, — бросает она и, просунув руку под его локоть, выходит с ним на Виста-креснт, и они исчезают в лабиринте панорамных, во всю стену, окон.

Кролик с Нельсоном заканчивают приводить в порядок лужайку. Они перекусывают, потом играют в мяч, а потом мальчишка спрашивает, нельзя ли ему пойти к ребятам, чьи крики доносятся до них, он знает некоторых ребят, тех самых, что заглядывают в окна, но все о'кей, пап; и в самом деле, все, кажется, забудется, все растворится в субботней Америке, как дождь в земле, как дни во времени. А Кролик идет в дом и некоторое время смотрит первую игру бейсбольного чемпионата — Балтимор выигрывает у «Нью-йоркских горожан», а затем переключается на футбол, где штат Пенсильвания выигрывает у Западной Виржинии, и, не в силах дольше сидеть спокойно и сражаться с нарастающим предчувствием, идет к телефону и звонит родителям.

— Привет, пап, эй, я думал заехать к вам сегодня днем, но парнишка отправился играть в футбол, а вечером мы едем к Фоснахтам, так что нельзя ли подождать до завтра? Кроме того, мне надо набраться духу и заменить сетки в окнах на рамы со стеклами, а то вчера вечером было холодновато.

— Мама может подождать, Гарри. Твоей матери последнее время приходится немало ждать.

— М-да, что поделаешь. — Он хочет дать понять, что это не его вина: не он же придумал старость. — А когда приезжает Мим?

— Да теперь ждем со дня на день, мы не знаем точно когда. Она сказала, что просто возьмет и приедет, и все тут. Ее бывшая комната ждет ее.

— А как последнее время спит мама? По-прежнему видит сны?

— Странно, что ты об этом спрашиваешь, Гарри. Я всегда говорил, что ты и твоя мамаша телепаты. Со снами у нее дело обстоит все хуже и хуже. Прошлой ночью ей приснилось, что мы похоронили ее заживо. Ты, я и Мим — все вместе. Она сказала: только Нельсон пытался нас остановить.

— Ого, значит, она наконец потеплела к Нельсону.

— А сегодня утром нам звонила Дженис.

— По поводу чего это? Мне бы не хотелось оплачивать телефонный счет Ставроса.

— Трудно сказать, по поводу чего. Вроде ничего конкретного мы не усмотрели — она просто позвонила, для поддержания отношений. По-моему, Гарри, она ужасно жалеет. Говорит, что очень волнуется за тебя.

— Еще бы.

— Мы с твоей мамашей немало времени обсуждали ее звонок — ты ведь знаешь нашу Мэри: никогда не признается, что ее что-то тревожит...

— Пап, кто-то звонит в дверь. Скажи маме, я непременно буду у вас завтра.

Никто в дверь не звонил. Просто Кролик вдруг почувствовал, что не может больше говорить с отцом — в каждом слове старика слышен укор. Но собственная ложь пугает его: «кто-то» превратился в чье-то злое присутствие у двери. Кролик обходит комнаты в поисках того, чем пользуется Ушлый, когда колет Джилл. Он представляет себе искомое, исходя из того, что видел по телевизору: среди необходимых предметов там должны быть шприц, резиновый жгут и длинная ложка, в которой растворяют порошок. Среди диванных подушек он обнаруживает рассыпанную мелочь — на доллар, раскрытое карманное издание «Души во льду»[[60]](#footnote-60), жемчужину, вылетевшую из серьги или из расшитой жемчугом сумочки. В ящиках комода в комнате Джилл наверху под нижним бельем нет ничего, кроме коробки с «тампаксами», набора заколок, полпачки таблеток эновида, маленького тюбика мази от прыщей. В последнюю очередь Кролику приходит в голову заглянуть в шкаф внизу, встроенный в плохо спланированном углу возле никому не нужного камина, в стене из пятнистой сосны, на которой висит морской пейзаж, купленный Дженис у Кролла вместе с рамкой — собственно, составляющий единое целое с рамкой, то и другое из пластика, как помнится Кролику, который вешал картинку на гвоздь. В этом шкафу под полиэтиленовыми мешками с зимними вещами, включая норковую пелерину, которую старик Спрингер подарил Дженис в двадцать первый день ее рождения, Кролик обнаруживает квадратный черный чемоданчик с шифровым замком, от которого пахнет, как от нового. Он упакован, так что Ушлый может в считанные секунды схватить его и выбежать из дома. Кролик пытается открыть замок, наугад набирая цифры, веря, что Господь сотворит маленькое чудо, а поскольку ничего не получается, начинает набирать уже по определенной системе: 111, 112, 113, 114, а потом 211,212, 213, но все равно не добивается успеха и от нескончаемой череды возможных сочетаний цифр у него начинает кружиться голова. Из-за пыли в шкафу он начинает чихать. И выходит на улицу с бутылкой моющего средства «Уиндекс» для стекол.

Работа успокаивает его. Поднимаешь раму с алюминиевой сеткой, оставляя лето позади, и опрыскиваешь стекло голубоватой жидкостью, распыляя ее большими кругами, затем берешь резиновую губку и убираешь жидкость, а вместе с ней и грязь — стекло вскрикивает как птица. Затем опускаешь зимнее окно из пазуха, где оно находилось с апреля, и повторяешь весь процесс, а потом идешь в дом и дважды проделываешь то же самое с внутренней стороны, так что под конец четыре безупречно прозрачных поверхности позволяют видеть снаружи то, что творится внутри, позволяют другим домам войти в твой дом. Получается двустороннее зеркало.

Около пяти часов возвращаются Джилл и Ушлый. Настроение у них ликующее. С помощью Бэби они нашли человека, который готов дать им шестьсот долларов за «порше». Он поехал с ними к тому месту, где стоит машина, осмотрел ее, и Джилл переписала на него регистрационный номер.

— Какого он был цвета? — спрашивает Кролик.

— Зеленого, — говорит Ушлый, показывая ему веер из десятидолларовых банкнот — листья салата, пожелтевшие от рук.

— Почему ты поделила деньги с ним? — спрашивает Кролик у Джилл.

Ушлый говорит:

— Терпеть не могу враждебный тон. Ты хочешь свою долю, верно? — Губы его выпячиваются, очки сверкают.

Джилл смеется.

— Ушлый мой партнер по преступлению, — говорит она.

— Хочешь моего совета, хочешь знать, как ты должна поступить с этими деньгами? — спрашивает Кролик. — Тебе следует купить билет на поезд и вернуться в Стонингтон.

— Поезда больше не ходят. Да и вообще я решила купить себе несколько новых платьев. Неужели тебе не надоело это паршивое старое белое платье? Мне приходится закалывать его спереди и надевать сверху свитер.

— Оно как раз для тебя, — говорит Кролик.

Почувствовав иронию в его тоне, она спрашивает:

— Какая муха тебя укусила?

— Твоя безалаберность.

— Ты хочешь, чтобы я уехала? Теперь я могу.

Руки его деревенеют словно после укола, пальцы тяжелеют, ладони набухают. Ее щекочущие губы, ее твердое как яблоко тело, веер ее телесного цвета волос на их подушках при утреннем свете, белое сердечко шелковистых ягодиц.

— Нет, — молит он, — еще не уезжай.

— Почему?

— Ты проникла мне под кожу.

Эта фраза так неестественна для Кролика, что у него вспухают губы, как от сухого ветра, — должно быть, она была произнесена для Ушлого, так как Ушлый понимающе крякает.

— Чак, а ты учишься быть неудачником. Мне это нравится. Господу Богу это нравится. Неудачники захватят землю, верно?

Нельсон возвращается после футбола с разбитой верхней губой — улыбка у него скособоченная и счастливая.

— Тяжело тебе приходится? — спрашивает Кролик.

— Нет, было весело. Ушлый, в будущую субботу ты должен поиграть — ребята спрашивали про тебя, и я сказал, что ты был полузащитником в школьной команде.

— Черта с два, полузащитником, я был полным защитником. Я был таким маленьким, что меня было не видать.

— Я не против быть маленьким — маленькие шустрее.

— О'кей, — говорит отец, — посмотрим, насколько шустро ты сумеешь принять ванну. И хоть раз в жизни причешись.

Джилл и Ушлый весело провожают их к Фоснахтам. Джилл поправляет галстук Кролику, Ушлый смахивает пылинки с его плеч, словно проводник в пульмановском вагоне.

— Подумай только, лапочка, — говорит Ушлый Джилл, — наш малыш-то как вырос — едет на первое свое свидание.

— Я всего-навсего еду на ужин, — возражает Кролик. — Я вернусь к одиннадцатичасовым новостям.

— Эта косоглазая дылда могла придумать кое-что и на десерт.

— Гуляй сколько хочешь, — говорит Кролику Джилл. — Мы оставим свет на крыльце и не будем вас ждать.

— А вы двое чем намерены сегодня заняться?

— Джилл будет читать, и вязать, и греться у огонька, — сообщает Ушлый.

— Номер Фоснахтов в телефонной книге, если вам понадобится связаться со мной. На букву «М» — Маргарет.

— Мы не станем, — говорит ему Джилл.

Нельсон вдруг произносит:

— Ушлый, запри двери и не выходи на улицу без надобности.

Негр треплет тщательно причесанные волосы мальчишки.

— Даже и не мечтаю об этом, малыш. Старик черномазый будет сидеть здесь, в колючих зарослях.

— Пап, не надо нам уезжать.

— Не будь тупицей.

И они уходят. Оранжевые солнечные лучи кладут длинные тени на плоские лужайки меж низких домов. Виста-креснт заворачивает, солнце оказывается позади них, и Кролик с удивлением видит, как шагают рядом их вытянутые тени, как похоже на него идет Нельсон: враскачку, такими же широкими шагами, плечи и голова у него такие же напряженные. Тень от мальчишки — да и от него тоже — большущая, как от великана, и шагает по тротуару на тоненьких, как ходули, ногах. Кролик поворачивается к сыну, намереваясь поговорить. Излишне длинные черные волосы парнишки подпрыгивают на ходу, а он старается шагать, не отставая от отца, таща с собой для завтрашней поездки по реке пижаму, зубную щетку, смену белья и свитер в бумажном пакете из бакалеи. А Кролик обнаруживает, что ему нечего сказать, — он просто источает молча любовь, любовь к этому продолжению себя во времени, когда его уже не станет, — любовь, холодноватую, как лучи заходящего солнца, пламенеющие на тоненьких кленах и на опавших листьях, которые сами кажутся закрученными огоньками.

Из окон Пегги Бруэр сверкает вспышками огней словно поленья, догорающие среди пепла в гигантском камине. Река поблескивает голубизной еще долго после того, как берега ее потонули в черноте. В квартире теперь есть щенок — пушистый, рыженький, с толстыми лапами, который облизывает Кролику руку скользким шершавым языком; шерсть у него, если погладить, поражает нежной мягкостью — совсем как папоротник. Пегги запомнила, что Кролик любит дайкири, — на этот раз у нее есть миксер, и электрический смеситель грохочет льдом перед тем, как она приносит Кролику стакан, до половины полный пены. Пегги на месяц постарела — прибавила фунт-другой в талии, два-три седых волоска в проборе. Она зачесала волосы назад и собрала их в хвост — они больше не болтаются вокруг ее лица, как у школьницы. Лицо у нее блестит, тщательно вымытое. Усталым голосом она сообщает Кролику:

— Мы с Олли, возможно, снова сойдемся.

На ней синее платье, униформа секретарши, но оно идет ей больше, чем платье в «огурцах», которое то и дело задиралось, обнажая ее толстые, цвета сырого теста ляжки.

— Это же хорошо, да?

— Хорошо для Билли.

Мальчики, как только прибыл Нельсон, тотчас снова спустились на лифте, чтобы заняться в подвале починкой мини-мотоцикла.

— Собственно, в этом главная причина: Олли беспокоится за Билли. При том, что я работаю и возвращаюсь домой уже затемно, он болтается с этой шушерой, что живет у моста. Ты же знаешь, теперь все не так, как было в дни нашей молодости: слишком много у них соблазнов. И дело не ограничивается сигаретами и тисканьем. Нынче в четырнадцать они уже готовы пуститься во все тяжкие.

— Билли уже четырнадцать? Да, конечно, — говорит Гарри, смахивая пену с губ и желая, чтобы Пегги отошла от окна: ему так хочется видеть небо. — Я полагаю, они считают, что в восемнадцать можно уже и умирать.

— Дженис говорит, ты за войну.

— Я не за войну, я за то, что она необходима. Но я не об этом — у молодежи сейчас столько возможностей умереть, у нас такого не было. Так или иначе, хорошо, если вы с Олли вновь соединитесь и из этого что-то получится. Хотя и немного грустно.

— Почему грустно?

— Грустно для меня. Я хочу сказать, я, наверное, упустил свой шанс...

— Шанс на что?

— Взнуздать тебя.

Нехорошо это он сказал, слишком резко, хотя пытался таким путем оправдаться. Слишком долго он прожил под одной крышей с Ушлым. Но она сама напросилась своим безучастным видом, с каким стояла на фоне окна в привычной позе. Своей полнейшей безучастностью. Женщина безучастна, пока ты ее не поимеешь. И женщина, и все остальное. И мы, и Вьетнам, мы имеем, нас имеют, кровь — это мудрость. Наверняка есть лучший способ, но не в природе. Молчание Кролика отягощено, как свинцом, сожалением. Пегги еще несколько секунд стоит с безразличным видом и ничего не говорит. Потом начинает ходить вокруг него — включает лампы, кладет на место подушку, взбивает ее, наклоняется и выпрямляется, поворачивается, свет падает на ее бока, округляет их. Крепко сбитая женщина, но не толстая, не слишком изящная, но и не вульгарная, грустная оттого, что наступил вечер, оттого, что есть Олли или нет Олли, оттого, что ей тридцать шесть и ничего-то она не знает. Кролик как пошел в школу, так и учился все годы в одном классе с Пегги Гринг, она видела его, когда он бывал на высоте, болела за него и восторженно кричала, когда он был настоящим героем, обнаженным, стремительным и гибким. И видела, как он превратился в ничто. Она тяжело опускается в кресло рядом с ним, поправляет что-то вроде прически и говорит:

— Последнее время меня немало взнуздывали.

— Ты имеешь в виду Олли?

— Других. Мужиков, с которыми я знакомлюсь на работе. Олли это не нравится. Может, поэтому он и хочет вернуться.

— Если Олли это не нравится, значит, ты ему об этом рассказывала. И значит, ты тоже хочешь, чтобы он вернулся.

Она смотрит на дно своего стакана — в нем нет ничего, кроме льда.

— А как у вас с Дженис?

— С какой Дженис? Разреши, я тебе еще налью.

— Ого. Да ты стал джентльменом.

— Не до конца.

Вкладывая ей в руку стакан с джином и тоником, он говорит:

— Расскажи мне про тех, других, мужиков.

— Они ничего. Хотя гордиться особенно нечем. Люди как люди. Как я.

— Ты идешь на это, но не влюбляешься?

— По-видимому. Это ужасно?

— Нет, — говорит он. — По-моему, это славно.

— Последнее время тебе многое кажется славным.

— Угу, я не такой уж правильный.

Мальчики возвращаются наверх. Жалуются, что новая передняя фара, которую они купили, не годится. Пегги кормит их тушеными куриными ногами и грудками — бедные, расчлененные существа. Интересно, думает Кролик, сколько животных погибло, чтобы поддержать его жизнь, и сколько еще погибнет. Целый скотный двор, целая ферма стучащих сердец, смотрящих глаз, быстрых ног, и все это впихнуто в него, словно в черный мешок. Никуда не денешься: жизнь жаждет смерти. Чтобы жить, надо убивать. Заглотив ужин, они насыщаются телевизором. Джеки Глисон исполняет «Три моих сына», «Герои Хогана», «Станция Петтикот», «Мэнникс». Оргия. Нельсон заснул на полу — радиоактивный свет бьет в его закрытые веки и раскрытый рот. Кролик переносит его в комнату Билли, а Пегги накрывает одеялом сына.

— Мам, я вовсе не хочу спать.

— Время ложиться давно прошло.

— Сегодня же суббота.

— У тебя завтра большой день.

— А когда он уйдет домой? — Должно быть, Билли считает, что у Гарри нет ушей.

— Когда захочет.

— А что ты будешь делать?

— Ничего, что тебя бы как-то касалось.

— Мам!

— Ты хочешь, чтобы я послушала, как ты будешь молиться?

— Когда он уйдет из комнаты.

— Сегодня прочитаешь молитвы без меня.

Гарри и Пегги возвращаются в гостиную и смотрят обзор новостей за неделю. Комментатор по уик-эндам светловолосый, и лицо у него менее суровое, чем у того, что выступает по рабочим дням. Он говорит, что на этой неделе было несколько хороших вестей. Во Вьетнаме цифры потерь среди американцев самые низкие за три года, и можно даже выделить сутки, когда ни один американец не погиб в бою. Заголовки газет на этой неделе были посвящены Советскому Союзу, который согласился на предложения США запретить испытания атомного оружия на дне мирового океана, договорился с Красным Китаем провести переговоры по поводу пограничных споров, приводящих время от времени к кровавым инцидентам, и запустил «Союз-6», трехступенчатый космический корабль, приблизив день, когда в космосе будут постоянно находиться станции длительного использования. В Вашингтоне сенатор Хьюберт Хамфри выступил в поддержку Ричарда Никсона и его политики ведения войны во Вьетнаме, а генерал-лейтенант Льюис Б. Херши, упрямый спорщик, возглавлявший в течение двадцати восьми лет Службу призыва в армию, был освобожден от своего поста в звании четырехзвездного генерала. В Чикаго суд над так называемой «чикагской восьмеркой» по-прежнему сопровождается волнениями в зале суда и вне его. В Белфасте столкновения между протестантами и британскими солдатами. В Праге ревизионистское правительство Чехословакии пошло на одну из самых суровых мер, запретив своим гражданам поездки за границу. Кроме того, идет подготовка к параду в честь завтрашнего Дня Колумба, невзирая на угрозы и протесты со стороны скандинавских меньшинств, утверждающих, что викинг Лейф Эриксон, а вовсе не Колумб, открыл Америку, а также ко Дню моратория[[61]](#footnote-61), который выпадает на среду и будет ознаменован мирными демонстрациями протестов по всей стране.

— Ерунда, — говорит Кролик.

Спорт. Погода. Пегги неуклюже поднимается со своего кресла, чтобы выключить телевизор. Встает и Кролик — тело у него тоже одеревенело.

— Замечательный был ужин, — говорит он Пегги. — Пожалуй, пора мне двигать к дому.

Телевизор выключен, и они стоят, очерченные случайным светом: дверь в ванную, налево по коридору, оставлена открытой для мальчиков, под входной дверью, выходящей на лестничную площадку, — яркая полоска света, а за окном фосфоресцирует Бруэр. Тело Пегги, разделенное на части и окаймленное этим далеким светом, не выглядит единым, ее рука выскакивает из темноты и машинально проводит по волосам, хотя кажется, что она до них и не дотрагивается. Она пожимает плечами или вздрагивает, и тени соскальзывают с нее.

— А тебе не хотелось бы, — спрашивает она не вполне своим голосом, возникающим в наэлектризованном полумраке, что разделяет их, и, переведя дух, более непринужденным тоном: — Взнуздать меня?

Выясняется, что да, да, хотелось бы, и они налетают друг на друга, неуклюже сбрасывая с себя одежду, расстегивая молнии, и она вся такая сладкая, хоть и монументальная, как статуя, широкая, как планета, как контурная карта некой заснеженной страны, где он никогда не бывал, — во всяком случае, со времени его связи с Рут у него не было такой крупной женщины. Сорвав с себя всю одежду, она срывает одежду и с него, даже опускается на колени, чтобы развязать ему шнурки на ботинках, а потом принимает позу Джилл перед Ушлым, и Кролик перелетает через пропасть и оказывается в том же положении, в каком вчера был тот, на кого он смотрел. Он мягко разжимает ее руки, опускает ее на пол и чувствует вкус земли, солоноватого болотца между ее ног. Ему грустно оттого, что она с готовностью раздвигает ляжки и без промедления выдает влагу — это говорит о ее сноровке: она действительно спала со многими мужчинами. По тому, как ловко она орудует с его членом, Кролик словно чувствует их присутствие, чувствует, что вступил в состязание с ними, сникает и обмякает. А она получает свой оргазм и просовывает свой язык-карамельку меж его губ. Катаясь по полу, они то и дело ударяются головой и коленями о ножки стульев. Щенок, услышав возню, решает, что они хотят поиграть, и просовывает холодный нос и лапы с острыми коготками между их тел — его шерстка, нежная, как папоротник, непрошено щекочет и лезет в самые чувствительные места. Появление третьего существа в их компании вновь возбуждает Кролика; заметив это, Пегги ведет его по коридору — темная щель меж ее ягодиц ритмично приоткрывается и захлопывается при ходьбе. Держа перед собой, точно блокнот для стенографирования, смятый комок платья, она приостанавливается у двери в комнату сына, прислушивается и кивает. Волосы у нее растрепались. Щенок некоторое время повизгивает у их двери, скребет лапами по полу, будто хочет под нее подкопаться, затем исчезает в пламени их чувств, перестает быть слышен за грохотом их крови. Общаясь с этой неведомой ему женщиной, Гарри боится, что неверно рассчитает время, но она говорит ему:

— Одну секунду.

Он уже в ней, и она делает что-то еле заметное — расслабляя и снова напрягая мускулы влагалища, и командует:

— Давай.

Она кончает чуть раньше него, что позволяет ему наяривать, не боясь причинить ей боль, — соитие, лишенное безумия. После чего наступает стеснительный момент — возвращаются различия, партнерша выступает из тумана, начинается анализ того, где чья заслуга и кому кого благодарить. Кролик утыкается лицом в горячую выемку ее шеи.

— Спасибо.

— Это тебе спасибо, — говорит Пегги Фоснахт и крепко обхватывает его ягодицы, побуждая — что ему вовсе не нравится — напоследок, прежде чем он обмякнет, еще глубже войти в нее. Ни Джилл, ни Дженис не позволяют себе такого. И все равно ему хорошо. Пока она не говорит:

— Не откатишься? А то ты так меня прижал, что дышать трудно.

— Неужели я такой тяжелый?

— Смотря сколько под тобой лежать.

— Собственно, мне уже пора домой.

— Почему? Ведь только еще полночь.

— Беспокоюсь, что там у меня дома.

— Нельсон тут. А что до других, не все ли тебе равно?

— Сам не знаю. Не все равно.

— Но им все равно, где ты, а ты в постели кое с кем, кому не все равно.

— Ты же принимаешь назад Олли, — с укоризной говорит он.

— У тебя есть другие предложения? Он же отец моего ребенка.

— Ну, не моя в том вина.

— Нет, твоей вины ни в чем нет.

И она падает на него, и они снова основательно занимаются печально изощренной любовью, потом разговаривают, потом он немного дремлет, а потом раздается телефонный звонок. Телефон звонит у самого его уха. Женская рука, гибкая и теплая, протягивается через его лицо, чтобы утихомирить телефон. Рука Пегги. Она слушает и передает ему трубку — он не видит при этом ее лица. Возле телефона стоят часы — светящиеся стрелки показывают двадцать минут второго.

— Эй! Чак? Давай-ка дуй сюда поскорей. Дело худо. Худо.

— Ушлый? — Ему больно говорить — горло саднит. Пегги иссушила его.

На том конце провода вешают трубку.

Кролик сбрасывает с себя одеяло и принимается искать в темноте одежду. Он вспоминает. В гостиной. Когда он голый пробегает по коридору, дверь в комнату мальчиков открывается, Нельсон в изумлении смотрит на голого отца. Он спрашивает:

— Это была мама?

— Мама?

— По телефону.

— Ушлый. Что-то случилось дома.

— Мне с тобой пойти?

Они уже в гостиной: Кролик нагибается, собирая разбросанную по полу одежду, прыгает на одной ноге, вставляя другую в трусы, затем в брюки. Щенок, снова проснувшись, приплясывает вокруг, покусывая его.

— Лучше останься здесь.

— А что могло случиться, пап?

— Понятия не имею. Возможно, полиция. А может, Джилл стало хуже.

— Почему Ушлый ничего тебе не объяснил толком?

— Голос его звучал как-то странно — я не уверен, что он звонил с нашего телефона.

— Я иду с тобой.

— Я же велел тебе остаться.

— Я должен, пап.

Кролик смотрит на него и соглашается:

— О'кей, должен так должен.

Пегги в голубом халате стоит в коридоре, она зажгла еще свет. Поднялся и Билли. Ширинка на его пижаме в желтых пятнах, он высокий, прыщавый. Пегги говорит:

— Мне одеться?

— Нет. Ты и в таком виде великолепна.

Кролику никак не удается завязать галстук — воротничок на его рубашке пристегнут сзади на пуговицу, которую надо расстегнуть, чтобы пропустить галстук. Он надевает пиджак и сует галстук в карман. Кожу щекочет начавший выступать пот, пенис шепотком ноет. Кролик забыл завязать шнурки на ботинках, и когда он нагибается, к горлу подступает тошнота.

— Как же вы доберетесь до дома? — спрашивает Пегги.

— Бегом, — отвечает Кролик.

— Не глупи — это ведь полторы мили. Я сейчас оденусь и довезу вас.

Надо ей сказать, что она не его жена.

— Я не хочу, чтобы ты ехала с нами. Что бы там ни было, я не хочу, чтобы вы с Билли это видели.

— Ма-ам, — возмущается Билли с порога своей комнаты.

Но он стоит по-прежнему в грязной пижаме, тогда как Нельсон уже одет — только ноги еще голые. Кроссовки он держит в руке.

Пегги уступает.

— Я дам тебе ключи от моей машины. Голубой «крайслер фьюри», четвертый у стенки. Нельсон знает. Нет, Билли. Мы с тобой остаемся.

Кролик берет ключи, такие холодные в его разгоряченной руке, точно они вынуты из холодильника.

— Большущее спасибо. Или я уже это говорил? Извини, что так получилось. Замечательный был ужин, Пегги.

— Рада, что тебе понравилось.

— Мы сообщим вам, что там у нас. По всей вероятности, ничего особенного, просто этот мерзавец накурился до того, что ничего не соображает.

Нельсон за это время успел надеть носки и кроссовки.

— Поехали, пап. Большое спасибо, миссис Фоснахт.

— Я всегда вам рада, обоим.

— Поблагодарите мистера Фоснахта за приглашение, если я не смогу поехать с ним удить рыбу, а скорей всего не смогу.

— Ма-ам, разреши мне с ними, — все еще пытается уговорить мать Билли.

— Нет.

— Мам, до чего же ты сволочная.

Пегги закатывает сыну пощечину — на щеке его вспыхивают красные полосы, следы пальцев, и лицо мальчишки становится жестким, теперь он уже не в состоянии с собой справиться.

— Мам, ты проститутка. Правильно говорят ребята, что живут у моста. С кем угодно готова переспать.

Кролик говорит:

— Да не ссорьтесь вы.

И, повернувшись, отец с сыном бегут по коридору, затем, не дожидаясь лифта, вниз по лестнице в подземный гараж, полихромное озеро, застывшее в низком освещенном гроте. Кролик, поморгав, вдруг осознает, что пока они с Пегги растопляли каждый свою тьму, их окружал мир холодного флуоресцентного света в коридорах, и на лестницах, и среди никогда не спящих колонн, поддерживающих большое здание. Вселенная не спит — не спят ни муравьи, ни звезды, смерть — это вечное бдение. Нельсон отыскивает голубой «фьюри». Приборная доска загорается зеленым светом, когда Кролик включает зажигание. Мотор почти бесшумно оживает, выводит машину задом, и она скользит мимо грязных стен грота. В уголке, возле кирпичной лестницы, ждет ремонта, блестя хромом, мини-мотоцикл. Асфальтовый выезд выводит их на площадку для машин, а затем на улицу, вдоль которой стоят узкие дома и большие зеленые дорожные знаки с номерами, замковыми камнями и гербами с названиями далеких городов. Кролик с Нельсоном выезжает на Уайзер — движения по улице почти нет, все кажется зловещим. Светофоры больше не регулируют транспортный поток, а лишь мигают. «Бургер-мечта» закрыт, хотя внутри все еще светится фиолетовым печь да несколько трубок на потолке, чтобы отпугнуть воров и вандалов. Мимо, блея, проносится полицейская машина. Стоянка для машин перед «Акме» кажется в этот час безграничной. Те несколько машин, что все еще стоят там, — брошены? Или в них сидят любовники? Или это призраки в мире, столь переполненном машинами, что их тени, как листья, можно встретить повсюду? Кружащийся свет, режуще яркий, появляется в зеркальце заднего вида и, разрастаясь, сопровождается могучим воем сирены. Красный остов пожарной машины проносится мимо, словно всасывая «фьюри» на середину улицы — туда, где раньше проходили трамвайные пути. Нельсон вскрикивает:

— Пап!

— Что — пап?

— Ничего, мне показалось, что ты отключился.

— Никогда в жизни. Кто угодно, только не твой отец.

На маркизе над входом в кинотеатр, куцей, неосвещенной, — «ПО ПРОСЬБЕ ЗРИТЕЛЕЙ — 2001». Во всех магазинах на Уайзер-стрит дежурное освещение, а на нескольких — новый способ защиты от воров: решетки на окнах.

— Пап, на небе зарево.

— Где?

— Вон там, справа.

— Это не у нас, — говорит Кролик. — Пенн-Виллас прямо перед нами.

Но Эмберли-авеню заворачивает вправо резче, чем это помнится Кролику, и кривые улочки Пенн-Вилласа выводят их прямо к розовому куполу, висящему в воздухе. Люди черными тенями молча спешат туда, машины замерли по диагонали к тротуару. Дальше, там, где Эмберли пересекает Виста-креснт, стоит игрушечный полисмен, которого ритмично освещают огни вертушки на пожарной машине, — он словно раскрашенный оловянный солдатик. Гарри запарковывает машину — дальше ехать нельзя — и бежит по Виста вслед за Нельсоном. Пожарные шланги лежат на асфальте — одни пустые и кажущиеся длинными брюками из парусины, а другие, раздувшиеся как кобры, со свистом выпускают струи воды. По канавам, крутясь, мчится черная вода и слипшиеся листья; они устремляются к водостоку, центр которого уже забит, так что там образуется все расширяющаяся лужа. За два дома до их собственного они начинают ощущать запах, схожий с тем, какой бывает, когда жгут листья, только более едкий и горький от содержащейся в нем краски, смолы и химикалиев; у соседнего с ними дома люди так плотно стоят друг к другу, что Гарри с Нельсоном вынуждены остановиться. Нельсон ныряет в толпу и исчезает. Кролик продирается следом за ним, то и дело извиняясь: «Простите, это мой дом, простите, это мой дом». Он так говорит, но сам тому еще не верит. Его дом скрыт от него головами, прожекторами и струями воды, взмывающими ввысь, радугами в небе и криками — происходящее столь властно захватывает и столь необычно, что глаза слепит, как от солнца. Посторонние и соседи расступаются, пропуская его. Он видит. Гаража уже нет — обугленные стояки еще держатся, а крыша обрушилась, и кровельный гонт дымится, то и дело выбрасывая голубовато-зеленоватые языки пламени среди мокрых обломков на цементном полу. Торчит ручка мощной косилки, до которой не добралось пламя. Комнаты, ближайшие к гаражу, — кухня и спальня над ней, спальня, которая была его комнатой с Дженис, а потом его комнатой с Джилл, — пылают, несмотря на потоки воды. Пламя оседает, потом снова вспыхивает, языками вырываясь из крыши или из окна. Яблочно-зеленая алюминиевая обшивка не горит, — скорее, она защищает огонь от воды. Во внезапно образующихся просветах между сражающимися стихиями появляются лоскутья обоев наверху, остатки полок на кухне, затем налетает ветер, и все исчезает. Кролик вглядывается в верхнее окно — не появится ли в нем лицо Джилл, но видит лишь закопченный потолок. Крыша над окном, эта половина крыши вся в дыму — дым клубами вспухает и оседает, так что кажется, будто его прочесывают. Из окон комнаты Нельсона валит дым, но эта половина дома еще не в огне и может быть спасена. Дом действительно горит злобно, выплевывая отравляющие запахи, — эрзац и синтетические материалы торжествуют победу. Однажды в детстве Кролик видел, как горел сарай в долине за горой Джадж, — горел словно факел, сено будто взорвалось и как звездами усеяло небо горящей золой. Тут далеко до такой феерии.

Вокруг Кролика вдруг стало пусто. Зрители, соседи, уважая его роль, расступились. Несколько месяцев назад Кролик из будничной толпы смотрел на яркий островок — киногруппа снимала какой-то фильм, а сейчас он сам в центре такого яркого островка и тем не менее чувствует себя на обочине события, сторонним наблюдателем, тупо переживающим случившееся. Он оглядывает освещенные пожаром лица и не видит среди них Шоуолтера или Брамбаха. Собственно, он не видит ни единого знакомого лица.

Толпа качнулась, по ней прокатилось «а-а-а». Кролик ожидает увидеть в окне Джилл, приготовившуюся выпрыгнуть в своем белом платьице, сквозь которое просвечивает тело. Но из окон лишь вырывается дым, а драма разворачивается на земле. Полисмен сражается с тоненькой, гибкой фигуркой — Гарри думает: «Ушлый», но борющиеся поворачиваются, и перед ним белое лицо Нельсона. Пожарник помогает завернуть мальчишке руки за спину. Они оттаскивают его от дома, подводят к отцу. При виде отца Нельсон закрывает глаза, и губы его ползут в стороны, обнажая зубы, он так отчаянно пытается высвободиться, что кажется, будто двое мужчин, держащих его за руки, изо всех сил работают ручками насоса.

— Она там, пап!

Полисмен, тяжело дыша, поясняет:

— Мальчишка пытался проникнуть в дом. Говорит, там какая-то девушка.

— Я не знаю, она, наверно, уже выбралась. Мы ведь только что подошли.

Глаза у Нельсона дикие; он взвизгивает:

— Ушлый сказал тебе, что она с ним?

— Нет. Он просто сказал, что дело худо.

Слушая их разговор, пожарный и полисмен невольно расслабляют пальцы, и Нельсон, вырвавшись, снова бежит к входной двери. Он, очевидно, наталкивается на стену невыносимой жары, так как на ступеньках приостанавливается, и тут его снова хватают люди, похожие в своих блестящих комбинезонах на жуков. На этот раз, когда Нельсона подводят к отцу, он бросает в лицо Гарри:

— Сволочь, ты погубил ее. Я убью тебя. Я убью тебя.

И хотя это его сын, Гарри пригибается и выставляет вперед руки, готовый сразиться. Но мальчишке не вырваться от держащих его людей. Он говорит уже менее пронзительным голосом, пытаясь внушить им, что его надо отпустить:

— Я знаю, она там. Она все время просила отца, чтобы он что-то сделал и помог ей, а он ничего не делал. Все это из-за них, из-за него с Ушлым. Ушлый — это негр, который живет с нами. Отпустите меня, пожалуйста. Пожалуйста, отпустите. Дайте мне вытащить ее оттуда, я знаю, что смогу. Я знаю, знаю, что смогу. Она спит наверху. Ее нетрудно будет вынести. Пап, извини. Извини, что я обругал тебя. Я не хотел. Скажи им, чтоб они меня отпустили. Скажи же им про Джилл. Скажи, чтоб они ее вытащили.

Кролик спрашивает у пожарных:

— Неужели она не подошла бы к окну?

Пожарный, пожилой низенький человечек с кустистыми бровями и длинными желтыми зубами, произносит, обдумывая свои слова:

— Если девушка там спала, дым мог проникнуть к ней до того, как она проснулась. Люди не понимают, какой смертельный яд этот дым. Гибнут больше от дыма, чем от огня. — Он спрашивает Нельсона: — Без глупостей, сынок, если мы тебя отпустим, ладно? Веди себя как взрослый, а мы пошлем сейчас туда людей по лестнице.

Один из пожарных, похожий со спины на жука, рубит входную дверь. Стекло вылетает из трех окошечек и, звеня, разбивается на каменном полу. Другой пожарный появляется с другой стороны крыши и топором прорубает дыру над верхним коридором, примерно в том месте, где дверь в спальню Нельсона. Что-то невидимое заставляет его отшатнуться. Из дыры вырывается фиолетовое пламя. Канонада водных струй отбрасывает его назад за гребень крыши.

— Они не то делают, пап, — стонет Нельсон. — Они не идут к ней. Я знаю, где она, а они не идут к ней, пап! — И голос мальчишки обрывается.

Кролик протягивает к нему руку, хочет обнять, но он отскакивает и прячет лицо. Затылок его под волосами кажется мягким, как перезрелый фрукт.

Кролик успокаивает сына:

— Ушлый наверняка бы ее вытащил.

— Да не станет он это делать, пап. Ему все равно. — И голова мальчишки выворачивается из-под его руки.

К ним подходит полисмен.

— Вы — Энгстром?

Он из полицейских нового типа — образованный на вид, с острым носом, гладко выбритым подбородком и бачками неподобающей, по мнению Кролика, длины.

— Да.

Полисмен вытаскивает блокнот.

— Сколько народу тут проживало?

— Четверо. Мы с сыном...

— Имя?

— Нельсон.

— Второе имя, инициал?

— «Ф» от Фредерика.

Полисмен пишет медленно и говорит так тихо, что Кролик с трудом слышит его из-за перешептываний толпы, треска огня и грохота воды. Гарри приходится переспросить:

— Что?

Полисмен повторяет:

— Имя матери?

— Дженис. Она здесь не живет. Она живет в Бруэре.

— Адрес?

Гарри помнит адрес Ставроса, но дает другой:

— Связываться через Фредерика Спрингера, Маунт-Джадж, Джозеф-стрит, восемьдесят девять.

— А кто эта девушка, о которой упоминал парень?

— Джилл Пендлтон из Стонингтона, штат Коннектикут. Точного адреса я не знаю.

— Возраст?

— Восемнадцать-девятнадцать.

— Родственница?

— Нет.

Полисмену требуется немало времени, чтобы записать его ответ. Что-то происходит с углом крыши — шум толпы возрастает, и в свете прожекторов видно, как спускается лестница.

Кролик добавляет:

— Четвертым человеком был негр, мы звали его Ушлый. Уш-лый.

— Черный мужчина?

— Да.

— Фамилия?

— Не знаю. Возможно, Фарнсуорт.

— Пожалуйста, скажите по буквам.

Кролик произносит фамилию по буквам и поясняет:

— Он жил тут временно.

Полисмен поднимает взгляд на горящий дом, потом снова переводит его на владельца.

— Что это у вас тут было — коммуна?

— Господи, нет. Послушайте: я консерватор, я голосовал за Хьюберта Хамфри.

Полисмен внимательно оглядывает дом.

— А может этот черный все еще быть там?

— Не думаю. Ведь это он мне позвонил, похоже, из телефонной будки.

— Он что, сказал, что поджег дом?

— Нет, он не сказал даже, что начался пожар, просто сказал, что дело худо. Дважды повторил слово «худо».

— Дело худо, — записывает полицейский и закрывает блокнот. — Нам потребуется позже провести еще допрос.

Огонь пожара окрашивает в персиковый цвет эмблему на его фуражке. Угол крыши над спальней рухнул; телевизионная антенна, которую они дважды настраивали и удлиняли, чтобы прогнать призраков, порожденных соседскими приемниками, накреняется, охваченная пламенем, и медленно опускается вниз, словно скелет дерева, которое проволокой или скобами все еще привязано к корням. Вода водопадом устремляется туда, где была спальня. Оттуда вырывается желтый дым, золотисто-серый, жирный, как сахарная глазурь, выползающая у кондитера между пальцев.

Полицейский небрежно бросает:

— Если там кто-то остался, то он еще полчаса назад испекся.

В двух шагах от них Нельсон сгибается пополам — его рвет. Кролик подходит к нему, и парнишка разрешает отцу обнять себя. Кролик держит сына за плечи — ощущение такое, будто он пытается вытащить из воды рыбу, которая хочет уйти в глубину, которой необходимо нырнуть обратно, иначе она умрет. Отец отбрасывает волосы со щек мальчишки, чтобы они не испачкались в блевотине; одной рукой он закручивает их в женский узел на жарком нежном затылке сына.

— Нелли, я уверен, что она выбралась. И она далеко. Она в безопасности и где-то далеко.

Мальчишка отрицательно качает головой и снова выплевывает блевотину; Гарри довольно долго держит его одной рукой за волосы, другой обхватив за грудь. Он держит сына, чтобы тот не потонул. Стоит Гарри отпустить его — и они оба потонут. Тело сына становится тяжелое, оно словно плывет против течения, которое с силой Юпитера тащит его, а удерживают его на поверхности лишь подпорки, которые в любой момент могут рухнуть. Полисмены и зрители видят, как он сражается с Нельсоном, но не вмешиваются. Наконец к ним подходит полисмен — не тот, кто снимал у него показания, — и с присущим местным пенсильванским немцам спокойствием спрашивает:

— Может, вызвать машину, чтобы отвезти куда-нибудь парнишку? У него нет в наших краях дедушки с бабушкой?

— Целых четверо, — отвечает Кролик. — Пожалуй, ему лучше поехать к его матери.

— Нет! — кричит Нельсон и, вырвавшись из рук отца, смотрит на обоих. — Ты не заставишь меня уехать, пока мы не узнаем, где Джилл.

Лицо его блестит от слез, но в нем нет безумия, и следующий час он проводит, стоя рядом с отцом.

Пламя постепенно сникает, часть дома, где находится гостиная, спасена от огня. Внутренность кухни напоминает сад, источающий разноцветный дым: пластик, винил, нейлон, линолеум — все они горят по-разному, возвращая свои распадающиеся составные части земле и воздуху. Пожарные заливают водой обгорелые обломки и производят обход выжранных пожаром внутренностей дома. Вот окна на верхнем этаже освещаются изнутри карманными фонарями, а теперь на нижнем. Точно светлячки внутри черепа. А толпа продолжает ждать, удерживаемая запахом смерти, который несет с собой пожар. По чьему-то сигналу, которого Кролик не заметил, вызывают «скорую помощь» — она приезжает под вой своей сирены. Малиновые огни отбивают чечетку на ее крыше. Нечто странное — зеленый резиновый мешок или полотнище — вносят в дом, а потом выносят трое мрачных мужчин в комбинезонах. Бесформенный тюк вносят в карету «скорой помощи», дверцы ее закрываются с мягким стуком, какой производят лишь очень дорогие автомобили, снова раздается вздох сирены, и карета отчаливает. После этого толпа редеет. Темноту заполняют звуки включаемых моторов и рев отъезжающих машин.

Нельсон говорит:

— Пап!

— Да.

— Это была она, верно?

— Не знаю. Возможно.

— Но это же был кто-то.

— Наверное.

Нельсон трет глаза — на лице остаются полосы пепла, похожие на раскраску индейца. Мальчишка вдруг становится стариком.

— Я хочу лечь, — говорит он.

— Хочешь вернуться к Фоснахтам?

— Нет. — И, словно извиняясь, поясняет: — Я терпеть не могу Билли. — Для большего уточнения добавляет: — Разве что ты хочешь туда поехать. — Разве что ты хочешь вернуться к миссис Фоснахт и снова потрахаться, так надо понимать.

Кролик спрашивает сына:

— Хочешь к маме?

— Да я же не могу, пап, она в Поконах.

— Она уже наверняка вернулась.

— Я не хочу ее сейчас видеть. Отвези меня к бабуле.

Внутри Кролика словно работает какая-то машина, шепча: «Все сначала, все сначала», она хочет перевести часы назад, к тому моменту, когда они уехали из дома, — чтобы они не уехали, и ничего бы не случилось, и Джилл с Ушлым по-прежнему сидели бы там, в доме. Шум от этой машины заглушает внутренний голос, признающий, что случившееся случилось и это бесповоротно. Кролик видит Нельсона сквозь пелену шока и осмеливается спросить:

— Ты меня винишь, да?

— В известном смысле.

— Ты не считаешь, что это просто злой рок?

И хотя мальчишка едва утруждает себя, чтобы пожать плечами, Гарри понимает его ответ: что рок, что Бог — оба слишком высоко, а его не воспитали верить во что-либо, находящееся выше головы его отца. Для него вина ограничена человеческим миром и нигде больше не существует.

Пожарные одной из машин сворачивают шланги. Полицейский — тот, что спрашивал про Нельсона, — подходит к ним.

— Энгстром, шеф хочет поговорить с вами. Но чтоб мальчик при этом не присутствовал.

— Пап, спроси его, это была Джилл?

Полисмен, усталый, солидный, полный мужчина, с виду того же типа, что и — как бишь его? — Шоуолтер. Добродушные, терпеливые жители Бруэра. Он сообщает:

— Это был труп.

— Черный или белый? — спрашивает Кролик.

— Не могу сказать.

Нельсон спрашивает:

— Мужчина или женщина?

— Женщина, сынок.

Нельсон снова начинает рыдать и захлебываться, словно в горле у него что-то застряло, и Кролик спрашивает полисмена, осталось ли в силе его предложение насчет машины, которая могла бы отвезти мальчика к его деду и бабушке в Маунт-Джадж. Парнишку уводят. Он не противится — а мог бы, думает Кролик, мог бы настоять на том, чтобы остаться с отцом до конца. Но мальчишка — волосы у него свисают вдоль лица, а слезы текут, текут вовсю, — кажется, даже рад оказаться наконец в руках порядка, закона и каких-то границ. Нельсон даже не помахал рукой на прощание из окна серебристо-голубого дежурного автомобиля, когда тот свернул на Виста-креснт и помчался прочь среди нагромождения пожарных рукавов, и луж, и красных отблесков. В воздухе пахнет серой. Кролик замечает, что маленький клен обгорел и склонился в сторону дома; его веточки дымятся, как сигареты.

Пожарные складывают свои приспособления, а Кролик и шеф полиции сидят в обычной с виду машине. Гарри приходится поджать под себя ноги из-за радиоаппаратуры, установленной возле места для пассажира. Шеф — низенький, но сидя не выглядит коротышкой, его могучую грудь пересекает черный ремень портупеи, седые волосы коротко острижены, а нос, который был когда-то сломан, набрал за последующие годы целую сеть лопнувших сосудов. Он говорит:

— У нас на руках мертвец. А это уже другой коленкор.

— У вас есть какие-то мысли насчет того, как начался пожар?

— Вопросы буду задавать я. Но я вам отвечу. Это был поджог. В гараже. Я заметил там мощную косилку. И при ней была канистра бензина?

— Угу. Мы как раз сегодня залили в канистру бензин.

— Скажите, где вы были сегодня вечером?

Кролик рассказывает. Шеф переговаривается по мобильному телефону со своим управлением в Западном Бруэре. Примерно через пять минут ему отвечают. Но в полном, не сулящем прощения молчании, которое поддерживает шеф в течение этих минут, грудь Кролика начинает распирать от любви к закону. Радио с шипением поджариваемого бекона цедит слова: «Миссис Фоснахт подтверждает слова подозреваемого. По указанному адресу проживает также несовершеннолетний мальчик, являющийся дополнительным свидетелем».

— Ясно, — произносит шеф и выключает радиотелефон.

— Ну зачем мне поджигать собственный дом? — спрашивает Кролик.

— Большинство поджогов устраивают сами владельцы, — отвечает шеф. Он внимательно изучает Кролика — глаза у него почти круглые, точно кто-то зашил каждый уголок. — Может, девица была от вас беременна.

— Она принимала пилюли.

— Расскажите мне про эту девицу.

Кролик пытается, хотя трудно описать все так естественно, как оно было. Почему он разрешил Ушлому поселиться у него? Ну, вопрос можно поставить иначе: а почему нет? Он пытается рассказать так, чтоб было ясно:

— Ну, когда жена ушла от меня, я как бы потерял ориентир. Казалось, ничто не имело значения, да и потом Ушлый забрал бы с собой Джилл, если б я его выставил. Так что я перестал обращать на него внимание.

— Он вас терроризировал?

Кролик пытается отвечать правильно. Из уважения к закону.

— Нет. Он нас развлекал. — Гарри начинает злиться. — Есть такой закон, которого я не знаю, насчет того, что нельзя селить у себя людей?

— Есть закон против укрывательства, — говорит шеф, забывая записать в блокнот ответ Кролика. — В бруэрской полиции есть сведения о некоем Хьюберте Джонсоне, который укрывается от явки в суд по обвинению в хранении наркотиков. — Молчание Кролика его не устраивает. И он уточняет: — Вы не знали о существовании такого обвинения и о том, что обвиняемый скрывается от суда? — И поясняет дальше: — Я должен принять ваше молчание за утверждение, что вы этого не знали?

— Да. — Это единственно возможный ответ. — Да, я ничего не знал об Ушлом, не знал даже его фамилии. Вы говорите, его фамилия Джонсон. Я думал — Фарнсуорт.

— Есть какие-то предположения насчет того, где он сейчас?

— Понятия не имею. Он звонил, похоже, из телефонной будки, но я не мог бы в этом поклясться.

Полисмен кладет широкую ладонь на блокнот, словно накрывая микрофон телефона.

— Не для протокола. Мы наблюдали за этим домом. Этот ваш сожитель был мелкой рыбешкой, так, ерунда. Мы надеялись, что он выведет нас к чему-то покрупнее.

— Покрупнее? К наркотикам?

— К гражданскому неповиновению. Черные, живущие в Бруэре, находятся в контакте с Филадельфией, Камденом, Ньюарком. Мы знаем, что у них есть оружие. Мы ведь не хотим, чтобы у нас здесь был второй Йорк? — И снова молчание Кролика не устраивает его. Он повторяет: — Не хотим ведь?

— Нет, конечно, нет. Я просто задумался. Ушлый говорил, что для него стадия революции осталась позади, он был немножко помешан на религии, не на оружии.

— Есть предположения, почему он устроил поджог?

— Не думаю, чтобы он это устроил. Не в его это стиле.

Карандаш снова нацелился на блокнот.

— К черту стиль, — говорит шеф. — Мне нужны факты.

— У меня есть лишь те факты, которые я вам изложил. Некоторых наших соседей не устраивало то, что Ушлый жил с нами: двое мужчин остановили меня вчера на улице и жаловались на это, я могу дать вам, если хотите, их имена.

Карандаш замирает в воздухе.

— Значит, жаловались. А поджогом конкретно не грозили?

— *Хитрожопых иногда по ошибке приканчивают. Тогда уж, сволочь ты поганая, весь свой дом забаррикадируй!* Никаких конкретных угроз.

Шеф делает пометку — что-то вроде «н. к.», «ничего конкретного» — и переворачивает страницу блокнота.

— У черного были сексуальные отношения с девушкой?

— Послушайте, я же целый день на работе. Я возвращался с работы, мы разогревали ужин, и я помогал парнишке готовить домашние задания, а потом мы сидели и разговаривали. Это все равно как если бы в доме было еще двое детей, я понятия не имею, чем они занимались без меня. Вы что, собираетесь арестовать меня или как?

Сам типичный отец и семьянин, шеф довольно долго сидит, улыбаясь и не отвечая. Кролик понимает, что он не случайно разбил себе нос, а ему разбили его где-то в закоулках его биографии. Белоснежные мягкие волосы подстрижены ровно и кажутся пуховкой с розовым окаймлением над ушами, где впивается полицейская фуражка. Улыбка его ширится, создавая складки на щеках.

— Строго говоря, — произносит он, — это не моя смена. Я выступаю вместо моего уважаемого коллеги, шерифа поселка Фэрнейс, который закончил смену и отправился спать. Не для передачи могу сказать, что у нас достаточно народу сидит в тюрьмах и без таких солидных граждан, как вы. Просто позже у нас появятся к вам еще вопросы. — Он закрывает блокнот и включает радиотелефон. — Всем машинам бруэрской полиции смотреть в оба в поисках мужчины-негра, рост приблизительно пять и шесть, вес приблизительно один двадцать пять, кожа средне-темная, прическа «афро», прозвище Ушлый, повторяю по буквам: Утка, школа, лев... — Он даже не поворачивает головы, когда Кролик открывает дверь машины и выходит из нее.

Итак, во второй раз в жизни капкан закона не захлопывается за Кроликом. Он-то знает, что он преступник, но его ни разу не поймали. Все тело болит — боль оседает, как сажа. Пожарные поливают водой дымящиеся развалины, нагромождение оборудования на Виста-креснт рассасывается. Обесчещенный дом окружен желтыми фонарями на треножниках, предупреждающими людей о том, что туда нельзя заходить. Кролик идет по лужайке, совсем недавно еще покрытой травой, а сейчас вытоптанной, со следами ног, и озирает причиненный ущерб.

Хуже всего пострадал дом сзади — осветительные приборы в ванной при спальне болтаются, свисая с покореженных трубок. Стены, возле которой стояло изголовье кровати, — нет. Клочья ночного синего неба просвечивают сквозь крышу. Кролик заглядывает в окна нижнего этажа и при вспышках желтого света видит нечто похожее на аттракцион ужасов: диван и два кресла, словно солью, посыпанные опавшей штукатуркой, стоят друг против друга, а между ними скамья сапожника. Лампа на основании из дерева-плавника по-прежнему стоит прямо. На полках, отделяющих гостиную от закутка для завтрака, — книжки Ушлого, намокшие и свалявшиеся. Оттуда, где была кухня, Гарри видит сквозь гараж нечто похожее на обугленную букву N. Небо светлеет. Чирикают, готовясь к пению, птицы — птицы в Пенн-Вилласе, где же они нашли приют? Тут нет достаточно больших для них деревьев. Становится холодно, холоднее, чем в середине ночи, когда пылал огонь. Небо на востоке, в направлении Бруэра, начинает бледнеть. В предрассветной серости вырисовываются очертания горы Джадж. Туча птиц пересекает пригород, направляясь на юг, к Уайзер-стрит, к высокому зданию окружной психиатрической больницы и дальше. На костях Гарри оседает сажа. Веки у него стали шершавыми, как сухие стручки. От усталости у него возникают галлюцинации — так за несколько секунд до сна в нашем представлении оживают образы. Пробуждающееся небо над горой Джадж — это Бекки, умершая малышка, а мрачное небо на западе такого цвета, как в бурю, но усыпанное звездами, — это Нельсон, его живой сын. А он сам — взрослый мужчина посредине.

Кролик подходит к развороченной входной двери, смахивает осколки стекла и садится на каменные ступени. Они теплые, точно он сидит у очага. Никто из соседей не вышел поговорить с ним, посиять на фоне его беды, — он обводит взглядом окрест себя и видит неприветливую картину, обнажившуюся в утреннем свете, пастельного цвета гонт на крышах домов влажно поблескивает, повторяя рисунок перекрытий, бассейны и качели на задних дворах побелели от изморози вместе с травой. В посветлевшем небе все еще криво висит месяц, словно игрушка, забытая на полу. Пожилой мужчина в шуршащем зеленом дождевике, оставленный сторожем, подходит к нему и спрашивает:

— Это ваш дом, а?

— Да, мой.

— А у вас есть куда пойти?

— Наверно.

— Труп — это кто-то из близких?

— Не совсем.

— Уже хорошо. Приободритесь же, молодой человек. Страховка большую часть этого покроет.

— А у меня есть страховка?

— Вы закладывали дом?

Кролик кивает, вспомнив про маленькую банковскую книжечку со скользкой бумагой — она наверняка сгорела.

— Тогда, значит, у вас есть страховка. Уж будьте уверены, эти чертовы банки о себе заботятся, этих евреев никогда врасплох не застигнешь.

Присутствие этого человека начинает казаться странным. Уже много месяцев ничто не казалось ему таким странным, как присутствие этого человека. Кролик спрашивает его:

— Сколько времени вы тут пробудете?

— Подежурю до восьми.

— Зачем?

— Такое правило при пожарах. Чтобы предотвратить грабежи. — Оба задумчиво оглядывают спящие дома и холодные лужайки Пенн-Вилласа. В этот момент вдалеке раздается звон будильника в одном из домов и наверху зажигается свет, неяркий, дежурный. Да, нынче везде грабят. Старик спрашивает Кролика: — Ничего нет у вас там ценного, что вы хотели бы забрать? — Кролик даже не шелохнулся. — Пошли бы вы поспали немного, молодой человек.

— А вы? — спрашивает Кролик.

— Людям моего возраста не требуется много сна. Заснуть придется надолго и довольно скоро. Так или иначе, я люблю эти мирные часы, любил даже мальчишкой. Всегда рано вставал, а отец — он был большим пьяницей и подолгу спал — колотил меня вовсю, если я хоть чуток шумел утром. Вот у меня и вошло в привычку потихоньку убегать из дома к птицам. Так или иначе, двойная оплата за дежурство и вся смена на воздухе. Только не надо все время это указывать в ведомости, чтоб не получилось выше определенного количества часов, а то не получишь социальной страховки. Человека нынче убивают добротой — это такая новая техника.

Кролик встает — все тело болит: боль поднимается от ног к паху, животу, груди — и исчезает. Демон покидает его. Дым, туман поднимаются. Кролик поворачивается к своей входной двери — она разбухла от воды, изрублена топором и противится ему. Старик говорит:

— Я отвечаю за то, чтобы никто не входил в здание. Если с вами что случится, сами будете отвечать.

— Вы же только что сказали мне, чтобы я взял то, что считаю ценным.

— Просто я говорю, что сами будете отвечать. А я отворачиваюсь. Провалитесь сквозь пол, наступите на оголенный провод — не зовите на помощь. Для меня вас там нет. От греха подальше — таково мое правило.

— И мое тоже.

Он наваливается на дверь, и она открывается. Осколки стекла с другой ее стороны оцарапали белыми полукружьями пол коридора. Глаза у Кролика начинают слезиться от дыма и запаха. В доме тепло, и он как бы разговаривает сам с собой: что-то шуршит и трещит слева от Кролика; обугленный настил под бывшим полом оседает, промокший черный бут пускает пузыри. Металлический каркас кровати провалился в кухню. Гостиная справа от Кролика задымлена, но не повреждена. Сквозь едкий дым поблескивают серебристые нити обивки кресла; зеленый экран телевизора ждет, чтобы его включили. Кролик подумал было забрать его — это единственное, что можно было бы продать, но нет, слишком он тяжелый, Кролик может провалиться вместе с ним сквозь пол, да и таких телевизоров теперь миллион. Дженис как-то сказала, что следовало бы сбрасывать на джунгли телевизоры вместо бомб — эффект был бы тот же. Кролик тогда подумал, что это слишком умная для нее мысль, — уже тогда она говорила словами Ставроса.

Ей всегда нравилась эта дурацкая скамья сапожника. Кролик вспоминает, как она в начале их брака опускалась возле нее на колени, полировала ее льняным маслом, отрывистыми быстрыми движениями захватывая всего два-три дюйма, — от этого зрелища у него всегда возникало желание. Он подхватывает скамью под мышку и, обнаружив, что она легкая, вытаскивает из розетки шнур от лампы с деревянным основанием и тоже забирает ее с собой. Остальное пусть делят между собой воры и страховые агенты. Никогда ведь не вытравишь из вещей запах дыма. Как и запах неудач в жизни. Он вспоминает, как протирал «Уиндексом» оконные стекла, и ему кажется, что вся его жизнь состоит из таких вот деталей. Дом отпускает его. Он свободен. Длинные оранжевые полосы падают от солнца со стороны, противоположной той, с которой оно светило, когда они с Нельсоном вошли в дом вечером, давным-давно; полосы света прослаивают низкие чужие дома, когда он идет по Виста-креснт, неся под мышкой скамью сапожника и лампу. «Фьюри» Пегги — единственная машина, которая все еще стоит у обочины, словно лодка, прибитая приливом. Кролик открывает дверцу, двигает вперед сиденье, чтобы поставить сзади скамью, и обнаруживает, что там кто-то есть. Негр. Спит.

— Какого черта! — восклицает Кролик.

Ушлый просыпается и, ничего не видя, ищет на ощупь свои очки на резиновом коврике на полу.

— Чак крошка, — говорит он, поднимая к Кролику два круглых стекла. Прическа «афро» примялась сбоку. Точно подгнивший фрукт. — Один остался, верно?

— Угу.

Запах, который по утрам стоял в гостиной, придавая ее атмосфере что-то животное, особенно сильно чувствуется сейчас в маленькой машине.

— Уже рассвело?

— Только начало светать. Сейчас около шести. Давно ты здесь?

— С тех пор как увидел, что ты подъехал вместе с Крошкой Чаком. Я звонил тебе из телефона-автомата на Уайзер, а потом решил проследить, когда ты приедешь. Машина — не твоя, а голова твоя, все верно, так что я прокрался задними дворами и залез сюда, после того как ты припарковался. Черт побери, я ведь заснул. Эй, человече, залезай, а то больно дует.

Кролик залезает в машину и садится за руль — он слушает, не поворачивая головы, и старается говорить, не шевеля губами. Пенн-Виллас оживает: мимо только что проехала машина.

— Тебе следует знать, — говорит он, — что тебя ищут. Считают, что это ты поджег.

— Ясное дело, легавые всегда так. Ну зачем мне сжигать собственную хазу?

— Чтобы уничтожить доказательства. Возможно, Джилл — как ты это называешь? — от передозняка кинулась.

— Не оттого, что она получала от меня: у меня гарик такой разбодяженный — в сахарной водице больше силы. Послушай, Чак, то, что произошло с твоим домом, дело рук белой швали. Поверишь ты правде или мне не тратить зря сил до разговора в легавке?

— Я слушаю.

Голос Ушлого, когда не видишь его лица, кажется Гарри более низким, в нем звучит гипнотизирующая хрипотца и певучесть, напоминающая ему голоса, которые он слышал в детстве по радио.

— Джилл рано улеглась спать, а я устроился на диване, верно? С тех пор как она снова зависла, она ничем другим не занималась, да и я был как следует начинен и устал — мы ведь дважды объехали округ, избавляясь от этой чертовой машины, так? Словом, просыпаюсь я. Вокруг что-то трещит. Я решил, что на кухне, верно? Подумал, это Джилл спустилась и станет приставать, чтоб я снова ее уколол, но звуки были такие — «фьюш», а потом так тихо — «буум» — это мне напомнило, как мины рвались в джунглях на дорогах, только я ведь не был на дороге, и я сказал себе: вот и началась война дома. Потом я услышал, как грохнула дверь — судя по грохоту, дверь гаража, — подскочил к окну и увидел двух белых котов, которые бежали, поджав хвост, по лужайке, потом через улицу, между тех двух домов, только их и видели, верно? Никакой машины у них, по-моему не было. И тут же я почувствовал дым.

— Откуда ты знаешь, что это были белые?

— Ну, ты же знаешь, как бегают белые — точно у них в задницу воткнута палка, верно?

— А мог бы ты их опознать, если бы снова увидел?

— Я здесь не стал бы опознавать даже Моисея. Моя шкура в этом округе уже подпалилась, верно?

— М-да, — произносит Кролик. — Тебе еще кое-что следует узнать: Джилл умерла.

Молчание на заднем сиденье длится недолго.

— Бедная сучка, не уверен, что она это заметила.

— Почему ты не вытащил ее?

— Какого черта, человече, тут пахло жареным, верно? Я подумал, все, линчевать идут, я ведь не знал, сколько их там, на улице, может, тыща, мне было не до того, чтоб заботиться о какой-то там белой женщине — пусть белые заботятся о белых.

— Но никто же тебя не останавливал.

— А чему нас в армии учили? Я сумел, так сказать, уклониться от прямого столкновения с превосходящими силами противника.

— Никто за тобой не охотился. Это мне, мне пытались они кое-что объяснить. У нас тут не линчуют, не будь сумасшедшим.

— Сумасшедшим? Ты, видно, смотрел не тот канал по телевидению. Как насчет тех психов в Детройте?

— А как насчет тех убитых полисменов в Калифорнии? Как насчет всей этой ерунды «смерть легавым!», которую вы, черные братья, проповедуете? Мне следует сдать тебя. Бруэрским полицейским приятно будет тебя увидеть: они обожают воспитывать обезумевших енотов.

Еще две машины проезжают мимо; с высоты молочного фургона шофер с любопытством смотрит вниз на них.

— Поехали, — говорит Ушлый.

— А что это мне сулит?

— Ничего особенного, верно?

Мотор «фьюри» заводится мгновенно. Он производит меньше шума, чем шины, которые со свистом разрезают лужи на Виста-креснт, мча своих пассажиров мимо остатков яблочно-зеленого дома и мужчины в зеленом дождевике, который спит на крыльце. Кролик ведет машину по извилистым улицам туда, где они кончаются, становясь дорогами для грузовиков между утонувших в грязи фундаментов домов. Он находит затерянную проселочную дорогу. Ряды высоких тополей, ямы да рытвины. Ушлый выпрямляется на сиденье. Кролик ждет, что сейчас его затылка коснется металл. Револьвер, нож, игла — у них всегда что-то есть при себе. Пропитанные ядом стрелы. Но ничто, ничто не касается его затылка, кроме теплого дыхания Ушлого. И в отсутствии стали Кролик видит не безоружность, а какое-то подобие любви.

— Как мог ты допустить, чтоб она погибла? — спрашивает он.

— Человече, если хочешь искать виноватых, придется вернуться на сотни лет назад.

— Я не чувствую себя виноватым, — говорит Кролик.

— Черт тебя подери, Чак. И не чувствуй. Но и не смотри на меня с такой вытянутой рожей. У каждого своя кожа, и надо жить в ней уютно, верно?

— Я вот что тебе скажу. Я отвезу тебя на десять миль на юг, а оттуда шагай дальше сам.

— Это круто, но скажем — заметано. Остается один, как говорится, неясный вопрос. Мы, братья, называем его «хлебом».

— Ты же только что получил шестьсот долларов от продажи ее машины.

— Эта хитрая сука уволокла их с собой, у меня их нет. Мой бумажник остался там, на диване, и в нем все, что у меня было, верно?

— А как насчет того черного чемодана, что стоял в кладовке?

— Ну и ну. Ты что, вынюхивал или как?

— У меня, пожалуй, найдется тридцать долларов, — говорит Кролик. — Можешь их взять. Но на этом — все. Я не скажу полицейским о том, что вез тебя, но и только. Как ты изволил выразиться: поимел ты этот округ, и хватит.

— Я вернусь, — обещает Ушлый, — только в сиянии славы.

— Когда это произойдет, избавь меня от своего присутствия.

Мили летят мимо. Холм, группа домов из песчаника, цементная фабрика, щит, извещающий о том, что поблизости есть природная пещера, другой щит с большой фигурой бородатого амиша. Ушлый другим своим голосом, тем, который так похож на голос белого человека и, соответственно, кажется Кролику наиболее человечным, спрашивает:

— А как принял это Крошка Чак — то, что Джилл не стало?

— Приблизительно так, как можно было ожидать.

— Сломался, верно?

— Сломался.

— Скажи ему, что в мире целая тонна дырок.

— Я предоставлю ему самому это узнать.

Они подъезжают к перекрестку, где в солнечном свете встречаются две узкие дороги. В дальнем конце золотистой стерни кукурузного поля стоит белый каменный дом, над которым вьется дымок. Деревянная стрелка у перекрестка оповещает: «Гэлили-2». А иначе никто бы и не знал, где это. В небе пролетает, оставляя след, самолет. Пенсильвания ширится на юг, зеленая и бурая, тихая. Сухой каменный трубопровод проходит здесь под дорогой; металлический знак в форме замкового камня, начисто заржавевший, отмечает ее. Кролик выворачивает содержимое своего бумажника на розовую ладонь Ушлого и подавляет желание извиниться за то, что денег так мало. А дальше как быть, думает он. Проститься поцелуем Иуды? Они не касались друг друга с того вечера, когда схватились врукопашную и Гарри победил. Он протягивает руку на прощание. Ушлый внимательно смотрит на нее, точно, подобно Бэби, собирается по ней гадать, потом берет ее в обе свои узкие руки, переворачивает пухлыми розовыми подушечками вверх, раздумывает и торжественно плюет в середину ладони. Слюна у него теплая, как кожа; сначала Гарри лишь видит, что произошло, обнаружив пузырчатую влагу, похожую на крошечные солнца. Потом решает воспринять это как благословение и вытирает ладонь о брюки. Ушлый говорит ему:

— Никогда не понимал тебя.

— А наверное, нечего было понимать, — звучит в ответ.

— Ждешь озарения, верно? — с усмешкой произносит Ушлый.

Когда он улыбается, невольно думает Кролик, с верхней губой у него что-то происходит, чего не бывает у белого человека: в середине набухает такой валик, словно шовчик, который соединяет головку с телом члена. Гарри разворачивает «фьюри» Пегги на перекрестке, а молодой черный стоит и ждет у края поля, на полосе пожухлых бурых сорняков. В зеркальце заднего вида Ушлый выглядит, несмотря на очки и бородку, на удивление слитым со сжатым полем, над которым летают вороны — садятся и снова взлетают.

## 4

## МИМ

Полковник Эдвин Олдрин:

Теперь порядок. Держите вниз, немного влево. Места для маневра достаточно. Нацелены правильно. Немножечко ко мне. Вниз. О'кей. Порядок. Цепляйте первый зажим. Какой зажим? Ладно, двигайте дальше. Наклон влево. О'кей, теперь порядок. Нацелены прямо на платформу. Передвиньте левую ногу немного вправо. О'кей, хорошо. Левее. Хорошо.

Нил Армстронг:

О'кей, Хьюстон, я на месте.

Кролик сидит за своей машиной, пальцы его летают по клавишам, наверху пощелкивают матрицы, расплавленный свинец создает у него сбоку уютное тепло.

ПО ИМЕЮЩИМСЯ ПОДОЗРЕНИЯМ ПОЖАР В ПЕНН-ВИЛЛАСЕ ВЫЗВАН ПОДЖОГОМ

*Погибла приезжая из другого штата*

Полиция Западного Бруэра все еще снимает показания со свидетелей в связи с таинственным пожаром, который уничтожил в Пени-Вилласе красивый дом мистера и миссис Гарольд Энгстром.

Гостившая в доме милл Джисс

Гостившая в доме мисс Джилл Пендлтон, 18 лет, из Стонингтона, штат Коннектикут, погибла, задохнувшись от дыма. Попытки доблестных пожарных спасти ее не увенчались успехом.

Факт смерти мисс Пендлтон был установлен в Гомеопатической клинике сестры милосердия клинике сестер милосердия в Бруэре, куда пострадавшую доставили с места происшествия.

Хьюберт Джонсон, которого видели вблизи дома и который до последнего времени проживал на Сливовой улице, разыскивается для допроса. Мистер Джонсон, известный также по кличке «Ушлый», иногда фигурирует под фамилией Фарнсуорт.

Начальник пожарной команды поселка Фэрнейс Рэймонд «Бадди» Фесслер сообщил репортерам «Вэта»: «Я убежден, что совершен поджог, но у нас нет доказательств того, что был применен «коктейль Молотова» или другая зажигательная смесь».

Соседи потрясены случившимся, ничего необычного про обитателей дома сказать не могут, если не считать присутствия в нем черного мужчины.

Пайясек стучит ему по плечу.

— Если это моя жена, — говорит Кролик, — скажи ей, чтоб отстала. Скажи, что я умер.

— Это не телефон, Гарри, мне нужно с тобой поговорить наедине. Если можно.

Это «если можно» холодным камнем ложится на сердце Гарри. Пайясек явно подражает кому-то более высоко сидящему. Он закрывает свою дверь из матового стекла, чтобы избавиться от шума, и тихо опускается на кресло за столом, затем медленно расправляет пальцы на кипе лежащих там, выпачканных типографской краской бумаг.

— Еще одна скверная новость, Гарри, — говорит он. — Выдержишь?

— Попробуй — увидишь.

— Мне, ей-богу, неприятно сваливать это на тебя в дополнение к твоей беде с домом, но оттягивать нет смысла. Ничто ведь не стоит на месте. Там наверху решили превратить «Верити» в офсетное предприятие. Мы сохраним старую плоскую печать для деловых бумаг, но руководство «Вэта» сказало, что либо мы переходим на офсет, либо газету будут печатать в Филадельфии. Это обсуждается уже не один год. Придется взять и другие периодические издания — в Бруэре начинают выпускать несколько новых газетенок, в основном на твой вкус, сплошной хлам, но народ покупает, а закон разрешает печатать такое, вот как оно получается.

Он переводит дух с таким видом, будто все уже сказано. Когда смотришь на него сверху, лоб его кажется шарообразным, морщины озабоченности уходят ввысь — туда, где начинаются волосы светло-медного цвета, зачесанные назад.

Кролик пытается помочь ему:

— Значит, всех линотипистов долой, так?

Лицо Пайясека выражает изумление, брови поднимаются дугой и опускаются, и лоб на секунду становится гладкой сферой, освещенной сверху флуоресцентными трубками.

— Мне казалось, я ясно выразился. Происходит техническое переустройство в соответствии с требованиями экономики. При офсете все печатается с пленок, никакого горячего металла. Переходим на катодную трубку. Господи, да она выдает две тысячи строк в минуту, семь минут — и весь «Вэт» напечатан. Мы можем оставить двух-трех человек, посадить их на компьютер, мы договорились с профсоюзом, но, с точки зрения руководства, жертвы неизбежны, Гарри. Боюсь, ты стоишь далеко не первым в списке ценных сотрудников. Это не имеет никакого отношения к твоей личной жизни, поверь, — чисто профессиональные соображения. Твоего отца не тронут, Бьюкенена тоже, Господи, стоит его уволить, как все доброхоты в городе вцепятся нам в глотку. Я бы поступил иначе. Если бы пришли ко мне, я б сказал, что этот человек каждое утро, начиная с одиннадцати, уже накачивается, все они такие, по мне лучше полный идиот, лишь бы он был белый...

— О'кей, — говорит Кролик. — Когда сниматься с якоря?

— Гарри, мне это до чертиков больно. Ты изучил профессию, а теперь почва уходит у тебя из-под ног. Может, одна из бруэрских ежедневных газет возьмет тебя, а может, что-то проклюнется в Филадельфии или в Аллентауне, хотя при том, как по всему штату сливаются или закрываются газеты, сейчас людей нашей профессии — перебор.

— Я выживу. А что сталось с Куртом Шраком?

— Кто это?

— Ну, ты же знаешь. Тот, кто отвечал у нас за «Шокельштуль».

— Ах, этот. Ну, вспомнил — сто лет прошло! Насколько я помню, он купил ферму где-то к северу от Бруэра и разводит кур. А может, теперь уже и умер.

— Точно. Самое правильное решение. С точки зрения руководства.

— Не говори так, Гарри, слишком это больно слушать. Поверь, у меня все-таки есть кой-какие чувства. Ты же еще молодой бычок, лучшие годы у тебя впереди. Хочешь отеческий совет? Уезжай к черту из этого округа. Пусть вся неразбериха останется позади. Забудь об этой вертихвостке, на которой ты женат, — уж не обижайся.

— Я и не обижаюсь. А Дженис нельзя винить — я тоже не подарок. Но не могу я никуда уехать: у меня же сын.

— Сын, дрын! Нельзя так жить, как ты живешь. Нужно плясать от главного. А главное для тебя — ты сам, а не твой сын.

— Это не совсем так, — произносит Кролик и по тому, как вдруг заблестел высокий лоб Пайясека, наклонившегося над перепачканными бумагами на столе, понимает, что тот вовсе не хочет с ним разговаривать, а хочет, чтобы Гарри скорее ушел. И Кролик спрашивает: — Так когда же я ухожу?

Пайясек говорит:

— Ты получишь выходное пособие — двухмесячное жалованье плюс все, что накопилось сверху, но новые станки поступают в этот уик-энд, скорее, чем мы думали. Все нынче движется ускоренным темпом.

— Кроме меня, — говорит Кролик и выходит из каморки.

Его отец отворачивается от ярко освещенной, грохочущей машины и с вопросительным видом опускает большие пальцы вниз. Кролик кивает, тоже опустив большие пальцы. Когда они идут после работы по Сосновой улице, чувствуя себя призраками при дневном свете после целого дня работы под флуоресцентными лампами, отец говорит:

— Чуял я, чем дело кончится, все время чуял, пока там, наверху, разрабатывали новый подход: сынок одного из совладельцев «Верити» вернулся из какой-то там бизнес-школы, забили парню голову всякой чепухой. Я сказал Пайясеку: «Зачем вы меня оставляете — мне же всего год до пенсии?», а он говорит: «Именно поэтому». Я сказал ему: «Почему не уволить меня и не отдать мое место Гарри?», а он говорит: «По той же причине». Он сам, конечно, до смерти напуган. Вся наша экономика напугана. Никсон задумал стать новым Гувером, и эти белые голуби моратория будут умолять Джонсона вернуться, прежде чем Ловкачу Дику удастся подужать их банковские счета[[62]](#footnote-62).

Папа говорит теперь больше обычного, словно хочет чем-то забить мозги Гарри, — он прилип к нему, как здравый смысл. Это были ужасные три дня. Все воскресенье, не выспавшись, Кролик ездил туда-сюда через Бруэр, курсируя между Маунт-Джаджем и Пенн-Вилласом, продираясь сквозь парад в честь Дня Колумба, головную боль муниципалитета. Монохромную идиллию раннего утра — Ушлого, превращающегося в бурую точку в бурых полях, — вытеснили кошмар военной музыки, пульсирующая в теле усталость, голоногие девчонки, вращающие металлические молнии, барабанщики, выбивающие дробь на натянутой коже пустого живота Гарри, машины, застрявшие в боковых улочках, «Рыцари Колумба»[[63]](#footnote-63), марширующие ветераны, американские флаги. В просветах этого чудовищного торжества он роется на теплом пепелище и перевозит на грузовичке ненужную, всю в пятнах, намокшую мебель, в том числе и обгоревшую гитару, в гараж на задворках Джексон-роуд. Никакого бумажника на диване он не нашел, как и черного чемодана в кладовке. Письменный столик Джилл стоял у стены, от которой остался лишь обгоревший кусок, тем не менее Кролик переворошил пепел в поисках хотя бы намека на шестьсот долларов. Когда он вернулся с Джексон-роуд, его поджидали представители страховой компании, а также шериф поселка Фэрнейс, маленький старичок со щечками-яблочками, в подтяжках и фетровой шляпе, которого главным образом заботило то, чтобы было зафиксировано, что его отсутствие на месте пожара не может быть поставлено ему в вину. Он был совсем глухой, и всякий раз, как кто-то в комнате что-то произносил, он резко поворачивался и бойко каркал:

— Давайте запишем и это! Я хочу, чтобы все было ясно, все запротоколировано!

Самым тяжелым для Гарри был разговор с матерью Джилл по телефону. Полиция сообщила ей о случившемся, и ее тон переходил от вежливого любопытства — почему Джилл вдруг поселилась в этом доме? — до горестной злости, набирающей высоту, — в ее голосе словно билось фламинго, пытаясь расправить яркие крылья и взлететь из закутка непонимания.

— Она жила у меня, да, поселилась еще до Дня труда, — сообщил ей Кролик по телефону, что стоит внизу, в темной гостиной, где пахнет полиролем и мамиными лекарствами. — До этого она болталась в Бруэре с толпой негров, которые вечно околачивались в одном кабаке, — его с тех пор уже прикрыли. Я подумал, что ей будет лучше у меня, чем у них.

— Но полиция сказала, что там у вас был негр.

— Угу. Ее приятель. Он, так сказать, был жильцом от случая к случаю. — Всякий раз, когда Кролику приходилось рассказывать, как оно было, он преуменьшал роль Ушлого, начиная с того, что соврал, умолчав о том, что утром отвез его на юг, и кончая тем, что молодой черный превратился в его воспоминаниях в нечто вроде тени от стула. — Полицейские говорят, возможно, это он устроил пожар, но я уверен, что это не его рук дело.

— Как вы можете быть в этом уверены?

— Уверен, и все. Послушайте, миссис...

— Олдридж. — Почему-то именно фамилия второго мужа вызвала у нее поток слез.

— Послушайте, — попытался он пробиться сквозь ее рыдания, — мне трудно сейчас говорить: я совсем измочален, мой сын в соседней комнате, так что, если бы мы могли поговорить лицом к лицу, я, возможно, сумел бы объяснить...

Фламинго попробовал взлететь.

— Объяснить?! Вы можете дать такое объяснение, которое вернуло бы ее к жизни?

— Нет, думаю, что нет.

Вежливость вернулась.

— Мы с мужем летим завтра утром в Филадельфию и наймем там машину. Так что, может быть, нам стоит встретиться.

— Угу. Мне придется отпрашиваться с работы, если это будет не в обеденный перерыв.

— Встретимся в полицейском участке Западного Бруэра, — произнес далекий голос с поразительной твердостью неожиданно авторитетным тоном. — В полдень.

Кролик никогда раньше там не бывал. Муниципалитет Западного Бруэра помещался в кирпичном здании с белой окантовкой, выстроенном среди травы и клумб по диагонали к высокому зданию окружной психиатрической больницы, которое было пристроено к первоначальному сумасшедшему дому, особняку из гранита, возведенному сто лет тому назад одним из бруэрских железных баронов. Вся земля вокруг принадлежала ему. За городской ратушей в неоклассическом стиле стоит длинный сарай из цементных блоков, крытый гофрированным железом; некоторые двери в нем открыты, и Кролик заметил внутри грузовики, паровой каток, черную, похожую на паука, машину, которая кладет гудрон на дорогах, гигантский кран, который поднимает в корзинке человека, чтобы тот подрезал ветви деревьев, мешающие электрическим проводам. Эти механизмы городского хозяйства показались Гарри частью утраченного мира безвинной деятельности, — и он всем нутром ощутил, что ему никогда больше не позволят вползти назад в этот мир. В холле муниципалитета окошечки, где можно уплатить за пользование газом и электричеством, и деревянные двери, на которых осыпающейся золотой краской написано: бургомистр, асессор и клерк. Золотые стрелки указывают вниз — полицейское управление вниз по лестнице. Кролик слишком поздно обнаружил, что мог бы войти в это полуподвальное помещение сбоку, избавив себя от взглядов десятка городских служащих. Полицейский, сидевший за перегородкой с зеленой крышкой, показался Кролику знакомым, но ему потребовалась целая минута, чтобы вспомнить, кто же это. Тот самый, образованный на вид. Гарри повели по коридору, мимо таинственных комнат — в одной полно было радиоаппаратуры, в другой стояли картотеки, третья выходила на цементную лестницу, ведущую куда-то еще ниже. В подземную темницу. В тюрьму. Кролику захотелось сбежать вниз по этой лестнице и спрятаться, но его провели в четвертую комнату с тусклым зеленым столом и металлическими складными стульями. Там сидели шеф со сломанным носом и какая-то женщина, которая, несмотря на крайнюю усталость и замедленную из-за приема таблеток речь, была явно из Коннектикута. Более резкая, более ядовитая, чем женщины Пенсильвании. Скорее подкрашенные под седину, нежели седые волосы и черный костюм. Свое задумчивое тонкое личико Джилл, очевидно, унаследовала от отца, так как у матери было совсем другое лицо — круглое, энергичное, с пухлыми губами, которые, когда она была в хорошем настроении, наверное, придавали ей алчный вид. Кролик постарался побыстрее избавиться от впечатления, что перед ним этакая задиристая шавка — широко посаженные карие глаза, слегка выпирающие скулы, на шее ошейник из жемчуга. Грудь классная, говаривала Джилл, но грудь ее матери, плотно упакованная в бюстгальтер и великоватая для ее роста — а ростом она была как Джилл, — показалась Кролику в этот момент их печальной, лишенной сексуальности встречи носом воинственного корабля, словно женщина была в мундире, подбитом ватой. Он пожалел, что недостаточно расхваливал Джилл ее мальчишескую грудь, отбрасывавшую почти плоские тени, — она так стеснялась своих грудей, которые, однако, были мягкие, когда он касался их губами, — мягкие и щедрые, такой щедрой кажется нам снизошедшая на нас благодать, ибо мы не измеряем ее, а принимаем как есть. Словно сквозь туман Кролик услышал, как шеф, представляя их, буркнул: мистер и миссис Олдридж. Кролик вспомнил балладу Джилл и разведенного юристика из Уэстерли, но мужчина так и остался для него неразгаданным, он смотрел только на женщину, на эту реинкарнацию Джилл в обратном направлении. Она обладала сдержанностью Джилл, хоть и не казалась такой хрупкой, — даже то, как она стояла в растерянности и отчаянии, свесив вдоль тела руки, напоминало Джилл. Кролик подумал: «Она приехала сюда после опознания останков? Но что там осталось, кроме почерневших костей? Зубы. Браслет. Прядь волос телесного цвета».

— Послушайте, — обратился он к ней, — мне так худо от всей этой истории.

— Д-да. — Ее блестящие глаза прошлись поверх его головы. — Во время телефонного разговора я вела себя так глупо, вы сказали, что объясните.

В самом деле? Что же он хотел объяснить? Что он в этом не виноват. Однако Нельсон считает, что виноват. В том, что приютил Джилл? Но ей же негде было жить. В том, что трахал ее? Но ведь это жизнь, где есть секс, огонь, дыхание, все в комбинации с кислородом, мы тлеем каждую минуту нашей жизни на грани возгорания, как о том свидетельствуют оранжевые окна психиатрической больницы. Кролик пытается вспомнить.

— Вы спросили меня про Ушлого, почему я так уверен, что это не он поджег дом.

— Да. Почему вы так уверены?

— Он любил Джилл. Мы все любили.

— И все использовали ее?

— В известном смысле.

— В вашем случае, — странная манера все расставлять по своим местам, и вообще она говорит как женщина — член клуба, выступающая на собрании перед камерами, гласные звучат хрипловато из-за сигарет и виски, коктейлей при дневном ярком свете, — в качестве наложницы?

Он не знал этого слова, но догадался о его значении.

— Я никогда ее не заставлял, — сказал он. — Я давал ей дом и еду. Она давала мне себя. Каждый давал то, что у него было.

— Вы животное. — Произнесено слишком отчетливо: фраза давно сидела в ее мозгу, не успела скукожиться и звучала теперь не вполне уместно.

— Да, конечно, — согласился он, не давая ей взлететь, не давая этой ярости-фламинго с криком сорваться с ее лица.

Безликий человек позади нее кашлянул и переступил с ноги на ногу, с готовностью изображая смущение. Гарри почувствовал, как внутри у него все делается прозрачным, невесомым, словно перед началом матча. Он состязался с этой женщиной так, как никогда не состязался с Джилл. Джилл для него была слишком мудрой, слишком старой, хотя и родилась много позже. А эта шавка с пегими волосами, толстым кошельком и хриплым голосом женщины, посещающей клубы, была одного с ним поколения, он мог понять, чего она хочет. Она хотела держаться подальше от беды. Хотела получать удовольствие от жизни и чтобы никто ни в чем ее не винил. И наконец, не хотела оправдываться ни перед какой небесной комиссией. В данный момент она хотела утихомирить ненасытное чудище — образ дочери, которую она выбросила из своей жизни на погибель. Миссис Олдридж жестом юной девушки приложила руки к щекам, затем снова свесила их вдоль бедер.

— Извините, — сказала она. — Всегда ведь бывают... разные обстоятельства. Я хотела знать, остались ли... какие-нибудь вещи.

— Вещи?

Кролик снова мысленно увидел почерневшие кости, остатки зубов, расплавленные браслеты. Ему вспомнились браслеты, которые носили девочки в школе, цепочки и пластинки с именами Дорин, Маргарет, Мэри-Энн.

— Ее братья просили меня... какие-нибудь личные вещи, на память...

Братья? Джилл говорила о них. Трое. Один — возраста Нельсона.

Миссис Олдридж поспешила сказать несколько смущенно, пытаясь напомнить:

— У нее была машина.

— Они продали машину, — произнес Кролик излишне громко. — Джилл ездила на ней без масла, так что мотор заклинило, и она продала машину на слом.

То, что он произнес это так громко, встревожило миссис Олдридж. А он просто все еще возмущался небрежным отношением к такой машине. Отступив на шаг, миссис Олдридж протестующе заявила:

— Она любила эту машину.

Не любила она машину, она не любила ничего, что могли бы любить мы, хотелось Кролику сказать миссис Олдридж, но она, наверное, все знала получше него: ведь она присутствовала при том, когда Джилл впервые увидела машину, новенькую, белоснежную, подарок отца. Кролик наконец выудил из памяти одну «личную вещь».

— Одну вещь я обнаружил, — сказал он миссис Олдридж, — ее гитару. Она довольно сильно обожжена, но...

— Ее гитару, — повторила женщина и, возможно, забыв, что ее дочь играла, опустила вниз глаза, круглое лицо ее покраснело, и стоявший позади мужчина кинулся ее утешать, мужчина, безликий как на рекламе, в безупречно сшитом пиджаке с бордовым сложенным платочком в нагрудном кармане. — У меня же нет ничего, — рыдала женщина, — она не оставила мне даже записки, когда ушла.

Голос ее утратил сексуальную хрипотцу, стал высоким и зазвучал беспомощно, это снова была Джилл, молившая: «Обними меня, помоги мне, я полна дерьма, все рушится».

Гарри отвернулся, чтобы не видеть миссис Олдридж. Шеф, выпроваживавший его через боковую дверь, заметил:

— Богатая сука, если бы она сумела удержать девчонку дома, она сегодня была бы жива. Я каждую неделю вижу подобное. За все рано или поздно приходится платить. А вы, Энгстром, не нарывайтесь на неприятности и заботьтесь о своих родных. — Он, словно тренер, по-отечески потрепал Гарри по плечу и подтолкнул навстречу широкому миру.

— Пап, как насчет того, чтоб пропустить по быстренькой?

— Не сегодня, Гарри, не сегодня. У нас для тебя сюрприз. Мим приезжает.

— Ты уверен?

Они ждут Мим уже много месяцев, а она только присылает открытки, всякий раз с изображением нового отеля.

— Да-с. Она звонила твоей матери сегодня утром из Нью-Йорка. Я говорил с твоей матерью днем. Мне бы следовало уже сказать тебе об этом, но у тебя столько головной боли, что я подумал: это может и подождать. Вот уж воистину — то пусто, то густо — почему так? Прямо загадка. Мы все больше цепенеем, и Господь Бог дает нам испить чашу до дна — так работает его милосердие. Ты теряешь жену, теряешь дом, теряешь работу. Мим возвращается в тот день, когда твоя мать всю ночь не сомкнула глаз из-за кошмаров, а потом, могу поклясться, весь день провела на ногах и прибиралась — уморить себя, видно, решила, так что можно только гадать, что будет дальше.

Но он уже сказал, что дальше будет смерть мамы. Автобус 16-А подкатывает, покачиваясь, изрыгая выхлопной газ. В направлении Маунт-Джаджа негров едет меньше, чем в направлении Западного Бруэра. Кролик садится у прохода, отец — у окна и вдруг нахохливается и плюет. Плевок слабенькой струйкой стекает вниз по грязному стеклу.

— Черт подери, но меня от этого наизнанку выворачивает, — поясняет он, а Кролик видит, что они как раз проехали церковь, большую серую пресвитерианскую церковь у скрещения Уайзер и Парк-стрит; на ее ступенях стоят группками женщины в пальто, двое молодых людей в свитерах, монахини и школьники с плакатами и незажженными свечами в знак протеста против войны. Сегодня День моратория. — Я никогда не был особым сторонником Ловкача Дика, мне он и по сей день не нравится, — поясняет папа, — но бедняга старается сделать там за океаном хоть что-то пристойное, вытащить нас оттуда, пока нам на голову не рухнула крыша, а эти чокнутые проповедники дальше своего носа ничего не видят, вот и устраивают парады, на радость желтеньким красным — те небось думают, что победа уже у них в кармане. Будь я на месте Никсона, я бы обложил таким налогом этих иисусиков церковных, чтоб впредь им неповадно было, — зато маленькому человеку стало бы намного легче.

— Пап, они говорят лишь то, что хотят приостановить бойню.

— Значит, они и тебя заарканили, да? Бойня — не самое худшее, что происходит. Я уж скорее пожму руку убийце, чем предателю.

Столько страсти, тогда как сам он по этому поводу теперь ничего не чувствует, забавляет Гарри, вызывает сознание своей защищенности, домашнего комфорта. В этом его спасение — он снова дома. Тот же знакомый затхлый запах плюшевого медвежонка от ковра, та же теплая волна навстречу, когда открываешь дверь из погреба, та же узкая лестница, ведущая из гостиной наверх, с той же шаткой балясиной, выскочившей из паза и рассыхающейся, так что ее приходится снова и снова приколачивать; тот же кухонный стол с белой столешницей и четырьмя протертостями в тех местах, где они обычно едят. Кролику захотелось вновь поесть еды своего детства: каши с кусочками банана, посыпанных сахарной пудрой пончиков, — правда, теперь их продают в коробках с целлофановыми окошечками, а не в вощеных пакетах, — сырой морковки и какао по вечерам. Он любит долго поспать, поэтому на работу его приходится будить — в Пенн-Вилласе, в доме, где Дженис так и не удосужилась повесить занавески, его обычно будило солнце, и он просыпался первым. А здесь, в Маунт-Джадже, его окружает знакомый мрак. Искаженное лицо и речь мамы, так огорчавшие Кролика во время его посещений, быстро становятся повседневной реальностью ее присутствия на этом свете все годы, что он отсутствовал; все ту же он видит половинку неба, и та же дверь изолирует его от остального мира, как и громоздкая дверь в погреб, состоящая из двух тяжелых половин. Ребенком он любил сидеть на цементных ступеньках под этой дверью и слушать шум дождя. Шлепанье дождевых капель по крыше, казалось, соответствовало биению его сердца, любовно проникало в сознание и сливалось со стуком и скрипом, какие производила мама, работая на кухне. Она все еще в небольших дозах может там работать. То, что Гарри снова дома, утверждает она, заменяет ей сразу сто доз «Л-допа».

Единственный беспокойный элемент, новый и не желающий вписываться в это окружение, — Нельсон. Надутый, страдающий, какой-то удивительно крупный, он сидит, развалясь, на широком мягком диване, его лицо — экран застывших воспоминаний; никто из них не знает, что с ним делать. Он не Гарри, Гарри никогда не бывал таким печальным, однако требует привилегий и снисхождения, какими пользуется Гарри. В разорванных тенях плохо освещенного дома на Джексон-роуд Энгстромы продолжают удивляться неблагодарности Нельсона и каждую минуту теряют его. «Где Нелли?» «Куда отправился малыш?» «Малый наверху или внизу?» Все эти вопросы остальные трое то и дело задают друг другу. А Нельсон часами сидит в своей временной комнате — бывшей комнате Мим — и слушает рок-поп-фолк-музыку, до предела привернув звук. Он пропускает обеды и ужины без объяснений или извинений и вырезает и наклеивает в тетрадку все, что появляется в бруэрских газетах о пожаре. Кролик обнаружил эту его тетрадь вчера, заглянув в комнату сына. Рядом с вырезками мальчишка рисует разноцветными шариковыми ручками цветы, символы мира, тайские кресты, ноты, психоделические радуги, каракули и завитушки, которые считались признаком безумия до того, как они стали частью рекламы. Еще — два полароидных снимка развалин, сделанных Билли в понедельник с помощью новой камеры, которую подарил ему отец. На фотографиях, коричневатых и закручивающихся, полусгоревший дом — сгоревшая часть темнеет тенью, но по форме хищная и как бы наползает на несгоревшую часть; стойки гаража погнулись, как спички в пепельнице. Кролик смотрит на фотографии и чувствует запах пепла. Запах оказывается реальным, а не воображаемым. В шкафу Нельсона Кролик находит источник запаха — обгоревшую гитару. Вот, значит, почему он не обнаружил ее в гараже, когда хотел отдать матери Джилл. Теперь она уже вернулась в Коннектикут — так пусть гитара останется у бедного малыша. Отец не может достучаться до него, и они живут в доме родителей отца как двое далеких — из-за разницы в возрасте — братьев.

Кролик с отцом шагают по Джексон-роуд и видят перед домом 303 незнакомую машину — темно-синий «олдсмобиль торонадо» с оранжево-синей планкой нью-йоркского номера. Отец ускоряет шаг.

— Это Мим! — восклицает он, и так оно и есть.

Она наверху и выходит на площадку лестницы, когда они появляются под цветным веером окошка; она спускается и останавливается перед ними в темной маленькой передней. Это Мим. И в то же время не Мим. Прошло ведь несколько лет с тех пор, как Кролик в последний раз видел ее.

— Привет, — говорит Мим и легким поцелуем касается щеки отца.

В их семье, даже когда дети были маленькие, не принято было целоваться. Она и брата поцеловала вот так же, мимоходом, но он удерживает ее, желая почувствовать всех этих мужчин, обнимавших ее, его сестру, которой он когда-то менял пеленки, которая держалась за его большой палец, когда они отправлялись в воскресенье гулять вдоль главного карьера, которая однажды, катаясь с ним на санках, воскликнула: ой, как я тебя люблю, а мимо со свистом проносились другие сани по темному утрамбованному склону, и улица была мягкая, как воск, а снег все шел и шел. Удивленная тем, что брат так крепко обнял ее, Мим снова его целует, еще раз словно клюет в ту же щеку, а потом решительно отводит его руки. Чувствуется опыт. Она тонкая, ни одной унции лишней, но настоящая женщина — должно быть, это от плавания в гостиничных бассейнах: ночные бдения убирают жир, а плавание сглаживает то, что осталось. Похоже, что она без косметики, даже без помады, вот только глаза, какие-то нечеловеческие, египетские, в павлиньем сине-лиловом окружении; они не просто обведены, а заново созданы и оснащены ресницами, которые, наверное, склеиваются, когда она моргает. Эти удивительно накрашенные глаза придают особую экспрессивность ее бледному рту, каждой полуулыбочке, когда она иронично поджимает губы, задумчиво их выпячивает или вдруг заливисто хохочет, — одно так быстро сменяет другое, что Гарри кажется, будто у нее в голове крутится закодированная пленка, выдавая с быстротой электроники весь арсенал выражений. Нос, единственный недостаток Мим, который не дал ей появиться на экране, который, возможно, не позволил ей познать славу, все такой же длинный, с многогранной шишечкой на конце, в точности как у мамы, но сейчас, когда Мим уже тридцать и ясно, что она никогда не станет экранной красоткой, ее нос кажется не таким уж большим недостатком, он, собственно, избавляет ее лицо от шаблонности и, невзирая на павлиньи глаза и подвижный, как у актрисы, рот, делает его даже милым. Именно это, как подозревает Кролик, будет еще не один год притягивать к ней мужчин, хотя теперь вместо ловких карьеристов, которым подавай ледяной эталон красоты, к Мим потянутся неудачники с рухнувшей карьерой или распавшимся браком, роняющие в баре слезу над стаканом вина, люди, которым нужно простое человеческое тепло. Мим одета по моде шестидесятых, как клоун: расклешенные брюки сплошь из горизонтальных полос, словно сшитые из лоскутков трех разных цветов, блузка в тонкую полоску, мужского покроя, если б не пышные рукава, туфли, и цветом и фасоном напомнившие Кролику клюв диснеевского Утенка Дональда, и кольца в ушах в три дюйма. Даже в школе Мим любила носить большие серьги — они придавали ей тогда что-то цыганское или арабское, а теперь, учитывая постоянный загар, — итальянское. Или майамско-еврейское. Ее белые, с медовым отливом волосы взлохмачены дорогим парикмахером — цвет их не возмущает Кролика, ибо уже в последних классах школы она то и дело их перекрашивала: однажды, когда он остановился в дверях, заметив, что сестра изучает себя в зеркале, она сказала, имея в виду свои тогда еще натуральные светло-каштановые волосы, — «протестантская крыса».

Папа, не зная, куда девать руки, гладит ее, затем вешает свое пальто и ведет дочь в темную гостиную.

— Когда ты приехала? Прямо с Западного побережья? Ты прилетела прямо в Айдлуайлд — теперь ведь перелеты беспосадочные, а?

— Папа, этот аэропорт больше не называется Айдлуайлд, теперь это аэропорт Кеннеди. Я прилетела пару дней назад — у меня были кое-какие дела в Нью-Йорке, я должна была ими заняться, прежде чем ехать сюда. В Нью-Джерси такая красота — дух захватывает, как проедешь нефтехранилища. Столько еще зелени кругом.

— А откуда у тебя эта машина, Мим? Арендовала? — Выцветшие глаза старика блестят от сознания, что у него такая самостоятельная дочь, которая так смело шагает по миру.

Мим испускает вздох.

— Мне одолжил ее один малый.

Она садится в качалку и кладет ноги на пуфик, который однажды в детстве приснился Кролику: ему приснилось, что он набит долларами, которые помогут им решить все проблемы. Сон был такой реальный, что Кролик даже вспорол ткань — до сих пор виден шов. Набита она была чем-то препротивным, хуже соломы.

Мим закуривает. Она держит сигарету ровно посередине губ, выдыхает две струйки дыма по обе стороны сигареты, смотрит, сдвинув брови, на потухшую спичку.

Папа совершенно заворожен этим обычным жестом и молчит вмертвую. А Кролик спрашивает сестру:

— Как тебе мама?

— Неплохо. Для умирающей.

— Она показалась тебе разумной?

— Вполне. Неразумным кажешься мне ты. Мама порассказала мне, что ты вытворял. В последнее время.

— У Гарри был чертовски трудный период, — вставляет папа, кивая и как бы включаясь в веретено разговора, который раскручивает его ослепительная дочь. — Представь, сегодня в «Верити» ему сообщили об увольнении. Меня оставили, а человека в расцвете сил выбросили. Я уж чуял, чем дело кончится, но не хотел сам говорить Гарри, это их обязанность — вот пусть и выполняют ее, мерзавцы, человек отдает им жизнь, а получает за свои труды под зад коленом.

Мим закрывает глаза и сразу становится немолодой и усталой, она говорит:

— Пап, я ужасно рада видеть тебя! Но не хочешь ли ты подняться и на минутку заглянуть к маме? Может, ее надо посадить на горшок, я ее спрашивала, но она меня, наверно, все еще стесняется.

Папа послушно поднимается, повинуясь желанию дочери, но не двигается с места, а стоит, пригнувшись, желая сгладить ее резкость.

— Вы двое всегда находите общий язык. Мы с Мэри всегда удивлялись, я, бывало, говорил ей: «На свете просто не сыскать брата с сестрой, которые были бы так близки, как Гарри и Мириам». Другие родители, знаешь ли, рассказывали нам про то, как дерутся их дети, а мы их просто не понимали, у нас такого никогда не было. Клянусь Господом Богом, мы никогда не слышали, чтобы кто-то из вас обозвал другого. Многие шестилетние мальчишки, когда в семье появляется маленький, понимаешь ли, против, привыкают уже к тому, что все делается для них, чувствуют себя хозяевами в гнездышке, но Гарри был не такой. С самого начала, с самого первого лета мы могли оставлять тебя с ним, оставлять вас одних в доме, когда мы с Мэри отправлялись в кино: в те дни, пожалуй, только так можно было забыть свои беды — пойти в кино. — Он усиленно моргает, выискивая среди многих нитей памяти ту единственную, которую надо вытянуть. — Клянусь Богом, нам повезло, — говорит он и тут же притормаживает, добавив: — Как посмотришь, что бывает с другими людьми. — И идет наверх; в глазах его, когда он попадает под свет лампочки, горящей на площадке, блестят слезы.

Был ли у них когда-либо общий язык? Кролик что-то не может припомнить, он только помнит, что они жили вместе в этом доме сезон за сезоном, переходя из одного класса в другой, шагали в праздники по Джексон-роуд — в День всех Святых, День благодарения, в Рождество, в День святого Валентина, в Пасху — среди запахов и звуков сменявших друг друга спортивных сезонов — футбола, баскетбола, бега; а потом он уехал, и Мим стала лишь словом в письмах матери; а потом он вернулся из армии и обнаружил ее уже взрослой, стоящей перед зеркалом, готовой для романов с мальчишками, а может быть, уже и познавшей нескольких, красящей волосы и носящей серьги в виде колец; а потом Дженис увела его из дома; а потом оба они с сестрой отсутствовали, и дом лишился молодой жизни, а теперь они снова оказались тут. Комнате, казалось, требовался дым ее сигареты, требовался давно, чтобы изгнать запахи старой мебели и болезни. Кролик сидит на табурете у пианино; он наклоняется и касается руки сестры:

— Дай курнуть.

— Я думала, ты бросил.

— Много лет назад. Я не вдыхаю. Разве что травку.

— Еще и травку! Ты, как я погляжу, времени тут зря не терял.

Она роется в сумочке, большом, ярком, словно состоящем из заплат мешке под стать ее брюкам, и бросает ему сигарету. Сигарета ментоловая с каким-то хитрым фильтром. Смерть легко обмануть. Не сработают церкви — сработает фильтр.

Кролик говорит:

— Я сам не знаю, что я вытворял.

— Да уж мама битый час со мной говорила. А в ее состоянии это немало.

— А что ты думаешь о маме теперь? Теперь, когда тебе ясна перспектива.

— Она великая женщина. Только реализовать себя ей было негде.

— Ну, а там, где ты себя реализуешь, это лучше получается?

— Притворства, во всяком случае, меньше.

— Не знаю, выглядишь ты шикарно.

— Спасибо.

— Так что же она тебе сказала? Мама.

— Ничего такого, чего бы ты не знал, за исключением того, что Дженис часто ей звонит.

— Я это знал. После воскресенья она звонила уже раза два — я не могу с ней говорить.

— Почему?

— Она как с цепи сорвалась. Сама не знает, чего ей надо. Говорит, что разбежится со мной, а на развод так и не подала, говорит, что подаст на меня в суд за то, что я сжег ее дом, а я говорю, что сжег только свою половину. Потом говорит, что заберет Нельсона, да что-то не едет за ним, а я бы чертовски хотел, чтобы она его забрала.

— Ну, а как, по-твоему, надо понимать — с цепи сорвалась?

— По-моему, она умом тронулась. А скорее всего пьет как сапожник.

Мим поворачивается в профиль, чтобы затушить сигарету в блюдечке, которое стоит вместо пепельницы на ковре.

— Это надо понимать так, что она хочет к тебе вернуться.

Мим разбирается в таких вещах, с гордостью признает Кролик. По какой бы дорожке ты ни пошел, Мим там уже побывала. Не была лишь на дорожке, что ведет к Нельсону, и не была еще на той, где ощущаешь приятный горячий шлепок, когда в ладонь левой руки падает свежеотлитая строка набора. Но это устаревшие дорожки — люди больше не рвутся ступить на них. Мим повторяет:

— Она хочет вернуть тебя.

— Все в голос твердят мне об этом, — говорит Кролик, — но я что-то не вижу доказательств. Она знает, где найти меня, — стоит захотеть.

Мим скрещивает ноги в брюках, расправляет полосы и закуривает новую сигарету.

— Она попала в капкан. Любовь к этому малому — самое большое событие в ее жизни, это первая попытка вырваться на свободу, на которую она решилась с тех пор, как утопила малышку. Давай посмотрим фактам в лицо, Гарри. Вы, в вашей глухомани, все еще верите в призраки. Прежде чем переспать, вы согласовываете это с Морозом, или как там теперь его зовут. И вот чтобы оправдать перед самой собой свой шаг, Дженис должна представить его как нечто грандиозное. И что получилось? Помнишь, детьми мы заходили в лавку к Споттси, где стояли банки с конфетами, ты запускал туда руку, хватал пригоршню конфет, а потом не мог вытащить зажатый кулак из горлышка? Чтобы вытащить руку, Дженис должна разжать ее — тогда прощай конфеты. Она хочет вытащить руку, но хочет вытащить и конфеты, — нет, не совсем так: она хочет вытащить то, что ей представляется конфетой. Вот так-то. Кому-то надо помочь ей — разбить банку.

— Я не хочу, чтоб она возвращалась, пока все еще влюблена в этого щеголя.

— Придется смириться и принять ее такой, какая есть.

— Этот сукин сын, у него хватает наглости, сидя в теплом месте, в этих своих роскошных костюмах, — зарабатывает небось в три раза больше меня тем, что пудрит людям мозги, — у него хватает наглости изображать из себя этакого голубя мира. Как-то вечером мы все сидели в ресторане, мы с ним препирались через стол по поводу Вьетнама, а они с Дженис в это время терлись друг о друга боками. Вообще-то тебе бы он понравился — он в твоем вкусе. Гангстер.

Мим терпеливо присматривается к брату — еще один потенциальный плакальщик в баре.

— С каких это пор, — спрашивает она, — ты стал так любить войну? Насколько я помню, ты был чертовски рад, что тебе удалось увильнуть от этой корейской заварухи.

— Я не всякую войну люблю, — возражает он, — а только эту. Потому что больше никто ее не любит. Больше никто не понимает.

— Так разъясни мне, Гарри.

— Это своего рода фикция. Чтобы выбить другого из равновесия. При том, в каком состоянии находится мир, время от времени необходимо такое делать, чтобы сохранить свое преимущество, иметь простор для маневра. — И он руками показывает свое представление о просторе. — Иначе тот, другой, сможет предугадывать каждый твой шаг, и тогда ты мертвец.

— А ты уверен, что существует тот, другой? — спрашивает Мим.

— Конечно, уверен. — Тот, другой, это врач, который так стискивает твою руку, что становится больно. Уж я-то знаю. С этого начинается безумие.

— А ты не считаешь, что просто есть масса маленьких человечков, которые пытаются создать вокруг себя чуть больше простора, чем это позволяет им система, при которой они живут?

— Конечно, они есть, эти маленькие человечки, их миллиарды. Миллиарды, миллионы, словом, слишком много. Но есть также и большой мужик, который пытается засунуть их всех в большой черный мешок. Он тронутый, и мы тоже должны быть тронутые. Немножко.

Она кивает с таким видом, будто она сама врач.

— Да, все сходится, — говорит она. — Надо быть немножко тронутым, чтобы оставаться свободным. Жизнь, которую ты последнее время вел, выглядит достаточно безумной, чтобы ты еще мог долго протянуть.

— А что я не так делал? Вел себя как чертов добрый самаритянин. Приютил этих сирот. Черного, белую. Сказал им: «Залезайте на борт. Не важно, какой у вас цвет, какого вы вероисповедания. Залезайте на борт. Кормежка бесплатная». Прямо как эта чертова статуя Свободы.

— И схлопотал за это сгоревший дом.

— Да ладно. Это совершили другие. Это их проблема, не моя. Я поступал так, как считал правильным. — Он хочет все ей рассказать, он хочет, чтобы язык его соответствовал той любви, какую он чувствует к сестре, он хочет любить ее, хотя понимает, что в ней возникла неприступная стена из слишком многих сделанных ею выводов, стена, которую не прошибешь. И он говорит ей: — Я кое-что выяснил для себя.

— Кое-что, что стоит знать?

— Например, что мне больше нравится трахаться обычным способом.

Мим снимает с нижней губы крошку вроде табачной, хотя сигарета у нее с фильтром.

— Вполне здоровый подход, — говорит она. — Только не типично американский.

— Кроме того, мы читали книги. Друг другу вслух.

— Книги о чем?

— Да всякие. О рабах. Можно сказать, исторические.

Мим смеется в своем клоунском костюме.

— Значит, снова в школу, — говорит она. — Это мило.

В школе она училась лучше него, даже после того, как стала интересоваться мальчиками: получала пятерки и четверки, а он четверки и тройки. Мама тогда говорила, просто девчонкам приходится лучше соображать — больше-то взять нечем. Мим спрашивает:

— И что же ты узнал из этих книг?

— Я узнал, — Кролик впивается взглядом в угол комнаты, желая выразиться поточнее, и видит над буфетом паутину, колеблемую там, наверху, дуновением ветра, которого он не чувствует, — что наша страна не идеальна. — Еще не успев это произнести, он понимает, что не верит этому, как не верит в душе, что умрет. Устал он объяснять свою точку зрения. — Поговорим о приятном, — произносит он, — как складывается твоя жизнь?

— Са va. Это значит по-французски: неплохо.

— Кто-то содержит тебя, или у тебя на каждую ночь новый?

Она смотрит на него в раздумье. Огонек злости вспыхивает в ее подведенных глазах. Потом она выдыхает дым и расслабляется, видимо, решив про себя: «Брат все-таки».

— Не то и не другое. Я работаю, Гарри. Предоставляю определенные услуги. Не могу их тебе описать, как это там происходит. Люди неплохие. У них есть правила. Не слишком интересные правила, ничего похожего на «сунь руку в огонь, и место в раю тебе обеспечено». Скорее это правила вроде: «что бы ни было накануне, наутро вставай — и на велотренажер». Мужчины хотят иметь плоский живот и верят в то, что вся скверна выводится с потом. Они не хотят носить в себе слишком много жидкости. Можно назвать их пуританами. Гангстеры — они ведь пуритане. Они стройные и мускулистые, так как стоит дать себе слабину — и ты не жилец на свете. Еще одно правило, которому они следуют: «Всегда за все плати. Если берешь даром, не удивляйся, что обнаружишь гремучую змею». Это правила выживания, правила жизни в пустыне. А оно и есть — пустыня. Остерегайся, Гарри. Она ползет на Восток.

— Она уже здесь. Ты бы видела центр Бруэра — сплошные автостоянки.

— Но то, что выращивают в полях, можно есть, и солнце по-прежнему твой друг. А там мы его ненавидим. Мы живем под землей. Все отели находятся под землей, лишь пара окон, закрашенных голубой краской. Мы предпочитаем ночь — около трех ночи, когда большие деньги приходят к игорным столам. Дивные лица, Гарри. Жесткие и невыразительные, как фишки. Тысячи долларов переходят из рук в руки, а на лицах не отражается ничего. Знаешь, что меня поражает здесь, когда я гляжу на лица? Какие они мягкие. Боже, до чего же мягкие. И ты кажешься мне таким мягким, Гарри. Ты мягкий, хотя все еще стоишь, и папа мягкий, но он уже свернулся. Если мы не подопрем тебя твоей Дженис, ты тоже так свернешься. Вот Дженис, если подумать, не мягкая. Она твердая, как орех. Этим-то она мне и не нравилась. А теперь, уверена, понравится. Надо будет к ней съездить.

— Конечно. Поезжай. Обменяетесь рассказами о своей жизни. Возможно, тебе удастся найти ей работу на Западном побережье. Она уже не первой молодости, но языком работает лихо.

— А ты, видно, не на шутку зациклился.

— Никто не идеален. А ты как? У тебя узкая специализация или берешься за что попало?

Она выпрямляется в кресле.

— Она и впрямь здорово тебя стукнула, верно? — И снова откидывается на спинку. С интересом смотрит на Гарри. Наверно, не ожидала встретить в нем такой мощный запас обиды. В гостиной темно, хотя звуки, доносящиеся с улицы, указывают на то, что дети все еще играют на солнце. — Ты мягкий, — успокаивая его, говорит она, — все вы тут как слизняки под опавшими листьями. А там, Гарри, нет листьев. Люди обрастают загорелой скорлупой. У меня тоже такая, смотри. — Она приподнимает блузку в мелкую полоску и показывает загорелый живот. Кролик пытается представить себе остальное и думает, выкрашены ли ее волосы внизу в такой же медово-блондинистый цвет, как волосы на голове. — И ведь на солнце их не увидишь, а все загорелые, с плоским животом. Единственный их недостаток — внутри они все-таки мягкие. Словно шоколадные конфеты, которые мы так не любили, с кремовой начинкой, помнишь, как мы копались в рождественских подарках, которые нам вручали в кинотеатре, стараясь выудить либо квадратные, шоколадные, либо карамель в целлофановой обертке? А остальные мы терпеть не могли — темно-коричневые, круглые, а внутри жидкие. Люди именно такие. Не принято об этом говорить, но все только и ждут, чтобы их выдоили. Мужчины как прыщи, время от времени их нужно выдавливать. Женщин, кстати, тоже. Ты спросил меня, на чем я специализируюсь, на вот этом — дою людей. И вся их требуха вываливается на меня. Работа вроде бы грязная, бывает и так, но обычно все чисто. Я ведь отправилась туда, чтоб стать актрисой, и в известном смысле стала, только играю я всякий раз для кого-нибудь одного. Вот так-то. Расскажи мне еще про твою жизнь.

— Ну, я был нянькой при моем линотипе, а теперь его отправили на покой. Я был нянькой при Дженис, а она взбрыкнула и ушла.

— Мы вернем ее.

— Не утруждай себя. Затем я был нянькой Нельсону, а он возненавидел меня за то, что я угробил Джилл.

— Она сама себя угробила. Кстати, именно это мне и нравится в нынешней молодежи — они стремятся убить в себе это. Даже если убивают заодно и себя.

— Что это?

— Мягкость. Секс, любовь; мое, меня. Они все это изничтожают. Я не связываюсь с теми, кому меньше тридцати, поверь мне. Эти выжигают все наркотиками. Хотят стать насквозь твердыми. Как тараканы. Это самый верный способ, чтобы выжить в пустыне. Стать тараканом. Слишком поздно для тебя, да и для меня уже поздновато, но стоит этим детишкам сообща добиться цели, их уже не умертвишь. Будут жрать любую отраву и не поперхнутся.

Мим встает; следом за ней встает и Кролик. Хотя она и в юности была высокой, и повзрослев, да еще с косметикой, кажется, еще покрупнела, лоб ее доходит ему лишь до подбородка. Кролик целует ее в лоб. Она запрокидывает голову и, закрыв голубые веки, снова подставляет лицо для поцелуя. Безвольный рот отца под выразительным носом мамы. Кролик говорит ей:

— А ты веселая, старушка. — И целует в сухую щеку. Надушенная почтовая бумага. Щека сдвигается от улыбки и отталкивает его губы. Она похожа на него, только черты лица, унаследованные ими у родителей, соединились у них по-разному.

Она обнимает его, похлопывает по складке жира на талии.

— Стараюсь не отставать от жизни, — признается Мим. — До Кролика Энгстрома мне, конечно, далеко, но я скромно стараюсь.

Она крепче прижимается к нему, и вот так, в обнимку, они подходят к лестнице, чтобы подняться наверх, к родителям.

На другой день, в четверг, когда папа и Гарри возвращаются домой, Мим сидит с мамой и Нельсоном внизу, за кухонным столом, они пьют чай и смеются.

— Пап, — произносит Нельсон впервые с воскресного утра: до того он разговаривал с отцом, лишь когда тот обращался к нему, — ты знал, что тетя Мим одно время работала в Диснейленде? Изобрази для него Авраама Линкольна, пожалуйста, изобрази еще раз.

Мим встает. Сегодня на ней трикотажное платье, короткое, серое; ноги ее в черных чулках выглядят тощими, а колени чуть слишком острыми — ноги остались такими же, какими были в детстве. Она, прихрамывая, подходит как бы к трибуне, достает из несуществующего нагрудного кармана воображаемый листок бумаги и опускает его трясущейся рукой чуть ниже, на такое расстояние, чтобы глаза могли прочесть. Голос ее звучит словно на шуршащей пленке:

— «Восе-е-емь десятков и се-е-емь ле-е-ет...»[[64]](#footnote-64)

Нельсон чуть не падает со стула от смеха, тем не менее он успевает бросить взгляд на лицо отца, проверяя, как тот это воспримет. Кролик смеется, а папа удовлетворенно хрюкает, и даже у мамы озадаченно глуповатое выражение лица сменяется озадаченно-веселым. Ее смех напоминает Кролику смех ребенка, который смеется не шутке, а потому, что смеются другие, — смеется, чтобы не отставать и не быть белой вороной. Стремясь поддержать веселье, Мим ставит на стол еще две чашки с блюдечками дергающимися движениями диснеевской куклы в человеческий рост — она покачивается, кивает, ставит чашку не на блюдечко, а на голову Нельсону, даже льет горячую воду не в чашку, а на стол, вода, от которой идет пар, течет по столу прямо к локтю мамы.

— Стой, ты ее ошпаришь! — восклицает Кролик и хватает Мим за руку: его ужасает ее кожа, которая стала как целлофановая, не ее кожа, а такая, которой можно придать любую форму. В испуге он слегка встряхивает Мим, и она снова становится человеком, его деятельной сестрой, которая тут же вытирает пролитую воду, вертится между столом и плитой, окружая заботой всех.

Папа спрашивает:

— Что же ты делала у Диснея, Мим?

— Я надевала костюм колониальных времен и водила людей по макету Маунт-Вернона[[65]](#footnote-65). — Она приседает в реверансе и обеими руками указывает на старую газовую плиту с заляпанными жиром кругами и потрескавшимся стеклом духовки. — «Отец-осно-ватель нашей стра-ны, — произносит она приторным, звонким голосом идиотки, — сам ни-когда не был от-цом».

— Мим, а ты когда-нибудь встречала Диснея лично? — спрашивает папа.

Мим продолжает представление.

— «Его бра-чна-я кровать, которую мы видим перед собой, размером пять футов четыре и три четверти дюйма от края до края, и от изголовья до изножья всего на два дюйма меньше семи футов, ги-гантская кровать по тем временам, когда большинство джентль-менов были не больше грелки. Кстати, здесь вы видите перед собой, — и она снимает пластмассовую мухобойку с загаженной мухами стены, — грелку».

— Если хотите знать мое мнение, — говорит как бы про себя папа, так и не получив ответа на свой вопрос, — не столько Рузвельт, сколько Дисней удержал нашу страну от того, чтобы она во время Великой депрессии не стала коммунистической.

— «Кро-шечные дырочки, — поясняет Мим, поднимая вверх мухобойку, — сделаны для того, чтобы пропускать теплый воздух и чтобы отец-основатель нашей стра-ны не страдал от холода, когда залезает в постель к своей лю-би-мой Мар-те. Вот здесь... — Мим обеими руками указывает на подарок от фирмы — календарь «Верити-пресс», висящий на стене и показывающий октябрь с ухмыляющейся выдолбленной тыквой[[66]](#footnote-66), — вы видите Мар-ту».

Нельсон все еще смеется, но пора прекратить представление, что и делает Мим. Она целует отца в лоб и спрашивает:

— Как поживает нынче Повелитель Пика[[67]](#footnote-67), помнишь, папа? Я тогда считала, что «пика» — это тот город, где падающая башня.

— Где-то к северу от Бруэра, — говорит Нельсон, — я забыл точно название места, в общем, там есть забегаловка, называется «Падающая башня из пиццы». — Мальчишка ждет, засмеются ли взрослые, и хотя сидящие за столом вежливо посмеиваются, он решает, что им вовсе не смешно, и замыкается в себе. Взгляд у него снова становится настороженный. — Можно мне исчезнуть?

Кролик резко спрашивает:

— Куда ты собрался?

— К себе в комнату.

— Это теперь комната Мим. Когда ты ей уступишь ее?

— В любое время.

— Неужели ты не хочешь выйти на улицу? Погонять мяч, как-то встряхнуться, ради всего святого. Хватит тебе жалеть себя.

— Оставь. Его в покое, — вносит свою лепту мама.

— Нельсон, когда ты покажешь мне свой знаменитый мини-мотоцикл? — включается в разговор Мим.

— Да он неважнецкий — все время ломается. — Он изучающе смотрит на нее, прикидывая, станет ли она ему подходящей компанией. — В такой одежде на нем не поедешь.

— У нас на Западе, — говорит она, — все ездят на мотоциклах в трикотажных вещах — это модно.

— А ты когда-нибудь ездила на мотоцикле?

— Все время, Нельсон. Я выступала в качестве матери-попечительницы группы «Ангелы ада». Мы поедем после ужина посмотреть на твой мини-мотоцикл.

— Это не его мотоцикл, а кое-кого другого, — говорит ей Кролик.

— После ужина будет темно, — говорит Нельсон.

— Я люблю темноту, — говорит она.

Успокоившись на этот счет, Нельсон идет наверх, даже не взглянув на отца. Кролик ревнует. За годы, прошедшие после школы, Мим научилась тому, чему он так и не научился: умению ладить с людьми.

Мама приподнимает чашку с блюдца, отхлебывает, ставит ее обратно. Мужественный, но опасный поступок. Она явно чем-то гордится — Кролик догадывается об этом по тому, как она сидит, выпрямившись, вытянув шею. Волосы у нее тщательно приглажены щеткой. Такие приглаженные и чуть ли не блестящие.

— Мим, — говорит она, — ездила сегодня с визитами.

Кролик спрашивает:

— К кому?

— К Дженис, — отвечает Мим. — В «Спрингер-моторс».

— Ну и что эта маленькая тупица изволила сказать в свое оправдание? — Кролик отодвигается от стола, ножки стула царапают по полу.

— Ничего. Ее не было на месте.

— А где же она была?

— Он сказал, что она пошла к юристу.

— Старик Спрингер сказал это?

Страх, переместившись в желудок, больно покусывает. Закон. Длинный белый конверт. Однако Кролику нравится то, что Мим отправилась туда и стояла в одном из своих костюмов перед макетом «тойоты» этаким ярким ножом, воткнутым в сердце империи Спрингера. Мим, их тайное оружие.

— Нет, — говорит она, — не старик Спрингер. Ставрос.

— Ты видела там Чарли? Гм. И как же он выглядит? Понуро?

— Он пригласил меня пообедать.

— Где же это?

— А, не знаю, в каком-то греческом ресторанчике в черном районе.

Кролик не может не рассмеяться. Вокруг него мертвецы и умирающие, однако он не может удержать это в себе.

— Представляю, что будет, когда он ей об этом расскажет.

— Сомневаюсь, что расскажет, — говорит Мим.

Папа медленно схватывает, о чем идет речь.

— О ком мы говорим-то, Мим? Об этом сладкоголосом, что вскружил Дженис голову?

Глаза у мамы вылезают из орбит, точно ее душат, а рот пытается изобразить радостную улыбку. Все настороженно умолкают.

— Ее любовник, — произносит она.

Кролик чувствует, как к горлу подкатывает тошнота.

Папа говорит:

— Ну, я за все время этой неразберихи ни разу не раскрыл рта — не думай, Гарри, что у меня не было желания вмешаться, но я сдерживался, чтобы не нарушать спокойствия, однако любовник, как я понимаю, — это человек, который любит кого-то и в горе и в радости, а судя по тому, что я слышал, этому хлыщу нужна только задница. Задница и имя Спрингера. Вы уж извините, что я так выразился.

— Я думаю, — говорит мама и замолкает, хотя лицо ее продолжает сиять. — Это славно. Знать, что у Дженис есть...

— Задница, — доканчивает за нее Мим.

Нехорошо это, думает Кролик, что эти двое, папа и Мим, развращают маму на краю могилы. Он холодно спрашивает Мим:

— О чем же вы с Чарли беседовали?

— Да так, — говорит Мим, — о разном. — Вздернув обтянутое трикотажем бедро, она слезает с кухонного стола, на который уселась, словно на табурет в баре. — Вы знали, что у него больное сердце? Он в любую минуту может отдать концы.

— Как бы не так, — говорит Кролик.

— Такие хлыщи, — произносит папа, двигая губами, чтобы вернуть на место челюсть, — живут до ста лет, хороня по пути всех честных исконных американцев. Не спрашивайте меня, почему это так, — у Господа наверняка есть на то причины.

Мим говорит:

— А мне он показался симпатичным. И очень даже неглупым. И он много лучше говорит о вас всех, чем вы о нем. Он очень заботится о Дженис — наверное, он первый за тридцать лет, кто серьезно отнесся к ней как к человеку. Он разглядел в ней много хорошего.

— Должно быть, под микроскопом разглядывал, — говорит Кролик.

— А тебя, — говорит Мим, поворачиваясь к Кролику, — он считает величайшим трусом, каких он когда-либо встречал. Он не может понять, почему, если ты хочешь вернуть Дженис, ты не придешь и не заберешь ее.

Кролик пожимает плечами.

— Я не верю в силу. И не люблю заниматься теми видами спорта, где соперники входят в клинч.

— Я рассказала ему, каким ты был нежным братом.

— Меня всегда беспокоило то, что он никогда мухи не обидит без надобности, — говорит папа. — Такое было впечатление, будто, сами того не зная, мы произвели на свет девочку. Разве не так, мать?

Мама выдавливает из себя:

— Нет. Настоящий мальчишка.

— В таком случае, сказал Чарли... — продолжает Мим.

Кролик прерывает ее:

— Уже и «Чарли».

— В таком случае, сказал он, почему Гарри стоит за войну?

— К чертовой матери, — говорит Кролик. Он и сам не сознавал, насколько устал и потерял уже всякое терпение. — Все, у кого голова на месте, стоят за эту чертову войну. Раз те хотят воевать, значит, мы обязаны воевать. Какая у нас альтернатива? Какая?

Мим пытается утихомирить расходившегося брата.

— По теории Чарли, — говорит она, — ты рад любой беде, лишь бы она освободила тебя от чего-то. Ты был доволен, когда Дженис ушла от тебя, доволен, когда твой дом сгорел.

— А еще больше буду доволен, — говорит Кролик, — когда ты перестанешь встречаться с этим елейным гадом.

Мим упирается в него взглядом, который ставил на место, наверно, тысячу мужчин.

— Как ты изволил выразиться: он в моем вкусе.

— Правильно: гангстер. Неудивительно, что ты там трахаешься так, что тебя скоро в гроб положат. Ты знаешь, чем кончают девочки для вечеринок вроде тебя? Тем, что их имя появляется в отчетах коронера после того, как они приняли слишком много снотворных таблеток, потому что телефон их перестал звонить, и гангстеры нашли себе других подружек, у которых кожа еще не отвисла. Ты в большой беде, сестренка, и ставросы всего мира не помогут тебе. Они же сами и засунули тебя туда, где ты находишься.

— Ма-ам! — восклицает Мим: повинуясь старому инстинкту, взывает к хрупкому инвалиду, что сидит, покачивая головой, за кухонным столом. — Скажи Гарри, чтоб отстал.

И Кролик вспоминает, что отсутствие ссор между ними — это миф: они часто ссорились.

Когда папа и Гарри возвращаются на другой день с работы, по окончании последнего рабочего дня Гарри, «торонадо» с нью-йоркскими номерами перед домом нет. Мим возвращается через час, после того как Кролик поставил свиные отбивные для ужина в печку; когда он спрашивает, где она была, Мим швыряет свою полосатую сумку на мягкий диван и отвечает:

— Да пошаталась вокруг. Навестила места моего детства. Центр сейчас и правда выглядит уныло, да? Сплошь черные навесы над автостоянками и черные с черными прическами «афро». И магазины, застланные линолеумом. Впрочем, одну симпатичную вещь я сделала. Зашла в тот магазинчик в нижней части Уайзер, где продают левацкие газеты, и купила фунт орешков. Хочешь верь, хочешь нет, Бруэр — единственное место, где еще можно купить хорошие земляные орехи в скорлупе. Еще теплые.

Она бросает Кролику пакетик, он на лету ловит его левой рукой и, пока они разговаривают в гостиной, щелкает орехи. А скорлупу бросает в цветочный горшок.

— Значит, — говорит он, — ты снова виделась со Ставросом?

— Ты же мне не велел.

— Эка важность, что я тебе не велел. Как он? Все хватается за сердце?

— Он трогательный. Уже тем, как держится.

— Ой-ой. Опять разбирали меня по косточкам?

— Нет, мы эгоистично говорили о себе. Он быстро меня раскусил. Мы еще и первого стакана не выпили, как он оглядел меня с ног до головы сквозь свои затемненные очки и говорит: «Трудишься в секс-бизнесе, да?» Дай мне орешек.

Он швыряет ей пригоршню — орешки рассыпаются по ее груди. На ней узкое короткое платьице, застегивающееся спереди и по рисунку похожее на шкурку ящерицы. Когда она ставит ноги на пуфик, ему виден даже ромбик колготок между ее ног. Существует три способа носить колготки: надевать трусы под колготки; надевать их сверху и не надевать вообще. Мим, похоже, выбрала третий способ. Она держится лениво и мягко: глаза ее смотрят менее жестко, хотя грим блестит, как будто только что наложенный.

— И это все, чем вы занимались? — спрашивает он. — Просто пообедали?

— Э-то все, г-господа.

— Что ты пытаешься доказать? Я-то считал, что ты приехала к нам на Восток, чтоб помочь маме.

— Помочь ей, помочь тебе. Как я могу помочь ей — я ведь не доктор.

— Что ж, я премного благодарен тебе за помощь — очень любезно с твоей стороны уложить в постель любовника моей жены.

Мим хохочет, запрокинув голову, показывая Гарри подковообразный изгиб своей челюсти снизу, блестящее белое полукружье. Смех внезапно обрывается, словно отрезанный ножом. Она серьезно, нагловато изучает брата.

— Будь у тебя выбор, что бы ты предпочел — чтобы он спал с ней или со мной?

— С ней. Дженис я всегда могу иметь — я хочу сказать, это возможно в принципе, а вот тебя — никогда.

— Понимаю, — весело соглашается Мим. — Изо всех мужчин на свете ты — единственный под запретом. Ты и папа.

— Ну, и как я в таком свете выгляжу?

Она впивается в него взглядом и выдает ответ в одно слово:

— Нелепо.

— Так я и думал. О Господи. Неужели ты действительно трахалась сегодня со Ставросом? Или ты просто меня заводишь? Где же вы могли этим заняться? Разве Дженис не заметила бы, что он улизнул с работы?

— Ну-у... Он мог сказать, что ездил к покупателю или еще куда-то, — предлагает объяснение Мим, которой все это уже наскучило. — А мог просто сказать, что это не ее дело. Так поступают европейцы. — Она поднимается, пробегает пальцами по пуговицам платья из кожи ящерицы, желая удостовериться, что они все застегнуты. — Пойдем навестим маму. — И добавляет: — Не волнуйся. Много лет назад я взяла себе за правило ни с кем не встречаться больше трех раз. Разве что мне за это отколются хорошие проценты.

Вечером Мим заставляет их всех приодеться и везет на ужин в «немецкий» ресторан с шведским столом, к югу от города, в направлении бейсбольного стадиона. Хотя голова у мамы трясется и она с трудом взрезает корочку на яблочном пироге, она, в общем, неплохо справляется и выглядит очень довольной, — как это они с папой ни разу не додумались вывезти ее из дома? Кролику обидно за собственную глупость, и он говорит Мим в прихожей, перед тем как расстаться на ночь — она снова спит в своей старой комнате, а Нельсон спит с ним:

— Ты у нас настоящая маленькая мисс Всеустройка, верно?

— Да, — огрызается она, — а ты — просто большой мистер Неразбериха. — И прямо перед ним начинает расстегивать пуговицы, и только когда он поворачивается к ней спиной, закрывает свою дверь.

В субботу утром она отвозит Нельсона в своем «торонадо» к Фоснахтам: Дженис договорилась с мамой, что они с Пегги весь день проведут с мальчиками. Хотя требуется всего двадцать минут, чтобы доехать от Маунт-Джаджа до Западного Бруэра, Мим отсутствует все утро и возвращается домой лишь после двух. Кролик спрашивает ее:

— Ну, как оно было?

— Что?

— Нет, серьезно. Он что, такой великий мастер в этих делах или так себе, середнячок — уж ты-то можешь судить? Я некоторое время считал, что с ним что-то не то, иначе зачем бы ему прилипать к Дженис, когда тут полным-полно новых птичек, хватай любую?

— Может, у Дженис какие-то особые достоинства.

— Давай о нем. Исходя из твоего богатого опыта. — Ему кажется, что все мужчины слились для нее воедино, лица, и голоса, и торсы, и руки образуют как бы бормочущую розовую стену — так в те далекие времена, когда он играл в баскетбол, виделись ему зрители, превращаясь в одного вопящего свидетеля, который и был — весь мир. — Исходя из твоего чрезвычайно богатого опыта, — уточняет он.

— Почему бы тебе не начать возделывать свой собственный сад вместо того, чтобы мотаться с места на место и пастись на чужих огородах? — спрашивает Мим. Когда она поворачивается, тело ее в клоунском наряде становится похожим на запертые ворота из горизонтальных поперечин.

— У меня нет сада, — говорит он.

— Потому что ты его не возделывал. Каждый старается обнести свою жизнь забором из определенных правил. Ты же творишь что тебе вздумается, а когда все взлетает на воздух или грохается оземь и разлетается на куски, сидишь сложа руки и куксишься.

— Господи, — говорит он, — да я десять лет день за днем ходил на работу.

Мим отмахивается.

— Ходил, потому что тебе так вздумалось. Потому что это было проще всего.

— Знаешь, ты начинаешь напоминать мне Дженис.

Она поворачивается, ворота распахиваются.

— Чарли говорил мне, что Дженис умопомрачительна. Бешеный темперамент.

В воскресенье Мим весь день сидит дома. Они отправляются на прогулку в стареньком «шевроле» папы до гравийного карьера, где любили гулять когда-то.

В полях, усыпанных белыми маргаритками и желтыми золотарниками, сейчас пролегли колеи; от карьера осталась лишь большая серая дыра в земле. Нагромождение сараев и желобов, в которых смешивался цемент, — все это похоже на башню в стране Оз, — равно как и вход в пещеру, где любили прятаться и пугать друг друга дети, завалено с помощью бульдозера глиной и ржавыми листами гофрированного железа.

— Ну и хорошо, — произносит мама. — Страшные вещи. Случались там. С мужчинами и мальчиками.

Они едят в алюминиевой забегаловке на Уоррен-стрит с видом на виадук, и это застолье оказывается менее удачным, чем прошлое. Мама ничего не ест.

— Нет аппетита, — говорит она, но Кролик и Мим думают, это оттого, что кабинки расположены так близко друг от друга и забегаловка ярко освещена, а мама не хочет, чтобы все видели ее немощь.

Они отправляются в кино. На странице «Вэта» с анонсами зрителям предлагают на выбор: «Я странно желтого цвета», «Полуночный ковбой», сдвоенный сеанс — «Порок» и «Цирк» («Никогда раньше девочки не играли в такие игры!»), шведский порнофильм под названием «Да», а также «Смешная девчонка». «Смешная девчонка» по названию тоже смахивает на порнуху, но в нем играет Барбара Стрейзанд — значит, будет музыка. Они берут билеты на сеанс в 6.30. Мама засыпает, а папа встает, отправляется в глубь зала и принимается пронзительным голосом беседовать с билетером, пока кто-то из рассеянных по залу зрителей не шикает на него. На выходе, когда в зале уже зажегся свет, трое шалопаев так оглядывают Мим, что Кролик показывает им кукиш. Моргая от яркого света на улице, мама говорит:

— Славный фильм. Эта Фанни. Такая уродина. Хотя стильная. И этот гангстер. Она сразу поняла, что Ник Арнстайн — гангстер. Все. Поняли это.

— Молодчина девчонка, — говорит Мим.

— Не гангстеры губят нашу страну, — говорит папа. — Хотите знать мое мнение: это промышленники. Гигантские состояния. Меллоны и Дюпоны — вот кого надо сажать в тюрьму.

Кролик говорит:

— Не становись радикалом, папа.

— Никакой я не радикал, — заверяет его старик, — чтоб стать радикалом, надо быть богатым.

Понедельник, сумрачный день, — первый день, когда Гарри сидит без работы. Он просыпается в семь, но на работу отправляется один папа. Вместе с ним уходит и Нельсон: он все еще посещает школу в Западном Бруэре и ездит туда на двух автобусах с пересадкой на Уайзер. Мим уходит из дома около одиннадцати — не говорит куда. Кролик просматривает объявления о найме в бруэрском «Триумфе». Бухгалтер. Ученик администратора. Подручный маляра. Автомеханик. Бармен. В мире полно работы, даже в пору никсоновского кризиса. Кролик пропускает объявления о найме страховых агентов и программистов, переходит на колонку, где требуются продавцы, затем открывает комиксы. Черт подери эту «Квартиру 3-Ж», у него такое чувство, будто он годами жил со всеми этими девицами, когда хоть он наконец увидит их без одежды? Художник дразнит его голыми плечами, торчащими из ванны, обнаженными ногами на переднем плане — самое интересное всегда за рамкой, — рукой, кокетливо спускающей бретельку лифчика. Кролик подсчитывает: «Верити» заплатила ему за два месяца вперед, затем тридцать семь недель он будет получать пособие по безработице, а потом можно пожить на папину пенсию. Это как медленная смерть: тебе не дают сразу провалиться в никуда, а до бесконечности поддерживают переливаниями крови, иначе всем будет неловко. Кролик пробегает глазами объявления о разводах, не видит своей фамилии и отправляется наверх, к маме.

Она сидит в постели, положив притихшие руки на лоскутное одеяло, унаследованное ей от ее матери. Телевизор тоже молчит. Мама смотрит в окно на клены. Они порядком облетели, так что свет в комнате кажется даже резким. Тоскливый запах чувствуется отчетливее: застойный душок от тела, смешанный с запахом перечной мяты, исходящим от лекарств. Желая избавить ее от необходимости спускаться вниз, они поставили у радиатора стульчак с ночным горшком. Кролик тяжело плюхается на кровать, чтобы хоть немного встряхнуть маму. Ее глаза, затянутые светлой пленкой, расширяются, рот движется, но не производит ни звука — ничего, кроме слюны.

— Что происходит? — громко спрашивает Гарри. — Как дела?

— Дурные сны, — выдавливает она. — «Л-допа» делает что-то. С организмом.

— Как и болезнь Паркинсона. — Это не вызывает отклика. Кролик предпринимает другую попытку: — Что слышно от Джулии Арндт? И от — как же ее зовут? — Мейми Келлог? Разве они тебя больше не навещают?

— Я перестала. Их интересовать.

— Тебе недостает их сплетен?

— По-моему. Они испугались, когда. Все так пошло.

— Расскажи мне какой-нибудь из твоих снов, — делает новую попытку Кролик.

— Я сдирала струпья. По всему телу. Содрала один, а под ним. Жучки, такие же. Как живут под камнем.

— Ну и ну. От этого действительно не заснешь. Тебе нравится, что Мим с нами?

— Да.

— Все такая же языкастая, верно?

— Она старается быть веселой.

— Стараться-то нелегко.

— Дюйм за дюймом, — говорит мама.

— Что?

— Так говорили в программе для детей. Эрл, когда уходит, включает мне телевизор. Дюйм за дюймом.

— Ну-ну, дальше.

— Жить легко. Ярд за ярдом. Тяжело.

Кролик смеется так, что кровать трясется.

— В чем, ты считаешь, я допустил промашку?

— Кто говорит. Что допустил?

— Мама! Ни дома, ни жены, ни работы. Собственный сын ненавидит меня. Сестра говорит, что я нелепый.

— Ты. Взрослеешь.

— Мим говорит, я так и не научился жить по правилам.

— Тебе и не надо было.

— Гм. В нормальном мире все эти правила были бы не нужны.

На это у нее нет готового ответа. Гарри смотрит в окно. Было время — через год после того, как он ушел из родительского дома, и даже через пять лет, — когда эта убогая улица с ее по-старинке высокими деревьями, с тротуарами, вспученными корнями кленов, с ее низкими стенками из песчаника и крашеными чугунными решетками, с ее домами на две семьи с кирпичными фронтонами и облицовкой под серый гранит, завораживала Кролика, как чудо его, Кролика, собственной жизни. Все это невзрачное окружение было свидетелем его жизни; то была чаша с его кровью; то был центр мироздания, где каждое слетающее с клена семечко значило больше, чем галактики. Теперь все не так. Джексон-роуд выглядит обычной улицей. Миллионы подобных американских улиц дают убежище миллионам жизней, которые проходят по ним, улицы этого не замечают и не скорбят, и сами приходят в упадок, и не скорбят даже по собственному умиранию, а, встречая удар разрушающей каменной кувалды, гримасничают узкими фасадами, пережившими столько зим. Сколь упорно мама мысленно ни говорила бы с этими кленами — их ветки кажутся туманными змеями, застывшими в этих двух окнах, как свинцовые переплеты в витраже, — они не задержат ее на земле даже на одно дыхание, точно так же, как если завтра их срубят, чтобы наконец расширить Джексон-роуд, взгляд мамы, благодаря которому они вросли в ее душу, не остановит их исчезновения. И свет, который зальет ее комнату, погасит даже ее память о них. Время — наша истинная среда обитания, а не какой-то непрошеный гость. Как глупо, что потребовалось тридцать шесть лет, чтобы он начал это понимать. Кролик отводит взгляд от окон и говорит, чтобы что-то сказать:

— Папа, конечно, счастлив, что Мим дома. — Но пока он молчал, голова мамы упала на подушки — кроваво-красные ноздри на белом белье, — и она заснула.

Кролик спускается вниз и делает себе сандвич с арахисовым маслом. Наливает стакан молока. У него такое чувство, что в доме царит хрупкое равновесие и его шаги могут встряхнуть маму и сбросить в пропасть. Кролик идет в погреб и обнаруживает там свой старый баскетбольный мяч, и — о чудо! — игла насоса все еще вставлена в ниппель. В недолговечности вещей — залог верности. Щит с кольцом все еще привинчен к стенке гаража, но за минувшие годы кольцо заржавело и болты ослабли, так что после первых же бросков оно скособочивается. Тем не менее Кролик продолжает прыгать, и постепенно к нему возвращается прежнее чувство броска. Вверх и не резко, вверх и не резко. Считай, что мяч просто должен перелететь через обод, забудь, что это кольцо. День очень серый, так что свет ровный. Кролик представляет себе, что его показывают по телевидению, — занятно наблюдать за профессионалами по телеку: уже по тому, как они взлетают в прыжке, можно сразу сказать, попадет ли мяч в корзину. Мим выходит из дома, спускается по ступенькам заднего крыльца, идет по цементной дорожке к нему. На ней черный костюм с широкими отворотами и черная юбка до колен. Такой туалет придется по вкусу греку. Классическая вдова. Кролик спрашивает ее:

— Новый костюм?

— Купила у Кролла. У них несусветные цены, но строгие вещи вполовину дешевле.

— Идешь на свидание с дружком Чарли?

Мим ставит на пол сумочку, снимает белые перчатки и знаком показывает, чтобы он кинул ей мяч. Он помнит, что в школе она набирала десять очков из двадцати одного. В молодости она отличалась в спорте быстротой и напором и могла бы добиться больших успехов, если бы он не затмил ее своей спортивной славой.

— И с подружкой Дженис тоже, — говорит она и бросает мяч. Мимо, но ненамного.

Кролик ударом от земли перебрасывает ей мяч снова.

— Выше, — говорит он ей. — А где ты видела Джен?

— Она выследила нас в ресторане.

— Поскандалили?

— В общем, нет. Мы все выпили по мартини, а потом греческой рецины и основательно накачались. Дженис теперь очень забавно подшучивает над тобой — это что-то новенькое. — Мим прищуривает сильно накрашенные глаза, нацеливаясь на корзину. — Она говорит, что хочет снять квартиру, чтобы жить отдельно от Чарли и поселить у себя Нельсона.

На этот раз мяч попадает в обод, и все незакрепленные болты расшатываются еще больше.

— Я буду сопротивляться до последнего.

— Не заводись. Дело до этого не дойдет.

— Ах, значит, не дойдет. Не слишком ли много ты на себя берешь, маленькая всезнайка?

— Я стараюсь. Дай бросить еще разок.

Груди ее приподнимают черные лацканы пиджака, когда она подбрасывает грязный мяч в воздух. Пошел мелкий дождь. Мяч со свистом пролетает под кольцом и ударяет в сетку — если бы сетка была.

— Как же ты могла уложить Ставроса, если там была Дженис?

— Мы отослали Дженис назад к ее отцу.

Кролик просто хотел сказать грубость, он и не предполагал услышать ответ.

— Бедная Дженис, — говорит он. — Каково ей быть отодвинутой на задний план?

— Я сказала: не заводись. Завтра я лечу назад. Чарли это знает, и она тоже.

— Мим! Да ты что — так скоро! А как же они? — И Кролик указывает на дом. Сзади он кажется высоким, как многоквартирный. Запущенное шаткое строение из дерева, гудрона и гонта, никак не соответствующее солидному впечатлению, какое он производит с улицы. — Ты разобьешь им сердце.

— Они уже знают. Моя жизнь там, а не здесь.

— Да у тебя там нет ничего, кроме банды сексуально озабоченной шпаны и шанса подцепить венерическую болезнь.

— Ох, какой ты чистоплюй. Я не говорила тебе? Мы там все помешаны на чистоте.

— Угу. Мим, лучше скажи мне что-нибудь другое. Неужели ты никогда не устаешь трахаться? Я хочу сказать... — произносит он, желая показать, что его вопрос продиктован искренней озабоченностью, а не грубостью, — это, наверно, утомительно.

Она правильно понимает вопрос и отвечает по-сестрински честно:

— В общем, нет. Не устаю. Девчонкой я считала, что это надоедает, а сейчас, став женщиной, вижу, что нет. Мы этим занимаемся. Этим занимаются все люди. Конечно, бывает, что и поднадоедает, но даже и тогда в этом есть что-то хорошее. Люди ведь хотят быть хорошими, ты не заметил? Им вовсе не хочется быть дерьмом. Только нужно найти способ вытащить их из дерьма. Нужно им помочь.

Ее глаза в лассо из краски кажутся здесь, на улице, моложе, чем должны были бы быть, — радужки возле зрачка золотые: карие глаза, унаследованные от какого-то дальнего предка.

— Что ж, прекрасно, — неуверенно говорит Кролик. Ему хочется взять ее за руку, чтобы она и ему помогла.

В свое время он, старший брат, вечно боялся, что она свалится вниз, в карьер, если он выпустит ее руку, и вот он выпустил, и она свалилась вниз и теперь говорит, что так и надо: падать — это в природе вещей. Она смеется и продолжает:

— Конечно, я никогда не была привередлива, как ты. Помнишь, ты терпеть не мог, когда тебе подавали разную еду на одной тарелке и мясо было все в соусе от горошка? А помнишь, как я дразнила тебя, что нужно вообще все перемешать — чтобы получилось похоже на блевотину, а потом уж глотать, — ты после этого целую неделю есть не мог.

— Что-то я этого не помню. Так Ставрос действительно хорош, да?

Мим подбирает с травы свои белые перчатки.

— Он просто хороший. — И, внимательно глядя на брата, ударяет перчатками по ладони. — Ты еще кое-что должен знать, — говорит она.

— Что же? — Он готовится к худшему, готовится к удару, после которого ничего уже не останется.

— Дождь идет. — И под усиливающимся дождем она бежит, все такая же быстрая, напористая, по дорожке, через их узкий задний двор и вверх по лестнице шаткого заднего крыльца.

Кролик подхватывает мяч и следует за ней.

В родительском доме Кролик не только вновь поглощает сандвичи, намазанные арахисовым маслом, какао и еще долго валяется в постели после того, как звуки уходящих папы и Нельсона замирают вдали, — он еще и исправно мастурбирует. Сама комната требует этого — маленькая, вытянутая в длину комната, которая казалась ему раньше вагончиком поезда, мчащегося в ночи. Ее единственное окно выходит на проход между домами, где никогда не бывает солнца. Мальчишкой он смотрел через промежуток в шесть футов на закрытое шторкой окно комнаты, где тогда жила маленькая Кэролин Зим. Члены семейства Зим были полуночниками. Случалось, Кэролин ложилась спать позже него, хотя Кролик был на три класса старше, и он, напрягая зрение, старался разглядеть в щелочках по краям шторки ее раздевающуюся тень. А прижавшись лицом к холодному стеклу у своей подушки, он мог, исхитрившись, по диагонали проникнуть взглядом и в комнату мистера и миссис Зим и однажды ночью увидел там что-то розовое, какую-то возню, которая вполне могла означать соитие. Но почти каждое утро слышно было, как Зимы ссорятся за завтраком, и мама всегда недоумевала, сколько еще они сумеют протянуть вместе. Какое там соитие, когда в доме сплошные скандалы. В те дни комнату Кролика населяли спортсмены, главным образом бейсболисты — их портреты красовались на плакатах — Стэнли Мьюзиэл, и Джо Димаджио, и Люк Эпплинг, и Руди Йорк. Потом какое-то время Кролик собирал марки — теперь в это с трудом верится, — вкладывая их в большой синий альбом с пухлыми крышками переплета, глиссерами и конвертами из вощеной бумаги, где лежали погашенные марки из Монтенегро и Сьерра-Леоне. Он представлял себе тогда, что объездит все страны мира и будет из каждой новой страны посылать маме открытки с марками. Он был влюблен в мечту о путешествиях, в бег, в географию и во все настольные игры, где надо бросать кость и «ходить»; он так отчетливо представлял себе, что живет в вагончике-купе, что, казалось, видел, как мутная лампочка над головой с абажуром в форме тюльпана дрожит и покачивается от движения поезда. Однако путешествия никак не сочетались с той игрой, в которой он преуспел.

Плакаты были содраны со стены, пока он служил в армии. Следы от державших их полосок липкой ленты были закрашены. Тюльпан из матового стекла заменили флуоресцентной тарелкой, которая жужжит и мигает. Мама превратила его комнату в хламовник — туда снесли старую ножную швейную машину «Зингер», кипу старых номеров «Ридерс дайджест» и «Фэмили серкл», лампу для игры в бридж со сломанным, повисшим патроном, похожим на свернутую голову цыпленка, нагонявшие тоску картинки с английскими лесами и итальянскими дворцами, где он никогда не бывал, раскладушку, купленную у Сирса, на которой спал Нельсон, пока тут гостила Мим. Когда во вторник Мим уехала, Нельсон снова переселился в ее комнату, предоставив отцу наедине предаваться воспоминаниям и фантазиям. А он, когда мастурбирует, непременно должен кого-то себе представлять. По мере того как он становится старше, реальные люди его уже не возбуждают. Кролик пытался представить себе Пегги Фоснахт, потому что она была последней и была хороша, такая сладкая, но воспоминания о ней наводят его на мысль, что он ничего для нее не сделал, ни разу не позвонил ей со времени пожара, и у него нет желания ей звонить, он поставил ее синий «фьюри» к ней в подземный гараж и передал ключ через Нельсона, так как боялся встретиться с ней, и винит он во всем ее — это она его совратила, синий огонек желания разгорелся и превратился в пожар. Всякая мысль о пожаре обжигает, заставляет его опаленное сознание отшатнуться. Не может он толком вспомнить и Дженис — помнит лишь впадинку на талии под его рукой в постели, в остальном же она сливается с насмехающейся над ним тьмой и неразберихой, в которую он не смеет проникнуть. Поэтому он представляет себе этакую могучую, неотесанную негритянку, толстую, но не жирную, мускулистую и мужеподобную, со следами усиков и сломанным передним зубом. Обычно она сидит на нем, словно улыбающийся Будда, медленно перекатывая по его бедрам свой зад, иногда наклоняется, так что ее большие цвета какао груди ударяют его по лицу, словно перчатки боксера с нежными кончиками. Он представляет себе, что они с этой проституткой-громадиной только что обменялись шутками — она хохочет, и по его груди тоже прокатывается смешок, и они находятся не в обычной комнате, а на чердаке с высоким потолком, возможно, это сарай с круглыми окошками, пропускающими пыльный свет, и стропилами, с которых, словно на виселице, свисают веревки. Хотя обычно она наверху, а он под ней, на спине, воображая, что его пальцы — это ее губы, извергается он всегда в постель, перекатываясь на живот. Ему никогда не удавалось выбросить из себя семя, лежа на спине, — слишком это похоже на взрыв, слишком всего тебя сотрясает, слишком большое это богохульство — кончить, лежа на спине. Ведь с этой стороны — Бог, распростерший над ним словно над колыбелью свои крыла. Так что лучше перевернуться и выбросить все из себя в ад. В эту славную щедрую дыру с фиолетово-черными губами. С золотым зубом.

Если эта добродушная богиня-негритянка не желает появляться, так как устала от повторений, Кролик пытается представить себе Бэби. Мим во время своего краткого пребывания мимоходом заметила в конце его рассказа о себе, что ему следовало переспать с Бэби: дело ведь было уже на мази, и подсознательно он этого хотел. Но у Бэби, по его воспоминаниям, пальцы-карандашики, холодные, как слоновая кость, и в ней ни одного мягкого места — сплошная скорлупа. Да и морщинки на ее лице прожжены мудростью, от которой ему не по себе. У него лучше получалось, когда он представлял себе, будто смотрит фильм, в котором сам не участвует, а участвуют двое других — Ставрос и Мим. Как они этим занимались? Он видит, как ее темно-синий «торонадо» преодолевает крутую Эйзенхауэр-авеню и останавливается у дома 1204. Они оба выходят, синие дверцы захлопываются, они входят в дом, идут вверх по лестнице — Мим впереди. Она даже не обернется для поцелуя — сразу быстро раздевается. Вот она стоит в дневном свете, падающем из окна, гибкая, в небрежной позе, сведя в коленях ноги, ее груди с утопленными сосками и бугристыми кругами вокруг (он видел ее груди — подглядел) все еще по-девичьи неразвиты: у нее ведь не было детей. Ставрос раздевается медленнее, солидно, не торопясь, не перетруждая сердца, складывает брюки, чтобы сохранить складку, ему ведь после возвращаться в магазин. Спина у него волосатая — на лопатках темные завихрения волос. Член толстый, со вздувшимися венами, монументальный, но неумолимо встающий под умелой лаской Мим; Кролик слышит, как замирают их насмешливые голоса; он представляет себе, как послеполуденные облака затеняют коричневатые лица греческих предков на накрытых кружевными салфетками столиках; он видит серо-бурую, «крысиную» растительность внизу живота Мим (нет, там она не медвяно-блондинистая), видит мощный инструмент Ставроса, видит, как тянутся к нему ее жадные пальцы без колец, и — блаженно разряжается. Мальчишкой ему в такой момент казалось, что он проваливается в пустоту, в голове крутится невесомый волчок, а сейчас это как выплеск земной злости, несколько приглушенных вскриков в подушку, как камушки, брошенные в заколоченное окно. В наступившей тишине Кролик слышит легкое позвякиванье, музыкальную вибрацию, которую, как он постепенно понимает, издает стереоприемник, принадлежащий босоногой паре, что живет в соседней половине дома.

Однажды ночью, когда он позволяет своему очищенному от скверны телу лежать в полудреме и прислушиваться, приходит Джилл, склоняется над ним и начинает ласкать. Кролик поворачивает голову, чтобы поцеловать ее в бедро, и она исчезает. Но она разбудила его — разбудило ее присутствие, и всплыли тысячи мелочей; пряди ее волос, меняющиеся выражения лица, тоненький голосок, срывающийся под бренчанье гитары. Детали ее внешности, которые слегка отталкивали его: тусклые волосы, толстоватые ноги, гладкий, как яблоко, зад сердечком, этакая непреложность и высокомерие в выражении жесткого рта, грязное платье, которое она облюбовала, — все это всплывает сейчас в памяти. Возвращаются времена, когда Джилл сливалась на кровати с лунным светом, ее юное тело только начинало учиться чувственности, нервные окончания свернуты колечками, словно почки папоротника по весне — молодые, зеленые; ее жесткость отталкивала его, но в том не было ее вины: не привыкла она еще отдаваться на волю страсти, и тело ее слушалось приказов, как собачка, которая лижет тебе руку, и готова тебя полюбить, и стремится научиться словам, которые слышит, и, как почка папоротника, хочет раскрутиться. Он снова видит ее в минуты задумчивости, и эти воспоминания причиняют ему боль. Он просил ее не выказывать ему дочерней привязанности. Почему? Он омертвел и не хотел, чтобы она вытаскивала его из этой скорлупы. Он не был готов, ему все еще было слишком больно. Пусть черный Иисус владеет ею — у него сердце загрубелое: на свете миллиард дырок, а он такой один. Кролик пытается представить себе что-то приятное — как он однажды видел Джилл и Ушлого при ярком свете лампы, только сейчас в своем представлении он поднимается с кресла, чтобы присоединиться к ним, стать им отцом и любовником, а они разлетаются в стороны, как бумага и печатная форма с краской, соприкоснувшись на миг. Вот он лежит на своей юношеской кровати, и Джилл снова ласкает его; на этот раз он не поворачивается к ней лицом, а очень осторожно поднимает лежащую вдоль тела руку, чтобы дотронуться до кончиков ее свисающих волос. Проснувшись, он обнаруживает, что рука его хватает пустой воздух, и плачет — горе поднимается откуда-то из пересохшего желудка, из больного горла, из опаленных глаз; вспоминая, как она взывала к нему взглядом своих невидящих травянисто-зеленых глаз, прося о большем, чем прибежище, он сам вдруг перестает видеть, оставляя на простыне пятна, которые можно не вытирать, так как к утру от них не останется следа. Однако Джилл была рядом — он чувствовал ее дыхание, ее присутствие. Надо будет утром рассказать Нельсону. Приняв это решение, Кролик позволяет паровозу с дрожью сдвинуть с места свою комнату и потащить ее на запад, в пустыню, где сейчас находится Мим.

«Вот стерва, — сказала Дженис. — И сколько же раз ты с ней?»

«Три, — ответил Чарли. — На этом точка. Такое у нас правило».

Призрак этого разговора преследует ночью Дженис, когда она не может заснуть. Эта ведьма, сестрица Гарри, снова занялась проституцией, но она, как заразу, оставила свой след в Чарли. А ведь как потрясающе все у них было до того... Господи, ей же об этом никто никогда не говорил — ни мать, ни отец, ни медсестры в школе, только в фильмах проскальзывали кое-какие намеки, но показать все как есть они не могли, во всяком случае, до последнего времени не показывали, — как это может быть потрясающе. Порой она доходит до оргазма от одной мысли о нем, а иногда они вместе растягивают удовольствие, и до чего же хорошо, когда он так медленно работает, все время что-то нашептывая, «продавая» ей саму себя. Не зря все поминают задницу, и до Чарли она не понимала почему — он-то все больше заходил сзади, а не спереди, как Гарри, на которого она злилась из-за того, что ей с ним никак не удавалось потеснее соприкоснуться всеми костями, он кончал слишком быстро, кляня ее за то, что у нее не получилось с ним вместе, а с Чарли все происходило гораздо глубже, там, где зарождаются дети, где вообще все зарождается, она же помнит, как это было с Нельсоном и бедной маленькой Бекки, ей говорили — тужься, даже вспоминать неловко — все равно что попытаться вытолкнуть из себя сгусток при задержке, но от боли она ударилась в такую панику — ей было уже все равно, что из нее выскочит, а выскочило крошечное существо с красненьким сердитым личиком, словно малышку оторвали отчего-то, чем она занималась в утробе матери. Засунь себе в задницу — как она ненавидела это выражение, а ведь именно этим занимаются друг с другом мужчины в тюрьме или в армии, где женщин днем с огнем не сыскать, только желтокожие с младенцами на руках, которые окликают солдат с обочины дороги, где они прямо тут же могут присесть помочиться — фу, мерзость, однако сейчас это выражение довольно точно передает ее жизненные ощущения, она снова и снова подставляет Чарли свою задницу, и он все в ней, Дженнис, перекраивает снизу доверху, ставит раком — еще одно выражение, которое она терпеть не может, она все теперь воспринимает по-новому: грязь стала излучать свет. Однако после, когда она пытается это выразить, сказать, как он ее перекроил (иногда он так молотит, что ей кажется, она — раскаленное железо на наковальне), он мило пожимает плечами и делает вид, будто так может любой, будто это все равно, как тот фокус со спичками, который он показывает племянникам, тогда как печальная правда в том, что никто на всем белом свете (Гарри всегда так изумлялся необъятности мира, так волновался, рассуждая о расстоянии до звезд, о полете на Луну и о том, что коммунисты хотят засадить всех в большой черный мешок, — прямо-таки заходился от волнения), никто, кроме Чарли, не может ее удовлетворить: без преувеличения, она была назначена ему судьбой. Когда она пытается сказать ему, какие они уникальные и как священна их связь, он призывает ее к тишине коротким выразительным жестом своих удивительных рук — у нее дух захватывает при виде того, как он соединяет большие пальцы и стряхивает с себя вопрос, словно плащ с плеч.

«Как ты мог так поступить со мной?»

Он пожал плечами.

«Я никак с тобой не поступал. Я поступил с ней. Переспал с ней».

«Почему? Почему?»

«А почему бы и нет? Успокойся. Ничего сверхъестественного не произошло. Она была до чертиков игрива за обедом, но как только мы очутились в постели, термостат ее выключился. Белая резина — тот же эффект».

«Ох, Чарли! Поговори же со мной, Чарли. Скажи, почему?»

«Не напирай на меня, тигренок».

Она заставила его спать с ней. Она для него все делала. Она молилась на него, ей хотелось кричать — до того было жаль, что она не может сделать для него еще больше, что так уж устроено тело, слишком многим целям оно должно служить. Ей удалось вытянуть из любимого семя, а вот добиться признания, что он питает к ней любовь столь же безграничную, как она к нему, — не удалось. Она произнесла ужасные, жалкие слова, в которых звучало самодовольство пополам с укором:

«Знаешь, я все отдала ради тебя».

Он вздохнул.

«Можешь взять все назад».

«Я погубила мужа. О нем пишут все газеты».

«Ему на это наплевать».

«Я опозорила моих родителей».

Он повернулся к ней спиной. С Гарри отворачивалась обычно она. К Чарли трудно прильнуть — слишком он большой, все равно как поросший волосами скользкий камень. Он все-таки извинился, на свой манер:

«Тигренок, я совсем измочален. Я весь день погано себя чувствовал».

«Насколько погано?»

«Насквозь погано. До дрожи в руках и ногах».

И, чувствуя, что он погружается в забытье, она пришла в такую ярость, что выскочила голая из постели, наорала на него, пользуясь словами, которым он научил ее в минуты соития, сбросила с комода портрет покойной тетушки, заявила, что любой порядочный мужчина по крайней мере сделал бы ей предложение, прекрасно зная, что она его не примет, — словом, настолько нарушила мир в квартире, что сейчас все это гулом отдавалось в ее сне, так что тьма содрогалась между вспышками фар машин, без устали шнырявших внизу, по Эйзенхауэр-авеню. Вид из задних комнат квартиры Чарли открывается неожиданный — на излучину Скачущей Лошади, похожую на взрезанную материю, на слонового цвета газгольдеры, сгрудившиеся на болотистом участке возле свалки, и на маленькое кладбище с железными крестами вместо каменных надгробий, окружающее церковь с двумя голубыми куполами, о существовании которой Дженис раньше не имела понятия. Поток транспорта перед домом не прекращается. Дженис всю жизнь прожила рядом с Бруэром, но никогда прежде не жила в нем самом и считала, что жизнь всюду замирает, когда люди отходят ко сну, а теперь удивлялась тому, что в городе от движения транспорта вечно стоит грохот — совсем как в ее сердце, которое даже во сне выстукивает свою любовь.

Она просыпается. Занавески на окне кажутся серебряными. Луна холодным камнем висит над горой Джадж. Кровать не ее, затем она вспоминает, что эта кровать стала ее, — с каких пор? С июля. Почему-то с Чарли она спит на левом боку, а с Гарри всегда спала на правом. Светящиеся стрелки электрических часов с той стороны, где спит Чарли, показывают третий час. При лунном свете видно, что Чарли лежит на спине. Дженис дотрагивается до его щеки — щека холодная. Она прикладывает ухо к его рту и не слышит дыхания. Он умер. Она решает, что ей это снится.

Тут ресницы Чарли вздрагивают, словно от ее прикосновения. Глаза его в слабом холодном свете кажутся невидящими, без зрачков. Лунный свет блестит в капельке влаги, которая собралась в дальнем уголке дальнего от нее глаза. Чарли издает стон, и Дженис понимает, что от этого она и проснулась. Звук словно вырвался из-под тяжелого пресса, глубоко сидящего у него в груди. Увидев, что Дженис, опершись на локоть, смотрит на него, Чарли произносит:

— Привет, тигренок. Что-то мне больно.

— Что болит, любовь моя? Где?

Дыхание обжигает горло, стремительно вырываясь из ее груди. Вся комната, включая углы, кажется стеклянной, — стоит Дженис неловко повернуться, и полетят осколки.

— Здесь.

Похоже, он хочет показать ей, где болит, но не может шевельнуть руками. И тут все тело его вдруг выгибается словно вздернутое чем-то невидимым. Дженис окидывает взглядом комнату в поисках чьего-то молчаливого присутствия, которое мучает их, и снова видит кружевные занавески с переплетением медальонов на фоне голубоватого света от уличных фонарей, а в голубом квадрате зеркала, стоящего напротив комода, прямоугольники рамок с фотографиями тетушек, дядюшек, племянников. Вновь раздается стон, и тело Чарли вновь выгибается — так выгибается рыба, которой сердце пронзил крючок.

— Любовь моя, есть у нас таблетки?

Он произносит сквозь зубы:

— Маленькие, белые. На верхней полке. В ванной.

Заставленная мебелью комната куда-то ухает и взлетает — такая паника охватывает Дженис. Пол прогибается под ее голыми ногами; ночная рубашка, которую она надела после устроенного скандала, прилипает к горячей коже. Дверь в ванную не поддается. Наконец косяк больно ударяет Дженис в плечо. Она никак не найдет шнур от лампы — рука ее шарит в темноте; но вот шнур попался и тут же выскочил из пальцев, и пока она снова ловит его, раздается стон Чарли, еще хуже прежнего, напряженнее. Наконец шнур пойман, она дергает за него — ее ослепляет свет, она чувствует, как глаза быстро уходят в орбиты, так что даже больно, но времени поморгать нет — она высматривает маленькие белые таблетки. Перед ней шкафчик, забитый сокровищами больного мужчины. Все таблетки белые. Нет, одни из них — аспирин; другие — желтые и прозрачные капсулы, которые вылечивают от сенной лихорадки. Вот, должно быть, эти — хотя на маленьком пузырьке ничего не написано, он плотно закрыт внушительной пластиковой крышкой. На каждой таблетке крошечные красные буковки, но у Дженис нет времени их разбирать — слишком дрожат руки, должно быть, таблетки те самые; Дженис опрокидывает пузырек на ладонь, и из него вылетают пять, нет, шесть таблеток, — она сама себе удивляется: как можно тратить время на подсчеты, и пытается засунуть несколько штук назад в узенькое горлышко, но ее так трясет, что суставы не гнутся, — защитная реакция, иначе она бы уже рухнула. Она ищет глазами стакан, не видит ни одного, берет квадратную крышку от бутыли для воды и, открыв кран, совсем уж глупо ждет, чтобы пошла холодная вода; когда она закрывает кран, вода попадает на ладонь, и таблетки на ней размягчаются, буквы на них расплываются, окрашивая сморщенную кожу ладони, на которой лежат. Дженис приходится держать все в одной руке — и таблетки и крышку от бутыли с водой, чтобы другой закрыть дверь в ванную, иначе свет попадет на Чарли. Он с трудом чуть приподнимает с подушки свою крупную голову, смотрит на таблетки, тающие на ее ладони, и выдавливает из себя:

— Не те. Маленькие белые.

Лицо его искажает гримаса, словно от смеха. Голова падает на подушку. Мускулы шеи напрягаются. Звуки, вырывающиеся из горла, становятся на октаву выше, словно стонет женщина. Дженис видит, что на возвращение в ванную нет времени, — дело совсем худо. Она видит, что химией уже не поможешь, — надо воздействовать на дух, сотворить чудо. Тело ее словно налилось свинцом — она вспоминает, как Гарри говорил, что она сеет смерть. Но внезапная тяжесть в затылке, словно его зажали в тиски, вынуждает ее с отчаянным возгласом, высоким, как стон Чарли, качнуться вперед, и она падает на него всем телом, которое так часто лежало под ним, — он, словно большой провал, всасывает ее, — провал, который она способна заполнить своей любовью. Она напрягает всю волю, чтобы заставить сердце пробиться сквозь стену его костей и задать его сердцу свой ритм. Сквозь стиснутые зубы он произносит: «Боже!» — и, выгнувшись, прижимается к ней, словно кончает, а она спокойно всем телом давит на него, всем своим теплым, влажным, пульсирующим телом, достаточно сильным, чтобы затянуть рану, ведь рана — это он весь, его любимое вдоль и поперек тело, и любимый спокойный голос, и любимые умные квадратные ладони, и любимые завитки волос, и любимые желтовато-коричневые ногти, и любимое темное, в гусиной коже вместилище его мужества, и любая уязвленность, которую он, как угрозу, держит сокрытой и запертой от нее. Она — словно врата любви, низвергающейся откуда-то сверху; она чувствует, как по кусочкам растворяется в этой любви, словно маленькая земляная плотина под напором потока. Она слышит, как трепещет его сердце — точно пойманная добыча, и держит, держит его, не выпускает. И хотя он обратился в дьявола, то разрастающегося вширь и вглубь, как котлован каменоломни, то вдруг съеживающегося в один зажатый болью, устремленный вверх штырь, острый и холодный, как сосулька, Дженис не отступает — она шире распластывается, чтобы накрыть всего его, она обмякает, чтобы вобрать в себя острие его боли. Она не дает ему уйти. В комнате есть еще кто-то третий — этот кто-то всю жизнь знал ее и до сей поры смотрел на нее свысока; и вот как бы этой, другой, парой глаз она видит, что плачет, и она слышит свой голос: «Прочь, прочь», взывает она к дьяволу, беснующемуся внутри ее мужчины.

— Прочь! — громко восклицает она.

Тело Чарльза меняет окраску. Он мертв. Нет, приложив ухо к его рту, она слышит легкий свист его дыхания. Внезапно на лбу его, на плечах, на груди, на ее грудях, на щеке, прижатой к его щеке, выступает пот. Его ноги обмякают. Он с хрипом произносит:

— Порядок.

Дженис соскальзывает с него, накрывает до подбородка простынями, которые она отбросила с него, чтобы обнажить грудь.

— Принести нужные таблетки?

— Погоди минутку. Сейчас уже не к спеху — нитроглицерин. Ты принесла мне корицидин. Это от простуды.

Она понимает, что гримаса, исказившая тогда его лицо, была вызвана желанием рассмеяться, так как сейчас он улыбается. Гарри прав. Тупица она.

Желая убрать обиженное выражение на ее лице, Ставрос говорит:

— Право. Как будто кулаком ударили, нет, хуже. Ни вздохнуть, ни шевельнуться, от всего только хуже, и чувствуешь свое сердце. Точно животное какое-то внутри тебя скачет. С ума можно сойти.

— Я боялась отойти от тебя.

— Ты великое дело сделала. Ты меня вытащила.

Она знает, что это правда. Теперь с нее стерта мета приносящей смерть. Как и в любви, она стала прозрачной, потом преисполнилась незыблемым покоем. И как после акта любви, она игриво обследует его тело, чувствует живительную влагу пота на коже, проводит пальцем по линии носа.

Он повторяет:

— С ума можно сойти.

И садится в постели, чтобы охладить себя, жадно глотая воздух — наконец в безопасности, на берегу. А она льнет к нему и плачет как дитя. Рассеянно, все еще плохо владея руками, он перебирает пряди ее волос, пляшущие по его плечу.

Она спрашивает:

— Это из-за меня? Из-за того, что я устроила сцену по поводу сестры Гарри? Я готова была убить тебя.

— Ни в коем случае. — Но тут же признается: — У меня во всем должен быть порядок, иначе мне не справиться.

— А я нарушаю твой порядок, — говорит она.

— Не беда, — говорит он, в общем-то не отрицая, и так дергает ее за волосы, что у нее откидывается голова.

Дженис встает и находит нужные таблетки. Они лежали на верхней полке, а она искала на средней. Чарли берет таблетку и показывает Дженис, как надо класть ее под язык. Пока таблетка рассасывается, у него появляется эта гримаса, которую она так любит: губы выпячиваются, будто он сосет леденец. Она выключает свет и ложится рядом с ним, — он поворачивается на бок, чтобы поцеловать ее. Она не отвечает, наслаждаясь заполнившим ее покоем. Вскоре с его стороны кровати раздается спокойное, ритмичное дыхание. А она, лежа на своей стороне, не может заснуть. Все ее нервы бодрствуют — она плывет в пространстве, лишенном препятствий и призраков. Внизу продолжает мчаться транспорт. А они с Чарли лежат неподвижно над Бруэром — Чарли спит, покачиваемый ветром, и в сердце его пустота. В другой раз ей, может, и не удастся вытащить его. Чудеса, конечно, случаются, но рассчитывать на них нельзя. Любовь, захлестнувшая ее, была чудом, и только разлука способна ее сохранить. Дух ненасытен — дух, но не тело. Рано или поздно тело говорит: довольно! Она насытилась любовью сполна, и он насытился сполна: продолжать это уже перебор. В конце концов она может превратиться в убийцу. Недаром он зовет ее тигренком. К шести часам начинает светлеть. Дженис видит широкий квадратный лоб Чарли, его редеющие спутанные волосы, которых еще не коснулась утренняя гребенка, такой красивый нос, что мог бы вполне удовлетворить тщеславную женщину, рот даже во сне слегка надутый, и из уголка блестящей змейкой струится слюна. Ангел, стервятник: Дженис понимает, что в своей безмерной любви не заметила одного изъяна — самого предмета любви; любовь мощной волной накрывает ее, и она стремительно тонет в ее чистых водах.

Телефон стоит у маминой кровати; внизу Кролик слышит, как он звонит, затем перестает, но проходит какое-то время, прежде чем он понимает, что звонят ему. Мама говорит нынче только жалобным шепотом, но у нее есть палка, внушительная узловатая палка из шиповника, которую папа однажды принес домой из магазина бруэрской Армии спасения. И мама стучит ею по полу, пока кто-то не явится снизу. Она такая смешная с этой палкой, когда размахивает ею, стучит.

— Всю жизнь, — говорит она. — Хотела иметь. Палку.

Кролик слышит два телефонных звонка, затем до него доходят медленные удары палкой — он пылесосит ковер в гостиной, пытаясь поднять свалявшийся ворс. В маминой комнате запах усилился — разложение странным образом живуче. Кролик где-то читал, что запах — это крошечные частицы самой вещи, щекочущие полость нашего носа, нечто вроде тончайшего дыма. Все окружено своим облаком — у цветка оно больше, чем у камня, а у умирающего больше, чем у нас. Мама говорит:

— Это тебя.

Подушки, подложенные ей под спину, съехали набок, так что она сидит скособочась. Кролик помогает ей сесть прямо, и поскольку слово «Дженис» труднопроизносимо для мускулов ее горла, Кролик не сразу понимает, кто звонит.

Он застывает, потянувшись было к телефону.

— Я не хочу с ней говорить.

— Будет. Тебе.

— Ну ладно, ладно. — Как-то неловко говорить отсюда с Дженис — голос ее звучит в его ухе, а перед глазами мама на смятой постели. Ее руки с синими шишками суставов сжимаются и разжимаются, широко раскрытые глаза беспомощно смотрят на него, голубые радужки окружены тоненькой белой полоской, словно обсосанным леденцом в форме маленького спасательного круга. — Ну что еще? — спрашивает он Дженис.

— Мог бы по крайней мере не грубить так с ходу, — слышит он.

— О'кей, нагрублю позже. Попробую угадать. Ты звонишь, чтобы сообщить, что наконец нашла адвоката.

Дженис смеется. Давно он не слышал ее смеха, робкого, полусдавленного, словно перехваченного на лету.

— Нет, — говорит она, — я до этого еще не дошла. А ты этого ждешь?

Ее теперь труднее запугать.

— Сам не знаю, чего я жду.

— Твоя мать рядом? Или ты говоришь внизу?

— Да, рядом. Я наверху.

— Это и чувствуется. Гарри... Гарри, ты там?

— Конечно. А где же еще?

— Ты не хотел бы где-нибудь со мной встретиться? — И поспешно добавляет деловитым тоном: — Мне без конца звонят из страховой компании — мы ведь, кажется, совместно владеем домом, а они жалуются, что ты отказываешься заполнять бланки. Говорят, мы должны прийти к какому-то решению. Я имею в виду, насчет дома. Папа уже пытается помочь нам продать его.

— Узнаю.

— Ну, и потом с Нельсоном тоже надо как-то решать.

— У тебя же нет для него места. У тебя и у твоего хахаля.

Мать, шокированная услышанным, отводит взгляд в сторону, смотрит на руки и усилием воли заставляет их успокоиться. Дженис быстро втянула в себя воздух. Кролику не удается сегодня сбить ее с толку.

— Об этом я тоже хотела поговорить с тобой, Гарри. Я от него съехала. Все решено, и все довольны. Я хочу сказать, таким исходом. То есть мы с Чарли довольны. Я звоню тебе от родителей — последние две ночи я провела здесь. Гарри?

— Я слушаю. Я тут. Ты что, думаешь, я сбегу?

— Раньше ведь так бывало. Я вчера разговаривала с Пегги по телефону, они с Олли снова вместе, и он слышал, что ты уехал в другой штат, — якобы какая-то балтиморская газета взяла тебя на работу.

— Держи карман шире.

— А Пегги сказала, что от тебя никаких вестей. По-моему, она задета.

— С какой стати?

— Она сказала мне с какой.

— Ну конечно. Этого следовало ожидать. Эй. Мы с тобой ведем милую болтовню, а ничего более определенного ты не намерена мне сказать? Ты хочешь, чтобы Нельсон переехал жить к Спрингерам, так? Я думаю, он может и переехать — он... — Кролик чуть было не сказал, что парнишка здесь не в своей тарелке, но мать ведь слушает, и это ее обидит. Несмотря на свое состояние, она на этот раз действительно старалась проявить внимание к Нельсону.

Дженис понимает и спрашивает:

— Так ты хотел бы меня видеть? Я хочу сказать, ты не слишком озвереешь при встрече?

Кролик смеется — собственный смех кажется ему чужим.

— Не исключено, — говорит он, подразумевая: «Исключено».

— Ох, давай повидаемся, — говорит Дженис. — Хочешь приехать сюда? Или мне приехать к тебе? — Она понимает его молчание и идет навстречу его желанию: — Нужно какое-то третье место. Может, это глупо, но как насчет дома в Пенн-Вилласе? Мы не можем туда войти, но надо на него посмотреть и решить, как с ним быть, я хочу сказать: кое-кто предлагает купить его — на днях папе звонили из банка.

— Ладно. Мне еще надо покормить маму. Как насчет двух?

— А потом, я хочу кое-что дать тебе, — продолжает Дженис, тогда как мама знаком дает ему понять, что ей надо добраться до стульчика с горшком, — ее синяя рука так крепко вцепилась в шишковатую ручку палки, что костяшки побелели.

— Не дай ей обкрутить, — советует она сыну, когда он вешает трубку. — Тебя.

Мама сидит на краю кровати, подкрепляя свои слова ударом палки об пол, и для наглядности очерчивает концом ее полукруг.

Сложив тарелки в сушку, Гарри готовится к поездке. Он решает остаться в светло-коричневых брюках, которые на нем сейчас и которые он носит вот уже две недели, и надеть, как в рабочие дни, свежую рубашку, а сверху старую куртку, которую он нашел в сундуке на чердаке, — в этой куртке он ходил на спортивные занятия в школе. У нее на спине щит цвета слоновой кости, на котором красуется фисташково-зеленая эмблема команды Маунт-Джаджа, а из-под полосы на плечах спускаются зеленые рукава. Спереди куртка застегивается на молнию. В застегнутом виде она обтягивает его грудь и живот, но он идет в таком виде по Джексон-роуд под замерзшими кленами; когда же автобус подвозит его к Эмберли, более теплый воздух в низине побуждает Кролика расстегнуться, и он идет враскачку по извилистой улице, где в маленьких одноэтажных домах-ранчо лежат на крыльце тыквы, а на дверях — кукурузные початки.

Его дом на Виста-креснт виден издали — черный уголь среди конфеток. Возле дома стоит его автомобиль. Американский флаг по-прежнему красуется на заднем стекле. Он выглядит грозным, хоть и выцветшим.

Дженис вылезает со стороны водителя и стоит у машины, неуклюжая, решительная, в защитного цвета пальто, которое Кролик помнит по прошлым зимам. Он успел забыть, какая она малорослая, как поредели ее черные волосы надо лбом, который блестит, словно маслом смазанный. Она перестала причесываться под мадонну и носит волосы на косой пробор, что совсем ей не идет. Но рот она стала меньше поджимать, в уголках губ исчезли складки, отчего кажется, что в любую минуту готова рассмеяться; чем меньше боишься потерять, тем легче смеяться. Как ни нелепо, руки у Кролика инстинктивно чуть не протягиваются, чтобы как-то приласкать ее, почесать за ухом, что ли, точно собачонку, но ни он, ни она не делают ни единого жеста. Не целуются. Не обмениваются рукопожатием.

— Где ты откопал эту старую «крестьянскую» куртку? — Он и забыл, что их команда называлась «Маунт-Джаджские крестьяне». А Дженис продолжает: — Я совсем забыла, какие у нашей школы были жуткие цвета. Гадость. Вроде муляжа мороженого.

— Я нашел ее в старом сундуке на чердаке у родителей. Они хранят все барахло. А куртка еще пригодится.

— Кому?

— Многие мои вещи ведь сгорели.

Он словно оправдывается — он понимает, что она права: единственный след, который он сумел оставить в жизни, относится к полудетской поре мороженого. Однако она тоже одета слишком молодо для своих лет, и прическа у нее как в юности, на косой пробор, а-ля латиноамериканская красотка сороковых. Ча-ча-ча.

Она неуклюже сует руку в карман серо-зеленого пальто.

— Я сказала, что у меня для тебя подарок. Вот. — И протягивает ему что-то болтающееся, позвякивающее. Ключи от машины.

— А разве тебе не нужна машина?

— В общем, нет. Я могу ведь ездить на одной из папиных. Сама не знаю, почему я считала, что она мне нужна, наверное, вначале думала, что мы куда-нибудь сбежим. Поедем на Запад. В Канаду. Сама не знаю. Мы ведь об этом даже и не говорили.

— Ты собираешься жить у родителей? — спрашивает он.

Дженис поднимает взгляд с его куртки на лицо.

— Вообще-то мне это невыносимо. Мама так ноет. Чувствуется, что ей внушили ничего не говорить мне, но ее то и дело прорывает, у нее с языка не сходит: «общественное мнение». Можно подумать, она проводит опросы по заданию Института Гэллапа[[68]](#footnote-68). Да и папа не лучше. Первый раз в жизни он кажется мне жалким. Кто-то открывает агентство по продаже «датцунов» в одном из торговых центров, и он считает, что это реальная угроза для него лично. Я подумываю, — говорит Дженис, взгляд ее черных глаз задерживается на его лице, но может тут же скользнуть в сторону, если она увидит что-то, что ей не понравится, — может, стоит снять где-нибудь квартиру. Возможно, в доме Пегги. Чтобы Нельсон снова мог ходить в школу в Западном Бруэре. Я, конечно, заберу к себе Нельсона. — И отводит глаза.

— Значит, машина как бы в обмен на Нельсона, — говорит Кролик.

— Скорее это символ примирения.

Он вскидывает руку и поднимает вверх два пальца в виде буквы V, а потом переносит этот знак мира себе на голову — получаются рога. Дженис слишком тупа, чтобы понять. Он говорит ей:

— Парнишке плохо, так что, может, тебе стоит взять его. При условии, что ты рассталась с этим Как-его-там.

— Мы расстались.

— Почему?

Она быстро проводит языком по губам — в свое время эта ее манера казалась ему притворно сексуальной, а сейчас кажется никакой, все равно как если бы она лизнула карандаш.

— Ну, просто, — произнесла Дженис, — все, что у нас с ним могло быть, уже было. В последнее время он стал такой дерганый. Да и твоя сестричка не помогла делу.

— Угу. Наверно, мы все сообща его порядком измочалили.

«Мы» — это он, она, Мим, мама; узы крови, совместно прожитых лет, общей вины — семейные узы. Он больше ее не расспрашивает. Он никогда толком не понимал женщин — почему, например, они менструируют, почему иногда вдруг распаляются, а иногда — нет, и достаешь ли ты кончиком своего детородного органа до матки, а сама матка, когда в ней нет зародыша, — полая она или нет; инстинктивно он определяет Ставросу место в этой обширной категории женской непостижимости. Он не хочет, чтобы в глазах Дженис снова загорелся огонь любви, — сейчас они ему нравятся больше: быстрые, цепкие, устремленные на него, свою добычу.

Возможно, Дженис намеревалась рассказать ему больше — о том, какая это была великая любовь и каким чистым останется это чувство, так как она вдруг насупливается, словно его молчание поставило ей заслон. Она спрашивает его:

— Почему Нельсон не в своей тарелке? Как ты считаешь?

Он указывает на обгоревший остов зеленого дома.

— Там ведь сгорела не только моя одежда.

— Девчонка. Они с Нельсоном были близки?

— Она была ему как сестра. Еще одна сестра, которую он потерял.

— Бедный малыш.

Дженис поворачивается, и они вместе смотрят на то, что было их жильем. Кто-то — компания, банк, или полиция, или страховое общество, — словом, кто-то поставил вокруг дома ограду из столбиков и проволоки, но мальчишки без труда проникли за ограду, растащили все, что оставалось внутри, повыбивали стекла из окон в сохранившейся части дома. Кто-то потрудился даже притащить распылитель с желтой краской и намалевать огромными буквами на торце «НИГГЕР». И еще слово: «БЕЙ». Слова эти существуют порознь, поэтому трудно сказать, на чьей стороне распылитель. Возможно, распылителей было два. И времени на написание каждого слова было примерно поровну. По широкой полосе алюминиевой обивки под окнами, где весной расцветают нарциссы, а летом буйствуют флоксы, желтыми буквами выведена надпись: «ВЛАСТЬ БЕЛЫХ СВИНЕЙ — ВЛАСТЬ ПОРЯДКА». А также изображены знак мира и свастика, видимо, тем же распылителем. Другие люди с помощью головешек, подобранных на пепелище, попытались подредактировать этот лозунг и символы, заменив «белых» на «черных», а «власть порядка» на «власть красных». Во всем этом не больше смысла, чем в мелькании рекламных роликов на телевидении, встревающих между программами. Какой-то чудак красной краской написал в проеме между окнами: «УГОЩАЙ, НЕ ТО ПРОУЧИМ»[[69]](#footnote-69).

Дженис спрашивает:

— Где она спала?

— Наверху. В нашей спальне.

— Ты ее любил?

При этом глаза ее отрываются от его лица, и она принимается рассматривать затоптанную лужайку. Он вспоминает, что на серо-зеленом пальто, которое сейчас на ней, когда-то был капюшон.

Он признается:

— Не так, как следовало бы. Она была — как бы это сказать? — мне не ровня. — Сказал и устыдился, представив себе, как обиделась бы Джилл, если бы услышала это, и, стремясь оправдать себя, взваливает всю вину на Дженис: — Если бы ты не ушла, она и сейчас была бы жива.

Она быстро поднимает глаза.

— Не смей. Не пытайся повесить на меня это, Гарри Энгстром. Что бы тут ни произошло, это твоих рук дело. — Ее рук дело — утонувший младенец; его — сгоревшая девушка. Они созданы друг для друга. Дженис пытается отыскать золотую середину. — Пегги говорит, что негр накачивал девчонку наркотиками: ей сказал Билли, а ему — Нельсон.

— Она сама хотела, он так сказал. Негр.

— Странно, что он сумел улизнуть.

— «Подземная железная дорога»[[70]](#footnote-70) — слыхала о такой?

— Ты ему помог? Ты видел его после пожара?

— Мимоходом. Кто говорит, что я его видел?

— Нельсон.

— Откуда он знает?

— Догадался.

— Я отвез его за город и высадил в кукурузном поле.

— Надеюсь, он никогда больше сюда не вернется. Я не хочу его видеть, то есть я бы не хотела, если б... — Дженис, не докончив, убивает мысль: преждевременно.

Ситуация требует такого неимоверного такта, что это и воодушевляет Кролика, и одновременно замораживает: они с ней как бы медленно ходят по кругу, и каждый боится неосторожным движением спугнуть другого.

— Он обещал, что больше не появится. А если появится, то лишь в сиянии славы.

С чувством облегчения Дженис указывает на полусгоревший дом.

— Это стоит немалых денег, — говорит она. — Страховая компания хочет остановиться на восьми тысячах. А какой-то человек говорил с папой и предлагает девятнадцать с половиной. Я думаю, один участок стоит тысяч семь или восемь — район становится таким престижным.

— Я считал, что Бруэр умирает.

— Только в центре.

— Давай продадим эту сволочь.

— Давай.

Они пожимают друг другу руки. Он покачивает ключами перед ее лицом.

— Давай отвезу тебя к твоим родителям.

— А нам непременно надо туда ехать?

— Можешь поехать ко мне навестить маму. Она будет рада тебя видеть. Она теперь уже почти не говорит.

— В другой раз, — говорит Дженис. — Не могли бы мы просто прокатиться?

— Прокатиться? Я не уверен, что все еще умею водить машину.

— Пегги говорила, что умеешь — с ее машиной справился.

— Ох, что за город — ничего не скроешь.

Они едут по Уайзер в сторону города, и Дженис спрашивает:

— Твоя мама в состоянии справиться днем одна?

— Конечно. Сколько раз справлялась.

— Мне начинает нравиться твоя мама: она так мило разговаривает со мной по телефону, когда мне удается разобрать, что она говорит.

— Она помягчела. Наверно, перед смертью люди мягчеют.

Они переезжают через мост и едут дальше по Уайзер уже в Бруэре, мимо обойного «бутика», газетного киоска, где продают жареные орешки, расширенного похоронного бюро, больших магазинов с фасадами, на которых над бледными призраками неоновых вывесок бывших владельцев жизнеутверждающе горят яркие вывески новых, мимо новых урн с крышками в виде летающих тарелок, мимо немых маркиз заброшенных кинотеатров. Они проезжают Сосновую улицу и бар «Феникс». Кролик вдруг объявляет:

— Мне бы следовало проехать по типографиям в поисках работы, а может быть, податься в другой город. Хотя бы в Балтимор.

Дженис говорит:

— Ты лучше выглядишь с тех пор, как перестал работать. Посвежел. Что, если тебе поработать на воздухе?

— За такую работу платят гроши. Теперь одни только недоумки работают на воздухе.

— А я буду продолжать работать у папы. По-моему, мне следует там остаться.

— Мне-то до этого какое дело? Ты ведь собираешься снять квартиру, я не ослышался?

Она не отвечает. Уайзер подбирается совсем близко к горе, к Маунт-Джаджу и их домам. Кролик поворачивает налево, на Летнюю улицу. Кирпичные трехэтажные дома с полукруглыми окошками над входом; вывески окулистов и хиропрактиков. Церковь из известняка с круглым витражом.

— Мы могли бы купить ферму, — говорит вдруг Кролик.

Дженис сразу протягивает связующую нить.

— Потому что Рут купила.

— Верно, я совсем забыл, — лукавит он, — она ведь жила на этой улице. — Он однажды решил добежать по ней до конца и так и не добежал.

Желая оторвать его от мыслей о Рут, Дженис спрашивает:

— Как тебе Пегги?

— Как? Она стала очень недурна в постели.

— Тем не менее ты к ней не вернулся.

— Откровенно говоря, не смог это вынести. И дело не в ней — она была на высоте. Но это вечное траханье, вечное и бесконечное, всеобщее — не знаю, мне как-то грустно от этого. По-моему, оттого-то у нас ничего с места не двигается.

— А ты не считаешь, что именно это всем и движет? Всеми человеческими поступками.

— Должно же еще что-то быть.

Она молчит.

— Нет? Ничего больше нет?

Вместо ответа она произносит:

— Олли вернулся к ней, но она кажется не слишком счастливой.

В машине оно легче: мимо мелькают знаки «стоп» и бакалейные лавки на углах, кирпич и известняк сливаются в одну бегущую ленту. Кролик думает, что в конце Летней улицы будет ручей, а потом проселочная дорога и просторы пастбищ, а вместо этого улица переходит в шоссе, вдоль которого стоят забегаловки с гамбургерами и придорожные магазинчики, куда можно въехать на машине, а еще поле для мини-гольфа с большими гипсовыми динозаврами, и лавки с готовым питанием, и мотели, и заправочные станции, меняющие свои названия со «Скромной» на «Услужливую» и с «Атлантической» на «Арктическую». Кролик здесь уже бывал.

Дженис говорит:

— Не хочешь остановиться?

— Я уже пообедал. А ты?

— Остановись у мотеля, — говорит она.

— Чтоб мы с тобой?..

— Тебе вовсе не обязательно что-то делать — просто мы зря расходуем бензин.

— Ради Бога, дешевле заплатить за бензин, чем за мотель. Да и вообще, разве не полагается иметь багаж?

— Им это безразлично. Так или иначе, по-моему, я прихватила чемодан, там, на заднем сиденье, — просто на всякий случай.

Кролик поворачивается, и точно — там он лежит, исцарапанный, старый коричневый чемодан, на котором все еще висит бирка гостиницы, где они в свое время останавливались, когда ездили на Побережье, — «Лесные хижины». Тот же чемодан, который она, наверно, уложила, когда уходила к Ставросу.

— Скажи, пожалуйста! — говорит он. — Да ты теперь просто дока по части секса, а?

— Забудем об этом, Гарри. Отвези меня домой. Я и забыла, какой ты.

— Эти, в мотеле, — им не покажется подозрительным, если ты зарегистрируешься до ужина? Сейчас ведь только половина третьего.

— Подозрительным? Что же тут подозрительного, Гарри? Боже, какая ты все-таки цаца. Всем известно, что люди живут половой жизнью. Иначе никого бы из нас на свете не было. Когда же ты повзрослеешь, ну хоть немножко?

— Все равно, вот так, средь белого дня заявиться в мотель...

— Скажи, что я твоя жена. Скажи, что мы совсем вымотались. К тому же это чистая правда. Я прошлой ночью и двух часов не спала.

— Не лучше ли поехать к моим родителям? Нельсон через час будет дома.

— С этого бы и начинал. Да кто для тебя важнее — я или Нельсон?

— Нельсон.

— Нельсон или твоя мать?

— Моя мать.

— Ты больной.

— Вот вроде подходящее место. Нравится?

Мотель «Тихая гавань» — гласит надпись, а под ней дощечки, возвещающие:

БОЛЬШИЕ ДВУСПАЛЬНЫЕ КРОВАТИ

ТОЛЬКО ЦВЕТНЫЕ ТЕЛЕВИЗОРЫ

ДУШИ И ВАННЫ

ТЕЛЕФОНЫ

«ВОЛШЕБНЫЕ ПАЛЬЧИКИ»

Вывеска «СВОБОДНЫЕ НОМЕРА» жужжит, мигая тускло-красным светом. Стойка регистрации похожа на будку, где взимают дорожную пошлину; виден осушенный бассейн, накрытый зеленым брезентом. Вдоль длинного кирпичного фасада, прорезанного дверьми, уже стоят несколько машин — совсем как металлические кони у кормушки. Дженис говорит:

— Похоже, тут полно народу.

— Вот и хорошо, — говорит Кролик. — Значит, они и нас могут принять.

Но когда он это произнес, они уже проехали мимо.

— Нет, серьезно, ты никогда прежде такого не делал? — спрашивает Дженис.

Он говорит:

— Я вел, можно сказать, затворническое существование.

— Ну, теперь мы уже проехали, — говорит она, имея в виду мотель.

— Можно ведь и развернуться.

— Тогда мы окажемся на противоположной стороне шоссе.

— Испугалась?

— Чего?

— Меня.

Кролик лихо сворачивает на стоянку возле «Все для сада», только-только успевает затормозить, чтобы не столкнуться со встречным потоком, пересекает двойную полосу и мчится назад в том направлении, откуда они ехали. Дженис говорит:

— Если хочешь угробить себя — валяй, но меня не смей: мне еще жизнь не надоела — только начала входить во вкус.

— Поздновато, — говорит он. — Через пару лет ты станешь бабушкой.

— С таким-то водителем? Сомневаюсь.

Но они снова пересекают двойную полосу и благополучно паркуются. Надпись «СВОБОДНЫЕ НОМЕРА» по-прежнему жужжит. Мотор выключен. Машина поставлена на тормоз. Блики солнца на неровном асфальте.

— Ну, что ж ты сидишь, — шипит Дженис.

Кролик вылезает из машины. Воздух. Пузырьки эфира — чисто нервное — бегут по его ногам. В будке, возле автомата, выдающего шоколадки, и доски с ключами на черных бирках, сидит мужчина. У него седые, тщательно зачесанные назад волосы, галстук веревочкой с булавкой в виде подковы и насморк. Кладя перед Гарри регистрационную карточку, он прикладывает синий платок к покрасневшим ноздрям.

— Фамилия, адрес и номер автомобиля, — говорит он. Акцент жителя Западного побережья.

— Мы с женой совсем из сил выбились, — поясняет Кролик.

Уши у него горят, краска заливает шею, майка становится мокрой, сердце так колотится, что рука дрожит, выводя: *М-р и м-с Гарольд Энгстром* ... Адрес? Конечно, он вынужден соврать. Неверной рукой он пишет: *Пенсильвания, Пенн-Виллас, Виста-креснт, 26*. Всякая рекламная ерунда и счета приходят ему на этот адрес. Почтовая служба отлично работает. Положите письмо в один из почтовых ящиков, его вынут, переложат из одного мешка в другой, затем повезут, и — шлеп! — оно падает в нужный ящик — один из миллионов. Непостижимо, как это срабатывает. Пусть бы молодые панки-революционеры попробовали наладить работу почты, чтобы письма шли и доходили и сквозь дождь, и слякоть, и темноту. Мужчина в галстуке веревочкой терпеливо ждет, облокотившись на пластиковую крышку стола, а мысли Кролика скачут, опережая друг друга, и рука дрожит.

— Номер машины — это главное, — миролюбивым тоном протяжно произносит мужчина. — Покажите мне чемодан или платите вперед.

— Я не шучу, это моя жена.

— Должно быть, отправились справлять медовый месяц прямо со школьной скамьи.

— Ах, вы из-за этого. — Кролик окидывает взглядом свою кремово-зеленую спортивную куртку и старается не покраснеть. — Я уж и не помню, сколько лет не надевал ее.

— А и сейчас вполне впору, — говорит мужчина, стуча пальцем по пустому месту, оставленному для номера машины. — Я-то не спешу, если вы не спешите, — добавляет он.

Гарри подходит к окошку, чтобы посмотреть номер машины и знаком дать понять Дженис, чтобы она показала чемодан. Он делает вид, будто поднимает воображаемый чемодан за ручку и опускает вниз, но Дженис не понимает. Дженис сидит в их машине, затуманенная пятнистыми отражениями в окне, словно сомнительного качества современная вещица, упакованная в экстравагантную металлическую коробку, в которой полно пустого места. Кролик делает вид, будто распаковывает чемодан, чертит в воздухе прямоугольник, восклицает: «Боже, какая тупица!», и она наконец понимает, протягивает руку назад и сквозь разделяющие их стекла показывает чемодан. Мужчина кивает; Гарри пишет на карточке номер машины (У 20—692) и получает ключ (17).

— В глубине, — говорит мужчина, — там потише, дальше от шоссе.

— Тише или не тише, мне все равно: нам, главное, поспать, — говорит Кролик: он настроен уже дружелюбнее, получив ключ. — А вы откуда — из Техаса? Я в свое время был там в армии — в Форт-Худе, близ Эль-Пасо.

Мужчина ставит карточку в ячейку, глядя сквозь нижнюю половину очков, и прищелкивает языком.

— Бывали когда возле Санта-Фе?

— Не-а. Никогда. К сожалению.

— Вот это я называю хорошим местечком, — сообщает ему мужчина.

— С удовольствием бы наведался туда как-нибудь. С удовольствием. Хотя скорей всего никогда туда не попаду.

— Как может говорить такое молодой бычок вроде вас!

— Не такой уже молодой.

— Да нет, молодой, — рассеянно стоит на своем мужчина, и так хорошо он это сказал, и ключ Кролику дал, люди вообще-то, как правило, хорошие; Дженис даже спрашивает, когда он возвращается к машине, чему он улыбается.

— И почему ты так долго?

— Мы разговорились о Санта-Фе. Он советовал съездить туда.

Дверь под номером 17 открывается в удивительно длинную комнату, узкую и длинную. Фиолетовый ковер и свет, льющийся из расположенных тут и там закрытых картоном прямоугольников, делают комнату похожей на фойе в кино. В дальнем конце ванная, стены из цементных плит окрашены в розовый цвет, подделки под живопись с изображением океана пытаются их украсить, две двуспальные кровати стоят поперек узкой комнаты, глядя на телевизор. Кролик снимает ботинки, включает телевизор и ложится на одну из кроватей. На экране появляется полоса света, ширится, вырывается из идущих по диагонали дергающихся полос, открывая студию, где идет телеигра «Выбор пары». Цветная девица из Филадельфии пытается решить, который из троих мужчин назначит ей свидание: один из них — черный, другой — белый, третий — желтокожий. Цвет у телевизора такой, что китаец выглядит оранжевым, а цветная девушка синеватой. Изображение двоится, так что когда девица смеется, у нее много-много зубов. Дженис выключает телевизор. Она, как и Кролик, разулась. Они точно воры.

— Эй, — возмущается он. — Это ведь было интересно. Она же не видела их из-за ширмы, так что ей надо было по голосу определить, какого кто из них цвета. Если ей не все равно.

— На сегодня у тебя есть пара, — говорит ему Дженис.

— Надо нам купить цветной телевизор — профессиональный футбол по нему куда лучше смотреть.

— Кому это нам?

— Ну-у, мне, и папе, и Нельсону, и маме. И Мим.

— Может, подвинешься?

— У тебя же есть своя кровать. Вон там.

Она стоит, твердо уперев ноги с красивыми лодыжками в ковровое покрытие, стоит без чулок. Шерстяная юбка унылого цвета не прикрывает колен. Они у нее острые. Ноги выглядят премило.

— Это что — от ворот поворот?

— Да кто я такой, чтобы давать тебе от ворот поворот? Самой ветреной бабенке на Эйзенхауэр-авеню.

— Не уверена, что ты мне все еще нравишься.

— Вот ведь вовремя не распознал.

— Ну-ка. Подвинься.

Она бросает старое серо-зеленое пальто на пластиковый стул под правилами пребывания в мотеле и свидетельством пожарного инспектора. От растерянности глаза ее кажутся совсем черными. Она сдергивает с себя свитер и, когда нагибается, чтобы снять юбку, по костям на ее плечах пробегает свет, словно рассыпалась стопка монет. Оставшись в комбинации, она замирает.

— Ты собираешься лечь под одеяло?

— Можно и лечь, — говорит Кролик, однако чувствует он себя как после высокой температуры, когда нервы, успокаиваясь, уходят в тело, как вода в песок.

Он не в состоянии сделать необходимые движения — снять одежду, преодолеть долгий путь до ванной. Наверное, ему все-таки надо вымыться, если она намерена наброситься на него. А что, если он слишком быстро разрядится, и все будет, как всегда. Безопаснее лежать тут и любоваться ею в комбинации — ему повезло, что он выбрал маленькую женщину: они лучше сохраняют форму, чем крупные. В двадцать Дженис выглядела старше двадцати, а теперь выглядит не намного старше, чем тогда, во всяком случае, когда злится, — черные глаза ее тогда так и блестят.

— Можешь залезать в постель, но не жди от меня ничего — я все еще не очухался.

Последнее время он потерял способность мастурбировать — ничто его не возбуждает, даже если представить себе негритянку с острыми, как булавка, сосками и хэллоуиновской тыквой вместо головы.

— Что ж, — говорит Дженис. — Не жди ничего и от меня. Я просто не хочу кричать с другой кровати.

Кролик героическим усилием воли выталкивает себя из постели и идет по ковровому покрытию в ванную. Возвращается он голый, держа перед собой одежду, и ныряет в постель, точно преследуемый зверь в логово. Дженис, тощая, незнакомая, холодная, как змея, дрожит, придвинувшись к нему, — от ледяного прикосновения к голой коже у него появляется желание чихнуть. Она говорит в качестве извинения:

— В таких местах, как видно, не очень хорошо топят.

— Скоро ведь ноябрь.

— Разве тут нет термостата?

— Угу. Вон там. В углу. Можешь, если хочешь, пойти и повернуть ручку.

— Спасибо. Это дело мужчины.

Ни один из них не двигается с места. Гарри говорит:

— Эй, это не напоминает тебе кровать Джинетт? — У Джинетт, сослуживицы Дженис, когда они все работали у Кролла, была квартира в Бруэре, в которой она позволяла им встречаться.

— Не очень. С той кровати можно было любоваться видом из окна.

Они пытаются поддерживать разговор, но оба до того сонные и отдалившиеся друг от друга, что разговор то и дело прерывается.

— Так кто же ты, по-твоему? — произносит Дженис после ничем не заполненного молчания.

— Никто, — отвечает он.

Он соскальзывает вниз, словно намереваясь поцеловать ее груди, но не делает этого — достаточно того, что они у самых его губ: это уже действует на него как наркотик. В воздухе над их кроватью трудятся самые разные крылатые существа.

Вновь устанавливается тишина и длится — под сомкнутыми веками Гарри танцует балерина в красном. Он внезапно объявляет:

— Мальчишка теперь меня ненавидит.

Дженис говорит:

— Нет, неправда. — И тут же добавляет, противореча сама себе: — У него это пройдет.

Женская логика: приглуши и притерпись ко всему, что не можешь от себя прогнать. Возможно, это единственный верный способ. Он гладит низ ее живота, и рука натыкается на мох — это его не возбуждает, но успокаивает: раз существует этот уголок, значит, там можно укрыться.

Ее тело, нервируя его, ерзает и ворочается — раз он не целует ее груди и вообще ничего не делает, она прижимается холодными стопами к его ногам. Он чихает. Кровать вздрагивает. Дженис смеется. Желая уязвить ее, он спрашивает невинным тоном:

— У тебя всегда получалось со Ставросом?

— Не всегда.

— Тебе его сейчас недостает?

— Нет.

— Почему нет?

— Потому что ты здесь.

— Но я, кажется, не самая веселая компания?

— Ты заставляешь меня расплачиваться. Это в порядке вещей.

Он возражает.

— Я совсем раздавлен, — говорит он вполне искренне, хотя это, пожалуй, никак нельзя считать осмысленным откликом на ее слова. У Гарри такое чувство, будто они все еще притираются друг к другу, медленно вращаясь в какой-то густой краске, которая, проникая под его сомкнутые веки, кажется красной. В наступившей паузе — он не в состоянии понять, как долго она длится, — их обоих, так ему кажется, все дальше относит к тому, чтобы снова стать мужем и женой, и потому он неожиданно решается бросить пробный шар:

— Надо будет как-нибудь позвать к нам Пегги и Олли.

— Черта с два, — говорит она, неожиданно тыча ему под бок, впрочем, скорее игриво. — Держись от нее подальше — теперь, когда ты ее попробовал.

Через некоторое время он спрашивает — он вдруг понимает, что она знает все:

— Как ты считаешь, война во Вьетнаме когда-нибудь кончится?

— Чарли считает, что да, как только крупные промышленные компании решат, что она невыгодна.

— Господи, до чего же иностранцы тупые, — бурчит Кролик.

— Ты имеешь в виду Чарли?

— Всех вас. — Он смутно чувствует, что лучше кое-что пояснить: — Ушлый считал, что это приведет ко всеобщему смятению. Наступит жуткая полоса полнейшего смятения, а потом настанет пора великого умиротворения, когда у кормила власти встанет он или кто-то вроде него.

— И ты этому поверил?

— Хотел бы, но слишком я рационален. Смятение — это провинциальная точка зрения на то, что в ином, более крупном масштабе, вполне нормально работает. Понятно?

— Не уверена, — говорит Дженис.

— Ты считаешь, у мамы были любовники?

— Спроси ее.

— Боюсь.

Еще через какое-то время Дженис объявляет:

— Если ты не собираешься заниматься любовью, я, пожалуй, повернусь к тебе спиной и засну. Я почти всю ночь не спала — все волновалась, как пройдет наше воссоединение.

— И как, ты считаешь, оно проходит?

— По-честному.

Шуршание простынь, когда она поворачивается, звучит серебристой музыкой, легким звуком, улетающим в пустоту. Он привык держать ее правой рукой за затылок под волосами, а левой сжимать груди, сдвигая их так, что соски оказываются в дюйме друг от друга. Оказывается, он все еще не утратил сноровки. Ее ягодицы и ноги улетают куда-то. Он спрашивает ее:

— Как мы отсюда выберемся?

— Оденемся и выйдем в дверь. Но сначала давай вздремнем. А то ты уже глупости болтаешь.

— Как-то неудобно. Малый, который нас зарегистрировал, решит, что мы что-то затеваем.

— Ему нет до нас дела.

— Да нет, ему есть дело. Мы могли бы провести здесь всю ночь, чтобы он не беспокоился, но ведь никто не знает, где мы. Станут волноваться.

— Прекрати, Гарри. Мы через час уедем. А пока помолчи.

— Я чувствую себя таким виноватым.

— В чем?

— Во всем.

— Успокойся. Не все твоя вина.

— Меня это не устраивает.

Он выпускает ее груди, дает им улететь куда-то, этим осколкам тепла. Пространство, в котором они с Дженис находятся, эта длинная комната в мотеле, потаенная, как нора, становится их пространством. Гарри сползает на дюйм ниже по прохладной простыне и прижимает свое понурое микроскопическое естество к впадине между покрытыми пушком округлостями ее ягодиц; еще немного, и у него все пришло бы в готовность, но рука, выпустившая ее груди, ложится на знакомую впадину ее талии, между ребрами и тазовой костью, туда, где нет никаких костей, где жирок прогибается внутрь, плавно-плавно, как небесный полет, ныряя туда, где она вынашивала его детей. Он нащупывает эту ложбинку и скользит, скользит по ней рукой, засыпает. Он. Она. Спит. О'кей?

1. *Нил Армстронг* (род. 1930) — американский астронавт, командир корабля «Аполлон‑11» (16—24 июля 1969 г.). Первый человек, ступивший на поверхность Луны. [↑](#footnote-ref-1)
2. Популярный комедийный темнокожий актер. [↑](#footnote-ref-2)
3. Имеется в виду фильм режиссера Стэнли Кубрика «2001: Космическая одиссея» (1968; премия «Оскар»). [↑](#footnote-ref-3)
4. Популярный в конце 1960‑х исполнитель шуточных песенок; принимал участие в развлекательной телепрограмме «Давай посмеемся». [↑](#footnote-ref-4)
5. Герой популярного сериала в жанре вестерна, сначала на радио (с 1933), позже на телевидении (1949—1961). Носит маску. Его знаменитый клич «Эге‑гей, Сильвер!» знает вся Америка. *Сильвер* — верный конь одинокого ковбоя Рейнджера. [↑](#footnote-ref-5)
6. *Дэниел Бун* (1734—1820) — деятельный участник освоения Дикого Запада, герой Фронтира, [↑](#footnote-ref-6)
7. Индеец, друг Одинокого Рейнджера. [↑](#footnote-ref-7)
8. Кто много знает, многомудрый (*исп.* ). [↑](#footnote-ref-8)
9. Крупный типографский шрифт. [↑](#footnote-ref-9)
10. В 1967 г. в результате государственного переворота к власти в Греции пришла военная хунта. [↑](#footnote-ref-10)
11. Рис быстрого приготовления — один из популярных полуфабрикатов, выпускаемых фирмой «Анкл Бенc», на товарном знаке которого изображен пожилой негр — «дядюшка Бен». [↑](#footnote-ref-11)
12. Мамочка моя (*ит.* ). [↑](#footnote-ref-12)
13. Консервативная секта меннонитов, основана в Швейцарии Якобом Амманом (1690); в 1714 г. члены секты переселились на территорию современной Пенсильвании. [↑](#footnote-ref-13)
14. Стилизованные знаки, традиционно украшавшие сельские постройки в Пенсильвании. [↑](#footnote-ref-14)
15. *Хьюберт Хамфри* (1911—1979) — вице‑президент при президенте‑демократе Линдоне Джонсоне (1965—1969). [↑](#footnote-ref-15)
16. *Эдвард (Тедди) Кеннеди* (р. 1932) — политический деятель, сенатор, брат президента Джона Кеннеди. Считался вероятным кандидатом в президенты от Демократической партии, но из‑за несчастного случая на о. Чаллакуйдака в 1969 г. баллотироваться в президенты отказался. [↑](#footnote-ref-16)
17. *Джозеф Патрик Кеннеди* (1888—1969) — бизнесмен, государственный деятель. Отец Джона, Роберта и Эдварда Кеннеди. Был женат на дочери мэра Бостона Розе Фицджеральд. [↑](#footnote-ref-17)
18. *Жаклин Кеннеди* (1929—1994) — вдова президента Джона Кеннеди; через пять лет после его гибели вышла замуж за греческого миллионера Аристотеля Онассиса. [↑](#footnote-ref-18)
19. В 1944 г., за год до смерти, Рузвельт перенес удар, после чего в печати просочились слухи о том, что президент «впал в слабоумие». [↑](#footnote-ref-19)
20. Пилотируемая лунная кабина корабля «Аполлон‑11». [↑](#footnote-ref-20)
21. То есть из Центра управления космическими полетами. [↑](#footnote-ref-21)
22. Пилотируемая лунная кабина «Орел» корабля «Аполлон‑11» села на экваторе Луны, в юго‑западной части Моря Спокойствия. Место посадки было названо «Базой Спокойствия». [↑](#footnote-ref-22)
23. *«Колумбия»* — основной блок корабля «Аполлон‑11» (пилот М.Коллинз). [↑](#footnote-ref-23)
24. Звезда Голливуда 40‑х гг. [↑](#footnote-ref-24)
25. Имеется в виду знаменитая фраза Нила Армстронга, первым ступившего на поверхность Луны: «Для меня это маленький шажок, но для человечества это огромный шаг вперед». [↑](#footnote-ref-25)
26. Прозвище, употребляемое черными по отношению к белым. [↑](#footnote-ref-26)
27. Следователь, назначаемый в случае внезапной или насильственной смерти. [↑](#footnote-ref-27)
28. Заключительная строка одного из наиболее популярных патриотических гимнов («Америка») на слова Сэмюела Фрэнсиса Смита (1908—1995). [↑](#footnote-ref-28)
29. Презрительное имя негра, раболепствующего перед белыми (по имени героя романа Г. Бичер‑Стоу «Хижина дяди Тома»). [↑](#footnote-ref-29)
30. Знаменитый бродвейский мюзикл (1968); заметное явление контркультуры 1960‑х гг. [↑](#footnote-ref-30)
31. Пролив Лонг‑Айленд между побережьем Коннектикут и островом Лонг‑Айленд в Атлантическом океане. [↑](#footnote-ref-31)
32. Французский (*фр.* ). [↑](#footnote-ref-32)
33. Ведьма в ирландском фольклоре, предрекающая смерть. [↑](#footnote-ref-33)
34. Наоборот (*фр.* ). [↑](#footnote-ref-34)
35. Имеются в виду хиппи, называвшие себя «дети‑цветы». Цветок у них — символ свободной и братской любви. [↑](#footnote-ref-35)
36. Поселок на берегу р. Скулкилл, штат Пенсильвания, где с декабря 1777 г. по июнь 1778 г. находился лагерь Континентальной армии, возглавляемой Дж. Вашингтоном; в настоящее время — национальный исторический заповедник. [↑](#footnote-ref-36)
37. Имеется в виду известный фильм «Бутч Кэссиди и Сандеж Кид» с Р. Редфордом и П. Ньюменом в главных ролях. [↑](#footnote-ref-37)
38. Южная граница Пенсильвании; до начала Гражданской войны символизировала границу между свободными и рабовладельческими штатами. [↑](#footnote-ref-38)
39. *Фронтир* — в американской истории западная граница территории, осваиваемая компактно проживающими группами жителей. *Освоение* Фронтира завершилось в 1890 г. [↑](#footnote-ref-39)
40. *Дэниел Бун* (1734—1820) — деятельный участник освоения Дикого Запада, герой Фронтира, [↑](#footnote-ref-40)
41. Здесь и ниже упоминаются как лидеры аболиционизма (Уильям Ллойд Баррасон, Джон Браун, Чарльз Самнер), так и их ярые противники, активные сторонники отделения южных штатов (Уильям Янси, Роберт Ретт, Эдмунд Раффин). [↑](#footnote-ref-41)
42. Бой у форта Самтер — первое сражение Гражданской войны (1861—1865). [↑](#footnote-ref-42)
43. Американская кинозвезда 50—60‑х годов. [↑](#footnote-ref-43)
44. Принятое в обиходе название южных штатов (к югу от линии Мейсона‑Диксона). [↑](#footnote-ref-44)
45. *Сэмюел Джоунс Тилден* (1817—1886) — в 1876 г. кандидат от Демократической партии на пост президента. [↑](#footnote-ref-45)
46. Имеется в виду Война за независимость (1775—1783). [↑](#footnote-ref-46)
47. Неточная цитата из 2‑й инаугурационной речи Линкольна (март, 1865). [↑](#footnote-ref-47)
48. Эта детская учебно‑развлекательная телепрограмма начала выходить в США в 1969 г. [↑](#footnote-ref-48)
49. В 40—50‑х гг. XIX в. члены массовой радикально‑демократической партии в США. В 1854 г. влились в Республиканскую партию. [↑](#footnote-ref-49)
50. Общественный и религиозный деятель, теолог‑аболюционист (1810—1860). [↑](#footnote-ref-50)
51. Имеется в виду *Уильям Ллойд Гаррисон* (1805—1879) — журналист, поэт, аболюционист. [↑](#footnote-ref-51)
52. Имеется в виду *Хьюи Ньютон* , один из лидеров афро‑американской партии «Черные пантеры». [↑](#footnote-ref-52)
53. *Спиро Агню* (р. 1918) — государственный и политический деятель; вице‑президент США (1969—1973). Был вынужден подать в отставку в связи с разоблачительными публикациями. [↑](#footnote-ref-53)
54. *Сэмми Дэвис‑мл., Рут Баззи* и *Арти Джонсон* — эстрадные актеры. [↑](#footnote-ref-54)
55. *Чарли* — прозвище вьетконговцев, бойцов Фронта национального освобождения Южного Вьетнама (Viet Cong — сокр. V.C.), поскольку принятое в армии кодовое обозначение буквы «С» — «Charlie» — Чарли). Так, Ушлый числился во взводе «С» (на армейском языке — Charlie) [↑](#footnote-ref-55)
56. Прозвище, употребляемое черными по отношению к белым. [↑](#footnote-ref-56)
57. Общество взаимопомощи масонского типа. [↑](#footnote-ref-57)
58. Судебный процесс над восьмерыми организаторами и участниками антивоенной демонстрации в Чикаго в 1968 г. В ходе процесса *Роберт (Бобби) Сил* , один из лидеров «Черных пантер», был приговорен к 4‑летнему тюремному заключению за неуважение к суду. *Э. Хофман* — один из руководителей радикальной группы «Международная партия молодежи» (так называемые «Йиппи» — от английской аббревиатуры VIR). [↑](#footnote-ref-58)
59. *Фредерик Дуглас* (1817—1895) — беглый раб, ставший лидером аболиционистов, государственным деятелем, публицистом, издателем. [↑](#footnote-ref-59)
60. Книга Элдридэна Кливера, лидера движения «Власть черным!» (1967). [↑](#footnote-ref-60)
61. Речь идет о моратории на бомбежки Вьетнама, которого требовали противники войны. [↑](#footnote-ref-61)
62. *Ричард (Дик) Никсон* — президент США (1969—1974); *Герберт Гувер* — президент США (1929—1933) в годы Великой депрессии; *Линдон Джонсон* — президент США (1963—1969). [↑](#footnote-ref-62)
63. Консервативная католическая общественная организация. [↑](#footnote-ref-63)
64. Начальные слова знаменитой речи президента Линкольна, которую он произнес на открытии национального кладбища в Геттисберге в 1863 г. («Восемь десятков и семь лет минуло с того дня, как отцы наши создали на этой земле новую нацию, основанную на идеалах свободы и свято верующую, что все люди созданы равными…») [↑](#footnote-ref-64)
65. Родовое имение Дж. Вашингтона. [↑](#footnote-ref-65)
66. Непременный атрибут праздника Хэллоуин (31 октября) — выдолбленная тыква с прорезанными глазами и ртом, внутри которой устанавливается горящая свеча. [↑](#footnote-ref-66)
67. *Пика* (pica) — английское наименование типографского цицеро. [↑](#footnote-ref-67)
68. Американский институт общественного мнения, основанный в 1935 г. известным статистиком и политологом Дж. Гэллапом. [↑](#footnote-ref-68)
69. Традиционный возглас детей, собирающих по домам угощения во время праздника Хэллоуин, в «ночь попрошаек». [↑](#footnote-ref-69)
70. *«Подземная (подпольная) железная дорога»* — 1) название тайной системы организации побегов негров‑рабов на Север в период, предшествовавший Гражданской войне. Создана освободившимися рабами при поддержке белых аболиционистов; 2) тайный маршрут для переброски в Канаду американцев, укрывающихся от призыва в армию. [↑](#footnote-ref-70)